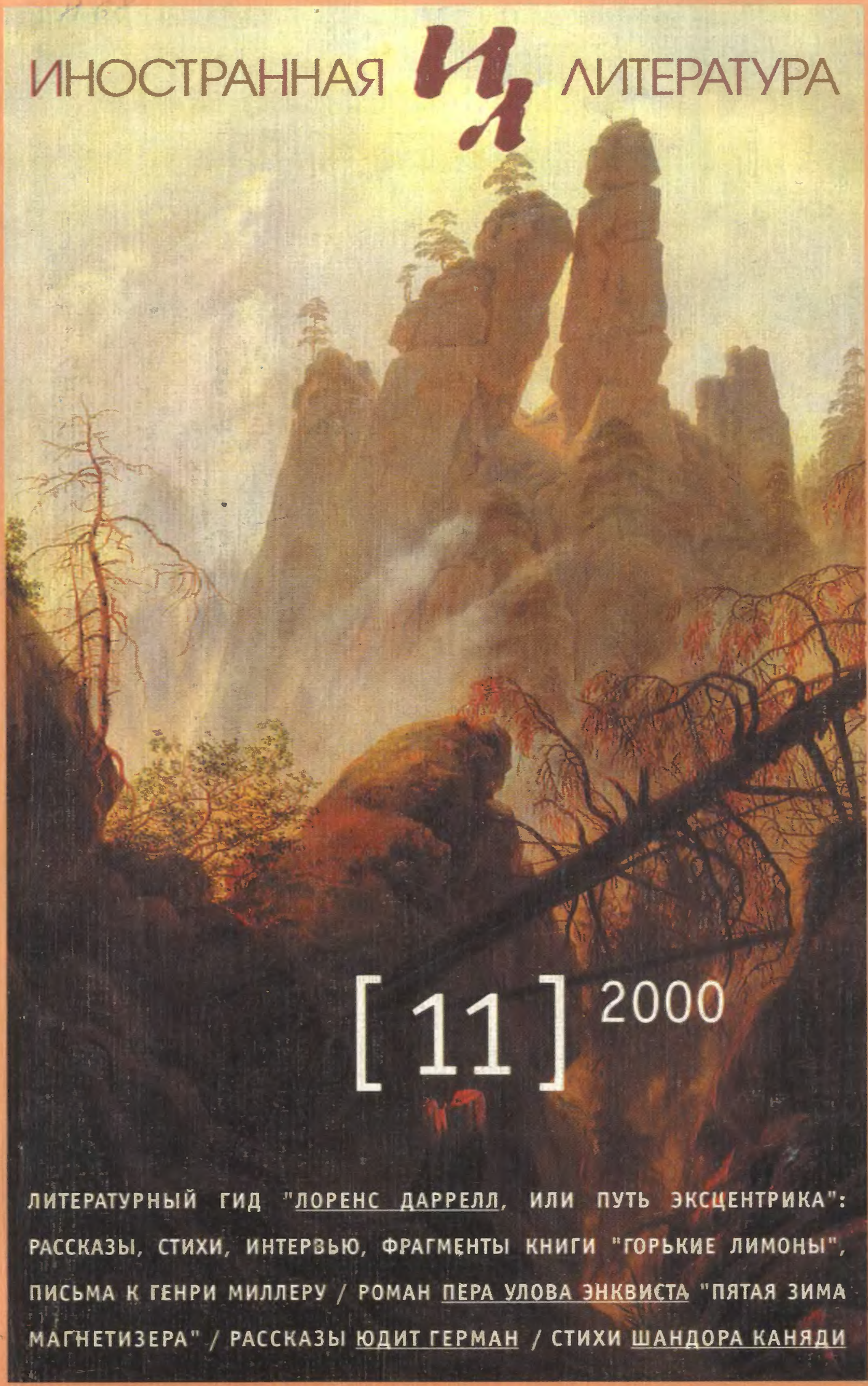
95483

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[11] 2000

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ЛОРЕНС ДАРРЕЛЛ, ИЛИ ПУТЬ ЭКСЦЕНТРИКА": РАССКАЗЫ, СТИХИ, ИНТЕРВЬЮ, ФРАГМЕНТЫ КНИГИ "ГОРЬКИЕ ЛИМОНЫ", ПИСЬМА К ГЕНРИ МИЛЛЕРУ / РОМАН ПЕРА УЛОВА ЭНКВИСТА "ПЯТАЯ ЗИМА МАГНЕТИЗЕРА" / РАССКАЗЫ ЮДИТ ГЕРМАН / СТИХИ ШАНДОРА КАНЯДИ

Основан в 1891 году

Лауреатом
Премии им. В. А. Жуковского,

учрежденной
Союзом немецкой экономики
в Российской Федерации

при содействии журнала
«Иностранная литература»
и присуждаемой за переводы
с немецкого языка в области литературы,
философии, истории, искусствоведения и культурологии,

в 2000 году стал

Соломон Константинович Апт,

знакомый
нескольким поколениям
российских читателей
переводчик
Томаса Манна,
Франца Кафки,
Германа Гессе,
Бертольта Брехта
и других классиков
немецкоязычной литературы

[11]

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2000

Ежемесячный
литературно-
художественный
и публицистический
журнал

3 Юдит Герман. *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Соколовой, А. Кацуры. Вступление Е. Соколовой

20 Шандор Каняди. *Стихи из книги "По деревьям кто-то бредет неспешно".* Перевод с венгерского Натэллы Горской. Вступление Е. Малыхиной

26 Пер Улов Энквист. *Пятая зима магнетизера.* Роман. Перевод с шведского Ю. Яхниной

Литературный гид
"Лоренс Даррелл,
или Путь эксцентрика"

Составление
Вадима Михайлина

148 Вадим Михайлин. *Портрет на фоне изменяющегося пейзажа*

169 Лоренс Даррелл. *Горькие лимоны.* Фрагменты книги. Перевод Вадима Михайлина

220 Лоренс Даррелл. *Стихи.* Перевод К. Медведева

224 Лоренс Даррелл. *Рассказы из сборника "Sauve qui peut".* Перевод А. Ливерганта

242 Лоренс Даррелл. *Письма к Генри Миллеру.* Перевод Вадима Михайлина

264 Джеральд Даррелл. *Мой брат Ларри.* Перевод М. Мушинской

267 Два интервью Лоренса Даррелла. Перевод Н. Кулиш, М. Мушинской

276 Лоренс Даррелл: краткая летопись жизни и творчества

Курьер "ИЛ" 281

Авторы номера 286

© "Иностранная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Из общего тиража
в 13 350 экземпляров
Министерство культуры
РФ и Министерство РФ
по делам печати, телера-
диовещания и средств
массовых коммуникаций
ежемесячно выкупают, а
Институт "Открытое
общество" направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 850 экземпляров.

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
м. А. Федотов
Б. Н. Хлебников

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Юдит Герман

Рассказы

Перевод с немецкого

Цена свободы

"Я подумаю обо всем этом завтра... Ведь завтра будет уже другой день".

М. Митчелл

В 1999 году в Германии вышел первый сборник рассказов 29-летней писательницы Юдит Герман, который сразу же стал сенсацией — книга разошлась тиражом 100 000 экземпляров, небывалый успех имел и компакт-диск с этими текстами. Критика восторженно приняла нового автора, с готовностью причислила к постоянно и весьма нетерпеливо ожидаемому "новому поколению немецких писателей". Покорен был даже взыскательный "отец немецкой критики", знаменитый Марсель Райх-Раницки.

Но если в предыдущей плеяде "новых писателей", замеченных лет пять-десять тому назад, преобладали "восточные немцы" (Д. Грюнбайн, У. Кольбе), то виновница нынешнего переполоха Юдит Герман родилась и выросла в Западном Берлине, по ту сторону Стены. Правда, в 1991 году она переехала на "восток", да так там и осталась. Хотя ее, в отличие от многих ровесников, повлекла туда не романтика неизведанного, а вполне прозаическая работа — место официантки в баре, в районе Пренцлауэрберг.

Восточный Берлин завоевывал ее постепенно. Город с перечеркнутой историей. Заколдованное королевство, где прошлое, настоящее и будущее связаны нелинейно и поэтому многое возможно: время движется по спирали и прежде, чем "вчера" превратится в "сегодня", успевает побывать еще неведомо где. А

© Е. Соколова. Вступление, 2000

"завтра" вообще не имеет четких очертаний. С одной стороны, страшно. С другой стороны, — это и есть свобода. Свобода настолько полная, что пробирает порой холодок экзистенциального одиночества. Если наступит завтра, здесь оно может быть каким угодно.

В рассказе "Дом? Подождет...", давшем имя нашумевшей книге Юдит Герман, молодой человек по имени Штайн, показывая любимой девушке купленный им дом, говорит: "Это возможность, одна из многих. Ты можешь ею воспользоваться или ее отвергнуть. Я могу ею воспользоваться или ее отвергнуть и отправиться куда-нибудь еще. Мы можем вместе ею воспользоваться или сделать вид, что никогда не были знакомы. Это все не важно".

Не важно, пока есть выбор. Это ощущение прекрасно, его хочется продлить. Только откладывая осуществление выбора, человек сохраняет свободу. И теряет будущее.

Герои рассказов Юдит Герман — современная молодежь объединенной Германии. Люди творческие, даже талантливые. Углубленные в свой внутренний мир, стремящиеся к самореализации. Жизнь их кажется полной: много событий, общения, выпивки, "травки", секса. Но нет любви.

А надо ли? Все и так хорошо. Весело. Интересно. Если б не этот проклятый холодок (особенно когда под лед провалишься): бренность бытия дает о себе знать. Здесь, в этом городе, она так и лезет из всех щелей.

Новая Скарлетт сопротивляется как может. Отгоняет мысли о главном, заполняя жизнь пустяками. Со словами "Подумаю об этом завтра..." полтора века назад героиня "Унесенных ветром" потеряла свою любовь. Рожденное той же душевной ленью "Подождет..." мешает нынешней девушке свою любовь найти.

Рассказы Юдит Герман — об отсутствии любви. А значит, об отчуждении, о жизни наедине с собой в холодном и равнодушном мире. Такова цена свободы. Но все ли согласны ее платить?

Е. Соколова

Дом? Подождет...

ШТАЙН нашел этот дом зимой. В начале декабря вдруг позвонил мне, сказал: "Привет..." – и умолк. Я тоже молчала. Он сказал: "Это Штайн...", я сказала: "Знаю", он: "Как дела", я: "Чего звонишь", он: "Я нашел его", я, ничего не понимая: "Что ты нашел?", он, возбужденно: "Дом! Я нашел дом!"

Дом. Я и забыла. Штайн и эти его разговоры о доме где-нибудь под Берлином – вилла, усадьба, хозяйство, перед домом – липы, за домом – каштаны, сверху – небо, рядом Бранденбургское озеро, три четверти гектара земли, это минимум. Повсюду карты с пометами; месяцами колесил по окрестностям в поисках дома. Потом возвращался, мы смеялись над ним, говорили: "Что он несет, этот чокнутый. Какая чушь".

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1998
© Е. Соколова. Перевод, 2000

Стоило мне пару дней не видеть Штайна, и все это вылетало у меня из головы. Он сам тоже.

Закуриваю автоматически, как всегда, когда на горизонте появляется Штайн, так или иначе вторгается в мою жизнь. Спрашиваю неуверенно: "Штайн, ты купил его?", кричит в ответ: "Да!" — и телефонная трубка падает у него из рук. Я никогда раньше не слышала, чтобы он кричал. Потом он снова хватает трубку и снова кричит, кричит: "Тебе нужно посмотреть, обязательно, он великолепный, клевый, просто клевый!" Я не спрашиваю, с чего это вдруг мне смотреть его дом. Слушаю, и все. А он вдруг надолго замолкает.

"Что ты сейчас делаешь?" — спрашивает наконец, и это звучит неприлично, его голос дрожит. "Ничего, — отвечаю, — сижу читаю газету". — "Я заскочу за тобой. Минут через десять," — говорит Штайн и вешает трубку.

Через пять минут он уже тут как тут и все давит, давит пальцем на звонок, хотя я давно уже ему открыла. Я говорю: "Штайн, перестань звонить, действует на нервы". Мне очень хочется сказать: Штайн, там ужасно холодно, меня совсем не тянет на улицу, так что сгинь, будь любезен. Штайн больше не звонит, склоняет голову набок, хочет что-то сказать, не говорит ничего. Я одеваюсь. Едем. В его такси пахнет сигаретами, опускаю стекло и подставляю лицо холодному ветру.

Моя связь со Штайном, как это у нас называется, закончилась еще два года назад. Она была недолгой и состояла в основном из совместных поездок в его такси. Я и познакомилась-то с ним в такси. Он вез меня на вечеринку и, выехав на автобан, вставил в магнитофон кассету с психоделической музыкой. Когда мы подъехали, я сказала: "К черту вечеринку", мы поехали дальше, и в какой-то момент он вдруг выключил счетчик. Потом поднялся ко мне. Поставил в прихожей свои полиэтиленовые пакеты и пробыл три недели. У Штайна никогда не было своей квартиры, с этими пакетами он таскался по городу, ночевал то тут, то там, если ничего не подворачивалось, спал в машине. Вообще-то он был мало похож на бездомного в привычном смысле. Чистый, хорошо одетый, он отнюдь не казался опустившимся, и у него были деньги — он ведь работал. Да, у него не было квартиры, но, может, он просто не хотел ее иметь.

В те три недели, что он прожил у меня, мы часто катались по городу в его такси. По Франкфуртераллее до упора, потом обратно — мы слушали "Massive Attack"[1], курили и катались туда-сюда по Франкфуртераллее целый час, не меньше, пока Штайн не спросил: "Врубаешься?"

Моя голова была абсолютно пуста, будто меня выдолбили изнутри и теперь я болтаюсь в воздухе, перед нами была широкая улица, мокрая от дождя, по лобовому стеклу скользили дворники, вправо-влево. Сталинские дома по обе стороны улицы казались огромными, чужими и прекрасными. Город был совсем не таким, какой я знала, казался безлюдным и самодостаточным, Штайн сказал: "Ископаемое чудище", я сказала: "В этом что-то есть" — и перестала думать.

1. Современная немецкая рок-группа.

После этого мы очень часто катались в его такси. Для разных дорог у Штайна была разная музыка, за городом он ставил "Ween"[1], в центре города – Дэвида Боуи, на широких проспектах – Баха, а Trans-AM запускал только на автобане. Когда выпал первый снег, Штайн на каждой стоянке выскакивал из машины, выбегал на покрытое снегом поле и начинал медленно и сосредоточенно выполнять движения тэ-квон-до, пока я, разозлившись, не кричала ему со смехом: "Назад, я хочу ехать дальше, мне холодно".

В какой-то момент мне все это осточертело. Я сложила его вещи в три полиэтиленовых пакета и сказала, что пора подыскивать другое жилье. Он поблагодарил меня и ушел. Перебрался к Кристиане, которая жила подо мной, потом – к Анне, к Генриетте, к Фальку, потом по очереди к остальным. Он трахался со всеми, как же без этого, он был довольно красив, светловолос – такие нравились Фасбиндеру. Он был с нами. И не с нами. Он был не такой, но почему-то оставался с нами. Он позировал Фальку в его студии, тянул кабель на Анниных концертах, ходил на чтения Хайнца в Красном зале. В театре хлопал, когда хлопали мы, пил, когда мы пили, глотал вместе с нами "колеса". Крутился на вечеринках, а когда мы выезжали за город летом на свои убогие, покосившиеся, крошечные дачки, бывшие почти у всех, дачки, на полусгнивших заборах которых намалевано: "Вон отсюда, берлинцы!", – выезжал вместе с нами. Время от времени кто-нибудь из нас пускал его к себе в постель, прогонял и пускал снова.

Но только не я. Я больше не пробовала. Я точно знала – это не мой тип. Я даже не могла припомнить, как это вообще было – секс со Штайном.

Мы селились в домах людей, с которыми у нас не было ничего общего, и Штайн вместе с нами. Вокруг жили крестьяне, рабочие, садоводы-любители, они нас терпеть не могли, как и мы их. Мы старались не попадаться им на глаза, даже мысль о них вызывала у нас тошноту. Они не вписывались. Мы, в свою очередь, лишали их возможности "быть среди своих", все опошляли: деревни, поля, даже небо, – опошляли, как им казалось, уже тем, что расхаживали повсюду развязной походкой, бросали окурки на цветочные клумбы перед их домиками, выводили их из равновесия своим непристойным поведением. Но несмотря ни на что мы не уезжали. Обдирали обои в домах, срывали пластмассу, эластик, и все это делал главным образом Штайн; мы сидели в саду, потягивали вино, тупо таращились на деревья под тучами комаров, говорили о Касторфе[2], Хайнере Мюллере[3] и о последнем провале Ваверцинека в "Фольксбюне". Наработавшись, Штайн подсаживался к нам. Ему нечего было сказать. Мы принимали ЛСД, Штайн – тоже. Тодди покачивался в свете заката, при каждом прикосновении молол какую-то чушь о "синеве", Штайн неестественно весело улыбался и молчал. Наш остроумный, неврастенический, пофигистский взгляд на мир – этого он не мог у нас перенять, хотя очень старался; часто смотрел на нас так, будто мы играем на сцене. Однажды я осталась с ним вдвоем, кажется, это было на даче у Хайнца в Лунове, остальные умчались тогда на машине навстречу

1. Современная американская рок-группа.
2. Имеется в виду, по-видимому, Франк Касторф – главный режиссер "Фольксбюне" в Берлине с 1992 года.
3. Хайнер Мюллер (1929–1995) – знаменитый немецкий драматург.

закату. Штайн мыл фужеры, убирал бутылки и стулья, чистил пепельницы. Это он умел. Вскоре об остальных уже ничего не напоминало. "Хочешь вина?" – спросил он, я ответила: "Да", и мы пили молча, с сигаретами во рту, и каждый раз, когда наши глаза встречались, он улыбался. И все.

"И все", – думаю я, сидя в такси рядом со Штайном в дневном потоке машин на Франкфуртераллее, направление Пренцлау. День холодный и пасмурный, в воздухе пыль, кругом усталые водители, вытаращив глаза, с идиотским видом тычут куда-то пальцем. Я курю и спрашиваю себя: "Почему это именно я должна вот тут сидеть рядом со Штайном, почему он позвонил именно мне – потому что с меня все началось? Потому что он просто не смог дозвониться до Анны, Кристианы или Тодди? Потому что никто из них не поехал бы с ним за город? А я почему еду?" И не нахожу ответа. Бросаю окурок в окно, мне плевать, что в соседней машине возмущаются; в такси чертовски холодно. "Штайн, у тебя что, печка не работает?" Штайн не отвечает. Мы в первый раз вдвоем у него в машине с тех самых пор, я осторожно спрашиваю: "Штайн, что еще за дом? Сколько ты за него заплатил?" Штайн смотрит рассеянно в зеркало заднего вида, едет на красный свет, то и дело перестраивается, втягивает губами горящий кончик сигареты чуть ли не в рот. "Восемьдесят тысяч, – говорит. – Я заплатил за него восемьдесят тысяч марок. Это хорошая цена. Как только увидел его, сразу понял: это он". На его лице выступают красные пятна, он то и дело жмет на сигнал, игнорируя преимущественное право автобуса. Спрашиваю: "Откуда у тебя восемьдесят тысяч?", он бросает на меня быстрый взгляд и говорит: "Ты задаешь не те вопросы". Больше ни о чем не спрашиваю.

Выезжаем из Берлина, Штайн сворачивает с автобана, начинается снег. Как всегда в машине, я чувствую себя усталой. Я смотрю на дворники, на кружащиеся снежинки, которые летят навстречу, думаю о своих поездках со Штайном два года назад, о странной эйфории, об отчужденности, о равнодушии. Штайн едет теперь спокойнее, время от времени бросает на меня быстрые взгляды. Я спрашиваю: "А что, твой кассетник сломался?" Улыбается, говорит: "Нет... Я не знал... может, тебе разонравилось". Закатываю глаза: "Конечно нет" – и вставляю кассету Каллас, на которую Штайн записал арию Доницетти в ее исполнении двадцать раз подряд. Он смеется: "Ты это уже знаешь". Каллас поет, голос взмывает вверх и падает вниз, Штайн ускоряет и замедляет ход машины, я смеюсь и на мгновение касаюсь рукой его щеки. Кожа необычно колючая. Думаю: "А обычно как?" Штайн говорит: "Ишь ты". И, как я замечаю, тут же об этом жалеет.

За Ангермюнде он сворачивает и резко тормозит перед поворотом к одноэтажному домику шестидесятых годов, так резко, что я влетаю головой в ветровое стекло. Спрашиваю разочарованно: "Это что, он и есть?", а Штайн радуется, преувеличенно жестикулируя, он уже скользит по замерзшему бетону навстречу женщине в одежде кухарки, которая только что вышла из дома. За ее халат цепляется бледный, жалкий ребенок. Я опускаю стекло, слышу, как он зовет с нарочитой сердечностью: "Госпожа Андерсон!" – у него свой стиль обхождения с подобными людьми, который я всегда ненавидела, – вижу, как он протягивает ей ру-

ку, она ее не берет, а опускает в раскрытую ладонь тяжелую связку ключей. "Мороз, воды нет, – говорит она. – Электричества тоже нет. Авария. На следующей неделе обещают исправить". Ребенок, не отпуская халата, начинает подвывать. "Не важно", – говорит Штайн, скользит обратно к машине, останавливается у моего полуопущенного окна и описывает бедрами элегантный круг, совершенно непристойно. Произносит: "Come on baby, let the good times roll"[1]. Я говорю: "Штайн, прекрати", чувствую, что краснею, ребенок отпускает халат и удивленно шагает в нашу сторону.

"Они жили там, в доме", – говорит Штайн, когда мотор уже снова работает; теперь он едет обратно, снег идет сильнее, обернувшись, я смотрю на женщину и ребенка в освещенном прямоугольнике двери, пока дом не исчезает за поворотом. "Они недовольны, потому что год назад их оттуда поперли. Но ведь не я же, а владельцы из Дортмунда. Я просто купил дом. По мне, так пусть бы там оставались". Говорю с удивлением: "Они же противные", Штайн отвечает: "Что значит противные" – и бросает мне на колени связку ключей. Я пересчитываю ключи, их двадцать три штуки, от очень маленьких до очень больших, все они старые, с изящным кольцом, я бормочу негромко: "Ключ от конюшни, ключ от амбара, от ворот, от сарая, от кладовки, от коровника, от почтового ящика, от подвала, от садовой калитки" – и вдруг – хотя я вовсе не хочу этого, – вдруг понимаю Штайна, его восторг, предвкушение, лихорадочное возбуждение. Говорю: "Это здорово, Штайн, что мы едем туда вместе", и он, не глядя на меня, говорит: "Во всяком случае, с веранды видно, как за колокольню садится солнце. Мы почти приехали. За Ангермюнде начинается Каниц, а дом – в Канице".

Каниц смотрится хуже, чем Лунов, хуже, чем Темплин, хуже, чем Шёнвальде. Серые, сгорбленные дома по обе стороны кривой улицы, деревянные будки с множеством окон, ни магазина, ни булочной, ни гостиницы. Сугробы еще выше. "Здесь много снега, Штайн", – говорю я, а он отвечает: "Ну ясно", будто вместе с домом купил и снег. Когда на левой стороне улицы появляется церковь, и вправду красивая, красная с круглой колокольней, Штайн вдруг издает странный звук – с таким муха бьется в закрытое окно. Он выруливает на боковую дорожку, тормозит и в ту же секунду выразительным жестом снимает обе руки с руля и произносит: "Вот он".

Я смотрю из окна и думаю: "Он-то он, но простоит еще минут пять, не больше". Дом выглядит так, что, кажется, может обрушиться в любую секунду, причем совершенно бесшумно. Вылезаю из машины и захлопываю дверь, очень осторожно, будто любое сотрясение поблизости может стать последней каплей, Штайн мчится к дому, тоже – на цыпочках. Дом как корабль. Стоит в конце деревенской улицы подобно давным-давно приставшему к берегу старинному гордому кораблю. Просторный двухэтажный дом из красного кирпича, с двускатной крышей, больше похожей на скелет, по обе стороны которой торчат деревянные лошадиные головы, почти все окна – без стекол. Кривая веранда полно-

1. Давай, малышка, пусть лучшее время придет (*англ.*) – строка из известной песни.

стью заросла плющом, по стенам бегут трещины в палец толщиной. Дом красив. Это действительно был Дом. Но теперь это руины.

Ворота, от которых Штайн пытается отодрать табличку с надписью "Продается", с жалобным скрипом оседают. Мы через них перешагиваем, и я как вкопанная останавливаюсь от испуга — такое у Штайна лицо — и смотрю, как он исчезает за плющом веранды. Вскоре наружу выпадает оконная рама, в проеме показывается возбужденное лицо Штайна в тусклом свете керосиновой лампы.

"Штайн! — кричу я. — Выходи оттуда. Он сейчас обрушится!"

"Иди сюда! — отзывается он. — Ведь это же мой дом!"

Я спрашиваю себя: "С чего бы это должно меня успокаивать?", потом, споткнувшись о мешки с мусором, вваливаюсь на веранду. Пол скрипит ужасно, плющ не пропускает ни единого луча света, с отвращением пытаюсь отпихнуть в сторону ползучие побеги, тут ледяная рука Штайна хватает меня и втаскивает в прихожую. Вцепляюсь в руку, мне вдруг хочется, чтобы он больше не отходил от меня, а особенно — его маленькая керосиновая лампа; Штайн напевает себе под нос, я иду за ним.

Он закрыл снаружи все ставни, и мы смотрим на последние лучи дневного света через вставки красного стекла в деревянных створках. Связка ключей, которая оттягивает мой карман, совершенно не нужна, все двери открыты, когда они вообще есть. Штайн освещает путь, говорит, показывает, едва дыша от восторга, выставляет передо мной какие-то вещи, хочет что-то сказать, не говорит, тащит меня дальше. Гладит перила лестниц и ручки дверей, стучит по стенам, отдирает обои и удивленно разглядывает пыльные стены, проступающие под ними. То и дело повторяет: "Видишь?", или "Понюхай!", или "Как тебе?", при этом мои ответы ему совершенно не нужны, он разговаривает сам с собой. На кухне встает коленями на пол, руками счищает с плитки дерьмо и что-то бормочет; и хоть я все время за него цепляюсь, для него я не существую. Стены расписаны юнцами: *Иди к ней, и пусть твой дракон воспрянет. Здесь был я. Маттиас.* Я говорю: "Иди к ней, и пусть твой дракон воспрянет", Штайн поворачивается ко мне в полном недоумении и спрашивает: "Что?", я говорю: "Ничего". Он хватает меня за руку и тащит за собой, ногой выталкивает заднюю дверь в сад, а меня выпихивает вниз по маленькой лестнице. "Вот".

Я говорю: "Что — вот?"

"Да все! — говорит Штайн, я и не подозревала, что он может быть так нахален. — Озеро, Бранденбургское, каштаны в саду, три моргена земли, вы могли бы посадить здесь вашу проклятую травку, и грибы, и коноплю, и черт знает что еще. Места хватит, ты понимаешь? Здесь много места! Устрою для вас зал, бильярдную, курительную, каждому по комнате, большой стол, там за домом, чтобы кушать и надираться, потом встанешь и побежишь к Одеру, будешь там накачиваться коксом, пока башка не треснет", — он грубо поворачивает мою голову к озеру, уже темно, я почти ничего не могу различить, меня начинает бить дрожь.

Я говорю: "Пожалуйста, Штайн, прекрати".

Слушается. Молчит, мы смотрим друг на друга, дышим часто, почти синхронно. Он медленно подносит руку к моему лицу, я уворачиваюсь, он говорит: “Порядок. Все в порядке, в порядке. О’кей”.

Стою неподвижно. Ничего не понимаю. То есть где-то очень глубоко во мне мелькает какое-то понимание, но очень смутное. Я устала, сил нет совсем, думаю об остальных и на мгновение прихожу в ярость: бросили меня тут одну, и нет никого, ни Кристианы, ни Анны, ни Хайнца, кто бы мог защитить меня от Штайна. А Штайн рядом со мной ковыряет землю носком ботинка, говорит: “Мне очень жаль”.

Отвечаю: “Ничего. Все уже в порядке”.

Он берет мою руку, его рука уже теплая и мягкая, и говорит: “Ну вот, солнце садится за колокольню”.

Он смахивает снег со ступенек крыльца на веранде и приглашает меня сесть. Сажусь. Немыслимо холодно. Беру зажженную сигарету у него из рук, курю, глядя на колокольню, за которой уже скрылось солнце. Меня не покидает чувство вины: надо сказать ему что-нибудь о будущем, что-нибудь оптимистическое, я ощущаю смущение, говорю: “Хорошо бы очистить веранду от плюща летом. Иначе нам ничего не будет видно. Если мы хотим сидеть здесь и пить вино”.

Штайн говорит: “Это я сделаю”.

У меня такое ощущение, что он вообще ничего не слышит. Сидит тут рядом со мной, с усталым видом смотрит вдаль на пустую, холодную белоснежную улицу; я думаю о лете, о часах, проведенных в садике Хайнца в Лунове, мне хочется, чтобы Штайн еще раз посмотрел на меня как тогда, и я ненавижу себя за это. Я говорю: “Штайн, скажи что-нибудь, пожалуйста, объясни...”

Штайн щелчком отправляет окурок в снег, не глядя на меня, произносит: “Что я должен сказать. Это возможность, одна из многих. Ты можешь ею воспользоваться или ее отвергнуть. Я могу ею воспользоваться или ее отвергнуть и отправиться куда-нибудь еще. Мы можем вместе ею воспользоваться или сделать вид, что никогда не были знакомы. Это все не важно. Я хотел тебе показать, вот и все”.

Я переспрашиваю: “Ты заплатил восемьдесят тысяч марок, чтобы показать мне возможность, одну из многих? Штайн, я правильно поняла? Что это значит?”

Штайн не отвечает. Наклоняется вперед и напряженно вглядывается вдаль, я стараюсь проследить, куда он смотрит; на улице сумеречно, снег сверкает, отражая последние лучи дневного света. На другой стороне улицы кто-то стоит. Я прищуриваю глаза и встаю, человек метрах, может, в пяти от нас поворачивается, бежит прочь и скрывается в тени между домами. Калитка хлопает, я почему-то уверена, что узнала ребенка из Ангермюнде, бледного, глупого ребенка, который цеплялся за халат женщины.

Штайн встает и говорит: “Поехали”.

Я отвечаю: “Штайн, этот ребенок. Из Ангермюнде. Почему он здесь, на улице, и наблюдает за нами?”

Я знаю, что он не ответит. Он распахивает передо мной дверцу автомобиля, а я все еще стою рядом с ним, чего-то жду: прикосновения, жеста. Думаю: “Так ты хочешь остаться с нами навсегда...”

Штайн говорит холодно: “Спасибо, что съездила вместе со мной”.

Тогда я сажусь в машину.

Не помню, какую музыку мы слушали на обратном пути. В следующие несколько недель я почти не видела Штайна. Замерзли озера, мы купили коньки, по ночам с факелами в руках шли по лесу, выбирались на лед. Мы слушали Паоло Конте *из хита Хайнца*, глотали экстази, зачитывали вслух лучшие отрывки из *"Американского психопата"* Брета Истона Эллиса[1]. Фальк целовал Анну, Анна целовала меня, я целовала Кристиану. Случалось, Штайн был при этом. Он целовал Генриетту, и тогда я отворачивалась. Наши пути разошлись. Он никому не рассказывал, что наконец-то купил дом, не рассказывал, что ездил туда со мной. Я не вспоминала о доме, но иногда, когда, возвратившись в город на его такси, мы запихивали в кладовку коньки и факелы, наталкивалась там то на кровельный картон, то на обои, то на краску.

В феврале на Грибницком озере Тодди провалился. Хайнц мчался по льду на коньках, высоко подняв факел, и вопил: "Какой все-таки кайф, нет, мы все же умеем ловить кайф, невероятный кайф!" Он был пьян в дупель, Тодди ехал за ним, мы кричали: "Тодди! Скажи: синева, скажи!", что-то хрустнуло, Тодди исчез.

Мы замерли. Пар, вырывавшийся у Хайнца изо рта, описывал замысловатые фигуры, поскрипывал лед, шипел капавший с факелов воск. Фальк уже мчался к нам на коньках, споткнулся раз, другой, третий, Анна сорвала с себя шаль, Кристиана глупейшим образом закрыла лицо руками и тоненько завизжала. Фальк лег на живот, Хайнц пропал из виду. Фальк звал Тодди, и тот ему отвечал. Анна бросала им свою шаль, Генриетта вцепилась в ноги Фальку, я продолжала стоять. Штайн тоже стоял. Я взяла у него из рук зажженную сигарету, он сказал: "Синева", я сказала: "Мороз", и мы засмеялись. Мы хохотали, мы прямо корчились от смеха, упали на лед, и из глаз у нас потекли слезы; а мы все смеялись и не могли остановиться, даже когда они притащили Тодди, дрожащего и мокрого, и Генриетта сказала: "Совсем, что ли, спятили?"

В марте Штайн исчез. Его не было ни на тридцатилетии Хайнца, ни на премьере Кристианы, ни на Аннином концерте. Он исчез, и когда эта дурочка Генриетта ненароком пыталась узнать, где он, все только пожимали плечами. Я плечами не пожимала, но и ничего не рассказывала. Через неделю пришла первая открытка. С фотографией деревенской церкви в Канице. На обороте было написано:

Крыша больше не течет. Ребенок ковыряет в носу, молчит, все время толчется здесь. Солнце работает как часы, когда оно заходит, я курю, я посадил то, что ты сможешь съесть. Вырубил плющ. Если приедешь, сможешь войти сама, ведь ключи у тебя остались.

Открытки приходили теперь регулярно, я ждала их и, когда в один прекрасный день это кончилось, была разочарована. Каждый раз — фотография церкви и четыре-пять предложений, маленький ребус, то интригующий, то совершенно непонятный. Штайн часто писал: ...если приедешь. Он не писал: "Приезжай". Я решила дождаться от него "приезжай" и поехать. В мае открыток не было, зато пришло письмо. Я читала выведенные Штайном неуклюжие крупные буквы, потом забралась обратно к Фальку в постель и разорвала конверт. Фальк еще спал, он храпел. В конверте была статья, вырезанная из местной газеты городка

1. Bret Easton Ellis. American Psycho. NY, 1991.

Ангермюнде. Я отодвинула в сторону теплое от сна тело Фалька, развернула статью и прочитала:

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

В ночь на пятницу до основания выгорела бывшая усадьба в Канице. Нынешний владелец, житель Берлина, который полгода назад купил этот дом и восстановил его, числится с тех пор пропавшим без вести. Причина несчастья пока не установлена, полиция не исключает поджог.

Я перечитала три раза. Фальк зашевелился. Я переводила глаза с газетной вырезки на штайновский почерк на конверте и обратно. Почтовая марка была проштемпелевана в Штральзунде. Фальк проснулся, с секунду безучастно смотрел на меня, потом схватил за руку и как-то глупо и пошло спросил:

"Что там у тебя?"

Я высвободила руку, встала с кровати и сказала: "Ничего".

Прошла на кухню, минут десять тупо стояла около плиты. Над плитой тикали часы. Я направилась в заднюю комнату, выдвинула ящик письменного стола, где лежала связка ключей и все открытки, положила туда конверт. Я думала: "Подождет..."

Перевод Е. Соколовой

Коралловый браслет

За свой первый и единственный визит к психотерапевту я отдала браслет из красных кораллов и любовника.

История эта началась в России, точнее сказать, в Петербурге, более ста лет назад. Тогда браслет красовался на запястье левой руки моей прабабушки, из-за него прадед мой и поплатился жизнью. Но разве об этом мне хочется рассказать? Я не уверена. Действительно не уверена.

Прабабушка была красавицей. Она приехала в Россию вместе с мужем, строившим печи для русского народа. Тот снял просторную квартиру на Васильевском острове в Петербурге. Остров омывают Малая и Большая Нева, и если бы прабабушка встала на цыпочки и выглянула в окно своей квартиры на Малом проспекте, ей бы открылся вид на реку и большую Кронштадтскую бухту. Но она не хотела смотреть ни на реку, ни на Кронштадтскую бухту, ни на высокие прекрасные здания на проспекте. Не хотела видеть в окне чужбину. Тяжелые шторы красного бархата были всегда опущены, двери закрыты, а ковры поглощали шум. Женщина растерянно двигалась по комнатам: переходила от дивана к креслам, с кресел на кровать под балдахином, сидела сложа руки и тосковала по родной Германии. В квартире на Малом проспекте царили сумерки, своим тусклым светом напоминавшие морское дно и исподволь внушавшие

© А. Кацура. Перевод, 2000

ее обитательнице, что чужбина, Петербург и вся Россия не более чем глубокий мрачный сон и что скоро наступит пробуждение.

Мой прадед колесил по стране и строил печи для русского народа. Он складывал доменные и обжиговые, пламенные и топливные печи. Подолгу находился в отъезде. Писал письма, а когда они приходили, прабабушка приподнимала тяжелые шторы красного бархата и читала при дневном свете, просачивавшемся в узкую щелку.

Хочу пояснить, что хазенклеверская печь, которую мы здесь сооружаем, состоит из камер муфеля, соединенных между собой вертикальным дымоходом, во время обжига они раскаляются – ты помнишь колодцевидную печь, которую я построил в Бломешской пустоши, в Гольштейне, и которая тебе очень понравилась – так вот, в хазенклеверской печи руда будет подаваться через отверстия в самую верхнюю камеру, а оттуда...

Чтение мужниных докладов сильно утомляло молодую женщину. Она давным-давно забыла про колодцевидную печь в Бломешской пустоши, зато хорошо помнила саму Бломешскую пустошь, помнила пастбища и равнины, стога сена на полях и сладкий вкус холодного яблочного сока летом. Занавески задергивали, и прабабушка без сил опускалась на диван, повторяя про себя: "Бломешская пустошь, Бломешская пустошь", это звучало как детская песня, как колыбельная, это звучало прекрасно.

В то время на Васильевском острове, кроме иностранных купцов и их семей, проживало много русских художников и ученых мужей. До них, конечно же, дошел слух о красавице немке, поселившейся в начале Малого проспекта, о ее белоснежной коже и светлых волосах, а также об одинокой жизни затворницы, которую та вела в темных, мягких и холодных, как море, покоях. Художники и ученые стали наведываться к ней, желая засвидетельствовать свое почтение. Едва заметным движением тонкой руки хозяйка приглашала гостей войти, она мало говорила, почти ничего не понимала и, погруженная в свои мысли, только иногда бросала из-под тяжелых век рассеянный взгляд. Посетители устраивались на глубоких мягких диванах и в креслах, утопали в тяжелых, темного цвета подушках, горничные приносили чай с корицей, с черничным или с ежевичным вареньем. Хозяйка грела холодные руки у самовара, чувствуя себя до того усталой, что была не в состоянии попросить гостей удалиться. Они продолжали сидеть и пожирать глазами женщину, которая в сумерках казалась печальной, прекрасной и таинственной. А так как именно в печали, красоте и таинственности кроется загадка русской души, художники и ученые без памяти влюблялись в красавицу, и та ничего не имела против.

Мой прадед долго не появлялся на горизонте. Его жена также долго позволяла другим любить себя, но всегда действовала осторожно, не совершая опрометчивых поступков. Самовар согревал ее ледяные руки, а пылкие сердца любовников – озябшую душу. Она уже различала некоторые ласковые слова на чужом языке вроде: "ты мое нежнейшее создание". Но все еще читала на клочке света письма про плавильные, девильские и трубчатые печи, после чего бросала их в камин. Женщина позволяла любить себя и каждый вечер тихо напевала песенку про Бло-

мешскую пустошь, но, поймав на себе вопросительные взгляды мужчин, смущенно улыбалась и замолкала.

Прадед обещал в скором времени вернуться и забрать ее назад в Германию. Но он не приезжал.

Так прошла первая зима, за ней вторая и третья, прадед по-прежнему занимался строительством печей на русских просторах, а прабабушка по-прежнему тешила себя надеждой на возвращение домой. Она писала мужу в тайгу. Он отвечал, что скоро приедет, вот только еще раз, в самый последний раз заглянет в одно местечко — и тогда, тогда, уверял он, они вернутся в Германию.

Вечером в день его приезда прабабушка сидела перед зеркалом в спальной и расчесывала светлые волосы. В шкатулке лежали подарки от поклонников: брошка от Григория, кольцо от Никиты, жемчуг и бархотки от Алексея, локоны от Емельяна, медальоны, амулеты и серебряные кольца от Михаила и Ильи. Здесь же хранился браслет из красных кораллов от Николая Сергеевича. Шестьсот семьдесят пять маленьких бусинок, нанизанных на шелковые нити, светились красным, как гнев, светом. Женщина положила щетку на колени. Надолго закрыла глаза. А когда открыла их, достала браслет из шкатулки и надела на запястье левой руки. У нее была очень белая кожа.

В первый раз за три года супруги ужинали вместе. Он говорил по-русски и с улыбкой смотрел на нее. Она, сложив руки на коленях, улыбалась в ответ. Он рассказывал о степях, о диких лесах, о русских белых ночах, о печах, называя их по-немецки, она кивала, словно все понимала. Беря пельмени руками и вытирая жирные губы рукавом, прадед мельком обмолвился о том, что его снова ждут во Владивостоке, но это будет последняя поездка, после которой они уж точно вернутся в Германию. Или, может, ей еще хочется здесь побыть?

Женщина ничего не поняла. Зато услышала слово "Владивосток". Положила руки на стол, коралловый браслет гневно сверкнул на ее белом запястье.

Прадед пристально посмотрел на украшение. Положил недоеденный пельмень на тарелку, вытер руки льняной салфеткой и дал знак горничной, чтобы та удалилась.

— Что это? — по-немецки спросил муж.

— Браслет.

— Можно поинтересоваться, откуда он?

— Я очень хотела услышать от тебя этот вопрос. Это подарок Николая Сергеевича, — тихо и ласково ответила женщина.

Прадед позвал служанку и велел ей бежать за своим другом Исааком Барувом. Явился сутулый и скрюченный человек, у него был заспанный и удивленный вид, стояла глубокая ночь, человек время от времени смущенно проводил рукой по взлохмаченным волосам. Прадед и Исаак Барув в возбуждении стали ходить по комнате и жарко спорить, друг тщетно пытался найти какие-то успокаивающие слова, слова, напоминавшие прабабушке о ее любовниках. Она в изнеможении опустилась в мягкое кресло и положила руки на самовар. Прадед и Исаак Барув говорили по-русски, прабабушка ничего не могла разобрать, кроме двух слов: секундант и Петровский парк. Горничную отправили с письмом навстречу

ночи. Когда забрезжил рассвет, мужчины вышли из дома. Прабабушка спала, ее тонкая рука с браслетом из красных кораллов на запястье безжизненно свисала с кресла; в комнате было темно и тихо, как на дне моря.

Около полудня вернулся Исаак Барув. Запинаясь и подбирая слова соболезнования, сообщил о том, что прадед умер на рассвете, в восемь часов. На холме в Петровском парке Николай Сергеевич выстрелил ему прямо в сердце.

Прабабушка ждала семь месяцев. В первые дни революции 20 января 1905 года родилась моя бабушка, после чего ее мать собрала чемоданы и поехала в Германию. Это был последний шедший из Петербурга в Берлин поезд, перед тем как железнодорожники объявили забастовку и сообщение между Россией и заграницей оказалось прервано. Когда двери вагона уже закрывались и локомотив выпустил столб белого дыма в зимний воздух, на другом конце перрона появилась скрюченная фигура Исаака Барува. Заметив его, прабабушка велела кондуктору подождать, и друг моего почившего прадеда в последнюю секунду сел в поезд. Он сопровождал вдову на всем пути до самого Берлина, носил за ней чемоданы, шляпные картонки и сумочки, не упуская случая выразить свою бесконечную благодарность. Женщина снисходительно улыбалась и молчала; на ее левом запястье красовался коралловый браслет, моя маленькая бабушка уже в люльке была больше похожа на Николая Сергеевича, чем на прадеда.

За свой первый и единственный визит к психотерапевту я отдала браслет из красных кораллов и любовника.

Он был на десять лет старше и с виду напоминал рыбу. Серые рыбьи глаза и серая, словно чешуя, кожа, он ничем не отличался от мертвой рыбы, целыми днями валялся на кровати, холодный и немой, всегда очень плохо себя чувствовал, ворочался и говорил, если вообще открывал рот, только одну фразу: “Я сам себе неинтересен”. Но разве об этом мне хочется рассказать?

Не знаю. Действительно не знаю.

Мой возлюбленный приходился Исааку Баруву правнуком, в его тонких жилах текла русско-немецкая кровь. Скрюченный человек всю жизнь оставался предан жене своего друга, но обвенчался с ее служанкой из Померании. Воспитал с ней семерых детей, которые, в свою очередь, подарили ему семерых внуков, у одного из них родился единственный правнук Исаака — мой любовник. Его родители утонули летом на море во время шторма, прабабушка наказала мне сходить на их похороны, несколько раз повторив, что бранденбургская земля примет последних свидетелей петербургского прошлого, а вместе с ними будут погребены и истории, о которых она больше не хотела говорить. Я пошла на похороны внука Исаака Барува и его жены, у могилы стоял мой будущий возлюбленный, по его лицу катились скупые слезы. Я взяла его холодную руку, а когда он направился домой, пошла с ним; думала утешить какой-нибудь петербургской историей, думала, он сам расскажет одну из них, по-своему.

Но молодой человек молчал. Он ничего не желал слушать и ничего не знал о зимнем утре 1905 года, когда моя прабабушка задержала от-

правление поезда, чтобы его прадед в последнюю секунду успел в него сесть. Несчастный юноша ворочался на постели и произносил, если вообще открывал рот, только одну фразу: "Я сам себе неинтересен". В комнате было холодно и пыльно, окна выходили на кладбище, откуда время от времени доносился похоронный звон. Из окна, если встать на цыпочки, открывался вид на свежевырытые могилы, букеты гвоздик и траурную процессию. Часто я сидела, поджав колени, на полу в углу комнаты и раздувала пылинки; удивительно, как можно потерять всякий интерес к себе. Я, к примеру, интересовалась только собой. Но продолжала изучать любовника, он продолжал изучать свое тело, словно это уже было тело покойника. Мы иногда занимались любовью, не скрывая испытываемого друг к другу отвращения, я кусала его соленые губы. Возникало незнакомое прежде ощущение собственной хрупкости и беззащитности. Я научилась перевоплощаться. Зеленоватые блики пробивались сквозь листву и падали перед окном, источая водянистый свет, как на море. Пылинки перемещались по комнате, словно водоросли или морской песок.

Молодой человек грустил. Не сдаваясь, я по-прежнему пыталась рассказать ему какую-нибудь короткую историю из жизни в России, но он с загадочным видом говорил, что все истории уже в прошлом и ничего слушать он не желает и что вообще не следует путать собственную жизнь с чужой. "А у тебя есть своя история?" — интересовалась я, в ответ слышалось скупое "Нет, у меня нет". Два раза в неделю возлюбленный посещал врача, психотерапевта. Мне не разрешалось его провожать. Человек-рыба отказывался что-либо объяснять и продолжал твердить одно и то же: "Я рассказываю врачу о себе. Вот и все", а когда я спрашивала, говорит ли он о том, что сам себе неинтересен, бросал на меня полный презрения взгляд и замолкал.

Возлюбленный молчал или произносил свою фразу, молчала и я, думая о психотерапевте, пыль въедалась в лицо так же, как в голые пятки. Представляла себя на приеме у врача, разглагольствующую о собственных проблемах. Даже в голову не приходило, как можно обсуждать с кем-то собственные проблемы. С тех пор как мы жили вместе, я уже давно не разговаривала по-настоящему. Я молчала, а любовник никогда не замечал меня и только твердил свою неизменную фразу. Случались мгновения, когда мне начинало казаться, будто весь язык состоит из четырех слов: "Я сам себе неинтересен".

Все чаще думала я о психотерапевте. О беседе в незнакомой комнате; мне нравилось это занятие. В свои двадцать лет я болталась без дела и носила на левом запястье браслет из красных кораллов. Зная историю прабабушки, мысленно путешествовала по темной, погруженной в сумерки квартире на Малом проспекте, прабабушкиными глазами видела Николая Сергеевича. Прошлое так тесно слилось со мной, что порой представлялось моей собственной жизнью. История прабабушки стала моей. Но как повернулась бы моя судьба без нее? Я не знала.

Шли дни, тихие, словно под толщей воды. В комнате возлюбленного под ногами кружилась пыль, я сидела, поджав колени и положив на них голову, рисовала указательным пальцем значки на сером полу, погруженная в свои мысли. Так, чудилось мне, проходили годы, унося нас прочь. Возможно ли передать это словами? Время от времени появлялась прабабушка, стучала в дверь своей костлявой рукой, кричала, что-

бы я вышла и проводила ее домой. Голос доносился издалека, пробиваясь через облака пыли, окутывавшие дверь. Я не двигалась и не отвечала, любовник лежал на кровати, уставив мертвый взгляд в потолок, и не шевелился. Старушка звала и пыталась выманить меня из комнаты ласковыми именами из детства — солнышко, ласточка, душечка, — твердо и настойчиво отбивала такт по двери, но стоило только надменно крикнуть: "Ты сама направила меня к нему, так что изволь теперь подождать до конца!", она уходила.

Было слышно, как удалялись шаги на лестнице, пришедшие в движение от стука пылинки постепенно успокаивались и собирались в плотную пушистую горку. Взгляд падал на любовника: "Ты по-прежнему не хочешь узнать историю кораллового браслета?"

С выражением муки на лице он поворачивался на кровати ко мне. Вытягивал серые руки и медленно растопыривал пальцы, при этом его серые рыбьи глаза вылезали из орбит. Звенящая тишина дрожала, как поверхность воды от брошенного в нее камня. Вытянув руку, я показывала возлюбленному красные кораллы на запястье, и его пластинка начинала крутиться: "Эти относятся к семейству известковых кораллов. Образуют подвид, некоторые экземпляры которого достигают одного метра, внутри них красный скелет из извести. Из извести".

Он шепелявил, говорил с трудом и неразборчиво, словно пьяный. "Они растут у берегов Сардинии и Сицилии. В Триполи, Тунисе и Алжире. Там, где голубое или бирюзовое море, теплое и очень глубокое, где можно плавать и нырять..." — добавлял любовник, потом отворачивался, тяжело вздыхая, упирался ногами в стену, делал несколько шагов и затихал.

Однажды я не выдержала:

— Мне нужно рассказать тебе кое-что, слышишь! Петербургскую историю, хочу поведать тебе старую петербургскую историю, чтобы научиться сбрасывать с себя груз прошлого.

— Ничего не желаю слышать, — отвечал возлюбленный.

— Тогда я поделюсь всем с твоим психотерапевтом.

Он поднялся в кровати, сделал такой глубокий вдох, что несколько пылинок исчезли во рту.

— Ты вообще ничего не расскажешь моему врачу, ступай к кому хочешь, но не к моему психотерапевту, — выпалил он, закашлялся и застучал по голой серой груди.

Смех душил меня, ведь возлюбленный никогда раньше не произносил столько слов на одном дыхании.

— Ты не будешь говорить с человеком, который все про меня знает, это исключено, — заявил он.

— Я и не думаю говорить о тебе, просто хочу приподнять завесу прошлого, а мое прошлое — это и твое прошлое.

Мы сцепились друг с другом как кошка с собакой. Он грозился бросить меня, хватал за волосы и тянул к себе, кусался и царапался. Ветер ворвался в комнату, распахнув окна, с кладбища раздался пронзительный похоронный звон, столб пыли поднялся вверх, словно мыльные пузыри, и потянулся в окно. Оттолкнув своего врага, я распахнула дверь. Тело вдруг стало тонким и хрупким; я услышала, как медленно опуска-

лись на пол пылинки; человек с серыми рыбьими глазами и серой, похожей на чешую, кожей как вкопанный замер возле кровати.

Психотерапевт, из-за которого я лишилась кораллового браслета и потеряла любимого, сидел в большой комнате за письменным столом. Комната действительно была просторная и почти пустая: стол, за ним врач и впереди маленький стул. На полу лежал мягкий темно-синий, цвета морской волны ковер. Когда я входила в кабинет, психотерапевт внимательно наблюдал за мной. С каждым шагом все более ощущалось то огромное расстояние между мной и стулом, которое предстояло преодолеть. При мысли о том, что именно на этом стуле сидел мой возлюбленный и рассказывал о себе — о чем именно? — стало немножко грустно. Я заняла свое место. Врач кивнул, я сделала то же самое и пристально посмотрела на него в ожидании начала, начала беседы, ответа на первый вопрос. Психотерапевт не сводил с меня глаз, пока я не опустила взгляд, но так ничего и не сказал. Воцарилось молчание. И это молчание что-то смутно напоминало. Стояла мертвая тишина. Где-то тикали невидимые часы, вокруг высокого дома завывал ветер, я смотрела на синий, как море, темно-синий кусок ковра между ботинками, нервно и смущенно теребила шелковую нить кораллового браслета. Врач вздохнул. Я подняла голову, он равномерно постукивал острием карандаша по полированной поверхности стола, я смущенно улыбнулась, он спросил: "Что вас беспокоит?"

Набрав воздуха, я подняла руки и снова опустила их, хотела сказать, что сама себе неинтересна, но передумала, ведь это неправда, ведь на самом-то деле я интересуюсь исключительно собственной персоной. А раз так, что тогда меня беспокоит? Ничего же, собственно, не произошло? Обычный смех без причины, просто усталость от тихой, безоблачной жизни, похожей на жизнь рыбы под водой. Наконец решилась сказать, что ношу в себе слишком много историй, усложняющих мне жизнь. В таком случае сидела бы дома — вовремя одумалась я и с облегчением вздохнула, лицо врача выражало удивление, его рот приоткрылся, я потянула за шелковую нить кораллового браслета, вдруг она порвалась, и все шестьсот семьдесят пять маленьких красных, как гнев, камешков во всем своем великолепии слетели с худой и хрупкой руки.

Я растерянно уставилась на запястье, оно было белое и голое. Перевела взгляд на врача, тот сидел откинувшись на своем стуле, карандаш лежал теперь параллельно кромке стола, руки покоились на коленях. Я закрыла лицо руками. Сползла со стула вниз на синий, как море, темно-синий ковер, шестьсот семьдесят пять бусинок разлетелись по всей комнате. Сверкали гневно как никогда, я ползала по полу на коленях и собирала камешки, они валялись под столом, под ногами психотерапевта, который едва пошевелился, когда я коснулась его ботинка, под столом было темно, но красные кораллы ярко пылали.

Я думала о Николае Сергеевиче, думала о том, что, если бы он не подарил коралловый браслет прабабушке, мой прадед не умер бы от выстрела в сердце. Думала о горбатом, скрюченном Исааке Баруве, о том, что, если бы прабабушка не задержала ради него поезд, он бы не уехал из России. Думала о любовнике, человеке-рыбе, о том, что если бы он хоть иногда разговаривал, я не ползала бы сейчас под письменным столом в

кабинете психотерапевта; я посмотрела на ноги врача, увидела сложенные на коленях руки, а почувствовав его запах, ударилась головой о крышку стола. Собрав красные кораллы, снова выбралась на свет и поползла дальше по комнате, поднимая бусинки правой рукой и перекладывая в левую, по моему лицу текли слезы. Стоя на коленях на мягком темно-синем ковре, я подняла глаза на психотерапевта, который сложа руки наблюдал за мной со своего места. В левой руке набралась уже целая горсть кораллов, но вокруг на полу все еще светились и вспыхивали красные камешки. Потребуется целая жизнь, чтобы поднять все кораллы, мелькнуло у меня в голове, но мне уже никогда не удастся этого сделать. Я встала. Врач наклонился вперед, взял со стола карандаш и сказал: "На сегодня сеанс закончен".

Пересыпая камешки из левой руки в правую, я прислушивалась к прекрасному, ласкающему ухо звуку, похожему на смешок. Вдруг моя рука поднялась, и кораллы полетели в лицо психотерапевту. Он увернулся. Красные бусины с шумом посыпались на стол, а вместе с ними весь Петербург, Большая и Малая Нева, прабабушка, Исаак Барув и Николай Сергеевич, бабушка в люльке и мой любовник, человек-рыба, Волга, Луга, Нарва, Черное море, Каспийское и Эгейское, Финский залив и Атлантический океан.

Воды мирового океана превратились в огромную зеленую волну, которая обрушилась на стол, вырвав психиатра из кресла, мгновенно поднялась еще выше и подбросила сам стол, на гребне волны еще раз показалось лицо врача, а потом исчезло, все бурлило и бушевало, поднимались и опускались волны, смывая за собой все истории, тишину, кораллы и увлекая обратно в морскую пучину, к ракушкам, на самое дно. Я перевела дух.

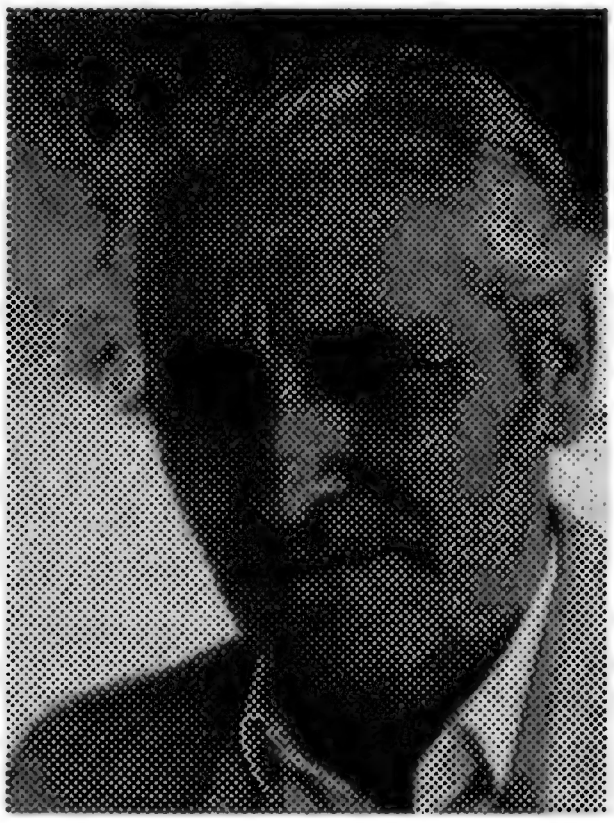
В последний раз пошла взглянуть на любовника. Я знала, человек-рыба уже плавает вверх бледным животом на мокрой от воды постели. Свет был такой тусклый, как на дне моря, пылинки запутались в его волосах и едва заметно дрожали.

— Тебе известно, что кораллы чернеют, если слишком долго лежат на дне? — заметила я. Но эту ли историю мне хотелось рассказать?

Но возлюбленный уже ничего не слышал.

Перевод А. Кацуры

Шандор Каняди



Стихи из книги "По деревьям кто-то бредет неспешно"

Перевод с венгерского Натэллы Горской

Венгерский поэт Шандор Каняди, лауреат престижных премий — Т. Дери [1988], Л. Кошута [1993], Гердера [1995], "Венгерское наследство" [1998], уже гостил, даже дважды, на страницах "Иностранной литературы"[1]. Но и после второй его публикации минуло почти десять лет. Прекрасный цикл его стихотворений "Есть край такой...", переведенный Натэллой Горской и Татьяной Бек, запомнился необыкновенной емкостью мысли, чувства, сопричастностью поэта радостям и горестям сегодняшнего мира. Конечно, это стихи о родине, прежде всего своей, но как-то так получается, что не только своей. Он знает по собственному опыту, что любимая земля, где покоятся кости предков, бывает не только обожаемой матерью, но и злобной мачехой. Да и как ему этого не знать: ведь он румынский венгерский поэт и большая часть его жизни прошла в стране, где десятилетиями камарилья Чаушеску вела упорную борьбу с собственным многонациональным народом — венграми и сербами, евреями и немцами, цыганами и армянами, с инакомыслящими румынами. А нерумынам не требовалось даже инакомыслия, чтобы стать неугодными, достаточно было просто хранить любовь к своему национальному языку, помнить свою культуру, историю. Постепенно страну покинули — почти все — немцы, евреи. Люди разных национальностей (в том числе и румыны), те, кто мог, с риском для жизни уходили в другие края, пробираясь через плотно замкнутые границы.

Самое острое положение сложилось в Трансильвании, земле, где издавна жили венгры. Венгерское название этого горного лесистого края Эрдей (венгерское слово Erdely происходит от erdö — "лес") зафиксировано в словарях с середины XII века. Многие поколения венгров здесь жили и умирали, многие известные

© Kányádi Sándor, 1997
© Е. Малыхина. Вступление, 2000

1. См. "ИЛ", 1980, № 10 и 1991, № 6.

всему миру венгерские ученые, писатели родом были отсюда, главный город этого региона Коложвар (Клуж) в течение нескольких столетий являлся важным центром, сыгравшим большую роль в развитии венгерской культуры. Но во второй половине XX века в Румынии Чаушеску венгры стали изгоями (которых тем не менее при этом не выпускали из страны): был закрыт венгерский университет, резко сократилось количество школ с преподаванием на венгерском языке, власти правдами и неправдами настаивали на том, чтобы новорожденным венграм давали румынские имена, а румынских женщин, проживавших в других частях Румынии уговаривали рожать в Трансильвании (где коренных венгров было два миллиона), чтобы тем самым формально увеличить процент чисто румынского населения. Обо всем этом подробно и точно было рассказано в упомянутой выше десятилетней давности публикации журнала, но и сегодня, возвращаясь в этой небольшой подборке стихотворений к творчеству Шандора Каняди, нельзя не обрисовать, хотя бы контурно, трагедию целого народа, ибо именно на ее фоне сложился особый строй души этого поэта — открытого миру и навсегда в него влюбленного печальника своей родной земли.

Последние годы Шандор Каняди подолгу живет в Будапеште. За его спиной огромный творческий путь. Помимо стихов он писал и пьесы. Одна из них — "Трагедия на два действующих лица" — это маленький шедевр, с поразительной силой передающий атмосферу страха и человеческого бесправия, в которой задыхались люди в "коммунистической" Румынии. (Пьеса существует в русском переводе, хотя и не издана). Каняди много переводит. Его интерес к поэтическому вкладу других народов глубоко искренен, он убежден, что в этой области нет и не может быть национальных преград. Не случайно так много места в его переводческой деятельности занимает румынская поэзия. В 1999 году будапештское издательство "Венгерский клуб" выпустило солидный том его переводов "Кружевной букет на закате", щедро знакомящих венгерского читателя с поэзией многих стран мира, классической и современной. Слова о его "открытости миру" отнюдь не пустая фраза. В этом поистине многоцветном букете немало имен и наших соотечественников. Как бы хотелось увидеть книгу самого Каняди — на русском языке! И когда-нибудь это будет.

Е. Малыхина

По деревьям кто-то бредет неспешно

по деревьям кто-то бредет неспешно
зажигает и гасит твою звезду
бесстрашен лишь тот чья надежда
ушла от него на беду

надежда со мной значит страх мне ведом
милосерднейший сторож мой
он шагает за мною следом
по дороге моей земной

по деревьям кто-то бредет неспешно
но если в бездну я упаду
зажжет ли он снова во тьме кромешной
от огня моего звезду

© Н. Горская. Перевод, 2000

или стану я жалкой крупицей
поглощенной вселенской тьмой
и душа моя не совместится
с народившейся вновь звездой

по деревьям кто-то бредет неспешно
повсюду господь во всех мелочах
говорят его сущность — надежда
говорят его сущность — страх

Непрерывность

здесь было капище или христианский храм
где богу воскуряли фимиам
об этом говорят руины стен
что мхом всесильным взяты в плен

средь трав разросшихся ковром
в тиши пасутся здесь кустов стада
но ты поймешь найдя тропу сюда
что бог по-прежнему в дому своем

Урок истории

суть истории растолковать
я попытался камням
но они молчали

обратился я к деревам
но ветвями они качали

сад я хотел обучить
а он улыбнулся слегка

и сказал: из четырех частей
история состоит
это весна и лето
осень потом и зима

ныне зима близка

Из детства явившись вновь

из детства явившись вновь
караван шатров возникает порой
в копоти и дыму
из детства явившись вновь
говорят коварны эти шатры
протянется вдруг рука

и схватит кого-нибудь
из глазеющей детворы
был случай такой говорят
когда одному мальцу
щипцы раскалив докрасна
вырвали прочь язык
превратили беднягу в цепного пса
под телегу швырнули его
чтобы он впредь не смел
показывать им язык
и еще говорят
они никуда не ушли
с той давней поры
за околицей где-то
раскинулись их шатры
и они ввечеру
затевают свою игру
из грязных мешков
выпускают на волю ночь

Присяга по приказу

клянемся кровь пролить
и лечь костьми
клянемся кровь пролить
и лечь костьми
все как один
все как один

мы взрослые давно
а нам бы все играть
в солдатиков
играть
и вот уж хлещет кровь
взаправду хлещет кровь
и мертвецы
взаправду мертвецы

Книжная закладка
(против неофашизма)

когда костер исходит черным чадом
я не могу дышать отравлен смрадом
и кажется в то время мне
не книги — плоть моя в огне
и снова начинается охота
а вдруг в твоем дому осталось что-то
осталась книга редкий зверь
в полночный час стучатся в дверь

подобно крысам возалкавшим пищи
опустошают полки ищут рыщут
найдут — ты вместе с книгой обречен
в наручники тебя таков закон
а иногда украдкой кажут фигу
еще неизданную книгу
не потрудившись указать причину
сожрут как ворон мертвечину
под нож ее в помойный бак
а иногда бывает так
проходят месяцы а почты нет
рискнешь пойти узнать ответ
редактор как пилат умоет руки
иль пальцем ткнет зевнув от скуки
здесь слабовато плохо тут
мол забери назад свой труд
и ты униженный как вор
испивший до конца позор
выносишь в затхлый коридор
истерзанную вдрызг мечту
и в липком гадостном поту
дрожащею рукой не видя света
зажжешь с конца другого сигарету
и горечь жизни обожжет
сведенный судорогой рот

Мечтатель

Силой мечты я город воздвиг,
и возник он в единый миг.

Силой мечты дорогу простер -
пусть ведет меня на простор.

И еще намечтал я свет
и окошко — свету вослед.

Захочу — окно распахну,
на вешнее небо взгляну.

Значит, есть у меня окно,
и жилье мне мечтой дано.

У меня и скатёрка есть:
расстелю — и могу поесть.

Хватит с тебя — мне говорят.
Мне бы ответить: о да, я рад,

но — покачав головой — молчу.
Я, мечтатель, мечтать хочу.

Несостоявшаяся встреча с Яношем Пилински

с тобою встретиться стремясь
я по твоей строке взобрался ввысь
как по трапеции гимнаст
и вдруг увидел чем ты занят
чрез долгих два тысячелетья
прошедших после искупленья
ты тщился размотать клубок противоречий
и замер я благоговейно
и вновь спустился на арену

Уходя

предметы дальние я вижу четко
а близких мелочей не разгляжу
чтоб буквы разобрать я книгу
как можно дальше от себя держу

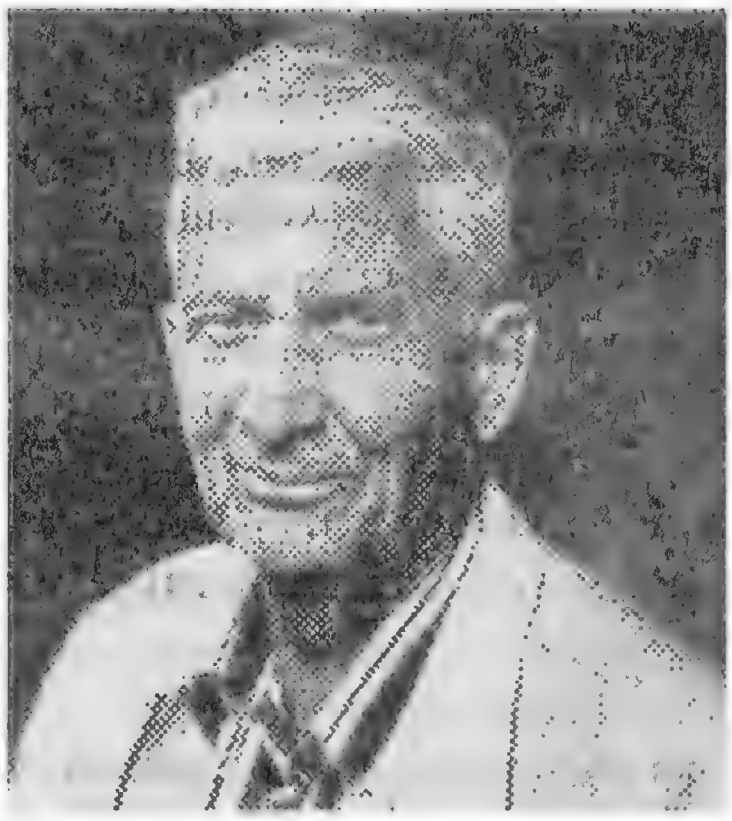
но вот уже и даль туманной стала
с небесной синевой слилась гора
и от себя теперь я отстраняю
все то чем дорожил вчера

я иногда пытаюсь осмотреться
а горизонт то вверх то вниз плывет
я раздарю оставшиеся крохи
быть может кто-то их себе возьмет

нельзя оглядываться на любимых
им жить по разуменью своему
я уходя на дерево повешу
мою опустошенную суму

[26]
ИЛ 11/2000

Пер Улов Энквист



Пятая зима магнетизера

Роман

Перевод с шведского Ю. Яхниной

Опровергая всеми возможными возражениями легко доказуемую ложь в моем рассказе, Вы пытались представить меня обманщиком и заявили, что во всем мною изложенном нет ни слова правды. И однако я заклинаю Вас: верьте мне. Сойдите с пути недоверия, на который Вы вступили. Прошу Вас — просто поверьте мне.

Из письма Фридриха Мейснера графу Хансу фон Штехау
Вена. 5 августа 1794 года

1

ВЕЛИКИЙ Парацельс где-то писал о боли, которая присуща абсолютному покою: человека долгое время принуждали неподвижно лежать в мягкой постели. Мягкость вначале казалась очень мягкой, потом — все менее и менее мягкой. Великий Парацельс указывал, что боль причинял покой, а не постель. "Боль поражает нас в наказание за нашу неподвижность"; он помнил фразу почти дословно, но не помнил, откуда она.

Великому Парацельсу, думал он, в попытке ползком, извиваясь всем телом, обнаружить под собой то, что можно было бы назвать "плоскостью", великому Парацельсу наверняка не приходилось обитать в неще-

© Per Olov Enquist 1964
© Ю. Яхнина. Перевод, 2000

Журнальный вариант. Полностью роман будет опубликован в Библиотеке журнала "Иностранная литература".

ре с таким вот полом. А то бы он знал, что постель тоже может причинять боль.

"Великий". Насчет покоя он все понимал, и насчет движения тоже. Я тоже в этом понимаю, думал он. Покой — это усталость и боль.

Шершавая одежда царапала кожу. Неподходящая одежда, думал он. Предназначенная для другой жизни. Я в Париже, думал он, иду по улицам, и прохожие оборачиваются мне вслед. Эта одежда хороша для Парижа. Для сцены. Где я один, только я, болезнь и магнит. А вокруг — бледные лица, музыка и сила.

А это, думал он, интермеццо. Я почерпну из него новый опыт, это интермеццо. Я не дам себя растоптать.

После процесса в Париже, думал он, в ту, третью зиму, было тяжелее. Воспрянуть — это дело привычки, волевое усилие. А падение происходит само собой.

Он лежал, ввергнутый во тьму пещеры, все еще тревожно сознавая, чте произошло, все еще не успокоясь. Пещера была узкой и глубокой; он лежал в трех метрах от входа, и отверстие виделось ему зубчатым куском темной ткани, который понемногу стал светлеть, сделался темно-серым, потом светло-серым, слоисто-серым, серым с вкраплениями синевы, дымчато-серым, дымчато-голубым — потом синева утвердилась прочно, прогнав все остальное. К тому времени солнце поднялось уже так высоко, что освещало только крошечную часть пола.

Он медленно и осторожно подполз к отверстию, поглядел со скалистого склона вниз. И увидел их.

Их было очень много, целых шестеро, в серых остроконечных шапках, которые вначале показались ему смешными, но потом он перестал видеть в них смешное, пришлось перестать. Они стояли полукругом, похожие, ну, может, не на муравьев (не стоило сравнивать их с муравьями, ведь обрыв был высотой не более тридцати метров), но на маленьких кукол, да, пожалуй, на средней величины кукол в сером. Но это не куклы, вяло подумал он. Так или иначе, они меня нашли. Они не отступились.

Один из них показал на край обрыва и крикнул, без слов, — просто короткий, азартный возглас, и означал он, что беглец пойман.

Он придерживался руками за край скалы. Люди внизу не двигались. Странное положение, быстро подумал он. Все мои учителя, чьи труды мне когда-то надлежало усвоить, даже Антон де Хаэн, которого я никогда не видел (но читал), все назвали бы это положение странным и недостойным. Но сейчас их точка зрения мало что значит.

Он еще раз взглянул на свои руки, подумал: что бы там ни было, сила их велика. Он втянул свое тело на метр вглубь пещеры и подумал: другим в моем положении пришлось бы хуже. Тело у меня крепкое. По одному я бы с ними справился.

Но их шестеро.

Великий Парацельс, снова подумал он, посчитал бы, что я погиб. Но когда ты попал в положение, которое можно считать гиблым, выбора у тебя нет. И ты должен выбрать не погибель, а нечто иное. Ты должен выбрать хитрость и ум, подумал он, обратив свое широкоскулое сильное лицо к своду пещеры, потому что выбора у тебя нет.

Великий Парацельс при всей своей гениальности был слишком прямолинейным, иронически подумал он. А у меня нет возможности быть последовательным. Я выбираю изворотливость.

Мейснер, кричали они ему. Под этим именем он стяжал себе славу в Вене, в Париже и на половине швейцарских земель; но теперь он находился в другом мире, далеко от Вены, которую почти не помнил. После процесса той, четвертой зимой он почти перестал считать себя венцем; люди смеялись над ним, потому что говорил он не как венец, и тогда он решил, что разумнее перестать называть себя венцем, — он предпочитал быть разумным.

Теперь тот, что указывал на него рукой, вновь выкрикнул его имя, и когда крик отскочил от скалистой стены, полукружие внизу уже распалось.

Они двинулись к нему.

Они карабкались по скалистому склону, медленно, но неуклонно. Он лежал, высунув голову наружу, нижняя часть тела покоилась на узком выступе внутри пещеры, который шел под углом к отверстию, но втянуть голову под пещерный свод сил не было. Его охватила вдруг страшная усталость.

Многие из тех, кто пытался вынести суждение о деятельности Мейснера, обходили молчанием лето 1793 года. То, что случилось тогда, окутано мраком — обычно считалось, что это мучительный и совершенно несущественный эпизод в его жизни. Попытки восполнить этот пробел чаще всего позднее опровергались как измышления врагов Мейснера.

Прежде всего это касается именно эпизода у пещеры. Долгое время считалось, что его вписывают в биографию Мейснера по ошибке из-за злополучного сходства с именем другого человека. Но в письме из Зеефонда, датированном 1793 годом, Мейснер сам пишет Андре Хендриксу: "Недавно я избежал большой опасности, которая могла стать причиной моей безвременной смерти. Недоразумение загнало меня в пещеру, где я провел много дней, а мои враги тем временем окружили мое убежище. По счастью, мне удалось вырваться из сетей злодеев". В этом же письме он характеризует лето 1793 года как "мои гастроли среди свиней".

Многое из того, о чем Мейснер рассказывал позднее, и в первую очередь Клаусу Зелингеру, зеефондскому врачу, утверждая, будто вычитал это в книгах, которые изучал, он, скорее всего, видел или пережил сам. По мере того как он рассказывал, с ним зачастую происходила удивительная метаморфоза: веселая вначале интонация, искрометный юмор, легкая ирония — все постепенно исчезало, и повествование окрашивалось отвращением и горечью. В одном из рассказов речь шла об обманщике, которого убили. Его схватили в трактире, посадили под арест, но ночью он сбежал. Спустя некоторое время его нашли под мостом, в совершенной апатии: он боялся преследователей, боялся смерти. Его связали и стали колоть ножами, пока он не умер. "Его тело, — с внезапной жесткостью заявил Мейснер, — стало похоже на тушу овцы, которая сдохла от болезни и ее сделали мишенью для метания ножей".

Прелюдией к той зиме было лето 1793 года.

Тем летом Мейснер, магнетизер, когда-то с успехом подвизавшийся при дворе императрицы, бродил по деревням. Его встречали с почтени-

ем, хотя многие относились к нему с недоверием и страхом. Он лечил животных и держался отчужденно. Никто не спрашивал, откуда он явился. Он был выше среднего роста, крепкого телосложения, и выражение его лица не располагало к доверительным разговорам.

Многочисленные свидетельства, которые касаются Мейснера и стали нам теперь доступны, в этом отношении единодушны. Он умел внушать к себе почтение. В нем было то, что обычно называют значительностью.

Четвертый процесс против него, который состоялся после зимы, проведенной в Нюрнберге, хотя он ничем не завершился, очень показателен. Имя Мейснера упоминают с почтением.

О времени, которое настало вслед за этим, о "гастролях среди свиней", известно немногое. Большей частью это догадки.

История здесь, несомненно, переводит дыхание. После этого обрыва, осенью, все опять проясняется. Тут начинается пятая зима.

Последнюю часть пути сюда он проделал ползком и тут наверху увидел пещеру. Он приподнялся, ухватился за камень, который показался ему устойчивым и надежным. Опираясь на него, он взобрался наверх и вполз в пещеру. Потом, смертельно усталый, скатился в ее темную глубину, и все сгинуло.

Но и во тьме его продолжали преследовать сновидения. Ему снились базарные дни, когда он мальчонкой сидел на коленях у матери, поглядывая на толпу, пока они ждали отца. Мать показала на что-то и сказала: "Посмотри! Видишь, что они делают!" Потом вернулся отец, и они покатили домой, но он все время помнил, *что* они делали, и теперь это возвращалось к нему во сне.

Тут он проснулся. В спину ему вонзались тысячи острых камней, он смотрел вверх и стонал; но ночь миновала, и он был жив. Он посмотрел на жерло пещеры: да, похоже на серый кусок ткани с неровными краями. Серый, светло-серый. Тогда-то он и услышал голоса.

Он снова осторожно высунул голову и посмотрел вниз. Скалистый склон был почти гладким, но он ясно видел путь, которым вскарабкался сюда сам: узкий петляющий выступ, на котором может уместиться только один человек. Когда я взбирался сюда, было почти совсем темно, подумал он. Я потому и не боялся, что было темно. А теперь он явственно видел пропасть, тридцать метров отвесной крути, никаких ступеней, отвесная стена до самой земли, поросшей кустарником. Может, кустарником, а может, и низкорослыми деревьями — сверху не разглядеть.

Но своих преследователей он видел.

Они одолели уже довольно большой отрезок пути.

Впереди, намного выше остальных, карабкались двое. Они осторожно, один за другим, пробирались вперед, прижимаясь к скале, теперь они были уже побольше кукол. Разглядел Мейснер и другое: на животе первого из них болтался нож. Не поблескивал, не угрожал, нет — просто висел. Мейснер знал, зачем он им нужен.

Он окинул взглядом свою одежду — он уже давно не носил оружия. Единственным его оружием был член, который три дня назад он вогнал в ту девчонку. Но этот нож был мягким и округлым, и девчонка не кричала, только, зажмурившись, ждала, что он станет делать. Спокойно дышала ему в ухо и не мешала продолжать.

Стоило ему вспомнить о ней, и его захлестывал гнев: тот нож приходился ей по вкусу, пока был у нее внутри, зато потом показался острым и неприятным; это из-за девчонки все пошло прахом.

Он не знал, что и кому она сказала, но в его комнату ворвались двое мужчин, обозвали его насильником и свиноубийцей. Потом заломили ему руки, а тут вошел третий и с размаху вытянул его ремнем по подбородку. Но Мейснер вырвался от них, один из мужчин рухнул прямо на стол, и воцарилась мертвая тишина.

Так все началось.

А теперь они здесь.

Они были уже в десяти метрах, он слышал, как они пыхтят, увидел лицо первого из них. За ним — другое, искаженное, потное; на несколько секунд оба преследователя замерли, ожидая, что произойдет.

"Первым должен быть я, — подумал Мейснер. — Я должен их опередить, а потом будь что будет".

Он отполз назад, к пещере, скользнул рукой по камням, нашел наконец то, что искал. Сжал камень в руке, подумал: "Пора".

В 1773 году в Любеке двадцатипятилетний мужчина по имени Фридрих Мейснер был обвинен в обмане: он занимался врачебной практикой, не получив на то разрешения городских властей. В течение той зимы он сделал несколько привлекших к себе внимание (а в некоторых случаях и успешных) попыток врачевать больных изобретенным им самим методом, который называли совершенно новым.

После краткого судебного разбирательства он был оправдан. Материалы процесса в настоящее время недоступны. Но то, что процесс имел место и Фридрих Мейснер в то время находился в Любеке, нам известно из письма, адресованного французскому дипломату Анри Куадону, пребывавшему в ту пору в Любеке.

Письмо представляет собой шутливое пояснение к другому, написанному ранее письму, в котором рассказывалось о процессе. Некоторые фразы в этом втором письме можно толковать по-разному: из них нельзя понять, дошло ли дело до суда. Возможно, против Мейснера просто выдвинули разрозненные обвинения, которые мало-помалу удалось опровергнуть, не прибегая к формальному судопроизводству.

Он увидел мельком, как первый из двух преследователей в перепуге отпрянул, но опоздал. Камень, который был не так уж велик, ударил мужчину по руке, отскочил к его плечу или шее — Мейснер в точности не видел, да это и не играло особой роли. Человек упал, его лицо исчезло.

Крик был тонким и жалобным — трудно было представить, что его издал тот, кто вышел на охоту. Он был очень тонким, невыносимо тонким и тотчас смолк.

Скорчившееся тело лежало глубоко внизу, и всем было ясно: оно уже никогда не шевельнется.

Мейснер перевалился на спину и беззвучно рассмеялся, уставившись взглядом в каменный свод. Заверещал как сорока, когда падал, подумал Мейснер. И еще: Меня называют лекарем.

Потом он опомнился и посмотрел вниз: что стало с другими преследователями? Мог и не смотреть. Скалистый склон опустел. Далеко внизу, метрах, должно быть, в тридцати, он увидел торопливо спускающиеся фигуры. Но вообще склон опустел.

Было, наверное, около трех часов пополудни.

Когда солнце исчезло, он начал мечтать, чтобы время текло медленней; но зато он остался в потемках. То, что недавно случилось, он уже вычеркнул из памяти.

Моя сила направлена не только на других, думал он. Я и сам могу ею воспользоваться. И это не значит, что я ее предаю. Это значит — выжить. У силы нет памяти. Она всегда направлена на определенную цель — на то, что незыблемо внутри нас. Сила переживет все, она будет жить в нашем флюиде. Она гибка и изворотлива, она выжила во мне. Она пережила четыре процесса, подумал он. Целых четыре! Я прикасался к людям и помогал им воспрянуть, и они видели лишь сотканную мной паутину.

И все они какое-то время были счастливы.

Правда, четвертый процесс больно по нему ударил; дело было весной 1793 года. Четвертый процесс и вверг его во всю эту историю.

Скорчившись, Мейснер уткнулся головой в согнутые руки — он старался отогнать все неприятное, причинявшее боль. Старался сосредоточиться на тех воспоминаниях, что были отрадными и приятными, на событиях, к которым он не раз возвращался мыслью и знал — это ему на пользу.

И теперь он решил вспомнить первое время после четвертой зимы — вступление, забавное, счастливое время.

Во-первых, тот раз, когда он в шутку вызвал дождь. Он был в пути после процесса, без денег, облаченный в одно лишь собственное достоинство. Он сидел в какой-то харчевне, а вокруг десяток болванов-крестьян. Они угостили его пивом, ведь он был иностранец и благороднее их — может, расскажет им что-нибудь о том, что знают лишь люди знатные, но о чем они обыкновенно помалкивают и выболтать могут, лишь когда напьются; и Мейснера напоили. Вот тут он и ляпнул, что, мол, знает все про землепашество — пусть не воображают, что ему не сладить с таким простым делом. А они сидели вокруг, груболицые, хмурые, и говорили — засуха, с засухой никому не сладить. А он засмеялся громким смехом, и смеялся долго, чтобы успеть подумать, и сам знал при этом, что лицо у него красное и он пьян. Засуха тьфу, сказал он, плевое дело: стоит ему щелкнуть пальцами, и пойдет дождь.

Они сидели все такие же серьезные, хмурые, заказали еще пива и сказали: Ну так щелкни, щелкни же!

И он щелкнул, и случилось чудо.

Начался дождь. Сначала они сидели тихо и не хотели верить, но по крыше и вправду забарабанило — обмануться они не могли. Один из них вышел на улицу. Когда он открыл дверь, все посмотрели на площадь перед трактиром и увидели: сухая пыль на земле взбита, она стала влажной и вот-вот превратится в глину. Сомнений не оставалось. То был дождь.

Тогда они уставились на него так, словно никогда до этой минуты не видели. Он был взволнован, но счастлив и чувствовал свою значительность, хотя как-то по новому, не так, как перед чаном. Он отказался от пива, которое ему предлагали, поднялся в свою комнату и лег. Они смотрели ему вслед, словно он был персоной, был кем-то важным. Десяток пьяных крестьян, думал он, короткий ливень, и после минувшей зимы этого довольно, чтобы меня осчастливить...

Так это началось, с короткого ливня. Но на другой день, когда они снова попросили у него вызвать дождь, он сказал, что больше этого делать не станет, он не хочет бросать вызов Богу. А разве Богу угодно лишить их хлеба и жизни? — спросили они, а он ответил, что это забота не его, а Господа Бога. Но зато он может лечить скот, вырвалось у него, если ему дадут задаток. Бог ведь может порой оказаться сильнее меня, подумалось ему.

И тут вдруг они с внезапным страхом осознали, что он, Фридрих Мейснер, который держит путь из Нюрнберга к югу, наделен особым Даром, потому что видно: он может состязаться с Богом.

Он предоставил им сделать выбор между ним и Богом, и поскольку Господь Бог явно предпочитал дохлых свиней живым, выбрать оказалось легко. Они сунули ему свои вонючие деньги и старались уверить себя, что Господь позабудет, как в борьбе за свиней они сделали дурной выбор. Мейснер ободряюще им улыбнулся и заявил, что едва ли они рискуют. Два дня он прожил среди них, пророча, что лошадь, которую он погладил по животу, через пять дней перестанет срыгивать непереваренное сено, и он похлопывал по крупу свиней, приговаривая, что они вместе с Господом Богом определили животине долгую жизнь. Крестьяне верили ему и почтительно кланялись, когда он проходил мимо; два дня провел он среди них. Это была отрава, хмель, суррогат того, что он испытывал перед чаном.

Но деньги он получил. Свинячьи деньги, думал он. Не те деньги, что я получал от людей, которых врачевал, которые поверили в меня и вылечились, это свинячьи деньги. Лошадиные деньги. Деньги, которые не пахнут, хотя эти-то как раз пахли.

Великий Парацельс, думал он, прожил свою высокодостойную, исполненную подвигов жизнь слишком однообразно. А ему надо было бы испытать взлеты и падения.

Мейснер считал подвигом, что сумел выжить после всех испытаний. Скала врезалась ему в спину, и это тоже было частью подвига. Я подарил им чудо. Я начал с того, что щелкнул пальцами. И перед их лицами словно опустилась пелена, покрывало, завеса. Они уже не видели, как выглядит реальный мир. Они видели только собственную веру.

Таково было начало, конец был другим. Мейснер старался оттянуть его как можно дольше, но он все-таки настал.

Он не думал, что завершение может стать именно таким; на всем, что он делал до сих пор, лежал отпечаток благопристойности. Все его прежние враги держались учтиво, даже в неудачах к нему не прилипло ни пятнышка грязи. А тут он стал у церкви, держа в руках серебряную шкатулку, в ней лежало пятьдесят волосков святого Василия, которые случайно пополнились (а может, были заменены) прядью волос самого Мейснера. Серебряную шкатулку он получил от счастливого отца, когда у того и в самом деле родился сын, как обещал Мейснер (в тот раз он сильно рисковал и очень беспокоился, но получил-таки свою награду), и теперь в ней лежали торчащие во все стороны волоски. Прихожане, стекавшиеся в церковь, с любопытством вытягивали шеи, но он отстранял их величественным движением. Святыне вреден мужицкий дух, говорил он. И местные жители, одетые богаче его, стояли и смотрели на его густые, темные, ровно подстриженные волосы, ниспадавшие до воротника его кафтана, встречали его жесткий, пронзительный взгляд и верили ему. Верили.

В тот самый день он и заговорил с ней, с девчонкой. А еще через два дня, когда он за хорошие деньги проделал дополнительный фокус — вылечил пять свиней, — девчонка оказалась под ним. Он покрыл ее, как покрывают корову, равнодушную, жующую жвачку корову. И она не проронила ни слова — открыла рот только потом.

Да, когда, спокойно приводя в порядок свою одежду, он поглядел на нее с презрительной улыбкой, на ее лице появилось вдруг злобное выражение, и она стала на него кричать. Потом он понял, что это было из-за его улыбки. И крик ее разорвал сотканную им для этих тупоумных мужланов паутину лжи, чтобы им было чему поклоняться и чему верить; девчонка разорвала паутину, и плащ чудодея спал с его плеч. И он предстал перед ними обманщиком, тем, кого надо разоблачить, покарать и убить.

"Доверие, какое я к себе внушал, бывало порой чрезмерным, — писал Мейснер в одном из писем. — А это тяжкое бремя".

Тело внизу исчезло. Теперь Мейснер видел только человека, который в одиночестве сидел на камне посреди ущелья. Он сидел неподвижно, устремив взгляд на вход в пещеру. Как сторожевой пес, спокойный, но полный решимости, сидел он там, скрытый тенью скалы напротив, но все же хорошо видный тому, кто прятался в пещере.

Мейснер облизал губы и понял: ожидание будет долгим. Они хотят взять меня измором, подумал он. Они больше не станут карабкаться по склону. Они станут ждать.

И полыхающим подтверждением его мысли в глубине ущелья вспыхнул огонь, почти невидимый из пещеры: огонь, жаркий, манящий огонь. Защита от холода, защита от мрака. Он подмигивал пещере своим разгорающимся оком, дружелюбно, насмешливо, словно его полыхающий световой сигнал был вестником самой жизни. С неподвижным лицом, почти свесившись над пропастью, наблюдал Мейснер эту сцену: как встретились и слились воедино мрак и огонь.

Веревкой его не связали, но в недрах усталости и сна его связывала боль, он застонал.

Огнем его уже пытали, а теперь они вновь отделились от черных стен пещеры и начали его бить. Ожоги покрывали все его тело, но больше всего болели плечи. Спина саднила тоже, и ему казалось, окинув взглядом его лицо, они засмеялись и сказали: "Теперь ты узнал, вызыватель дождя, теперь ты узнал, каково под огненным дождем". Он бормотал, пытаясь объяснить, что он сделал это не ради себя, а ради них, но они не поверили. Они снова стали его бить. "Деньги! — требовали они. — Деньги, которые мы добывали в поте лица для своих детей, а ты отобрал и пропил в бардаке! Ах ты чертов сын, — говорили они. — Захотел померяться силами с самим Господом Богом!"

Потом все фигуры слились в одну; и эта тощая фигура в черном схватила его за волосы и, подтащив к отверстию пещеры, показала на ущелье, которое стало вдруг прекрасной, плодородной долиной, распахнувшейся так широко, что ему почудилось, будто он видит край земли.

— Вот что ты получил в удел, — шепнул человек в черном. — Вот что я показал тебе когда-то. Когда ты был моложе.

Потом они вернулись, и под градом ударов он со стоном повернулся на бок. И тут на его ладонь капнула вода, и, дернувшись, он проснулся.

Была кромешная тьма. Спина болела, он продрог и понял, что идет дождь. Сейчас ночь, и полил дождь, вяло подумал он. Дождь поливает их. И тут он подумал о тех, внизу, высунулся из пещеры, почувствовал затылком струи ливня, попытался что-нибудь разглядеть, но не смог. Огонь внизу уже не горел. Дождь затопил все звуки, весь жар.

Им тоже холодно, удовлетворенно подумал он. Огонь погас, они злятся, им холодно. Он улыбнулся в потемках, спокойно, безмятежно, сознавая, что дождь помогает ему, а им служит помехой. Потом он взял флягу и наполнил ее водой, которая собралась в расселинах у входа в пещеру. Потом осторожно выпил: вода была скверная, но все же вода. Потом он лежал, глядя в небо, которое лишь угадывалось черным туманом где-то над дождем, и спокойно пил воду, подставляя тело ровной завесе дождя.

К утру дождь перестал. Он зябнул, но жажда его больше не мучила. Косой луч солнца ворвался в пещеру — сидя на спокойной, теплой, залитой солнцем просеке, он безмятежно уснул. Если бы они пришли теперь, он бы их не услышал. Но они не пришли. Проснувшись, он подумал об этом, но лишь мимолетно, не встревожившись всерьез.

Он выглянул в отверстие и увидел, что часовой сидит на том же месте; неутомимый сторожевой пес, косящийся на отверстие пещеры.

Они не сдадутся, подумал он. Теперь ни за что не сдадутся...

На другой день в пещеру влетел голубь. Мейснер уже раньше обратил внимание на следы голубиного помета, так что не был застигнут врасплох. На несколько секунд оба замерли, каждый на своем месте, напряженно глядя друг на друга. Потом голубь попытался вспорхнуть, но опоздал. Схватив его, Мейснер почувствовал, как хрустнуло крыло. Точно хрустнул сломанный человечий палец, подумал Мейснер позднее.

Они проделают со мной то же самое.

Все до конца.

Голубь был жирный, мясистый. Придется съесть его сырым, что ж, ничего не поделаешь. Если надо, думал он, медленно ощипывая птицу, — значит надо. Если выбирать не из чего, все становится простым.

Вначале его вырвало, но только вначале. Я должен сдержать рвоту, подумал он и стал есть маленькими кусочками, запивая водой. И съеденное удержалось в желудке, потому что должно было удержаться. "Или голубь, или те, что внизу," — сказал он вполголоса, пряча тушку в углу между двумя камнями в надежде уберечь ее от мух.

Это даст мне неделю жизни. Может, больше и не понадобится.

Вода в расселинах высохла, голубь кончился, остались одни перья. День за днем сидел он, почти скрытый от чужих глаз сумраком пещеры, глядел, как сменялись внизу часовые, как приходило подкрепление с едой, как они строили укрытие от ветра и зажигали костры. Тяжелее всего было выносить свет костров: каждый вечер, увидев первый полыхнувший огонь, он старался забиться поглубже в пещеру. Огонь и жар казались хитроумным оружием, которое, дотягиваясь до него, жалило и ранило почти смертельно.

Он уже давно не мылся.

Однажды вечером или, вернее, ночью они попытались до него добраться. Но Мейснеру повезло. Именно той ночью ему не спалось. Он ворочался на камнях и вдруг услышал, как пыхтят, карабкаясь вверх, те,

кто за ним охотился. Они подбирались все ближе и ближе, и он вдруг стряхнул с себя сонливость и совершенно овладел собой. Притаившись на четвереньках за скалистым выступом, он ждал их, от напряжения став проворным и хладнокровным, и в нужную минуту стал действовать быстро и успешно: еще один с криком сорвался с уступа. Но этот продолжал кричать и тогда, когда перестал падать, — крик не смолкал всю ночь. Из безопасного теперь отверстия пещеры слышал Мейснер, как охотники пытались прийти на помощь товарищу (хотя понимали, что в темноте у них ничего не выйдет). Упавший застрял на середине спуска — придется ему висеть там, где он повис.

Утром все могли удостовериться, чем завершилось маленькое славное ночное приключение. Бездыханное, хотя иногда странно подергивающееся тело зависло в двадцати метрах над пропастью, зацепившись за куст, упрямо взбирающийся по склону. Двое мужчин уже почти добрались до тела, которое словно бы давало знак: я чувствую, что помощь близка.

Полчаса одолевали они скалу, наконец попытка их как будто увенчалась успехом. Они обвязали тело веревками и с усилием начали трудный спуск по оставшемуся пути ко дну ущелья.

Мейснер медленно наклонился, взял камень; он почувствовал: те, внизу, замерли, смотрят на него и ждут. Они ждут, что я брошу камень, подумал он. У них уже сложилось представление обо мне, и вот они ждут, что я брошу.

Мейснер свесился над пропастью, разжал руку и выпустил камень, тот полетел вниз. Он летел, медленно ввинчиваясь в пропасть, отскочил от скалистого выступа и скрылся в траве в двадцати метрах от того места, где стояли люди.

Никто из стоявших внизу не произнес ни слова. Все происходящее было каким-то нереальным, похожим на сон.

Они унесли тело и больше уже не пытались взобраться наверх.

Он вполз обратно в свое убежище, понимая, что все пути перекрыты и они никогда не отступятся. Его звали Фридрих Мейснер, он родился сорок шесть лет назад в Игнанце, и лицо его было таким изможденным и грязным, каким не было уже много лет. Его глаза, которые одни называли жгучими, другие пронзительными, а те, у кого не было столь развито чувство драматического, — черными, теперь запали еще глубже обычного. А его скулы — то, на что люди обращали внимание прежде всего, то, что во всех протоколах именовалось "особой приметой", то, за что в детстве товарищи прозвали его "монголом", — его скулы, выступали резче, чем всегда. Это был исхудалый, изможденный, загнанный в пещеру пленник с угрюмым взглядом, которого лишь с величайшей натяжкой можно было соотнести с теми приметами, какие он привык считать своими.

Париж, думал он иногда, меня должны были бы судить в Париже. Но не здесь.

В последующие ночи он спал мертвым сном. Он был уже не в силах даже делать вид, что бодрствует: если бы они взобрались на скалу сейчас, все было бы кончено в течение пяти минут — разве только они захотели бы по кусочкам поджаривать его на медленном огне, таким образом растянув удовольствие на часы, дни или недели.

Но преследователи тоже устали. Устали ждать и устали рисковать собой.

Сквозь пелену усталости он услышал снизу возбужденные крики; это было так непохоже на ту затаенную тишину, к которой он уже привык, что в течение нескольких мгновений он пытался встать и подойти к обрыву. Но он слишком устал и быстро сдался. Крики через несколько минут прекратились, и стало тихо, как прежде.

Они ждут, вяло думал он. Я не вышел, и теперь они ждут для верности.

Он уже привык, привык к мысли о смерти. Она казалась ему теперь не реальной и страшной, а просто короткой мукой перед долгим покоем.

Короткая жгучая боль, думал он, огненная волна в глотке, словно глотаешь спирт, а потом долгий, цепенящий покой.

Пещера была слуховой трубкой — но к нему не доносилось ни звука.

Последующее совершилось очень быстро и произошло всего через несколько минут после того, как смолкли призывные крики.

Привалившись к скалистой стене, он не сводил глаз с отверстия пещеры, но у него не было сил доползти до него. Мертвая тишина, думал он, а тело его едва заметно раскачивалось взад и вперед. Мертвая тишина, мертвая тишина.

И вдруг откуда-то сверху метнулась черная тень, спрыгнула вниз на узкий карниз у самого входа в пещеру, болтающаяся веревка, руки, сжимающие что-то похожее на нож, смерть на широко расставленных ногах, пошатываясь, двинулась к неподвижно сидящей фигуре. Несколько быстрых шагов вперед, тело, опрокинувшееся без борьбы, а потом тяжелое дыхание в тишине, когда оба замерли, глядя друг на друга.

У входа в пещеру болталась веревка, по которой охотник спустился к пещере: крючок для беглеца, щупальца охотника.

И пещера опустела.

Он едва не умер и не ускользнул от них, но они не сдались. Они кормили его, чтобы он не умер, и крепко его держали. Когда он пытался отвернуться, его щипали за нос, вливая пиво в распяленный рот. Боясь, что он уйдет от наказания, они хлопотали как заботливые матери. Они очень старались и добились своего.

Его положили у костра так близко к огню, что пламя освещало его всего, но все же так, чтобы искры его не опалили, а они сидели вокруг и разглядывали его. Они представляли его себе хитрецом, вспоминали, каким он был и с каким достоинством тогда держался. Потом они обнаружили его силу и в те дни, что охотились за ним, стали представлять его себе сильным и хитрым. И теперь им было трудно уберечься от разочарования.

Силы день ото дня покидали его, и образ человека, который убивает, а потом беззвучно смеется, какой они себе нарисовали, по мере того как они его сторожили, сходил на нет: теперь он выглядел просто как человек, которому отказала его сила, и тогда он сам отказался от жизни.

Теперь он был опустошен, испит до дна, он стоял у конечной остановки, растеряв свою хитрость в бурном потоке, который смыл его и увлек за собой: тут были часы бегства, ветки, хлеставшие его по лицу, по-

ка он мчался, спасаясь от них, а потом ожидание, долгое ожидание в пекле, когда солнце раскаляло пещеру, и было почти невозможно дышать, и он лежал на спине, и мог дотянуться рукой до фляжки, но она была пуста, выпита до дна, и он был пуст, испит до дна, а язык распух и посинел и словно бы покрылся песком, потому что потрескался, а кровь засохла, так что ее можно было принять за красный песок; истощение превратило его в другого человека. И вот из этого провала они и пытались его поднять.

Он почти все время спал. Он укрывался в сон, и только изредка им удавалось выманить его оттуда.

Они остановились в долине — хотели подождать, пока он сможет ходить сам.

Они не стали кромсать его тело, только тот человек, что поймал Мейснера, бросившись на него, кольнул его ножом в плечо — хотел помешать ему защищаться; но поскольку Мейснер сидел неподвижно, обмякнув, и только какими-то отрывистыми горловыми звуками пытался объясниться с захватчиком, укол оказался зряшным. Человек, спустившийся по веревке, на мгновение замер в растерянности и даже как бы устыдился, видя, что пленник и пальцем не шевелит. Из плеча Мейснера медленно вытекала кровь, но даже кровь казалась усталой и обессилевшей и вскоре остановилась.

Им пришлось потрудиться, чтобы вытащить его из пещеры и спустить вниз. Конечно, они могли просто сбросить его вниз, но это означало бы упростить дело и месть, испортить весь смак приключения.

Первый час он пролежал на животе, руки были связаны за спиной тонкой пружинистой веревкой, предплечья плотно прижаты к телу, и потому грудь натужно выпирала странной кривой линией. Дыхание вырывалось у него протяжными стонами, ему было очень больно, но он не хотел этого показывать, а хотел просто умереть или поскорее уснуть.

Они сидели вокруг и время от времени пинали его в низ живота, но потом поняли: так ему недолго и ускользнуть от них. Он потерял сознание, и им редко удавалось приводить его в чувство, даже когда они прижигали ему тыльную сторону ладоней.

Тогда они развязали веревки...

Теперь он сидел у костра, связаны у него были только ноги. Вокруг шеи свободно болталась петля веревки, конец которой держал караульщик. “Попытаешься бежать, мы тебя медленно удавим”, — сказали они.

Теперь он мог медленно есть. Его рот проделывал жевательные движения, и те же движения проделывали губы караульщиков — только они при этом ничего не ели.

— Сознайся, — говорили они с наигранным превосходством. — Сознайся, что ты нас обманывал, объясни нам все!

Мейснер продолжал спокойно есть. Он немного пришел в себя — к нему вернулось спокойствие. Он сознавал, что в его присутствии они чувствуют себя неуверенно, хоть и решили его убить.

— Поскольку я умру, я не могу солгать, — говорит он. — На пороге смерти ложь расширяется в объеме, ее невозможно из себя выдавить. Ложь в смертный час удваивает вечные муки лжеца — никому из людей такого не выдержать.

Они слушали молча. Горел костер, они были далеко от дома, а он был чужак и знал больше их, хоть ему и предстояло умереть.

— В Вене, — продолжал Мейснер, — при дворе императрицы был человек, который собирал лживые слова, сказанные на смертном одре. Ему щедро платили, и он вел долгие разговоры с умирающими, прежде чем к ним вводили родственников и священника. А потом он говорил от имени умирающего. Всего за два года его спина согнулась так, что он мог губами коснуться собственного члена. "Грехи придавливают меня", — говорил он.

Они неуверенно переглянулись, один осторожно, точно на пробу, улыбнулся. Потом они снова сделались хмурыми и грубыми: похоже, им стало стыдно, что они позабыли, зачем они здесь.

— Ты сильный человек, — сказали они. — Ты смог совратить девчонку, чтобы она легла под тебя, а потом избил до полусмерти ее брата. Ты считаешь себя сильным, но твоей силы не хватит, чтобы спастись.

Они надеялись, что он станет им возражать, но нет.

Они кормят его и расспрашивают. Но когда он жует и молчит, они и сами замолкают, и все замыкается.

Огонь догорает. Подкрадывается темнота; ему так и не пришлось умыться, и его косые выступающие скулы блестят, как два темных птичьих крыла.

— А это была правда насчет дождя? — вдруг тихо спрашивает один из них.

И тут Мейснер понимает, что выживет. Пока это знает только он один — другие знают, что он умрет. Одно знание противостоит другому, и все уходят спать.

Сторожить остается тот, кто задал вопрос.

В деревне, где родился караульщик, его называли Шляффе; он был маленький, сухонький, и на лице у него всегда было такое выражение, будто он по ошибке кого-то убил и теперь сокрушается об этом, надеясь в глубине души, что труп никто не обнаружит и ему ничего не сделают; имя Шляффе звучало как хрюканье, может, потому его так и назвали. Но в таком случае то был совершенно беспомощный и безобидный поросенок, который и младенца за ногу не хватит.

В году от Рождества Христова 1782-м он перебрался в ближайший город и там женился. Детей у него, однако, не было. Соседи считали, что его детородный орган слишком мал в сравнении с телом. "С полмизинца детей не сделаешь", — говорили они, дружелюбно посмеиваясь.

Жена его тоже была не из тех, кто может превратить худого, улыбающегося кривой улыбкой, неуверенного в себе мужичка в радостно смеющегося толстяка. Она пристроила его на работу ткачом и на другой же день начала звать его Ткач; наверно, чтобы ему не дали какого-нибудь другого прозвища и чтобы не подпускать его к себе слишком близко.

Горожане подчинились ее решению. Его стали звать Ткачом, а когда началась охота на Мейснера, его вскоре позвали, чтобы он привозил загонщикам еду.

И вот тут-то, в промежутке между тем как привезти еду и возвратиться домой, он и попался в лапы истории. Его назначили караульщиком, решив, что при малейшей попытке пленника сбежать Ткач из одного страха сразу поднимет громкий шум.

Ему выпало караулить первому. Смена длилась пять часов — с одиннадцати до четырех утра.

Разговор продолжался, вероятно, несколько часов. Теперь мы можем реконструировать его только в общих чертах: слабость стражника, сила связанного пленника, любопытство стражника, недовольство женой и жизнью, которую, на его взгляд, он влачил слишком долго. Мы можем представить, как в словах связанного Мейснера для Ткача вдруг забрезжил луч надежды, как тот все решительней стал уверять, что поможет и поддержит: роли переменились. Теперь говорил Мейснер, спокойно, убедительно, а стражник молчал и слушал. Мы можем только догадываться, что мерцало в его подсознании: мгновенный и страшный образ человека, падающего с крутизны, чувство облегчения, которое он испытал, когда понял, что это не он сам лежит мертвый в ущелье, разговор у костра.

Реальным, осязаемым доказательством были веревки, разрезанные и аккуратно сложенные кучкой под деревом, где лежал пленник; исчезновение кое-каких предметов первой необходимости, исчезновение стражника, исчезновение пленника.

Никто не разбудил того, кому предстояло вступить на очередную вахту у костра. Розовое в утренней дымке солнце выкатилось из-за горизонта, костер догорел, кому-то стало зябко. Дрожащие, расстроенные, сгрудились они вокруг опустелого места, где недавно держали пленника. Кто-то стал яростно звать Ткача, предателя, но криком его было не вернуть.

Они бежали.

Теперь их было двое, и съестные припасы быстро исчезали. У спящих они смогли украсть лишь немного хлеба, и только — разве что счесть краденым нож Ткача. Уже третий день шли они, изголодавшиеся, смертельно усталые, на северо-запад. Мейснер давно распростился с надеждой добраться до какого-то определенного места — с него хватало того, что пришлось бежать от определенного места.

За ним шел Ткач, согбенный больше чем всегда, да вдобавок теперь голодный и усталый, и еще с добавочной ношей — начинающимся сомнением, которое нельзя было сбросить с плеч на привалах.

— Ты ведь можешь, — упрямо просил он с еще не погасшей надеждой. — Можешь, если захочешь! Сделай так, чтоб накрылся стол здесь, в лесу! Я голоден! Делай что хочешь, но исполни, что обещал!

Но часы шли, а хозяин все так же молчал, упорно и неподступно, а накрытого стола все не было.

— Ты ведь можешь? Ты ведь меня не обманул?

А потом взгляд Мейснера, оборачивавшегося назад, жесткий, безжалостный блеск солнца в грязных черных волосах хозяина; неумолимый взгляд; зеленый туннель дороги впереди; паутина, не заметная глазу, но едва ощутимо хлеставшая по лицу того, кто шел первым, а потом свисавшая, как водоросли в текучей воде, светло, туманно и волнообразно; тяжесть в ногах. Окружающий пейзаж был неподвижной декорацией — двигались только они, измученные и неутомимые.

— Я должен работать с людьми, — твердил Мейснер. — Дай мне людей, и у нас будет еда.

На четвертый день лес поредел, расступился, и перед ними оказалось пять домишек. Серые, точно крысы, стояли они, разбросанные по блюду долины. Деревенька. Беглецы не знали, куда забрели, но знали, что им нужна еда.

— Идем в деревню, — сказал Мейснер Ткачу.

Они постояли, Мейснер неприметным движением слегка оперся о ствол дерева.

— Говорят, крестьяне редко убивают чужаков, — сказал Ткач.

Архивы деревни Марнхутен в этом отношении говорят ясным языком. В начале девятнадцатого века за пять лет в радиусе двух миль от упомянутой деревни было убито сто двадцать два разбойника. "Разбойником" называли тогда всякого, кто не был "местным", всякого чужака, всякого, кого при первой же беглой проверке нельзя было отнести к какой-нибудь определенной, знакомой категории. Цифра чудовищная, к тому же на самом деле она наверняка гораздо выше, поскольку многих убивали, не ставя об этом в известность центральные власти. О том, сколько местных жителей было убито чужаками и прочими злодеями, никаких сведений нет: разразившаяся через несколько лет война стерла эту часть картины. К тому же, может статься, многие добровольно покинули здешние края.

Сколько человек убили в 1793 году, мы не знаем. Об этом периоде нам известно только одно — Мейснер весьма успешно странствовал в этих краях весной 1793 года. Он выжил.

Мейснер первым вошел в дом. Ткач следовал за ним как тень, время от времени беспокойно оглядываясь на пустынный двор, словно боялся, что кто-то набросится на них сзади. Но двор был пуст. А перед ними оказалась одинокая женщина. Она стояла у печи, вероятно собираясь подбросить в огонь еще одно полено, но, увидев пришельцев, застыла с открытым ртом.

— Мир вашему дому, — тихо пробормотал Мейснер, остановившись на пороге. Ткач осмотрительно держался позади.

Ничего не ответив, женщина стала медленно распрямляться, и на ее лице появилось отчужденное выражение.

— Я вижу, ваш муж в поле, — продолжал Мейснер.

Напряженная настороженность на ее лице усугубилась, полено скользнуло в огонь. Женщина стояла теперь совершенно прямо.

Ткач осторожно высунул голову из-за спины Мейснера. Мейснер, не оборачиваясь, занес руку назад и чуть наискосок; удар тыльной стороной ладони пришелся по лбу Ткача. Ткач отшатнулся и с этой минуты замер не шевелясь за спиной Мейснера.

Женщина по-прежнему молчала.

Ткачу было пятьдесят. Он был слабосильным и хилым, и когда о нем упоминают в связи с Мейснером, его частенько называют "недоразвитым". Однако мозг его был достаточно вместительным, чтобы вместить в себя доверие и робкие зачатки сомнения.

"Теперь", — подумал Мейснер.

Очень медленно и осторожно взялся он за рукоятку ножа, торчавшего у него за поясом на животе и почти скрытого густыми складками одежды. Он медленно извлек нож и выставил его лезвием вперед. Увидев нож, женщина открыла рот. Но тут же закрыла его и замерла, не отрывая взгляда от острия.

Ткач ножа не видел.

— Мы хотим есть, — тихо сказал Мейснер. — Нам нужны пять лепешек и колодезная вода.

— Да, — тихо ответила она.

— Мясо мы едим тоже, — прежним тоном продолжал Мейснер.

В окно ворвался луч солнца: на лезвии насмешливо и шаловливо заиграл солнечный зайчик. Женщина поглядела на них, увидела глаза Мейснера. Она понимала теперь, что он не шутит.

— Я принесу, — сказала она.

Мейснер медленно уронил руку. Нож исчез в складках одежды, он улыбнулся. И не оборачиваясь сказал Ткачу:

— Пойди возьми хлеба. Господь дает нам хлеб руками этой женщины.

Женщина по-прежнему не двигалась с места. Теперь Мейснер открыто улыбался ей; никто не произнес больше ни слова. Когда Ткач вышел во двор, чтобы наполнить фляги водой, двоим, оставшимся в доме, слышно было, как потрескивают в тишине стены. Потом послышались шаги Ткача на крыльце. Он вошел в комнату, держа в руках хлеб и рыбу.

— Вот, — сказал он.

— Теперь мы уходим.

До опушки леса было каких-нибудь метров сто. Когда они вступили в лес, Ткач обернулся. Деревенька лежала на солнце, тихая, почти вымершая, но он увидел, как со двора, который они только что покинули, неловкими короткими шажками вприпрыжку побежала женщина. Все молчало — слышалось только блеянье козы.

— Она побежала рассказать о чуде, — задохнувшись, выговорил Ткач.

Когда Мейснеру было двенадцать, он однажды заблудился на ярмарке в родном городе. Чтобы не заскучать, пока родители его найдут, он зашел в одну из палаток. В палатке был силач. Мейснер, которому было всего двенадцать и который без спроса ушел от родителей, стоял у входа, слушая, как немногочисленная публика, собравшаяся в палатке, шумела и хохотала, когда атлет, гора мускулов, великан среди людей, вступал на грубо сколоченный помост. Мальчик вслушивался в тишину, которая внезапно наставала, когда гири поднимались в воздух, а потом восторженно кричал вместе с другими. Потом вышли две набеленные женщины и стали петь дуэтом, но короткие взрывы смеха то и дело перекрывали их голоса. Тогда Мейснер бросился вперед к одному из зрителей, которым оказался барышник из Пёзена, и ударил его по шее так, что у того на мгновение перехватило дыхание.

Опомнившись, барышник стал оглядываться в поисках злодея — Мейснер не двинулся с места.

В ту пору в Дрезбане, деревушке в западной Баварии, вспыхнула чума. Пятнадцать жителей из двадцати трех погибли, восемь остальных разбежались кто куда. Две тамошних жительницы, сорокалетняя женщина с пятнадцатилетней дочерью, побрели на север, чтобы добраться до какого-нибудь селения, где можно найти пристанище. Единственным их спутником был страх — они боялись людей, которые их остановят, станут расспрашивать и погонят дальше, потому что они повстречались с чумой, а стало быть, сами теперь нечистые и могут разнести нечистоту вокруг; боялись они и разбойников, которые и спрашивать ни о чем не станут, а просто изнасилуют и бросят, растерзанных, обворованных, убитых.

В ложбине в трех милях западнее деревушки, из которой они ушли, на них наткнулись Мейснер и Ткач. Лес здесь был густой, и обе пары слишком поздно заметили друг друга; они столкнулись нос к носу, бежать было уже бесполезно. Женщины — позднее оказалось, что старшую зовут Гретель, — застыли на месте. Поняв, что бежать некуда, они присели на корточки.

— Откуда вы? — спокойно спросил Мейснер.

— Из Дрезбана, господин, — ответили они.

Тогда Меснер спросил, почему они идут одни. Несколько мгновений женщина взвешивала на губах правдивый ответ, потом проглотила его и уклончиво объяснила, что с мужем случилось несчастье и они остались одни, но теперь больше не могут сами себя прокормить.

Ткач хотел продолжать путь. Нетерпеливо толкнув Мейснера в бок, он сделал несколько призывных шагов вперед.

Мейснер опустился на землю перед женщинами.

Поняв, что делать нечего, Ткач заговорил с женщинами и стал им расказывать про своего господина, про то, какие он может творить чудеса. Женщины слушали, вытаращив глаза. Мейснер спокойно улыбался, наблюдая их изумление.

— Можно нам пойти с вами, господин? — смиренно попросила старшая. — Нам страшно, нам нужна защита.

Два часа спустя вся компания двинулась дальше. Первым шел Мейснер, за ним женщины — та, что моложе, впереди, — замыкал шествие Ткач.

Здесь уже не было тропинки. Время от времени дорогу им перебегали лани. Кругом разрослись высокие папоротники — путники пробирались по их светло-зеленому ковру, погружаясь в него по пояс, почти утопая в зарослях.

К вечеру они вышли на луг, где паслись две овцы. Мейснер пошел прямо к ним. Животные не шевельнулись, продолжая сонно жевать что-то, что могло быть тишиной, но, наверно, было травой, — потом бельшая из двух тревожно задвигала ушами. “Стой смирно!” — мысленно приказал Мейснер и подошел вплотную к животным. Потом выбросил руку вперед и почувствовал, как вонзился нож, мягко, без сопротивления. Овца конвульсивно дернулась назад, но он уже знал: дело сделано.

Тем, кто стоял на пятьдесят метров сзади, происшедшее показалось почти загадочным: Мейснер спокойно выступил вперед, наклонился над животным, и оно, даже не вскрикнув, просто свалилось на землю как подкошенное. “Мясо, — возбужденно подумал Ткач, — теперь его хватит на много дней”.

Мейснер вернулся к спутникам с переброшенной через плечо овечьей тушей.

— Еда, — спокойно сказал он.

Они шли еще час, потом остановились у скалистой расселины и развели костер. Небо было густо-синим, почти черным. И на нем ни одной звезды. Они сидели вокруг костра, держа в руках палочки с наколотыми на них кусками баранины, сидели молча, отдыхая, устремив глаза на мясо, которое потрескивало и дымилось на огне.

Огонь был котелком света — кругом ни ветерка, ни тревоги, ни звука. Потом небо совсем почернело, но к тому времени у огня остался один только Мейснер.

Он не чувствовал усталости.

Пламя потихоньку добралось до его плаща — он задумчиво смотрел на него. Рядом с ним, так близко, что искры от костра иногда вспыхивали на его серой одежде, лежал Ткач. Женщины лежали поодаль, пугливо прижавшись друг к другу во сне.

То, что произошло за последние три дня, сидело внутри приятным комком; и все же он был еще не вполне уверен в значении происшедшего. Мне повезло, пытался думать он, — на редкость повезло; цепь маленьких счастливых случайностей, но все же... Они пришли к нему, сначала Ткач, потом две женщины, простодушно, доверчиво. И теперь он шел впереди, словно несомый волной их веры, полный сознания собственной силы.

Я их веду, думал он. Его не впервой несла чужая вера, но каждый раз, чувствуя, как волна возносит его из пропасти на гребень, он чувствовал то же удивительное опьянение, некий соблазн, опасность, нечто неподвластное его контролю.

Я творю для них произведение искусства, думал он, сотканное из сомнений, недоверия и ловкости. И я должен сделать так, чтобы доверие их все росло, чтобы восторг усугублялся, пока этот восторг не заслонит от них реальный мир.

Но я нуждаюсь в них. Нуждаюсь в них как в орудии, направленном на них самих.

Он навсегда запомнил чужеземца-монаха, который пришел в его родной город и сначала проповедовал на площади, а потом ему разрешили говорить в церкви. Мать Мейснера на коленях стояла на жестком каменном полу, запрокинув кверху лицо, в совершенном экстазе. Но еще яснее запомнился ему священник. Один перед поднятыми к нему лицами, которые покачивались взад и вперед, он взмахивал тяжелыми, несокрушимыми, как скала, руками над головой молящихся, спокойный, повелительный, в сознании своего не подлежащего сомнению превосходства.

Он вспоминал, как он сам, сын подрядчика Мейснера, плакал от восторга, и не потому, что внушаемое человеком на кафедре и в самом деле было правдой, а потому, что все это — экстаз, крики, доверие — под силу вызвать одному человеку. Под силу претворить восторг в произведение искусства.

Неделю спустя монах умер.

Доверие еще не все, думал Мейснер, часто моргая. Доверять можно и дереву. А вот доверять восторгу — это нечто иное. Хитроумнейшее орудие порождает прекраснейшее самозабвение, в котором созидательная сила.

Тогда я прикасаюсь к флюиду мироздания.

Проспали они, должно быть, уже довольно долго. Мейснер встал, ловкий, гибкий, бесшумный как зверь; подошел к Ткачу, спавшему глубоким сном. Мейснер улыбнулся. Его крутые скулы были теперь чисто вымыты, лицо казалось очень белым. Он медленно подошел к женщинам.

Наклонился и стал разглядывать старшую из двух.

Потом, взяв ее за плечо, осторожно потряс, а когда она быстро, испуганно села, предостерегающе закрыл ей ладонью рот.

— Тсс! — прошептал он.

И указал рукой в темноту позади костра. Она вглядывалась в его лицо, не понимая.

— Пойдем, — беззвучно произнес он одними губами. — Пойдем.

И не дожидаясь ее, вышел из освещенного круга и скрылся среди деревьев. Она неуклюже поднялась и поплелась за ним, тщетно стараясь ступать как можно бесшумнее. И вдруг он оказался прямо перед ней, метрах в двадцати от костра, но почти скрытый темнотой.

— Что? — прошептала она. — Что?

Он указал на ее юбку.

— Сними ее, — тихо распорядился он.

Она уставилась на него, но потом наконец поняла: он и впрямь имеет в виду то, что сказал. Тогда она начала медленно развязывать пояс, юбка упала, а она стояла, обнажив живот и округлые, еще не старые бедра, словно мраморная статуя, у которой срезали верхнюю часть. Под выпуклым животом почти не виден был маленький черный треугольник, который, она знала, ей предстоит принести в жертву. На ней осталась короткая темно-серая кофта: в слабом мерцающем отсвете далекого костра казалось, будто женщина состоит только из белых ляжек и белых ягодиц, внезапно наотмашь отсеченных от остального тела, почти слившегося с окружающим лесом. Юбка кольцом лежала вокруг ее босых ступней.

— Ложись, — приказал он.

Неуклюже скрючившись, она опустилась на землю. Некоторое время она так и сидела скрючившись, потом откинулась на спину, крепко зажмурившись, словно хотела отгородиться от того, что происходит. Ноги ее были вытянуты вперед. "Она еще не старая, — подумал он, — ее дочь скоро станет взрослой, но она сама недурна, сорок лет. Она недурна, не слишком худая, не слишком толстая. Кричать она не станет".

Он сбросил с себя плащ, спустил штаны и стал рядом с ней на колени.

— Готова? — хрипло спросил он.

Он не мог решить, прошептала она "да" или ему это только послышалось. Одной рукой он схватил ее за ляжку, нога безвольно откинулась в сторону. Он увидел, что путь открыт.

Задержав дыхание, Мейснер рухнул на нее. Было так тихо, что в ночи слышалось, как потрескивает огонь.

Измученные женщины сидели на краю оврага; младшая еще держалась, но старшая, больная от усталости, тихонько плакала. Мейснер подошел к городским воротам и стоял не шевелясь, пока их открывали. Все четверо были поражены — обычно ворота не запирались.

Вышли трое — два стражника и один невооруженный мужчина с седой бородой. Они остановились метрах в тридцати от Мейснера.

— Чего вы хотите? — спросил седобородый.

— Хотим войти в город, — громко сказал Мейснер.

Ткач, сидевший в стороне от женщин, набрался храбрости и подошел ближе, остановившись метрах в двух позади Мейснера.

— Кто вы? — коротко спросил седобородый.

Пока Мейснер отвечал, женщины перестали плакать. Ткач внимательно прислушивался к разговору, а когда возникла пауза, вытянул шею и возбужденно закричал:

— Он умеет вызывать дождь! Он великий человек, он чудотворец! Он могущественный человек и может сделать городу много добра!

Мужчины улыбнулись, все трое.

— Мастеров вызывать дождь у нас хватает, — сказал один из солдат. — Новых нам не нужно. Но по нашей земле идет чума, и она нам тоже не нужна. Видели вы ее?

— Чума? — переспросил Мейснер. — Какая еще чума?

— Спроси у нее самой, когда встретитесь, — коротко ответил седобородый, не отводя взгляда от Мейснера.

Тогда Мейснер обернулся, быстро подошел к женщинам и, взяв за подбородок старшую, которая понурила голову, принудил ее взглянуть ему прямо в глаза.

— От чего умер твой муж? — жестко спросил он. — От чего?

Чувствуя железную хватку его рук, она тяжело задышала; лицо ее было в трещинах от усталости и слез. Но она смотрела ему в глаза, и этого оказалось довольно. Мейснер выпустил ее голову, та поникла. Он молча постоял, глядя на нее.

Когда он обернулся, городские ворота уже захлопнулись.

Они свернули с тропинки. Усталые, разочарованные шли они прямиком через лес, в башмаках, которые вскоре промокли. С той минуты, как городские ворота захлопнулись и стражники стали бросать им вслед камни, Мейснер не проронил ни слова. Ткач, прижимая руку к боку, беспомощно стонал: один из камней угодил точно в цель и как раз в него, и он никак не мог взять в толк, почему ранило именно его — ведь он и без того такой слабосильный.

Первым шел Мейснер, мрачно уставившись в одну точку. Когда несколько часов спустя Ткач в конце концов со стоном осел на землю, отказавшись идти дальше, Мейснер, ни слова не говоря, остановился, сбросил с плеч мешок, в котором лежала разрезанная на куски овечья туша, и знаком приказал женщинам развести огонь.

— Нам нужно поесть, — тихо и мрачно сказал он, — потому что, быть может, нам вскоре придется повстречаться с чумой. Она идет за нами следом дольше, чем я предполагал.

— Может, лучше их убить? — ворчливо спросил Ткач. — Избавились бы от многих хлопот, и нам стало бы легче.

— Чуму это не убьет, — ответил ему Мейснер. — Если она здесь, значит здесь. Она уже дохнула на нас.

— Дохнула? — неуверенно переспросил Ткач. — Дохнула?

Они ели долго, безрадостно. Женщины пугливо поглядывали на обоих мужчин, словно ожидая приговора, решения, слов, которые приобщат их к вечному блаженству или обрекут на вечные муки. Они ждут, чтобы я что-то сделал, думал Мейснер. Ждут чего-то от меня.

По правде говоря, их следовало убить. Ткач прав. Но нельзя приманивать смерть к нашим следам. Я и так чувствую ее запах, нельзя ее приманивать.

И он обратился к ним с краткой речью.

— Нам надо добраться до какого-нибудь города, — заявил он. — Надо найти город или какое-нибудь селение, где ничего не знают о чуме. Там мы сможем отдохнуть.

До такого места далеко, думал он, окидывая взглядом своих спутников. Мне придется нести тяжелое бремя...

Если провести прямую линию от того города, что закрыл перед ними ворота, до Ляйнерса, где позднее они передохнули на постоялом дворе, линия пересечет реку там, где через нее переброшен мост. Первоначально он был построен во Фрайцинге архиепископом, который облагал пошлиной фуры с солью. Но однажды ночью мирские власти приказали разрушить мост — им не нравилось, что Господь отнимает у них славные таможенные денежки. Новый мост воздвигли на пятьдесят метров ниже старого, который — надо же случиться такой беде — был разрушен неизвестными разбойниками.

Брод на реке был во многих местах. Каким воспользовался Мейснер, установить невозможно. Однако по мосту он не прошел. Прямой линии он не следовал.

Сон накатывал на него неравномерными волнами, из трактира, как раз под ними, доносились слабые звуки, он слышал их изредка и неотчетливо и лишь тогда, когда они становились громче или сон — не таким глубоким; и он просыпался, не понимая, где находится.

Женщина лежала с ним рядом. Ее не взяла ни чума, ни река. Она крепко за него держалась, и он ей это позволял. Наверно, все дело в моем лице, думал он. Мои скулы крепко ее держат, крепко держат их всех. Глаза тут были ни при чем, хотя они и были такими черными, что грань между зрачком и радужной оболочкой казалась почти неразличимой. Такие глаза он видел и у других, но это не наделяло их обладателей особой силой.

Накануне вечером он тщательно вымылся с ног до головы. Женщины сразу пошли спать. Когда Мейснер поднялся в отведенную им комнату, он увидел, что старшая из них устроилась в его кровати. Она лежала голая, у изножья кровати валялась сброшенная ею одежда.

Перед тем как подняться в комнату, Мейснер познакомился с неким мужчиной. Мужчина был хорошо одет, его сопровождал слуга. У них состоялась беседа. Мейснер представился как магнетизер.

Мужчина отнесся к его словам с большим интересом.

Все это время Мейснер хранил при себе зашитый в одежду магнит; вначале он обычно к нему не прибегал, это было просто запасное средство. В последние зимние месяцы и весной он почти не пользовался магнитом.

Мейснер объяснял своим пациентам, что достаточно прикосновения его рук, чтобы они впали в желанный магнетический сон.

Но чтобы лучше пояснить незнакомцу свою методу, Мейснер показал ему магнит.

Интерес незнакомца заметно возрос...

Ткач был поражен такой милостью.

— Но девчонке всего пятнадцать, — смущенно отнекивался он. — Она, поди, не захочет лечь со мной в одну постель.

Мейснер уделил разговору всего несколько секунд.

— Не захочет, пусть кричит, — сказал он.

Но крика слышно не было...

Накануне вечером Мейснер предложил незнакомцу при следующем разговоре подробнее объяснить ему свой метод; тот охотно согласился.

На другое утро они вместе совершили прогулку.

Они прошли через двор, мимо конюшни, потом спустились к озеру. Еще пятьдесят метров, и обоих поглотили негустые заросли.

Никто не видел, как они уходили.

— Магнит известен с давних пор, — улыбнулся незнакомец. — Я и раньше держал в руках магнитную руду, но вот искусственно сделанный магнит — не приходилось. Платить большие деньги за магнит — это для слабых духом. Дорога лишь сила, которая стоит за ним.

Они сидели на каменистом берегу. Вокруг ни жилья, ни людей. Волны ровными рядами набегали на берег. Перед ними на скале, освещенной солнцем, лежал магнит.

— Ты богат? — дружелюбно спросил Мейснер.

Незнакомец извлек из кармана штанов мешочек и потряс им в воздухе.

— Достаточно богат, чтобы купить тебя, — высокомерно ответил он.

— Можешь купить моих женщин, — пробуя почву, предложил Мейснер, глядя по ту сторону озера.

— И рябую тоже? — насмешливо спросил незнакомец. — Или ее ты бережешь для твоего старикашки?

Незнакомец держался невозмутимо и вызывающе. Мейснер чувствовал себя неуверенно: он никак не мог понять, чего тот хочет на самом деле. Чтобы не поддаться этой неуверенности, он решил действовать быстро. Сидя вполоборота к Мейснеру, незнакомец засовывал мешочек с деньгами в карман. Несколько секунд он был совершенно поглощен этим занятием.

Вскоре после этого Мейснер вернулся. Он приказал свои спутникам собираться, распорядился, чтобы подали лошадь и карету. Вывели двух лошадей и отличный экипаж. Ткач удивленно спрашивал, почему они вдруг так быстро уезжают, но Мейснер никак не отозвался на его слова. Он заплатил за всех. Потом они уселись в карету; никто не проронил ни слова.

Хозяин трактира долго стоял на глинистом дворе, провожая их взглядом. Из трубы над трактиром поднимался дым, Мейснер неотрывно глядел, как он рассеивается над домом, двором, деревьями, озером.

Потом все исчезло.

Путешествие прошло без помех.

Одежда, которую Мейснер купил, стоила дорого, но он знал, что она ему к лицу. Ткач изумленно глядел на преображение хозяина: тот на его глазах вырастал, из грязного чудотворца превращался в барина, становился властным, жестким, замкнутым. С этих пор Ткач стал держаться как можно незаметней, он чувствовал, что многое переменилось.

Затем случилось неожиданное — он тоже получил новое платье.

Ткач дотронулся до одежды, которую перед ним разложили: новый плащ, ладно скроенный костюм из серой ткани. Он дотронулся до нее дрожащими руками и поднял взгляд на Мейснера: неужели взаправду?

— Надень это, — коротко бросил тот.

В новой одежде Ткачу было не по себе. Она была какой-то странной, легкой, почти до неприличия невидимой. Чтобы привыкнуть к ней, он мелкими кругами семенил по комнате.

Они стояли на дворе у кареты. Кучер с хлыстом в руке покорно глядел на холмистую дорогу. Женщины стояли рядом, ожидая, когда Мейснер пригласит их сесть в карету.

Пусть проедут с нами еще немного, подумал он, стараясь не глядеть на них. Потом смерть их уже не догонит, но тащиться за мной им незачем. Мне они не нужны. Я их уже использовал, больше от них проку нет.

В зашитом кармане плаща его рука нащупала магнит, который он так надолго предал забвению, но который теперь ожил и стал притягивать к себе, как живая сила. Мейснер чувствовал эту силу всей рукой от кисти до плеча, всем телом. Мне нужна новая отправная точка, подумал он, крепко сжимая магнит. Новая, чистая отправная точка.

Женщины больше не стали ждать приглашения. Они забрались в карету. Мейснер кивнул кучеру.

Ночью они приехали в маленький городок. В нем был всего один постоялый двор; Мейснер приказал женщинам выйти из кареты и занять одну из двух снятых им комнат. Старшая разочарованно посмотрела ему вслед, но он сделал вид, что не заметил.

Утром Мейснер поднялся спозаранку. Распорядился вывести лошадей и карету. Приказав хозяину не будить женщин, он оплатил их ночлег и стол за неделю вперед. Кучер вопросительно поглядел на мужчин: стало быть, седоков будет только двое? Тогда Мейснер, наклонившись к нему, сказал:

— У нее муж прокаженный. Она бежит от заразы.

Потом, обернувшись к Ткачу, улыбнулся. Ткач заулыбался в ответ.

Побледневший кучер, рванув поводья, пустил лошадей галопом. Мейснер откинулся на мягкие подушки и, закрыв глаза, погрузился в размышления. Сидевший против него Ткач не знал, что и думать.

Лишь час спустя Мейснер нарушил молчание.

— Завтра мы приедем в город, — произнес он. Произнес, глядя в пространство, ни к кому не обращаясь.

Ткач уныло кивнул. Они ехали в город, снова в какой-то город.

Время, предшествовавшее событиям в Зеефонде, описано во многих источниках; в письме самого Фридриха Мейснера, адресованном венскому врачу Хансу Вёртеру, имеется скупое, но внятное описание того, как за ним охотились, как он прятался в пещере и как освободился. Но зато о том, что происходило после освобождения Мейснера и до его прибытия в Зеефонд, точных свидетельств нет. В дневнике зеефондского врача Клауса Зелингера, опубликованном в конце XIX века в Мюнхене, описан разговор между автором дневника и Мейснером, в котором магнетизер упоминает о двух женщинах, которые сбились с дороги и некоторое время составляли им с Ткачом компанию. О том, кого мы

здесь называем "незнакомцем", то есть о коммерсанте Карле Хайнце Боймлере, в разговоре не упомянуто ни словом. Сведения о нем приходится искать в других источниках.

О детстве и отрочестве Мейснера известно очень мало.

Он родился в Игнанце, вблизи озера Констанц, 23 сентября 1747 года; его отец был подрядчиком на службе у архиепископа Констанца. Если верить доступным нам источникам, мать Мейснера Мария Урсула обладала "величайшей из материнских добродетелей: она никогда не пыталась воспротивиться природным склонностям ребенка, даже когда поняла, что, вопреки ее надеждам, он не намерен стать священником".

Но как в биографии многих людей возникают вдруг обрывы, длительные периоды, когда жизнь делает паузу, превращая человека в анонима и словно бы перенося свою активность на других, так, без сомнения, и в жизни Мейснера возникали долгие провалы, которые поглощали его, и он становился невидимкой. Сто пятьдесят минувших лет превратили его в отражение человека: мы видим только отдельные отблески и только в короткие промежутки.

Отблески его отрочества можно обнаружить в разрозненных документах; к столетию со дня его смерти была составлена краткая биография Мейснера, где подробно говорится о его жизни в Париже, но ни словом не упоминается о его пребывании в Зеефонде. Биограф, доктор Гюнтер Шрёдер, заявляет, что на ста четырех страницах своего труда намеревался "привлечь внимание к человеку, выказавшему себя провозвестником новых идей в области практической медицины". Но труд этот не опирается ни на собственные произведения Мейснера, ни на его письма. Он, без сомнения, создает ложный его образ.

Библиотека Мейснера, к которой еще три года назад можно было получить доступ в Мюнхене, дает больше путеводных нитей.

Поскольку лишь на немногих книгах стоят даты, довольно трудно определить, насколько Мейснер был начитан ко времени зеефондского интермеццо (если события, потрясшие целый город и столь глубоко затронувшие главных действующих лиц, можно назвать интермеццо). Только одна книга датирована – это труд Вулфа "Sensible Thoughts on the Effects of Nature"[1]; стало быть, Мейснер, вероятно, владел английским. На книге стоит дата – 1785 год.

О том, что он говорил по-французски, мы знаем.

В этой библиотеке можно также найти книгу, написанную в восьмидесятые годы самим Мейснером и посвященную Парацельсу.

Этим кратким сведениям о целой жизни, разумеется, не хватает полноты. И все же некоторые данные представляют известный интерес, например тот факт, что в анналах города Аугсбурга имеются заметки о процессе, в который был замешан Мейснер. Его обвиняли в том, что он украл церковную утварь, – обвиняемый яростно отрицал свою вину. Поскольку никаких доказательств не нашлось, а некоторые обстоятельства дела указывали на непричастность к нему обвиняемого, главное обвинение с него сняли. Однако приговорили к штрафу за то, что он "оскорбил церковнослужителя". О том, какого рода было это оскорбление, не упоминается ни словом. Не упоминается – что весьма стран-

1. "Здравые размышления о явлениях природы" (*англ.*).

но — и о том, каков был размер штрафа. Возможно, сохранившаяся бумага всего лишь неполная копия подлинника.

В этих заметках Мейснера титулуют "медикусом".

Получил ли он в самом деле законченное медицинское образование, теперь уже не может сказать никто. Доказано лишь, что в течение долгого времени — вероятно, с 1778 года и позднее — он зарабатывал на жизнь в качестве странствующего лекаря.

О методах, которыми он пользовал пациентов, далее будет рассказано подробнее.

Можно восстановить еще одну дату: уже в 1765 году Мейснер впервые оказался в Вене. Предполагалось, что он будет там учиться. В письме к отцу, Йозефу Мейснеру, в котором Фридрих просит выслать ему немного денег, упоминается имя Гирарда ван Свитена, одного из тех, кого он именует своими "учителями". Свитен получил образование в Голландии под руководством Германа Берхаве, "основателя знаменитой Лейденской школы эклектической медицины".

Все эти сведения туманны. Для обрисовки самого Мейснера они несущественны. Существенно лишь то, как мы оцениваем общую картину, в какой мере принимаем ее, в какой мере подпадаем под обаяние завершенной картины, что думаем об обмане как произведении искусства.

Ложь составляет часть правды, правда составляет часть лжи. Только безоглядное принятие обмана свободно от задних мыслей. Приговор мы вынесем позднее. Наш отчет по пятам следует за обманщиком.

Влача за собой балласт полуобразованности, лжи, разнообразных дарований, которые лишь отчасти могут считаться достаточными, и ко всему этому страстный темперамент визионера, бежит он из пещеры. Кривая, им описанная, отпечатывается в нашем сознании.

Эпизод в Зеефонде можно считать завершенным и едва ли не самым существенным. История не донесла до нас многие его неясные подробности — полтора века ясности поглотили их. Только те, кто наблюдают движение волны, ощущают смысл многозначности — образ идеи, извращающей самое себя и постоянно возрождающейся.

О жизни в Нюрнберге он помнил все и ничего: он помнил события, но они утратили для него свое значение.

Он начал с того, что установил там чан и набрал десяток пациентов; это были бедняки, которые платили ему так мало, что хватало только на уплату за помещение. Болезни тоже были самые тривиальные: обычные боли в ногах, которые исчезали после одного прикосновения поглаживающих рук и приносили немного денег, или открытые раны — их он либо отказывался лечить, либо пытался это делать, но с таким сомнительным результатом, что это только порождало недоверие. Вечерами он стоял перед ними и упрямо, настойчиво твердил о своей цели, а они смотрели на него выжидательно и недоверчиво.

А потом явились полицейские власти и стали допытываться, есть ли у него разрешение, а городские врачи стали допытываться, получил ли он медицинское образование, а потом и священники стали допытываться, угодное ли Богу дело он творит. Последним он для простоты ответил утвердительно. "Чьим именем творишь ты свое врачевание?" — вопросили они тогда, взирая на него с высоты своего тысячелетнего пастырского авторитета. "Во имя Божие", — ответил он, измученный и

отчаявшийся. Тогда его отвели в церковь и принудили стоять там от полудня до вечера, подводя к нему больных, чтобы он коснулся их руками; ему хотелось крикнуть, что это смехотворная ошибка, что они его не поняли, но у него не хватило духу. Они представили его как венецианского монаха, сказав, что вода, которую он намагнетизировал, из Иордана и те, кто подставит себя под ее струю, излечатся и причастятся Крови Христовой. А он стоял там, и на все соглашался, и под конец решил, что разница не так уж велика, хоть и сознавал, что это двойное предательство.

Два дня спустя он покинул город.

Это все священники виноваты, обычно думал он. Это они надоумили его врачевать животных, поглаживать брюхо больных коров и вечно твердить о Святом Духе, о воде из Генисаретского озера и о Божественной силе, они надоумили его заниматься выгодным и хорошо оплачиваемым врачеванием животных — знахарство приносило ему быстрые деньги, но оно же вынуждало его не оставаться долее трех дней на одном месте, чтобы успеть унести ноги до того, как околеет свинья, которую разнесло, а разъяренный крестьянин смекнет, что его надули и он лишился и свиньи, и денег. Свиньи, думал Мейснер. Двуногие свиньи.

О каком бы то ни было процессе в Нюрнберге он никогда не упоминал ни в письмах, ни в разговорах.

Стало быть, скорее всего, этот процесс — чистейшая выдумка.

Каждый предмет окружен пленкой, часто думал он. Эта пленка и есть застой. Сила прорывает пленку и придает предметам движение, а движение есть и в нашем флюиде. Я называю это флюидом.

Я обладаю силой, думал он и пытался ощутить, что кроется за словом "сила". Когда сила при мне и я чувствую, что они в моей власти, сила вдруг подчиняет меня себе и все рушится.

В этом вся трудность, думал он. В том, чтобы как можно дольше не сознавать свою силу.

Ткач уже не обращался к Мейснеру на "ты".

— Вам надо было стать священником, — говорил Ткач. — Вы стали бы большим человеком.

Разговор происходил в карете. Они мчались стрелой. Лес убегал назад, расступались и снова сближались склоны долин.

— Ты не понимаешь того, о чем говоришь, — холодно отвечал Мейснер. — Оба наши искусства идут параллельно.

— В нашем теле есть флюид, — терпеливо растолковывал он Ткачу. — Я один могу пробиться к этому флюиду, вернее сказать, к нему может пробиться лишь мое искусство. Я достигаю этого прикосновением рук — поглаживанием, которое называют магнетизированием. Надо только верить.

— А-а! — говорил Ткач.

Шесть часов пополудни, еще светло, усталость нарастает. Они провели в дороге целый день.

— Главная сила в выносливости, в умении выдержать, — втолковывает он Ткачу. — Ты выбираешь то, что всего важнее, и тогда ты свободен.

Я смог примириться с тем, что за мной гонятся, что меня подозревают в насилии, даже с тем, что я выкрутился с помощью целой цепочки искусного вранья, что я целую неделю голодал. Но я нашел кое-что другое — тебя. Я сделал выбор — решил, что важным для меня станешь ты.

— Я? — переспрашивает Ткач, устало моргая. Эта усталость — не просто изнурение, физическое изнурение от тряски в карете, это еще и тревога, страх перед тем, что ждет впереди. Если высунуться в окно, видны ноги возницы — они уже давно с ним не разговаривали. Может, он умер.

— Ты, — повторяет Мейснер. — Кто-то послал тебя мне. Что-то приказало тебе сделаться моим караульным, приказало тебе меня выслушать. После этого я приобрел над тобой власть. Это все не случайно. Я сделал выбор — решил, что ты станешь для меня важным. Ты был послан мне, чтобы подать мне знак возрождения.

— Знак? — безнадежным голосом спрашивает Ткач. — Знак?

Мейснер подается вперед

— Я много раз ошибался в выборе. Мой выбор был таким — считать легкое легким, а трудное невозможным. Теперь я уже не молод, и я знаю. Ты оказался для меня паролем.

— Ну и что вы станете делать? — зевая, спрашивает Ткач. Скоро его сморит сон, и понимает он только одно: ему хочется есть.

— Я найду город, — говорит Мейснер. — Вот и все. Город, у которого хватит сил ждать, пока я буду готов. Пока я еще не готов, но скоро буду.

Я приду, думал Мейснер, почти уже засыпая. Скоро я снова буду сильным, снова буду готов и снова чист. И тогда я приду, и они меня ждут.

Он проснулся, потому что карета остановилась. Уже совсем стемнело, поднялся сильный ветер.

Он нащупал дверцу, она с надтреснутым звуком открылась. Они снова были в чаще леса: с двух сторон высились черные стены — Мейснер догадался, что это деревья, потому что они покачивались.

Земля была сухой; на негнущихся ногах Мейснер зашагал к козлам. Возница съежился на них, неподвижный, спящий.

Лошади мотали головами, их глаза сверкнули навстречу Мейснеру тусклыми фонариками. Они тоже устали, подумал Мейснер.

Он толкнул кучера в бок.

— Трогай, — сказал он.

Скрюченная фигура выпрямилась со стоном. Мейснер неподвижно стоял рядом; ветер стих словно по волшебству, а с ним умолкли все звуки. Не слышно было птичьих голосов — только дыхание двух мужчин.

— Я устал, — тихо сказал возница. — Вы нас уморите. Сколько бы вы ни заплатили, вы нас уморите. Лошади устали. Я не знаю, кто вы такой.

— Далеко еще? — спросил Мейснер.

— На рассвете, пожалуй, доедем, — донесся голос сверху, почти от крыши кареты. — Нам надо поспать.

Мейснер широко улыбнулся темным очертаниям возницы.

— Если этот город такой, как нам нужно, — сказал Мейснер, — там мы отоспимся.

Перед ними внизу лежала чаша долины. В лучах рассвета можно было рассмотреть все: темные горы в глубине, реку, продолговатое озеро, посередине остров, город на берегу, крепость и стены вокруг.

Грозной черной массой лежал город среди темной зелени. Пирог: дома, прослоенные людьми. Последние несколько километров Мейснер проделал на козлах. Теперь они остановились.

— Вот он, — сказал Мейснер.

2

Письма я подписываю: Клаус Зелингер, имя это отцовское, от первой буквы до последней.

Отец любил рассказывать о том Зеефонде, о котором когда-то рассказывали *ему* (сам он родом из других краев): скученный, лепящийся к крепости, сталкивающий свои маленькие серенькие домишки к берегу и вдруг круто обрывающийся — ни стены, ни ограждения, словно бедность достигла здесь границы, которую и она не решилась переступить, не посмела разбросать свои одноэтажные лачуги по берегу.

Из моего окна виден этот этап истории нашего города: остатки остатков, уцелевшие осколки, домишки, которые не стали сносить либо по недоразумению, либо из ложного пиетета. Летом они расцвечены флажками сохнущей женской одежды, облеплены грязью, которая только два месяца в году, в июле и в августе, ссыхается в маленькие жесткие четырехугольные лепешки, не пачкает и не мешает героическим играм детей; последнее выражение принадлежит моей жене. Она здесь родилась, ей примириться труднее. Иногда, глядя на играющих, перемазанных серой глиной детей, она плачет; она не понимает, что они радуются, получая удовольствие и от игры, и от самой грязи, она видит в этом проявление героизма. На самом деле им не хочется играть, говорит она, им противно, они усердствуют ради нас, чтобы нас не огорчать.

Сначала я пытался оспорить столь нелогичный взгляд на мир детского воображения, но потом сдался.

К тому же Зеефонд изменился. Еще в годы моей ранней молодости западная часть города сгорела; многие жители погибли; но на развалинах построили новые, большие дома, и среди них даже каменные. Некоторые улицы вымостили, на многих появились дорожки для пешеходов. Однако центральная часть города осталась такой, как была. Между разными частями города можно уловить некое противоречие. Общественный вес определяется своего рода границей, которая пролегает от кафедрального собора по прямой линии к западу.

Кроме меня в городе еще восемь врачей. Моя жена иногда сокрушается, что мы сравнительно бедны, но я нахожу, что жителей города для девяти врачей вполне хватает. И даже с избытком. Будь наши пациенты чуточку щедрее, все мы могли бы жить по-княжески. Впрочем, у нас и так довольно средств, чтобы содержать прислугу.

Вчера пришла ко мне некая мадам Эккер; она жаловалась на головокружения и боли в груди, говорила, что плохо спит и боится, как бы эти боли, если их не начать вовремя лечить, не привели к слабоумию.

Разумеется, я прописал ей шесть пиявок, по три за каждым ухом, а под платьем, там, где она чувствует боль, велел носить мешочек с белладонной. И несмотря на все, получил только половину того, что мне причиталось!

Меня многие обманывают. Эта обманула меня, яростно сопротивляясь, упорно отказываясь заплатить то, что я запросил!

Жителей в городе куда больше, чем можно подумать. Но ведь, собственно говоря, Зеефонд — один из самых крупных городов на равнине к северу от Альп.

Император, который, возможно, скоро лишится налогов, что ему выплачивает наш город, понесет ощутимый урон.

Через несколько лет после нашей свадьбы моя жена Гертруда тяжело и опасно заболела. Ее пульс стал необыкновенно учащенным — иногда он доходил до ста сорока пяти ударов в минуту, моча сделалась ярко-оранжевой и зловонной. В бреду жена заклинала меня спасти ее; я трижды пустил ей кровь — ничто не помогало. Коллеги, к которым я обратился за помощью, советовали прекратить кровопускания: жена и так была уже слишком слаба.

Она снова и снова заклинала меня спасти ее; помню, я стоял на коленях, опустив голову на ее голую руку, отчетливо и мучительно сознавая, что ничего сделать не могу. Описать мои тогдашние мысли я не в силах — скажу только, что был словно парализован, но какие терзания испытывал, этого словами не передать.

Я пытался молиться Богу, но скоро перестал, потому что в обычных обстоятельствах я в Бога не верю и не молюсь. В этом я следую традиции: отец преподнес мне в дар сомнение как дорогое ювелирное изделие, как драгоценность. Неверие было предметом его гордости. Даже на смертном одре продолжал он рассуждать о своем неверии, которое считал неколебимым. Чуть ли не кокетничал им.

Я не хотел поддаться искушению пококетничать неверием за чужой счет и потому пытался молиться за жену.

Вскоре ей стало хуже.

Впоследствии оказалось, что болезнь у нее пустяковая. И вера или неверие тут ни при чем. Но воспоминание о чувстве собственного бессилия у меня осталось.

В последние годы я не раз задумывался о том, что мог бы заняться ремеслом отца — торговать готовой одеждой.

Мой друг Арнольд Штайнер (мы с ним друзья, хотя он тоже врач) обычно называет Зеефонд городом раскола. Он имеет в виду религиозный раскол. Вопреки обычной практике (впрочем, обыкновение редко служит аргументом, способным воздействовать на людей в вопросах веры), так вот, вопреки обычной практике в нашем городе есть и католики, и протестанты. Это влечет за собой практические, но прежде всего политические трудности.

Теперь, в отзвуках извержения французского вулкана, все пошатнулось и размылось. Городские власти явно обеспокоены тем, сколь далеко может зайти влияние революции. Все ждут, подозревая друг друга.

Сам я формально католик, но, понятное дело, религиозные вопросы меня не интересуют. У меня есть моя работа.

“У тебя есть твоя работа,” — говорит согласная со мной жена. “Да”, — соглашаюсь я. “Работа — это твоя вера”, — глубокомысленно говорит она. “Да”, — нетерпеливо подтверждаю я. “Подумай, скольким людям ты спасаешь жизнь”, — говорит она. “ А я спасаю?” — спрашиваю я. Тогда она смотрит на меня удивленным взглядом.

Мы часто не понимаем друг друга.

Мало-помалу я стал сомневаться в своем ремесле. Не в его методах, но в том, что касается цели наших усилий.

Три месяца тому назад я провел некоторое время в Берлине. Там я познакомился с тайным советником доктором Грессе, который подробно описал мне историю болезни одного из своих пациентов. Речь шла о молодом пруссаке — на войне, в последнем походе ему саблей отрубили нос. У молодого человека была невеста, которая с присущим женщинам безошибочным умением отличать важное от второстепенного заявила теперь, что не желает иметь безносого мужа, а герой он или нет, ей все равно.

Грессе обещал произвести операцию по методу Тальякоцци[1].

На коже левого предплечья (над Musc. Biceps) с внутренней и с внешней стороны на расстоянии двух дюймов один от другого были сделаны два параллельных надреза примерно четыре дюйма длиной. Я записывал все данные, так что в этом отношении мой отчет совершенно точен. Участок кожи между надрезами был потом с нижней стороны отторгнут от плоти и отделен от нее с помощью разглаженного льняного лоскута, который вдвинули под кожу и оставили там, пока не началось нагноение. Через некоторое время лоскут кожи был освобожден в своей верхней части и подобным же образом отделен от раны. Когда этот лоскут кожи, который к тому времени распух, задубел и стал казаться до смешного инородным, — так вот, когда этот новый телесный орган стабилизировался, ему с помощью ножа придали нужную форму и окровавленными концами прикрепили к обрубку носа, зарубцевавшиеся раны на котором снова были вскрыты. При этом, конечно, пришлось очень сильно согнуть руку пациента — его голова и рука были связаны вместе крепкими бинтами. Я сам присутствовал при этой операции. Она была очень болезненной, но молодой человек упрямо стиснул зубы. Его голова была круто повернута в сторону, и нелепо изогнутая рука прижата к ней.

Не знаю, как долго смог бы я сам выдерживать такую пытку. Молодому человеку пришлось терпеть тринадцать суток. В результате образовался уродливый комок, мясистая шишка, красная и блестящая.

Доктор Грессе увлеченно говорил о громадных возможностях, которые открывает этот метод. Я, разумеется, с ним соглашался. С горящими глазами описывал он мне мир будущего, в котором станут возможны самые фантастические свершения, самые немыслимые операции.

И вот я возвращаюсь в Зеефонд. Ночью жизнь на его улицах почти замирает. Кажется, будто я один во всем городе, одинокий в своем унынии, одинокий в своем разочаровании, одиноко и равнодушно продолжающий делать свое дело.

Я выбираюсь из кареты, прохожу мимо служанки, которая вышла меня встретить: в руке свеча, на губах сонная улыбка, платье надето кое-как.

Я молча вхожу в свой дом.

Я очень редко нарушаю свой повседневный распорядок — я пришел к выводу, что когда следуешь заранее составленному плану, получаешь наилучший результат. Можно подумать, это и так каждому ясно, однако

1. Гаспаро Тальякоцци (1546–1599) — итальянский хирург. В своих трудах популяризировал изобретенный до него метод трансплантации кожи с руки для устранения дефектов носа, уха, губ.

нет, я во всяком случае уразумел это далеко не сразу. Мой друг Штайнер постепенно приобщил меня к чуду систематичности.

Штайнер принадлежит к числу тех, кого нелегко поколебать: выстроенный им мир незыблем и устойчив. Существуют и другие миры, говорит он обычно, но я держусь того, который устойчив. Он склоняет над письменным столом лицо с тонкими искривленными губами, с глубокой щербиной под нижней губой и почти белокурой бородкой, которая придает Штайнеру юношеский вид, хотя ему за тридцать. Свои бумаги он держит в небольших самодельных коробках; чтобы порядок в его кабинете не выглядел слишком уж совершенным, я, приходя к нему, расталкиваю коробки во все стороны. Эту шутливую выходку, к которой мы оба привыкли и которая давно потеряла новизну, Штайнер принимает с невозмутимым спокойствием. Руки у него тяжелые, квадратные — Штайнер никогда не жестикулирует. Его кисти неподвижно лежат на столе; он поднимает их только для того, чтобы ударить словно молотком: "Политика, — непреклонно говорит он, — это метафизика неверующих, а я не приемлю никакой метафизики. С нами, врачами, в мир приходит порядок". Штайнер делит мир на маленькие квадратные участки и критически рассматривает их, с раздражением отметая всякую смуту. "Скоро, — говорит он, — нам удастся разжечь последнюю религиозную войну: ее огонь истребит все, выживут только те, кто смотрит на мир со спокойным недоверием и кто стоял в стороне. Тогда мы снова выйдем на свет из горных пещер, — торжествующе говорит Штайнер и, подводя итог, грохает по столу молотком своих кулаков. — Уцелеют только недоверчивые, они разумно устроят мир, ведь мы взяли разум с собой в пещеры и он уцелел вместе с нами".

Я с улыбкой киваю головой, не желая охлаждать его пыл.

Вчера он рассказал мне забавную историю. Сразу после смены ночной стражи в город прибыл человек — совсем один, если не считать сопровождающего его слуги. Он приехал в карете и снял номер в гостинице. Проспав несколько часов, слуга спустился вниз и сообщил двум приказчикам бакалейной лавки, что его хозяин чудотворец! Он умеет вызывать дождь! И лечить животных! Слух уже распространился по городу, и Штайнер с нетерпением ждет первой схватки — больше всего на свете он любит стирать в порошок чудотворцев. "Надеюсь, он и впрямь чудотворец, — заявил Штайнер, — в единоборстве с подобными людьми и проявляется мое величие". — "Что-то это величие до сих пор слишком стыдливо себя таило", — возразил я. "Подождите и увидите", — ответил он.

В невозмутимости Штайнера есть что-то детское. Он твердо верит в себя и не верит ни во что сверхчеловеческое. Я ему завидую.

Большинство его пациентов очень богаты, но это вовсе не значит, что сам он человек состоятельный. В Зеефонде много состоятельных людей, но врачи не принадлежат к их числу.

Потом я снова услышал о чудодее.

Он по-прежнему живет там, где остановился. Никто с ним не говорил. Он часто выходит из дому поздно вечером; люди глядят на него с любопытством, как обычно глядят на чужаков. Больше ничего не происходит. Возможно, он скоро уедет.

Вчера я его увидел. Странное лицо — широкие скулы, очень темные, глубоко посаженные глаза. По-моему, в нем чувствуется что-то монгольское.

Он называет себя Мейснером.

В картине мира, идеального мира, какой себе рисует Штайнер, есть нечто общее с Зеефондом. В Зеефонде все идет в ногу с прогрессом. Расчистка улиц и сгоревших кварталов была произведена образцово, тут свое слово сказали и врачи. Два года назад городские власти построили богадельню, убрав таким образом с улиц большую часть нищих. Штайнер уверяет, что доволен своим городом. Он прогрессивнее многих других, утверждает Штайнер.

Я с ним, конечно, не спорю. Когда речь заходит о таких вопросах, мне не хватает в споре разумных аргументов. Мне хорошо живется в моем городе, и, насколько я знаю, многим другим тоже. Определение "хорошо" в данном случае относится к внешним обстоятельствам. А мои доводы против этого образа жизни отпадают сами собой, потому что то, чем я недоволен, определению не поддается.

Штайнер привел мне вчера одно из доказательств того, что Бога нет. Оно показалось мне таким же наивным, как и доказательства того, что Бог существует. Иногда Штайнер раздражает меня. Он знает, что мы с ним придерживаемся общих взглядов. Зачем же снова и снова возвращаться к этим вопросам? От частого повторения самоочевидное способно истончить самое себя, даже себя уничтожить.

Тот, кто называет себя Мейснером, сменил жилье. Он поселился у вдовы поляка, мадам Кессель с Кохбеккергассе. Говорят, снял две комнаты. Утверждают также, будто он принимает пациентов — стало быть, лечит не свиней, а людей. Называет ли он себя врачом, никто не знает. Штайнер прислал мне вчера утром письмо, написанное явно второпях. Он хочет, чтобы все городские врачи немедленно приняли меры.

Стало быть, он не сомневается, что эти меры возымеют действие. Но для того чтобы что-то предпринять, надо прежде всего иметь доказательства того, что Мейснер и в самом деле принимает пациентов, что он их пользует, и, главное, при этом неудачно. Подобные меры, написал я в ответ Штайнеру, чреваты злосчастными последствиями — всякого врача, потерпевшего неудачу, тогда, без сомнения, отправят в тюрьму на казенный кошт.

По свидетельству посыльного, Штайнер, прочитав мое письмо, только хмыкнул.

Утверждают, будто Мейснер врачует с помощью поглаживаний, что он магнетизер. Слухи меня не удивляют: год тому назад в Берлине я столкнулся с чем-то подобным. Некий магнетизер Вольфарт, ученик Месмера, утверждал, что может лечить некоторые болезни с помощью поглаживаний и магнетизирования тела пациента. Успехи его были ничтожны. Да и самый метод пока еще совсем не изучен. Думаю, Берлин не самое подходящее место для подобных опытов — там слишком много искусных и влиятельных врачей.

Однажды Вольфарту просто не дали приступить к врачеванию; произошло это так.

В одной из городских больниц лежала восемнадцатилетняя девушка, которая после шестинедельной задержки месячных страдала от мучительнейших спазм и рвоты. Вольфарт предложил помочь ей посредством магнетизирования, лечения магнетическим сном. Разговор Вольфарта с тайным советником состоялся в моем присутствии. Паци-

ентка была очень слаба, и врач заявил, что она обречена и умрет. Тут-то Вольфарт и выступил со своим предложением, которое было самым непреклонным тоном отвергнуто. Ему ответили, что "в течение долгого времени уже предпринималось множество бесполезных усилий, и ни у кого нет охоты наблюдать еще новые".

Пациентка и в самом деле через две недели умерла. Я присутствовал при анатомировании. У нее ничего не обнаружили. Тайный советник заявил, что никто и не рассчитывал что-нибудь обнаружить.

Как я уже сказал, девушка была очень молода. После этого случая я пал духом еще больше обычного

Я рассказал эту историю жене. Она выслушала ее с большим интересом. А потом выразила удовлетворение тем, что девушку оградили от посягательств на здравый смысл. "Это достойная смерть", – так выразилась жена.

Теория о магнетическом воздействии на людей, вне всякого сомнения, вздор.

Поэтому известие о том, что в нашем городе появился магнетизер, – а он без сомнения магнетизер, – меня тревожит. Я рассказываю об этом жене.

Она говорит, что понимает мою тревогу. Я лежу без сна и размышляю над ее ответом: нет ли в нем двусмысленности?

Я слышу, как в библиотеке играет на фортепиано моя дочь. Звуковая капель долетает до меня; дочь играет очень мягко, очень проникновенно, возможно потому, что впитала мелодию слухом. Моя дочь слепая. Я часто с удовольствием слушаю ее игру, она прекрасно играет. И всему научилась, не зная нот.

Несколько раз она играла в салоне мадам Круа. И, говорят, с большим успехом.

Я был свидетелем еще одного опыта. Вольфарт положил на стол компас и, обведя его кругом, сначала ввел в этот круг магнит, чтобы, как он пояснил, "удалить посторонние силы, которые могут случайно оказать воздействие на стрелку". Потом он поместил магнит в другую часть комнаты и начал поглаживать стрелку указательным пальцем. После десятка таких поглаживаний кончик стрелки, словно от толчка, переместился вниз. Чтобы вернуть стрелку на прежнее место, магнетизеру пришлось гладить ее в обратном направлении.

Вольфарт заявил, что это наглядное изображение (а может, он сказал – доказательство, не помню) того, что происходит, когда он лечит своих пациентов.

Рассмотреть компас поближе мне не удалось.

Может быть, Вольфарт прав. Но все же если докажут, что существует конкретный флюид, я буду разочарован. Соблазн необъяснимого исчезает при слишком конкретном объяснении.

А я предпочитаю сомневаться и поддаваться мистическому соблазну.

Сейчас вечер. Из своего окна я вижу улицу. Под медленные капли мелодии, которую играет моя дочь, взад и вперед идут прохожие – жители моего города, приезжие. Вот мимо проносят высоко поднятые лампы. Их несут следом за идущими девицами. В стекле четко отражаются очертания моего лица. Звучит музыка. Музыкальная капель ороша-

ет меня. Я безвольно раскачиваюсь взад и вперед. Я устал. Я совершенно беззащитен. Я знаю, что дочь играет для меня.

В моей французской Энциклопедии (изданной в 1765 году в Невшателе) в статье "сомнамбула" читаю: "Это название составлено из двух латинских слов: "somnus" – *сон* и "ambulo" – *я иду*; стало быть, это значит – *идти во сне*. Сомнамбулизмом называют болезнь, недомогание или странное расстройство: те, кто ему подвержен, могут в состоянии глубокого сна ходить, говорить, писать и совершать различные действия".

Это я в связи с тем, что, по слухам, Мейснер приводит своих пациентов в состояние, похожее на сон. Однако пока еще никто не дал точного описания его метода.

Я почитал еще кое-какие записи, из моих собственных.

Флорентийский врач Антониус Бенивениус рассказывает о молодом человеке по имени Каспер, который был ранен в руку стрелой. Два дня он провел в бдениях и молитве, после чего вдруг ударился в предсказания. Вначале он предрек, в какой именно день стрелу извлекут из раны, а затем и другие события и происшествия, которые впоследствии исполнились в точном соответствии с его пророчествами.

Прочесть об этом можно в "De abditis morborum causis"[1], глава X. Опубликовано в 1529 году.

И в сочинениях исландца Юна Гудмундссона – этого недооцененного лекаря, жившего с 1573 по 1666 год, – можно найти описания подобных случаев. Однако еще более интересен в этом отношении Хельмут Прендлер, бывший с 1692 по 1706 год профессором в Грайфсвальде. Его четырехсотшестидесятистраничная "Causa"[2] – один из краеугольных камней моей библиотеки; Прендлер с презрением отвергает множество утверждений, содержащихся в других трудах.

Я показал эти места Штайнеру. Он прочитал, но не выказал никакого интереса. Для него все это разумеется само собой.

Дочь играла медленней обычного – это был полонез Моцарта, но играла она так медленно, что в пьесе трудно было узнать полонез. Стоя на полутемной лестнице, я смотрел на нее, дыша открытым ртом, стоял и смотрел на милую тоненькую фигуру за фортепиано.

Я думаю, она устала. Она не в силах была играть быстрее, хотя техника ей это позволяла.

Потом я увидел, как по ошибке она слишком высоко подняла руки над клавишами и, опустив их, взяла фальшивую ноту, прозвучавшую резко и пронзительно. Тогда она прервала игру и, устало поникнув, принялась ощупывать инструмент, чтобы вновь представить себе расположение клавиш. Наконец ей это удалось, и теперь она могла начать играть.

Но она не начинала, стояла тишина, и я смотрел на мою девочку, сидевшую у фортепиано. Окно справа наискосок виднелось размытым, чуть поблескивающим пятном света. Новый романтизм, думал я, молодые романтики, вот бы им увидеть ее сейчас. Прочувствовать ее образ и воссоздать на холсте, вместо всем обрыдших автопортретов. Теперь она

1. "Об отведении причин болезни" (*лат.*).
2. "Причина" (*лат.*).

стояла у окна, протянула к нему руку, дотронулась до холодной поверхности стекла. Наверно, подумала: если я открою окно, я что-нибудь услышу.

Она надавила рукой на стекло, на ту его часть, что ближе к крючку, но окно не открывалось. Тогда она осторожно отошла в глубь комнаты. Повернула голову, прислушалась; я понял, что она ждет звуков из моего кабинета.

Она ждет меня, подумал я. И когда я войду, она подойдет ко мне, обнимет и скажет, что моя одежда — это прессованный табак и она не понимает, почему я ее не курю.

Мария, скажу я ей, послушай. В город приехал новый врач.

Я слышала, скажет она. Штайнер говорил мне об этом. Но в самом ли деле он врач? Может, он шарлатан?

Этого мы не знаем, скажу я. Этого пока еще не знает никто в нашем городе.

Я выхожу из сумрака лестницы и иду к дочери, нарочито громко ступая, чтобы ее не испугать. Я вижу, когда она услышала мои шаги. Она не вздрагивает, но она ждет.

Она спрашивает, не боюсь ли я. Я спрашиваю, о чем это она. Она говорит: не боишься ли ты, что он отобьет у тебя пациентов. Нет, отвечаю я.

— Мария, — говорю я, — пойдем погуляем. Ты слишком много сидишь взаперти.

Она так и расцветает от радости. Я часто вывожу ее гулять, и все-таки слишком редко. Мне не позволяет работа. Жена часто гуляет с Марией, но это меньше радует дочь.

— Сейчас осень,— говорю я. — На улице свежо. А когда воздух влажный, он промывает нас изнутри.

Мария улыбается моему голосу. Но я умолкаю. Тогда она берет меня под руку.

— Пойдем же, отец, — говорит она.

— Рассказывай, — просит она и крепче прижимает к себе мою руку. — Обо всех, кого мы встречаем по пути.

— Не могу, — шепчу я ей в ответ. — Говорить о людях, которые проходят мимо, неучтиво. Они могут нас услышать.

— Но ты же можешь рассказать о них, когда они пройдут, — настаивает она. — Тогда они не услышат.

Мы идем, тесно прижавшись друг к другу. Встречные дружелюбно нам кивают. Вероятно, они видят, что мои губы шевелятся, но слов разобрать не могут. Даже те, кто сталкивается с нами нос к носу, не могут услышать ни слова.

Вот идет Зелингер, наверняка думают они. Зелингер и его слепая дочь. Она очень бледна. Правда, в это время дня освещение невыгодное.

Пройдя полпути, мы встретили Мейснера. Это было на Егервирт-гассе, на углу Фуксвинкель. Я рассказал о нем Марии, как и о других прохожих.

— Он идет нам навстречу, — тихо сказал я. — С виду он не старый. Сейчас он всего метрах в десяти от нас. Он смотрит на нас. Он идет прямо нам навстречу.

Он все время не сводил с тебя глаз.

Во второй половине дня я посетил пациентку Терезу Хаубингер. Я все еще был взволнован встречей с Мейснером, но постарался, чтобы дочь ничего не заметила. Я застал пациентку в посели; в изножье кровати сидел ее муж; женщина жаловалась на то, что вот уже полчаса ее непрерывно рвет. Я сел на стул и выслушал жалобы. Рвало ее желчью, слизью, а также жидкостью, которую она перед тем выпила. По словам больной и ее мужа, рвоту сопровождали мучительные позывы и сильные боли в области желудка. Причиной этих болезненных симптомов было, по-видимому, прекращение начавшейся менструации, вызванное тем, что женщина слишком разгорячилась во время танцев, а также тем, что накануне муж ее чем-то огорчил. Муж этого не отрицал. Накануне вечером у больной, как обычно, был нормальный стул, и вообще никаких болезненных явлений не отмечалось.

Я прописал женщине принимать каждые полчаса по столовой ложке микстуры из мятной воды, настойки корицы и лауданума, а также делать ножные ванны.

Когда я уходил, ее все еще продолжало рвать. Гортанное надсадное бульканье разносилось по всему дому, она даже не пыталась скрыть свое недомогание.

Был поздний вечер; я знал, что когда приду домой, дочь уже будет спать. Так же твердо я знал, что Тереза Хаубингер выздоровеет. По крайней мере, я был уверен, что от ее ног больше не будет так скверно пахнуть. Я шел по темным улицам, стараясь сосредоточиться на этом, на ее ногах, и упрямо улыбался. Это мне по крайней мере удалось. Я пытаюсь что-то сделать для людей, думал я, и делаю, но их продолжает рвать, они выздоравливают и умирают, и потом... И город вокруг меня меняется, совершается прогресс, а я продолжаю чувствовать усталость и разочарование. Разочарованию нет дела до прогресса. Я потчую своих пациентов коричной настойкой, но собственной дочери помочь не могу. Я прописываю ножные ванны и мню себя находчивым.

Над водой у набережной кричали морские птицы — коротко, пронзительно; не знаю, о чем они кричат. Я остановился и прислушался к их воплям; я был уже почти дома, но мне не хотелось преодолевать оставшуюся часть пути.

Мне казалось, птичьи вопли звучат все громче.

3

Первой женщине было за пятьдесят. У нее болели ноги, и по ночам она плохо спала из-за болей в спине. Ноги у нее распухли, и толстые узлы вен под кожей походили на свернутые мотки пряжи. Врачи прописали ей три раза в день пить чай из ромашки.

Она принесла с собой шнипер[1]. Его смастерил ее муж. Шнипер был из блестящей меди, два дюйма длиной, и состоял из пера, соединенного пружинкой с маленьким, бьющим с размаха молоточком. Шнипер прижимали к коже, молоточек ударял всегда очень точно, и перо входило на нужную глубину.

Мейснер попросил женщину лечь.

— Вы первая в этом городе, — спокойно сказал он.

1. Приспособление для кровопускания.

Женщина тупо воззрилась на него, но потом поняла, что он хочет завязать разговор, и с жаром ухватилась за эту возможность.

— Я думала, нас будет много, — сказала она, — что мы тут все сядем рядом.

— Сейчас я буду работать только с вами одной, — спокойно ответил Мейснер. Потом он приказал ей не волноваться и лечь поудобнее, потому что он будет ее магнетизировать. Он вынул магнит и показал женщине.

Наконец она улеглась и закрыла глаза.

— А шнипер вам не нужен? — спросила она, когда он поднял руку, чтобы начать поглаживания.

— Нет, — ответил он. — Ни в чем таком нужды нет.

Так это началось. Во многих отношениях это напоминало прежние случаи: часто все начиналось с какого-нибудь незначительного пациента, робкого, нищего, доверчивого. Так было в Париже, той долгой зимой в Париже, во время долгой парижской борьбы. Великий Парацельс тоже боролся с ученостью и схоластикой, думал Мейснер, боролся так же яростно, встречая такое же сопротивление, терпя такие же неудачи.

Он вспоминал всех медикусов, которые, самодовольно улыбаясь, теснились вокруг операционного стола и твердили, что счастливы, когда им удавалось пустить в дело какой-нибудь инструмент или произвести операцию, даже если все это приводило к страданиям или смерти пациента. Он вспоминал умерших. Сначала напрягшиеся, почти лишившиеся сознания от страха, потом обмякшие на пути к смерти, уже в забытьи корчащиеся от последней боли, которая настигла их при жизни, и, наконец, недосягаемые для экспериментов и успешных теорий. Уж эти мне акробаты здравомыслия, с презрением думал он, рукоделы, лишенные визионерского дара.

Они воображают, будто могут построить мир на основе здравого смысла, думал он тогда, хотя глубинная суть всех вещей в безрассудстве. Ему нравилось размышлять о том, что же это такое "глубинная суть вещей" — нечто недосягаемое, что нельзя пощупать руками. Они смеялись и над Парацельсом, думал он, хотя Парацельс добрался до более далеких стран, чем все те, кто над ним смеялся, — он добрался до датского города Стокгольмия и там встретил понимание. А здесь — нет.

Вольфарт чувствовал то же, что я, думал он. Пережил то же, что я. Я знаю это. Он сказал мне об этом, прежде чем мы расстались навсегда.

Париж. И вот понемногу они стали приходить к нему. Порой вокруг двух чанов собиралось человек тридцать-сорок. Много вечеров подряд ему казалось, что удается все. Свет — приглушенный отсвет горящего в углу огня. Тишина, пронизанная ожиданием. Женщины, следящие за каждым его движением. Он направлял их взгляд на большую деревянную лохань, заполненную бутылками и железной стружкой, и под конец молчание становилось именно таким, как он хотел. И они сидели, устремив взгляд в выбранную им точку, а он ходил вокруг и дотрагивался до них стеклянным жезлом.

Была там женщина, которая в течение пяти лет тряслась всем телом, — она лежала, запрокинув голову на спинку кресла, открытая всему, сдавшая все бастионы. Там был мужчина с сыпью на лице — он выходил на улицу только по вечерам, подняв воротник, точно от холода. Была

женщина, разрешившаяся мертвым ребенком и с той поры страдавшая немочью. А он ходил вокруг и прикасался к ним своим жезлом, выжидая столько, сколько считал нужным, и они впадали в сон. Так было в минуты наибольшей удачи. И что ж, разве это им повредило? — спрашивал он потом первого министра. Повредило? Как далеко завел их экстаз? В чем же вы обвиняете меня?

На излечение к нему привели даже паралитика...

Однажды ему во сне явился Парацельс (это было после катастрофы в Вене, но до окончательной катастрофы, которую повлекло за собой пребывание среди свиней, когда он поглаживал им брюхо, пророча счастливый исход). Парацельс явился ему во сне и говорил с ним. "Ты читаешь мои труды, — говорил он, — но не понимаешь, к чему я стремлюсь. Ты виноват перед собственным даром визионерства. Виноват, что не примешиваешь иллюзию к действительности, предоставляя ей оставаться где-то на полпути между небом и землей. Если ты будешь потчевать их действительностью, сказал Парацельс, ты станешь им не нужен. Они будут довольствоваться реальным миром.

Дай им ложь, потому что им нужна она".

Но Парацельс исчез, а свиньи остались. Однажды в Баварии — там Мейснер жил дольше всего — ему щедро заплатили, но ему пришлось задержаться в деревушке из-за непогоды. И тут всё стало умирать, всё, к чему он прикасался, все животные. Его схватили, сорвали с него одежду и распяли на земле. А сами встали над ним — все местные крестьяне, извлекли из штанов свои грязные члены и, держа его голову лицом вверх, силой разжали его челюсти и стали мочиться прямо ему в рот. Но не убили.

"Моча уходит, — думал он тогда, мочу можно смыть; смерть — дело другое".

В свиньях визионерства не пробудишь, думал он. Я работал с негодным материалом. А материал надо выбирать подходящий и действовать нагло, вероломно и лживо, чтобы пробиться к тому, что истинно.

Нужен город, ничем не запятнанный. Горстка людей, которые способны поддаться внушению. И тогда их экстаз можно будет выставить на всеобщее обозрение, как истинное произведение искусства, как паутину чародейства, орнамент из свиней с человечьими головами.

И тогда я заставлю их поверить в невероятное, и мир пошатнется, и лесные феи выйдут на свет.

В эту пору у Мейснера волосы были черные, спускавшиеся на шею и ровно подстриженные. Очень красивые волосы. Бороды он не носил. Скулы резко выдавались вперед. Держался он со спокойным достоинством.

— Чудотворец ходил вчера на рыночную площадь, — сообщал Штайнер. — Плащ на нем очень дорогой. Кисти рук узкие, с длинными пальцами и ухоженными ногтями. Роста он среднего. Я наблюдал за ним с полчаса. Он не из деревенских...

Ткач сначала рассказывал всем, что Мейснер лечит животных, — то была ошибка, скверное начало, Ткач поплатился за него передним зубом.

Теперь ему предстояло пустить другой слух: его хозяин — магнетизер. Ткач был предтечей, провозвестником, Иоанном Крестителем.

Средства позволяли Мейснеру ждать.

Но пациенты пришли, как приходили всегда. Минула неделя, и в удачные вечера помещение заполнялось на треть. Могло быть лучше, но могло быть и хуже.

— В Вене, — рассказывал Мейснер Ткачу, — у меня однажды побывало сто человек за один вечер. Тогда мной в конце концов заинтересовалась императрица. А теперь у них в Вене остался один только здравый смысл да еще болезни.

А здесь мне необходима хотя бы маленькая победа.

Вечерами Мейснер совершал долгие прогулки. На закате у пристани было тихо и спокойно. Листья, размокшие от росы, покрывали землю мягким бархатным ковром. Ткач тенью следовал за Мейснером.

Беспокоиться было не о чем. Предтеча свое дело сделал, оставалось ждать. Вечера были прекрасны. Мейснер сидел на мостках, неподвижный и спокойный, как вода, на которую он глядел. Было это в сентябре 1793 года.

Со временем Мейснера стали путать с его конкурентами.

Один из них, живший много позже и постепенно разбогатевший, вместо обычного чана использовал чашу, наполненную битым стеклом. В нее наливали жидкость того или другого цвета. Люди рассаживались вокруг, положив руки на железные стержни, которые в разные стороны торчали из чаши.

А в отдалении расхаживал магнетизер в светло-лиловой одежде.

Мейснер, безусловно, носил одежду только черного или серого цвета.

Мало-помалу у него появились сторонники. Ткач был хорошим посредником, а постоялый двор и трактиры — удобным местом для завязывания связей. Отчужденное достоинство, ревниво оберегаемое Мейснером, судя по всему, от этого не пострадало.

Ему рассказали о Зелингере.

— У него дочь слепая, — рассказывали ему. — Она ослепла десять лет назад, когда наш город втянули в войну. Война была короткая, но кое-что за это время случилось.

— Вот как, — отвечал он, почти невидимый за своим холодным взглядом.

— Пришли французы, — рассказывали ему, — втащили ее в комнату и изнасиловали, хотя ей было всего десять лет. Она ослепла, но могло быть и хуже. Пусть спасибо скажет, что осталась жива. Другим, бывало, глотку перерезали, если те не умирали сами после того, как на них перебывала половина полка. Пусть спасибо скажет, она потеряла невинность и зрение, но осталась жива. От невинности какой толк? В нашем городе немного найдется двадцатилетних, которые ее сохранили.

— И что она теперь делает?

— Теперь? А что ей делать? У нее есть фортепиано — она играет. К тому же и родители у нее есть. Отец ее вылечить не может, но он *ее глаза*. Наверно, он богатый, он ведь врач. Врачи все богатые, правда ведь?

— Ее отец врач, — позднее говорит Мейснер Ткачу. — Она ослепла именно так, как надо. Ее глаза должны видеть, как у всех остальных. Никаких повреждений у нее нет.

— Да-а? — вопросительно тянет Ткач. — Да-а?

— Это как в Вене, — говорит Мейснер потом, много позднее. — В Вене, когда мне не дали продолжать.

Было что-то такое в ее повадке — Мейснер видел, как она идет рядом с отцом, приоткрыв рот, чтобы вобрать в себя все, что тот рассказывает, слегка подавшись к нему, воплощенное доверие.

Может, то было случайностью. История и в этом случае отказывает нам в помощи — с невозмутимым выражением лица поставляет она факты, предоставляя нам самим их толковать. Клинический случай становится игрой в загадки, в нем отражается как рассказчик, так и слушатель.

Правда, у нас есть доступ к заметкам Зелингера об этой встрече. Мы знаем, что между ними состоялось знакомство.

Минуло шестнадцать дней после появления Мейснера в городе. Ночью шел дождь, наутро улицы были залиты водой. Мария сидит у окна и прислушивается к звукам.

И вот он идет к ней, Мейснер, врач и искусник. Он смотрит на нее издали. Небо прояснилось. Он ловко перепрыгивает через лужи, хотя с виду он не молод. Она не слышит его приближения.

— Мне рассказали про вашу дочь, — говорит Мейснер. Он заранее заготовил эти слова, и все-таки они звучат убого. Сейчас он меня выпроводит, думает Мейснер, внутренне передернувшись. Я выбрал не те слова.

— Я хочу ей помочь, — торопливо добавляет он. — Я однажды лечил подобный случай. Поверьте мне.

Так начинается их разговор.

Когда слух распространился по городу, люди стали говорить, что Зелингер сошел с ума. Другие считали, что Зелингера каким-то образом убедили: от чужака по имени Мейснер отмахнуться нельзя. Люди пытались вспомнить дочь, Марию, ее облик, но вспоминали только так, как вспоминают групповое изображение: она склоняется к доктору Зелингеру, повиснув на его руке. Наверно, он в отчаянии, говорили люди, наверно, потерял всякую надежду, если отдает ее в руки приезжему врачу.

Да еще неизвестно, врачу ли, говорили они.

Рассказывали, как к Зелингерам в дом вошел Штайнер, торопливо, с озабоченным лицом. Кто-то видел, как много позже он вышел от них. Никто не знал, о чем говорилось в доме. Но слух не угас, как бывает с ложными слухами, и вскоре все узнали: Мейснер сделает попытку излечить дочь Зелингера собственным методом.

Люди рассказывали о том, что знали, а потом принимались рассуждать. Большинство на всякий случай высказывалось осторожно, выражало сомнение в исходе, во всяком случае в разговоре с другими. Через несколько дней большинство застраховало себя на случай всех возможных исходов. Совершенный вздор, но все может быть, я сомневаюсь, но, впрочем, допускаю.

Потом, позднее, все выяснится.

Однажды вечером Штайнер сидел в погребке Вегенера. Вообще-то он ходил туда очень редко, но так или иначе, теперь он там сидел. Его осаждали посетители — ведь все знали, что он врач и знаком с Зелингером.

— Вон значит как, — весело говорили они, поднимая свои бокалы и растягивая рот в улыбке, которую уже не могли или не хотели скрыть, — вот оно, значит, как бывает с лекарями, друг другу они своих детей не доверяют. Нет, значит, на свете людей без изъяна.

А Штайнер не сводил с них жесткого взгляда и жалел, что пришел сюда, он хотел послушать, что говорят, а не высказываться сам.

— Не лекари, а лекарь, — резко сказал он. — Не судите обо всех по несчастному Зелингеру. У него помутился разум, он сам не знает, что творит.

— Ясное дело, — снисходительно подтверждали они, — ясное дело. А ты никогда не пытался вылечить ее, медикус? Никогда не пытался?

— Она слепая, — спокойно ответил Штайнер, силясь призвать на помощь остатки своего авторитета. — Пытаться — не значит добиться успеха.

— А Зелингер думает, что тот добьется? — Теперь они смеялись во весь голос, и Штайнер ненавидел их и ненавидел Зелингера, этого доверчивого, как ребенок, предателя и, между прочим, своего друга. Он не хотел срамить Зелингера перед всеми этими людьми, но чувствовал, что должен, он хотел отмежеваться от этого эксперимента, от этой лженауки, от этого злоупотребления глупостью и невежеством.

— Бывают успехи такого сорта, которые в конечном счете оборачиваются неудачей, — упрямо сказал он, уставившись в свою пивную кружку.

Они смотрели на него, снисходительно посмеиваясь.

— Может, чудотворец станет в доме зятем, — сказал вдруг один из них, подручный мясника, живший в последний год на Вертельгассе.

На это Штайнер ничего не ответил.

Однажды Штайнер провожал Марию после концерта. На другой день кто-то насмешливо заметил, что, наверно, ему было легко идти торной дорожкой, по которой уже многие до него прошлись.

Зеефонд лежал в стороне от больших культурных магистралей. В Париже подобные слова были бы невозможны. Другое дело здесь.

И потому Штайнер ударил, сильно и точно. Насмешник тяжело рухнул на левый бок, слегка поцарапав себе при этом щеку.

Штайнер был холост. Часть его лица, лоб и кожу у висков, покрывали оспины. В этих местах лицо его напоминало рельефную карту царства мертвых.

Бородка, очень светлая, тоже скрывала рубцы.

Она никогда меня не видела, думал он, но что такое оспины, она знает.

— А что будет, если он добьется успеха? — спросил секретарь канцелярии городского совета, сидевший как раз против Штайнера; он оскалил желтые резцы, почти не в силах скрыть ликование. — Что будет, если она снова станет зрячей? Может, врачи постараются исправить ошибку, сделав так, чтобы она опять ослепла?

— Я от всей души желаю ей выздороветь, — сказал тогда Штайнер. — И он, и она будут тогда счастливы. Но давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— Конечно, конечно, — снисходительно согласились они, обволакивая его своим смехом, и смех этот был такой тяжелый, душный, что Штайнер едва не задохнулся и, вырвавшись от них, ушел. Когда он переступал порог, смех уже превратился в громовой хохот.

Первое знакомство состоялось в сентябре. Но лечение началось только в середине октября.Чем была вызвана задержка, неизвестно.

— Мария, — ласково говорит он. — Мария Тереза...

— Да, отец. Я слушаю.

— Ты боишься? — спрашивает он.

— Нет, — говорит она. — Я не боюсь. Мы не боимся, правда ведь? Ни ты, ни я. Мы знаем, что делаем.

— Ты не считаешь, что я совершаю ошибку? — с усилием спрашивает он. — Штайнер ко мне больше не ходит. Он считает, что я совершаю ошибку.

— Скоро мы узнаем, — тихо говорит она и гладит отца по руке.

Да, думает он, скоро мы узнаем. Но даже узнав, мы ничего знать не будем. Если мы добьемся успеха — если он добьется успеха, — все тогда рухнет. Мы потеряем равновесие, не будем знать, куда идем. Мы жертвуем равновесием нашего мира. Может, этим нельзя жертвовать.

— Штайнер, — говорит он, — утверждает, что я совершил предательство. Он считает себя истребителем чудес, и я теперь перебежал ему дорогу. А доброе отношение ко мне связывает ему руки. Я думаю, он в большом смятении.

Мария вслушивается в отцовский голос, но улавливает в нем только тревогу. Она откидывается на спинку стула и молчит.

В это утро она поднялась очень рано; никто ничего не говорит, но она чует это в воздухе и знает: *сегодня*. Она пытается играть, но играет слишком быстро, сбиваясь с темпа. Это менуэт, который однажды ее просили бисировать в салоне мадам Круа. "Он как раз ей подходит, — говорили собравшиеся в салоне, — веселый, но с затаенной грустью". Мария знала, что это неправда и они говорят все это, чтобы казаться современными. Она слышала разговоры о новых писателях-романтиках, как они мечутся между скорбью и радостью, и теперь все должно было соответствовать этому духу.

Сегодня ей предстоит встретиться с Мейснером.

Отец разрешил, думала она. Он хочет мне добра и разрешил ему испробовать на мне свое лечение. Может, после этого я стану зрячей, отец не хочет упускать эту возможность.

— Нет ничего, что было бы слишком хорошо для тебя, Мария, — сказал отец, но по его голосу она чувствовала, что не все ладно. — Нет ничего, что было бы слишком хорошо для тебя...

Она позвонила в маленький колокольчик.

— Отец ушел? — спросила она.

— Нет, — ответила служанка. — Он сказал, что скоро зайдет к барышне.

А потом, когда он пришел, она спросила:
— Ты ведь все время будешь рядом, отец?

Ее укладывают на кровать в библиотеке. Рядом нет никого — только Мейснер и Зелингер.

На ней белое платье, которое ей сшили минувшей осенью, когда она играла перед публикой. Ее подвели к кровати и уложили.

Потом Мейснер завязал ей глаза. Пока шли все эти приготовления, он был немногословен. А когда наконец все устроилось, попросил оставить его с девушкой наедине. Доктор Зелингер, после недолгого колебания, согласился.

— Я буду сидеть за дверью,— сказал он той, что была его дочерью. — Ты можешь позвать меня в любую минуту.

Она не ответила.

Отчет, который позднее составил и частично опубликовал Клаус Зелингер, во многих отношениях неполон. Больше всего в нем сообщается о внешних подробностях процедуры: о том, в каком положении находилась пациентка, в какое время началось лечение и так далее, и очень мало о самой процедуре.

И все же этот зелингеровский отчет кое-что поясняет.

— Ты хорошо меня слышишь?

— Да, — говорит она.

— Повязка не давит?

— Нет.

— Я понемногу приступлю к лечению, которое не описано ни в каких медицинских книгах, потому что я изобрел его сам. Оно основано на изучении телесных жидкостей. И связано с флюидами, частью нашего организма, которая до сих пор была неизвестна, и с тем, как соотносятся с этой загадочной телесной жидкостью небесные тела. Я собираюсь воздействовать на твой флюид с помощью магнетических поглаживаний.

— Да, — говорит она слабым, но внятным голосом. — Я понимаю. Вы будете гладить меня магнитом.

— Если ты веришь в магнит, я буду пользоваться магнитом, — говорит он. — Но он необходим далеко не всегда. Он нужен как связующее звено, он не самоцель.

— Да, — говорит она, не понимая.

— Я верну тебе зрение, но нам придется ждать долго и терпеливо, пока наступит нужный момент. — Он склоняется ниже к ее лицу и спрашивает снова: — Ты хорошо меня слышишь?

— Да, — отвечает она, глядя в невидимый потолок. — Да.

— Прежде всего ты должна успокоиться. Ты должна слушать мой голос, и только его. К окончательному лечению мы приступим тогда, когда ты будешь слушать мой голос с таким огромным доверием, что не будешь его слышать. Ты слышишь его и в то же время не слышишь. Понимаешь?

— Нет, — говорит она все таким же внятным голосом. — Этого я не понимаю.

Он сидит на стуле с ней рядом. В комнате еще светло, но он знает, что скоро наступят сумерки; впрочем, это не играет роли, время при-

надлежит ему. Он совершенно спокоен. Он улыбается ей и слышит, как она вслушивается в его молчание.

— Ты молода, — говорит он, улыбаясь. — И разум у тебя на редкость светлый.

— Отец тоже так говорит, — отвечает она.

— Ты уже знаешь много языков, — продолжает он. — Ты образованней многих других.

— Да, — тихо говорит она.

— Но ты не видишь, — говорит он.

На это она не отвечает.

В коридоре почти совсем темно. Можно различить дверные ручки, более темный квадрат на полу, наверно коврик. Поскольку эта темнота не связана напрямую с дневным светом, трудно определить, настали ли уже сумерки, может, здесь просто плохое освещение. Зелингер об этом не думает. Он только старается уловить голоса в комнате за дверью. Они тихие, невнятные, иногда они умолкают совсем. Записи делать невозможно.

Так в полумраке и начался его отчет.

"Магнетизер заявил, что должен остаться наедине с пациенткой, — пишет Зелингер. — Поэтому я вышел из комнаты и сел на стул за дверью".

— Я ничего не помню, — говорит она.

— А что ты помнишь, когда ничего не помнишь?

— Как меня отнесли вниз. Это мне другие потом рассказали, я помню, что мне рассказали. Отец тоже пытался заставить меня рассказать, но мне рассказать нечего. Я ведь была совсем маленькой, когда это случилось.

Он закрыл лицо руками: вот оно, думает он, вот оно, я не должен ее упустить.

— Наверно, тебя отнесли в подвал, — уговаривает он,— и мучили там. Ты должна попытаться вспомнить ради себя самой.

— Отец сказал, что меня мучили в кухне, — говорит она все тем же голосом, — потом меня нашли там в изорванной одежде. Говорили, что меня очень сильно покалечили.

— Да-да. Продолжай.

— Вот и все. Мне сказали, что меня изнасиловали. Что их было много. После этого я ослепла.

Она слишком бесстрастна, думает он, раздраженный, разочарованный. Эту скалу бесстрастия невозможно поколебать.

На улице стемнело.

Он зовет Зелингера. Они стоят у ее постели, Мейснер устал. Поколебать ее не удалось. Она далеко от него, а теперь рядом стоит отец, и Мейснер знает: пока ничего не получилось.

— Сейчас я буду ее магнетизировать, — говорит он.

Это происходит очень быстро, гораздо быстрее, чем он предполагал. Он подсаживается к ней, кладет руку ей на живот, другой рукой снимает повязку с ее глаз. Девушка моргает. Тогда он медленно проводит рукой над ее лицом. В комнате стоит мертвая тишина. Она лежит неподвижно, сброшенная повязка белеет полоской на темном полу.

Мейснер проводит рукой пятнадцать раз, тридцать раз. Иногда опуская руку совсем низко, он с силой проводит ею по лицу девушки. Иногда Мария ощущает его движения только как легкое колебание воздуха.

Наконец Мейснер встает.

— Она заснула, — говорит он. — В ближайший час никто не должен ее беспокоить.

— Сколько раз надо будет повторить лечение? — спрашивает Зелингер.

Но оба знают, что этого не знает никто.

Когда они вышли из комнаты, она лежала неподвижно и дышала ровно, как спящая.

Мейснер идет домой, понимая: что-то надо делать по-другому.

Видимо, этот подход неправилен, думает он. Я пытаюсь вернуть ее к действительности, а она ее не принимает. Однажды она отторгла действительность и теперь не хочет к ней возвращаться. Я настаивал на своем, упорствовал и был не прав. Это мой промах, но еще не все потеряно.

Я совершил ошибку, думает он спокойно. Ошибку почти непростительную, но зато теперь я понял. Я должен был дать ей нечто другое. Великий Парацельс должен был явиться мне и зажать мне рот. Я предал его, отказавшись от визионерства. А я должен был дать ей иллюзию.

Правда не стоит ничего, думал он. Я пытался преподнести ей правду, но правда предала, как предавала всегда. Правда вероломна. Я не должен был прибегать к ней. Я должен был предложить ей нечто другое, потому что правда уже однажды предала ее.

Я должен был предложить ей ложь, думал он, засыпая, когда чувство поражения почти уже притупилось. Ложь или то, что они называют ложью. Именно ее.

Зелингер еще раз оставил их наедине. Выбора у него не было: он капитулировал. Лечение надо было продолжать. Из библиотеки доносилось тихое бормотанье; Зелингер записывал то, что слышал.

Во время последующих сеансов, писал Зелингер, Мейснер пытался завоевать доверие пациентки, рассказывая ей о своих прежних успехах в лечении. Надеюсь, он добьется успеха. Я целиком на его стороне.

Зелингеру трудно усидеть на месте. Он спускается в кухню и разговаривает со слугами. Они осторожно расспрашивают его, но он уклоняется от ответа. "Мы ничего не знаем, — коротко говорит он. — Мейснер еще продолжает ее лечить. Лечение не окончено".

Находясь в состоянии полного покоя, маятник не колеблется.

Впервые об электротерапии деловито и беспристрастно рассказывается в "Expériences sur l'électricité"[1] Жана Жаллабера, вышедших в 1748 году. Слесарь Ноге, много лет парализованный и известный всей округе своими рассказами (им самим выдуманными), испытал на себе целительное воздействие электрической силы и выздоровел. Что вызвало его паралич, в подробностях установить трудно. В Монпелье доктор Соваже лечил электричеством бедняков. Он использовал все известные тогда методы. Иногда Соваже электризовал пациента, из тела

1. "Опыты с электричеством" (*франц.*).

которого при этом вылетали искры; с ними из человека вылетала хворь и лопалась с треском. Люди во множестве сходились посмотреть на лечение. Иногда использовалась лейденская банка. Она действовала сильнее: в газетах писали, что пациенты потом пошатывались, с трудом держась на ногах.

Рассказывали и о "толчках Мусхенбрука"[1].

Летом 1751 года на Риддарторгет в Уппсале лечили страдавшую ревматизмом мадам Венман — это случай известный. В1759 году пастор Юртсберг излечил столяра из Слепа. Тот пришел к нему, жалуясь на боли в спине, "получил два толчка и ушел от него здоровым".

В одной только Швеции лечению этим методом в 1765 году подверглись 1168 пациентов.

Мы ничего не знаем о том, как вел свой рассказ Мейснер.

Знаем, что он рассказывал о себе. Но вздумай он рассказать обо всем, что было на самом деле, развязка наступила бы скорее и была бы скандальной: усиливающееся смятение, возрастающий страх, явная паника, под конец крик, призывающий отца, и Мейснера выдворили бы из города, а может быть, если бы гнев затмил рассудок, чудотворца убили бы. Но то, что он преподносил Марии, не было правдой, он рассказывал ей нечто иное, что было правдой в более глубоком смысле.

— Ты мне противишься, — говорил он ей. — Ты не отдаешь себе в этом отчета, но ты отталкиваешь мои слова. А ты должна их принять. Ты должна изменить свое представление о человеке. Ты можешь представить себе меня?

— Нет, — отвечает она. — Нет, нет.

— В этом-то вся беда. Ты можешь вспомнить тех, в ком ты уверена, а меня ты представить не можешь. Я слишком ненадежен, слишком сопряжен с риском, я ловушка для спокойствия. Ты предпочитаешь верить тому, что тебе говорят те, в ком ты уверена. Ты ощущала прикосновение моей руки, но ты не решаешься представить себе все остальное.

— Но ведь я не могу, — говорит она.

— Ты должна.

Он вдавался в подробности, но то, что скрывалось за подробностями, опускал. Он рассказывал о дворе Марии Терезии, об официальной жизни при этом дворе и о том, как его однажды пригласили к императрице, чтобы он рассказал о своем опыте. Тут он увидел, что девушка слушает. Он упомянул о том, что его преследовали, его втащили на гору и хотели убить, но он только смерил врагов взглядом и спустился вниз, спокойно пройдя сквозь их сборище, и никто не посмел его тронуть.

Она лежала в своих жарких потемках с повязкой на глазах и вслушивалась в его голос: он казался ей более мягким, чем вначале, более вкрадчивым; быть может, жесткость была в том, что́ он рассказывал, но это ей было безразлично. Она понимала, что он много ездил по свету, повидал много стран и жил при дворе. Он немного сбивчиво рассказал про гору и про своих преследователей, да она и не все из этого рассказа поняла.

1. Петрус Мусхенбрук (1692–1761) — нидерландский физик, последователь Ньютона; занимался философией, астрономией, математикой, медициной. Изучал силу магнитного притяжения.

Когда он ее магнетизировал, руки его были мягкими, он осторожно прикасался к ней, и голос у него был мягким.

— Все гораздо красивее, чем ты думаешь, — говорил он. — Может, ты и пытаешься вспомнить мир таким, каким он был до того, как ты ослепла, но это искаженный образ, ложный образ. Ты скрепила вечной печатью тот образ мира, какой у тебя сложился, и не хочешь, чтобы он поколебался. Но мир выглядит совсем не так.

Ты должна представить его себе как необитаемую долину — ты вступаешь в нее, и ты одна можешь ее преобразить, если только не допустишь, чтобы она подчинила тебя себе. Ты обладаешь такой властью, какой нет ни у кого другого.

Ты должна представить себе, что мир прекрасен. И меня ты должна увидеть в таком образе, какой был бы тебе приятен. Ты должна научиться доверять — это самое трудное. Ты играешь на фортепиано свои менуэты, но всему тому, что за пределами музыки, ты не доверяешь. Разве это не так?

— Отец говорит, что в мире очень много зла, — шепчет она.

— Не верь ему. Никакого зла нет — ты можешь уничтожить зло, если не будешь в него верить. Отец твой видит только реальную жизнь, но не видит паутины, скрывающей ее от нас. Я создам для тебя такую паутину. Хочешь?

— Да, — отвечает она тихо, но внятно. — Да.

— Я ездил в далекие края, — говорит он, глядя в окно. — Я побывал во многих странах.

Он замолкает, пытаясь сосредоточиться: он знает, что должен говорить очень просто, очень внятно.

— В Вене, — говорит он после паузы, — я слушал молодую девушку, игравшую на фортепиано. Она была слепой, и звали ее почти так же, как тебя. Ее звали Мария Тереза фон Парадис. Великий Моцарт посвятил ей одну из своих пьес. Ей покровительствовала императрица. Она играла в зале, украшенном с такой роскошью, какую ты и представить себе не можешь. Во дворце было много залов, один из них был круглый и весь позолочен. Его убранство стоило миллион серебряных флоринов. В зале было два зеркала, одно напротив другого; если ты стоял посередине, можно было заглянуть в вечность.

— И вы заглянули? — взволнованно спрашивает она.

— Увидеть вечность могли только те, кто был очень маленького роста, — ответил он. — Высокие видели в зеркалах только самих себя.

— А девушка?

— Я ее вылечил. Это был мой первый большой успех, и какое-то время все меня прославляли. Я ее вылечил.

Было это в 1777 году. Девушку поместили в больницу Кравик, в маленькое частное отделение, расположенное в одном из флигелей. Лечение очень скоро принесло плоды. Когда Мейснер поднес намагниченный жезл к отражению девушки в зеркале и стал водить по нему, девушка начала следить глазами за движением жезла. Он никогда не забудет восторженного чувства, охватившего его, когда он заметил, что и впрямь дирижирует движением ее глаз. Вскоре ее веки почти перестали нервно подергиваться. Она явно и неотрывно следила за движением жезла.

Первый сеанс повлек за собой некоторые неприятные последствия. Девушку стала бить сильная дрожь. Потом дрожь прекратилась, но на смену ей пришла острая головная боль. При этом появилась болезненная чувствительность к свету: сквозь трехслойную черную повязку пациентка могла определить, в какой комнате находится — в темной или освещенной.

Мейснер постепенно вводил ее в соприкосновение с окружающим миром.

До этой минуты он мог рассказывать все, как было на самом деле, и Мария внимательно вслушивалась, вбирая в себя его рассказ. До этой минуты все шло хорошо, он и теперь помнил чувство счастья, какое охватило его тогда и преобладало над всем в те первые дни, помнил бурю восторга, бушевавшую в Вене, полученное им приглашение ко двору. Девушка была прелестна: она цеплялась за него, называла своим благодетелем, говорила, что хочет, чтобы лечение никогда не кончалось.

Вот тогда, думал он, тогда я должен был остановиться. Именно тогда я должен был погибнуть — от руки наемного убийцы, от упавшей сосульки. А потом все переменилось. Я сделался другим. И великое превратилось в гротеск.

Он рассказал об этом Марии, но рассказал не все. Он доходил в своей откровенности до той грани, переступив которую он рисковал разорвать паутину.

— У меня было много врагов, — говорил он, закрыв лицо руками. — Они знали, с какой стороны меня атаковать. Ее звали Мария Тереза фон Парадис, и она была очень известной пианисткой, потому что была слепая. Наверно, пианистка она была посредственная, но как слепая пианистка — нет.

Он увидел, как дрогнуло лицо лежащей девушки, и, наклонившись, провел по ее лицу рукой.

— Спокойно, — сказал он. — Спокойно.

— Слепота — это ведь тоже отличительное свойство, — продолжал он, — но ничего выдающегося в ней нет. Наверно, многие видят в этой особенности не помеху, а дополнение к другим свойствам. Мария Тереза кормила свою семью — кормила тем, что она слепая, а играет на фортепиано. Ее представили ко двору, и те, у кого были деньги, выплачивали ей большое содержание. Вот как обстояли дела. С этой-то стороны меня и атаковали.

Спустя несколько месяцев она стала хорошо видеть, и о ней перестали говорить — история была уже старой и всем приелась. Девушка продолжала играть при дворе, но играла все реже. А так как у меня было много врагов — ведь неожиданный успех всегда порождает их во множестве, — они нашли повод, который искали, чтобы нанести мне удар в спину.

— Никто больше не захочет ее слушать, — сказали эти люди ее родителям. — Никто уже не дает ей вспоможения. Посчитайте ваши доходы — вы скоро станете бедняками.

Я ни о чем не знал. Однажды днем, четыре месяца спустя после начала лечения, родители явились в частный флигель, где жила девушка. Они потребовали, чтобы она вернулась домой. Потребовали, чтобы она прервала лечение. Фрау фон Парадис объявила, что обратилась к врачам, хотя это ложь — наоборот, врачи обратились к ней. И врачи буд-

то бы сказали, что я приношу девушке вред, я шарлатан, и меня надо обезвредить.

— А она уже могла видеть? — спросила девушка, лежавшая перед ним на кровати. Мейснер слышал, как дрожит ее голос.

— Да, — ответил Мейснер. — Она могла видеть. Ее зрение улучшилось, хотя и не совсем вернулось.

— И что же вы сделали?

— Я выставил их за дверь. Через день явилась целая депутация, в которую входили профессора ван Свитен и Барт, а также доктор фон Штёрк. Они осмотрели девушку и удалились, не сказав ни слова. За дверью ждали родители. Они поговорили с депутацией. А потом вошли и заявили, что зрение девушки не улучшилось — это просто плод ее воображения. Плод воображения! Профессор Барт объявил также, что "пациентку по-прежнему следует считать слепой, потому что она не смогла правильно назвать предметы, которые ей показывали". Но она ведь никогда прежде не видела этих предметов!

Герр фон Парадис потребовал, чтобы я немедленно "освободил" его дочь. Я сказал, что она совершенно свободна, но я хотел бы закончить лечение. Тогда он стал угрожать мне обнаженным мечом. А тем временем в комнату девушки ворвалась мать. И вскоре появилась вновь, волоча дочь за руку. Девушка опять попыталась уцепиться за меня, но они ее оттащили.

А на другой день императрица приказала изгнать меня из Вены. Я должен был покинуть город в двадцать четыре часа.

Комнату затопил сумрак. Рассказ Мейснера продолжался больше часа. Девушка по-прежнему лежала не шевелясь.

— Именно тогда, — сказал он, вперившись в пространство, на какое-то мгновение забыв, к кому обращается, — именно тогда я сильно усомнился в окружающем мире. Мир руководился слишком сомнительными правилами, чтобы я мог с ним совладать.

Тут он впервые заметил движение у той, что его слушала. Она повернула к нему голову и спокойно спросила:

— А что стало с девушкой, которую вы лечили?

— Ничего плохого, — с улыбкой сказал Мейснер. — Она снова ослепла. Так что они добились всего, чего хотели.

— Зачем вы мне об этом рассказываете?

— Чтобы усложнить нашу задачу. Она того стоит. Ты не Мария Тереза фон Парадис. И твой отец — не фон Парадис. Ты совсем другая, и ты хочешь прозреть. Ты ведь хочешь?

— Хочу, — сказала она.

Он наклонился к девушке, легко провел рукой по ее лбу и снова улыбнулся.

— Тогда мы начинаем лечение, — сказал он.

Возможно, доктор Зелингер в своих записях об этих сеансах смешал то, что там происходило, с тем, что говорилось на суде. Там тоже упоминали о том, как Мейснер лечил Марию Терезу фон Парадис.

В протоколе Зелингера, который, по нашему мнению, велся постоянно, приводится большая часть вышеизложенной беседы. Та часть, которую он уловил сквозь заглушавшую звуки дверную преграду, кончается фразой: "Я должен был покинуть город в двадцать четыре часа".

Насколько рассказ Мейснера правдив, нетрудно установить, прибегнув к другим источникам. Образованная в Вене комиссия медицинского факультета, которая должна была осмотреть пациентку, представила отчет — его часто цитируют в литературе, посвященной Мейснеру. Что касается меча, выхваченного отцом, тут приходится довериться Мейснеру. Денежное содержание Марии Терезы фон Парадис подтверждается счетами придворного ведомства — бумага пожелтела и стала ломкой, но текст и сегодня читается без труда.

Лечение продолжалось с 9 января 1777 года до 24 мая того же года. 26 мая Мейснер покинул Вену.

При медицинском освидетельствовании, проведенном позднее, комиссия, в частности, констатировала, что девственная плева пациентки была частично повреждена. Однако из этого факта никаких выводов не сделали. К отчету прилагались сведения еще об одном пациенте, которого пользовал Мейснер. Речь шла о мужчине, страдавшем последней стадией сифилиса. Мейснер лечил его магнетическими поглаживаниями в течение двух месяцев, после чего пациента пришлось отправить в лечебницу для умалишенных.

Оба пациента, сифилитик и девушка, проходили лечение в одной и той же больнице.

— Одно как-то не согласуется с другим, — говорит Мария. — Вы утверждали, что мир прекрасен, а сами рассказали вот эту историю.

— Это лишь свидетельствует о трудностях, — объясняет он. — Даже мне приходилось терпеть неудачи с моей паутиной. Я сплетаю ее, а другие внезапно ее разрушают, но иной раз причина во мне самом. В тот раз паутину разорвал меч.

— Но вы ведь были не виноваты, — прошептала она.

— Нет, не виноват.

Когда вошел Зелингер, Мария была сосредоточена и очень спокойна. Повязка все время оставалась у нее на глазах, “чтобы оберечь зарождающееся зрение”, как выразился Мейснер. В тот раз сеанс продолжался почти час. Когда по истечении этого времени Мейснер провел рукой по лицу девушки снизу вверх, она медленно пробудилась. Позднее вечером Зелингер спросил дочь, хорошо ли она себя чувствует.

Она сказала, что хорошо.

На прямой вопрос Мейснер ответил, что при лечении этой пациентки он отступил от собственной практики: обычно он разговаривал с пациентами *во время* магнетического сна, а не *до него*. Он, однако, объяснил, что никогда не считал себя связанным даже собственными привычными приемами.

— Что касается этой девушки, — сказал он, — я лечу ее методом, который полностью соответствует ее астрологическим показаниям.

Объяснить подробнее, что он имеет в виду, он не пожелал.

Из Вены он уехал в Швейцарию и в Баварию. Тогда он еще не сдался. Один раз им удалось меня одолеть, думал он. Но Вена — это еще не весь мир. В Париже, думал он, мир другой. В январе 1778 года он в первый раз приехал в Париж.

В Париже еще жил Вольтер, объяснял он Марии; это был четвертый день лечения. Жили Дидро и д’Аламбер. Мейснер убедился, что в Пари-

же религия вышла из моды. Это пробудило в нем надежду и страх. Но он приехал не первым: торговец полотном из Берлина по имени Висле́д принимал пациентов и лечил их, не прикасаясь к ним.

— Париж был настроен недоверчиво, — говорил он Марии, — но я все-таки написал меморандум для Академии. Надежды я не питал и все же написал. Само собой, это был напрасный труд, записки с изложением моих взглядов не прочли, и тем, кому я должен был помочь, я помогал по-другому. Люди приходили ко мне тайком, не желая, чтобы при лечении присутствовали посторонние. Мне они доверяли, а слухам обо мне — нет. Ученый мир Парижа надо мной насмехался, но пациентов у меня было много. Они стекались ко мне со всех сторон, я их принимал и знаю, что мне сопутствовала удача.

С парижскими врачами я встретился только один раз. Это было на званом ужине, но смотреть, как я лечу больных, они отказались. Я знал, что им больше нравится ходить на ужины, чем в больницу.

Тут по лицу пациентки пробежала тень нетерпения — его рассказ затянулся.

— Вы все время рассказываете о неудачах, — сказала она. — Разве ничего другого не было?

И тогда он, как обычно, наклонился к встревоженной девушке и сказал:

— Ни о каких неудачах речи нет. То были трудности, а не неудачи. У меня ведь оставались мои пациенты! А у врачей их не было! Пусть обо мне распускали дурные слухи, но зато у меня оставались мои пациенты!

— А потом? — спросила она. — Что потом?

Он долго молчал.

— Я уехал из Парижа, — наконец сказал он. — Ничего другого не оставалось. Париж прогнил.

— А долго вы там оставались?

— Достаточно долго, чтобы почувствовать, чем там воняет.

— А почему вы не уехали до того, как почувствовали зловоние?

— Я зарабатывал четыре тысячи ливров в год. За такие деньги выдержишь любую вонь.

— А потом?

Он, вероятно, рассказал ей почти все. Расказ его, конечно, не был правдивым — с нашей нынешней точки зрения правда должна была бы выглядеть иначе. Но рассказы вообще не бывают правдивыми, а только более или менее действенными.

В протоколе Зелингера нет упоминания о том, что Мейснер рассказал Марии эпизод в пещере. Образ Мейснера был ей явлен, конечно, совсем с другой стороны: человек, подвергавшийся преследованиям, тот, кто постоянно добивался успеха и кому так же постоянно чинили помехи самонадеяннные, эгоистичные преследователи.

От парижского периода сохранилось несколько писем. В одном из них, адресованном Жану Сильвану Байи, Мейснер пишет: “Сеансы, мной проводимые, кажутся мне теперь отвратительными гримасами, которым едва ли кто-нибудь может доверять”.

Теперь, много времени спустя, мы можем проследить колебания его карьеры. Самоуверенность сменяется в нем отвращением к самому себе. Периоду отвращения всегда сопутствуют высокие доходы.

Чем в первую очередь вызвано отвращение, нам судить трудно. Может быть, возрастающим безразличием к поставленной цели, может, нарастающей лавиной успеха. Но вот маятник качнулся в другую сторону: катастрофа, все начинается с нуля, снова успех, и снова катастрофа. Так повторяется год за годом, все время. Визионерство, отступничество.

Мы прилагаем к нему наши мерки, и он исчезает за ними, становится нашим отражением, а мы — отражением его неудач.

История о том, как идея преображает материю, — длинная история. Остановимся в Париже, в конце его тамошнего пребывания. Все рушится. Дела идут все хуже и хуже. Катастрофа близка. Он уже сдался, в очередной раз сдался.

Это случилось в ту пору, когда некий доктор Бюрден обещал заплатить три тысячи франков тому, кто прочитает незнакомый текст с завязанными глазами. Мейснер тогда уже довольно долго привлекал всеобщее внимание своими разнообразными опытами с сомнамбулами. На одном из показов мужчина-сомнамбула по имени Поль (фамилия и общественное положение неизвестны) был погружен Мейснером в похожее на сон состояние, в котором, несмотря на то что глаза его были завязаны, смог прочесть три строки в открытой наудачу книге. Кроме того, он смог определить масть семи различных игральных карт.

И вот теперь Мейснер предложил провести испытание с десятилетней девочкой, дочерью некого Жана Пижера, магнетизера из Монпелье, на которого Мейснер произвел огромное впечатление и которого можно считать учеником Мейснера. Опыт закончился неудачно. Между Мейснером и присутствовавшими при испытании членами Академии разгорелся жаркий спор. Спорили о том, какой повязкой или бандажом следует завязать глаза девочки. Мейснера обвиняли, что в тонкой повязке, которую он принес с собой, он проделал дырочки. Он со своей стороны решительно воспротивился тому, чтобы на девочку надели маску, закрепленную на стальной проволоке. К концу спора принесенная Мейснером повязка по несчастной случайности порвалась. Тогда Мейснер взял девочку за руку и с отмеченной всеми поспешностью покинул зал.

В тот же самый год Мария Тереза фон Парадис дала концерт в Париже; ее называли в ту пору совершенно слепой пианисткой. Насколько нам известно, никакие контакты между Мейснером и девицей фон Парадис не возобновлялись.

Он не делал никаких попыток оправдаться перед Марией.

— Добрая воля переменчива, — пытался он ей объяснить. — Она снашивается, пропадает. Некоторым людям, например великому Парацельсу, удавалось словно бы накапливать свою способность к визионерству, употребляя ее только для важных целей. Моя способность износилась, почти пропала. Она исчезла или притаилась, и я провалился на самое дно, где никакое визионерство существовать не может.

— Ты должна это понять, — настойчиво говорит он, — ты не должна судить обо мне как о *единой* личности. Я многолик. И вот я решаю подняться со дна, и я поднимаюсь, и тогда от прежнего не остается следа.

Ты понимаешь меня? Вот с кем ты сейчас имеешь дело — с тем, кто начинает сначала.

Ты понимаешь меня? Ты мне веришь?

— Может быть, — говорит она. — Не вполне, но может быть.

— Это придет, — говорит он, поглаживая ее руку. — Я не облегчаю тебе путь. Я просто пытаюсь научить тебя верить, понимать, что надо верить, чтобы не упасть. Ты должна мне верить. Я не шарлатан.

— В это я верю, — говорит она.

— Тогда ты должна сделать выбор: должна решиться смотреть на меня как на спасителя, — спокойно говорит он. — Проникнись этим. И храни в себе.

— Не знаю, смогу ли я, — говорит она.

— Сможешь, — говорит он. — Сможешь. И хочешь.

— Думаю, у меня получится, — говорит он позднее Зелингеру. — Думаю, что да.

Но в протоколе Зелингера именно в этом месте появляется нотка недоверия. Он пишет, что его одолевают сомнения. Он не ожидал, что лечение так затянется, ведь результата все еще нет.

"Я не могу показаться на улице, — пишет он. — Все на меня оглядываются. Похоже, всем все известно".

Лечение каждый раз продолжается час. Побочных явлений в виде болей, появляющихся при магнетизации у других пациентов, в этом случае не наблюдается. На каждом сеансе Мария спокойно засыпает и так же спокойно просыпается. Повязки с нее теперь не снимают никогда — белая полоска в сумраке.

Наверно, он рассказывал ей об окружающем мире.

— Ты думаешь, он все такой же, — говорит он. — И ошибаешься. Изменилось все. Ты укрылась в своей тьме, спряталась в своей музыке, но снаружи все изменилось. Скоро тебе надо будет решиться выйти наружу. Мужество обрести труднее всего, но тебе скоро придется быть очень мужественной. Ты прекрасно играешь на своем фортепиано, но мир еще прекраснее. И ты должна решиться увидеть, как он прекрасен.

— Дело не в страхе, — говорит она тогда. — Я была довольна своей жизнью. Мне было хорошо с отцом.

— Ты знаешь, что лжешь. Ты думала, что тебе хорошо. Ты спряталась за самоё себя. Ты играла свои менуэты, регулярно исповедовалась и считала, что довольна жизнью, но ты не должна быть довольной. Ты должна сотворить фантастический образ, совершить неслыханный подвиг, ощутить восторг.

— Я не понимаю, что вы хотите мне дать, — шепчет она.

— Мгновение, секунду, миг, когда ты вырвешься из самой себя. Вот что я хочу тебе дать. Фантастическое зрелище освобождения. Оно уже доступно тебе. Ты уже можешь его достичь.

— Я доверяю вам, — говорит она.

— Это хорошо, — жестко говорит он, — но и этого недостаточно. Доверие помогает только на малом отрезке пути. Потом ты должна черпать из собственного восторга. Я исчезну, но ты останешься. Я даю тебе освобождение и экстаз, но потом ты должна встать на собственные ноги. Ты увидишь грязь на улицах, кричащих детей и все окружающее убожество, и однако всего этого видеть не будешь. Этому я тебя научу.

— У меня, наверно, не хватит сил, — говорит она. — Вы переоценили мои силы.

— Нет, не переоценил. Ты уже готова, скоро будешь готова. И ты сама это знаешь.

— А лечение? Неужели оно и вправду вернет мне глаза?

Она была очень взволнована. Пальцы задвигались, переплетаясь друг с другом, и, вероятно, стали влажными.

— Сейчас я приступлю к лечению, и ты, как обычно, заснешь. В этом сне придет исцеление. Я начинаю свои поглаживания, и твой флюид приходит в равновесие. Заболевание твоих глаз зависит от этого флюида. Таким образом твои глаза излечатся. Когда я тебя разбужу, ты прозреешь. Ты переживешь это прозрение как триумф, триумф, противоречащий рассудку, и восторг твой будет безграничен. Ты прозреешь.

Она долго медлила, прежде чем задать следующий вопрос. К тому времени ее возбуждение утихло и она опять лежала спокойно. Казалось, она совершенно расслабилась.

— Вы упоминали о паутине, — наконец проговорила она, — о паутине, которая скрывает. Я не совсем понимаю, как одно связано с другим.

— Паутина — это я, — говорит он тогда; он очень устал, час уже поздний. — И я — дыра в паутине, которая дает увидеть, что лежит за ней, и я — сверкающие водяные капли. Я все. И ты должна использовать меня.

— Да, — говорит она. — Вы можете использовать меня. Я готова.

В комнату пригласили свидетелей: двух городских врачей и торговца из Ростока, проездом оказавшегося в Зеефонде. Тут же находился Зелингер, а также Мейснер. Девушка лежала на кровати совершенно спокойно, силы ее почти иссякли.

— Сейчас я буду магнетизировать ее в последний раз, — сказал Мейснер.

Он подошел и склонился над нею. Свидетели, которых было четверо, включая Зелингера, стояли метрах в трех позади него; только торговец чуть ближе. Они видели, как шевелятся губы Мейснера, и смогли уловить отдельные слова, но не все.

Впоследствии девушка пересказала их.

— Сегодня последний сеанс, — говорил ей Мейснер. — Твои глаза вылечены, и сегодняшний сеанс должен устранить последнюю пленку, которая еще затуманивает твой взгляд. Когда я сниму повязку, ты прозреешь. И первое, что ты увидишь, будет мое лицо. Когда ты его увидишь, ты должна сделать знак, указав на меня. Потом ты увидишь остальных. Ты покажешь, какая ты мужественная, — ты увидишь все. Когда я разбужу тебя, ты познаешь все то, что до сих пор было скрыто. И избавишься от своей слепоты. Понимаешь?

— Да, — ответила она.

А свидетелям он сказал:

— Когда она меня увидит, она укажет на меня рукой. Это будет знак того, что лечение прошло успешно.

После этого Мейснер положил правую руку на живот девушки. А левой несколько раз провел по ее лицу снизу вверх. Он проделал это очень медленно.

Постепенно ее лицо разгладилось. Дыхание стало ровнее.

— Она спит, — сказал Мейснер.

Они сели на стулья вокруг ее кровати. Было около шести часов вечера, но еще совсем светло. И все же в комнате горела лампа. Никто не произнес ни слова. Так должно было продолжаться около часа.

Девушка спала спокойным, глубоким сном. Она ни разу не шевельнулась, словно была без сознания.

Потом Мейснер разбудил ее обычным способом. Не прикасаясь к ее телу, он сделал несколько движений рукой на расстоянии пяти-шести сантиметров от ее лица. Девушка беспокойно зашевелилась и выказала признаки пробуждения. Тогда Мейснер просунул руку ей под голову и, развязав завязанную узлом повязку, снял ее. От тугой повязки на висках девушки остались красные полоски.

Девушка лежала с закрытыми глазами.

Мейснер сделал еще несколько движений руками, потом отступил назад. Через минуту-другую Мария медленно моргнула. Потом открыла глаза, глядя в пространство. Мейснер стоял под углом сорок пять градусов к вертикальной оси кровати. Зелингер невольно посмотрел на него. На лице магнетизера было сосредоточенное, напряженное выражение.

Девушка медленно приподнялась. Теперь они видели ее, вс́е, кто там находился: врачи, торговец кожей, отец, сам Мейснер. Она смотрела прямо перед собой, она увидела Мейснера, почти неприметно повернулась в его сторону, подняла руку и указала на него, и сказать им было нечего.

4

Дневник Клауса Зелингера с 1 по 22 ноября 1793 года

1 ноября

Смятение еще не улеглось. Вчера заходил Штайнер; он оставался очень недолго, сказал, что с дочерью встречаться не хочет. Спросил, правду ли говорят, будто она прозрела.

Я ответил: “Да”.

Он молча посмотрел на меня и вышел, не сказав ни слова. Я беспокоюсь за него. Как ни странно, он заметно подавлен. Я полагаю, чудо сокрушило его вселенную.

Глаза Марии пока еще очень чувствительны к свету. Ей пока еще следует оставаться в полутемной комнате. Я безотлучно рядом с ней.

Говорят, по городу ходят самые невероятные слухи. Будто бы через закрытое окно влетел конусообразный пучок света, ударивший в лицо Марии. Она будто бы вскрикнула и без чувств упала на руки Мейснера. А когда потом открыла глаза, увидела не только всех, кто находился в комнате, но обрела способность видеть сквозь стены, видеть все, что творится в городе.

Согласно другой версии, из ее глаз хлынула кровь, которая собралась на теле ободком вокруг сердца. А потом, когда Мейснер прикоснулся к ее руке, кровь исчезла.

Все эти слухи очень трудно опровергнуть. Врачи, свидетели происшедшего, скорее всего будут немы как могила в надежде, что вся история постепенно забудется. Торговец кожами уехал. Остался только я с моими записями.

Как относится ко всем этим слухам Мейснер, не знаю. Он очень занят своими пациентами.

Так или иначе весь наш дом ходит ходуном. Сегодня ко мне явились рыдающие служанки, умоляя, чтобы им позволили дотронуться до одежды Марии. По их словам, они уверены, что она святая.

Я рассердился и выпроводил их.

И все же я очень счастлив. Я сижу у дочери, мы вдвоем бережно охраняем наше счастье, и оно длится.

4 ноября

Вчера ненадолго зашел Мейснер. Он рассказал, что когда-то вылечил от слепоты одну девушку и она очень долго сохраняла повышенную чувствительность к свету. Она была слепой с раннего детства и забыла, как выглядят люди. Когда она вновь обрела зрение, ей было противно смотреть на их лица. Особено ужасали ее носы. "Мне кажется, они приближаются ко мне с угрозой, — говорила она, — чтобы выколоть мне глаза".

Мы оба сочли этот факт весьма интересным.

Мейснер, однако, полагает, что в нашем случае таких трудностей не будет.

6 ноября

Вчера Мария в первый раз увидела небо. По ее настойчивой просьбе мы вывели ее в сад. Поскольку сейчас осень, многие деревья стоят голые, но высокий вяз у самого фонтана еще не потерял всех своих листьев. Она смотрела на окружающее, слегка щурясь. Приглядевшись внимательней, я увидел, что она плачет.

— Ты плачешь, Мария, — сказал я.

— Ветер слишком резкий для моих глаз, — объяснила она.

Но ветер был совсем слабый. Потом она указала на каменный водоем, куда собирается вода из фонтана, и назвала его суповой миской. Я ласково ее поправил.

Мы оставались в саду около получаса. Потом и впрямь поднялся ветер. Но Мария сказала, что хочет еще постоять в саду, почувствовать, как подгоняемая ветром опавшая листва льнет к ее голым щиколоткам, она много раз чувствовала это, но никогда не видела, как это выглядит. Все же я бережно повел ее в дом.

Я должен с большой осторожностью учить ее видеть. Теперь она видит, но то, что она видит, ей незнакомо.

7 ноября

Мария уже несколько недель не подходила к фортепиано, но сегодня в первый раз попробовала играть. К сожалению, ее постигла неудача. Она уверяет, что слишком пристально смотрит на свои руки и когда видит их, сбивается, теряет уверенность и берет фальшивые ноты.

Дело кончилось тем, что она в слезах пришла ко мне.

Я стал ее утешать. Она должна привыкнуть к тому, что она видит, как когда-то ей пришлось привыкнуть к слепоте. Прежде она привыкла к мраку. Но и свет тоже можно подчинить себе.

Она сейчас очень нервна.

Мария часто спрашивает о Мейснере, но он появляется очень редко. Вчера пришел впервые за много дней. У нас был долгий разговор. Больше я сейчас написать не в силах. Я слишком взбудоражен и утомлен.

Мария чувствует себя хорошо. Вокруг нее все успокоилось, наверняка успокоится и она сама. Ее физическое состояние в порядке. С психическим дело обстоит хуже. Что касается меня, я тоже выбит из колеи.

Меня очень взволновал разговор с Мейснером.

8 ноября

Я должен начать с заявления, которое может показаться хвастливым: я всегда считал себя человеком на редкость честным. Я почти всегда поступал согласно, так сказать, строгим начертаниям честности. Иногда это порождало трудности, а порой — это однажды отметил Штайнер — моя честность порождала бесчестность.

Я отнюдь не считаю себя человеком проницательным. Для того, кто получил образование, я, безусловно, на редкость глуп. Это часто говорит Штайнер. Я привожу его слова с затаенной оговоркой — ведь он может ошибаться. Он человек прямой и, конечно, относится ко мне дружески, но полагаю, в данном случае он говорит именно то, что думает. Свой недостаток проницательности я восполняю честностью и правдивостью.

В присутствии Мейснера я чувствую свою ущербность. Я не убежден в его честности, но чувствую, что он обладает тем, чего мне недостает, и дело тут не во внешней изысканности. Несколько дней назад Мария спросила меня, нравится ли мне Мейснер. Я ответил: "Нравится". Полагаю, это был правдивый ответ.

Пожалуй, мое отношение к нему следует назвать восхищением.

Наш вчерашний долгий разговор он начал с того, что спросил, считаю ли я излечение моей дочери шарлатанством. Я ответил: "Нет". Тогда он спросил, считаю ли я шарлатаном его самого. Я снова ответил: "Нет"; вопросы следовали в таком порядке, что иначе ответить было невозможно. Тогда он спросил меня, как я отношусь к лечению посредством поглаживания.

Тогда я рассказал ему о моем прежнем знакомстве с этим методом — до меня доходили слухи о нем, и в известной мере я видел его на практике. Я рассказал Мейснеру о том, что наблюдал в Берлине, и вынул рукопись небольшого труда, который собирался опубликовать.

Там, в частности, было написано следующее:

"Животный магнетизм являет собой феномен, относительно которого до сих пор существует множество различных мнений. В бытность мою в Берлине у доктора Вольфарта мне не пришлось наблюдать ни одного пациента, которого не мог бы с тем же успехом вылечить обыкновенный врач. Некий господин Гемлин, с которым я беседовал в больнице, сказал, что считает магнетизм "опасным лекарством, которое следует отдать под наблюдение медицинской полиции". И он рассказал мне случай, когда магнетизер школы Вольфарта заявил, что может с помощью поглаживаний добиться разрастания лобной кости девятнадцатилетней девушки. При более тщательном рассмотрении оказалось, что пациентка терла и царапала себе лоб, а потом резко сдвигала брови, отчего там образовалась опухоль. Девушка уверяла, что таким образом избавилась от головной боли, которая мучила ее в течение восьми лет. Посему я считаю, что пока ничто не может обратить меня в эту веру, однако был бы рад убедиться, что это "целительное средство" и впрямь может принести пользу человечеству".

Тогда Мейснер спросил меня, считаю ли я, что прозрение моей дочери можно сравнивать с приведенным примером разрастания кости. Я ответил: "Нет". Тогда он спросил, считаю ли я, что ее исцеление и в самом деле доказывает надежность этого метода. Я промолчал. Он повторил свой вопрос. Я ответил уклончиво. Тогда он спросил меня, считаю ли я, что моя дочь и в самом деле была слепа.

Конечно, я сказал: "Да". Тогда он спросил, считаю ли я ее теперь совершенно зрячей. "Да", — ответил я. Тогда он попросил меня обдумать, какие выводы следуют из моего ответа, — после чего возникла короткая пауза.

Конечно, я мог бы уклониться, сославшись на другие авторитеты. Но я предпочел избрать трудный путь — я согласился, что метод оказался действенным. Согласился, что ошибался. Я сделал выводы из происшедшего и капитулировал.

События увлекают меня своим потоком. У меня такое чувство, что моему спокойному существованию пришел конец: поскольку прежде я выказывал неодобрение, теперь, чтобы оставаться последовательным, я должен одобрить ход событий. Я стараюсь также быть честным, ведь я всегда так гордился своей честностью. Я честно признаю: Мейснер прав. Я предаю своих коллег-врачей, если они могут считать себя жертвами предательства оттого, что лечение оказалось успешным.

И тогда этот человек, Мейснер, сидевший напротив меня, приблизил ко мне свое лицо с резкими монгольскими чертами и спросил спокойно и твердо, почему же я не делаю последовательных выводов из моего признания и не помогаю ему в его деятельности. Он попросил меня стать его ассистентом.

Я попросил пять минут на размышление. После чего дал ответ.

Я сообщил о своем решении Штайнеру. Тот сразу же спросил меня, понимаю ли я, к чему приведет шаг, который я собираюсь сделать: поступая на службу к магнетизеру, я подвергаю опасности авторитет всей корпорации врачей. Я ответил, что сознаю, сколь велик риск, но я служу не Мейснеру, а медицинскому искусству.

Он круто повернулся и ушел.

Я расстроен и подавлен. Я понимаю, что Мейснер обратил мою честность против меня самого, что, наверно, ему известно, как упорно я стремлюсь быть последовательным.

Он спросил меня также, каким образом, на мой взгляд, я смогу принести бóльшую пользу — помогая ему или продолжая быть домашним врачом недомогающих городских дам. Так коварно поставил он этот вопрос.

Так или иначе, я дал согласие.

То, что Мейснер предлагает мне, меня соблазняет; с моей стороны было бы нечестно это отрицать. Он человек, наделенный необыкновенными дарованиями, а мне, очевидно, придется наблюдать за его действиями с медицинской точки зрения. Он назначает меня экспертом. Уверен, он может творить великие дела.

Моей апатии как не бывало. Мейснер ее развеял. Он пока остается в нашем городе, и мой долг ему помочь.

Было бы трусостью не сделать практических выводов из этого убеждения.

10 ноября

Вчера жена, сияя, сообщила мне, что весь город буквально кипит от возбуждения. Слухи, конечно, ходят самые невероятные. Жена рассказала также, что Мейснер снял у нотариуса Германа гостиную для своих сеансов. Там уже поставлены "машины"; жена употребила именно это выражение. Она заявила, что гордится мной: все говорят, что я буду помогать Мейснеру лечить больных. Стало быть, это каким-то образом стало известно. Возможно, слухи распространились через слугу Мейснера.

Я не считаю предосудительным пытаться повлиять на общественное мнение, если это влияние в каком-то отношении может послужить на пользу человечеству. Мейснер, несомненно, хорошо знает, что делает.

12 ноября

Теперь я сам видел, был свидетелем того, как Мейснер готовится к своим сеансам.

В его распоряжении четыре комнаты; мне казалось, это слишком много, но Мейснер был в прекрасном настроении и заявил, что все эти комнаты ему понадобятся. Впечатление такое, что он сейчас непобедим.

Самая большая комната предназначена для общего лечения. Посередине ее стоит чан, а вокруг него расставлены стулья. В соседней комнате Мейснер собирается поместить музыкантов, которые будут играть во время сеанса. Я усомнился в том, насколько уместно это музицирование, — Мейснер, резко повернувшись ко мне, сказал, что нельзя пренебрегать никакими средствами, чтобы изгнать болезнь из тела того, кто ею поражен.

В двух других расположенных рядом комнатах он устроил то, что сам называет "salles de crises"[1]. Он рассказал мне, что во время лечения у многих больных наступает острый кризис и начинаются такие конвульсии, что они могут покалечить себя и других, если не поместить их в отдельную комнату.

— Мне рассказывали о чем-то подобном у Вольфарта, — заметил я.

Тут он резко обернулся ко мне и сказал неожиданно жестким тоном:

— Вольфарт недостоин называться моим учеником. Он потерпел неудачу с больным, судьбу которого я принимал близко к сердцу. Он удачливый неудачник. Я не желаю, чтобы здесь произносили его имя.

Я отшатнулся и больше не проронил ни слова.

За последние дни Мейснер сильно переменился. От того молчаливого и замкнутого человека, каким он был вначале, когда появился в нашем городе, не осталось и следа. Зато уверенность и достоинство, с какими он держится, поразительным образом возросли.

Теперь я убежден, что он способен сотворить чудеса с нашими больными.

14 ноября

Отныне моя дочь может проводить долгие часы на солнце. Ее нервозность заметно уменьшилась, но я по-прежнему слышу иногда, как она плачет.

1. Комнаты кризисов (*франц.*).

Она по-прежнему спрашивает о Мейснере. Я пытаюсь успокоить ее тем, что он очень занят, но, конечно, снова ее навестит.

Кажется, она удовлетворяется таким ответом.

15 ноября

Вчера Мейснер в первый раз дал мне инструкции; до сих пор я не мог взять в толк, в чем заключаются мои обязанности. Он объяснил мне, что я буду выступать в роли ученого контролера в особенно сложных и трудноопределимых случаях, и полномочия у меня будут очень широкие. Пока же, до того как возникнут подобные случаи, я должен просто каждый вечер представлять его больным и присутствовать при лечении, но не вмешиваться. Моя роль — роль наблюдателя.

Я этим очень доволен. Роль ученого контролера меня радует. Штайнер утверждает, что я предал здравый смысл. Но каким образом контролер может предать здравый смысл?

Сеансы будут происходить всего два раза в неделю, по вторникам и пятницам. На каждый сеанс записалось так много пациентов, что мы совершенно счастливы. Представители всех слоев общества заявили, что желают прибегнуть к услугам Мейснера.

Жена спросила меня, сколько Мейснер берет за каждый сеанс. Я объяснил ей, что это не мое дело. Сам я за свою работу наблюдателя буду получать скромное вознаграждение. С меня этого довольно, сказал я жене.

Я намерен издать дневник опытов, которые будут произведены в нашем городе. Дневник должен соответствовать самым строгим научным требованиям. Первый случай, отчет о котором я собираюсь в нем поместить, — это излечение моей дочери.

Во время дневной прогулки меня несколько раз останавливали на улице те, кто хотел подробнее расспросить о Мейснере и его лечении. Эти люди слышали, что я принял его сторону. Я это подтверждал и говорил, что и в дальнейшем буду присутствовать при его лечебных сеансах в качестве ученого контролера.

Мои собеседники одобряли мое решение и горячо меня поддерживали.

22 ноября

Вчера состоялся первый сеанс. Я еще слишком переполнен впечатлениями, чтобы все записать. Хорошо, что между сеансами будет несколько дней перерыва. Я смогу успокоиться и все обдумать.

Так или иначе, я рассказал тем, кто находился в комнате — их было человек пятнадцать, большей частью женщины, — о чуде, которое произошло с моей дочерью. Я восхвалил Мейснера и заявил, что, по моему мнению, он или обладает целительной силой, которая лежит за пределами обычного человеческого разумения, или же открыл научный метод, который совершит революцию в медицине. Я заявил, что намерен присутствовать на сеансах в качестве наблюдателя, а потом, возможно, издать о них отчет.

После этого начался сеанс.

Пациенты в полной тишине сидели вокруг чана, держась за руки, так что образовалась цепочка. Освещение было очень слабым — только

в дальнем углу теплился слабый огонек. Из соседней комнаты, где находились два скрипача, раздавалась приглушенная музыка. Молчание длилось пять минут, потом Мейснер, нарушив его, заговорил.

Я не могу в точности восстановить в памяти его слова. Но во всяком случае, помню, что в своем коротеньком выступлении он говорил о периодических изменениях в жизни людей, о влиянии на эти изменения небесных тел, уподобляя то, что происходит в организме человека, морским приливам и отливам. Он говорил о волне здоровья, которую сменяет волна болезни, обещая, что своим лечением разобьет эту волну, пресечет смену приливов и отливов, свойственных жизни человека, разорвет связь человека с землей и даст ему соприкоснуться с законами вселенной.

Цель этого лечения, заявил он, вырвать человека из цепкого плена земли, поднять его над ним, повести его выше, не до уровня божества, но туда, где он станет неподвластен злым силам. Подобные взгляды разделяет новый романтизм, который хочет преобразить человека.

Мейснер сказал, что эта месса — к моему удивлению, он употребил именно слово "месса" — служит тому, чтобы вознести человека, освободив его от зла; болезнь — не что иное, как сыпь, проявление этого зла, земля и болезнь связаны друг с другом. Флюид, на который он намерен воздействовать своим магнетизированием, таким образом вступит в прямую связь с небесными телами.

В конце своего выступления Мейснер еще больше меня ошарашил: он сказал, что, поскольку эта месса служит тому, чтобы изгнать дурное и реальное из человека, она не подчиняется законам нашего мира, нашим земным законам.

Не думаю, чтобы кто-нибудь из собравшихся понял смысл этих его слов. Он произнес их почти как проповедь, под конец тихо и глухо. Сидевшие вокруг чана хранили мертвое молчание и словно окаменели. Мейснер стал ходить за их спиной, прикасаясь к каждому по очереди своим магнетическим жезлом, и все это время играла музыка. Некоторые уснули, тех он выводил в соседнюю комнату. Они шли с закрытыми глазами, пошатываясь, но со странной улыбкой на губах.

Нет никакого сомнения: Мейснер — великий человек.

5

К декабрю 1793 года сеансы продолжались уже более двух месяцев.

Мейснер часто жаловался Ткачу на усталость. "Они изнашивают меня, — говорил он. — Они приходят ко мне, я принимаю их, и они высасывают из меня мою силу. С дочерью Зелингера было легче. Она была одна, я должен был обращаться только к ней. И она возвращала мне силу, которую я ей давал. А те, что сидят здесь, ничего не возвращают. Они сидят на своих стульях, чувствуют прикосновение жезла, вбирают в себя частицу моей силы, но ничего не возвращают. Они иссушают меня".

Зелингеру он говорил, что его одолевает усталость. Ничто не утомляет так, как постоянный успех. Передышку дают неудачи.

В городе теперь его знали все. Он больше не совершал дневных прогулок к пристани. Теперь он гулял по другим улицам, и прохожие оборачивались ему вслед. Доходы его были весьма значительны.

И все же в нем закипало нетерпение, когда он думал о том, что́ успел сделать, — это было слишком ограничено, слишком стиснуто рамками

медицины. "Я должен обладать и другой властью, — говорил он Ткачу. — Власть — это свойство, которое не может быть ограничено. Я сам урезываю себя. Моя власть должна являть себя и на другом поприще".

Он все более тщательно отбирал пациентов. Теперь нелегко было получить место в его гостиной. После излечения Марии Зелингер он прекратил индивидуальный прием. Однако когда его прямо об этом спрашивали, отвечал, что это временно.

У него состоялась долгая беседа, с правителем герцогства Зеефондского. Ткачу он сказал, что речь шла всего лишь о том, как лечить жену герцога — одно время она страдала болями в спине. То же самое он сказал и Зелингеру, но тот посмотрел на него с удивлением: такая долгая беседа о таких пустяках?

Методы его лечения мало-помалу совершенствовались.

12 декабря женщина по имени Хелена Штессер выразила желание пройти курс лечения у Мейснера. Оговорив условия оплаты, он охотно согласился. И вот однажды вечером она появилась среди пациентов, вся в черном, и, сидя на стуле, не спускала с Мейснера любопытного, оценивающего взгляда.

Мейснер начал представление как обычно; вводная речь раз от разу менялась, но неизменной оставалась интонация священнодействия. Позади него чуть в стороне, за пределами круга пациентов, одиноко сидел на стуле официальный контролер Клаус Зелингер, почти растворившийся в потемках. Как всегда, горела только одна свеча. Длинная тень Мейснера трепетала на стене, заполняя почти всю ее поверхность.

Мейснер говорил о своем долге извлечь зло из тела людей. Снова говорил о приливах и отливах, и голос его нарастал и замирал в такт его словам. Он убаюкивал пациентов мощью своего слова, и они повиновались ему.

В этот раз новенькой в кругу пациентов была только женщина по фамилии Штессер.

Замужняя, тридцати двух лет, родилась в Зеефонде. Всю свою юность провела в городе, и немногие сведения, которыми мы располагаем, не дают оснований считать, что она получила хорошее образование. Муж ее был торговцем, чета была бездетной. Мужу перевалило за пятьдесят.

Последние две недели женщина страдала болями в груди и животе. Последнюю неделю она провела в постели. Вызванные врачи назначили ей попеременно холодные и горячие компрессы, однако лучше пациентке не стало.

Тогда она обратилась к Мейснеру. Но на другой день после того, как ей был назначен день лечения, у нее случился сильный приступ болей. Вызвали Зелингера; на его отчете и зиждется первоначальная картина болезни.

Когда Зелингер пришел, женщина была без сознания или, во всяком случае, плохо соображала. Попытки привести ее в чувство оказались бесплодными. Зелингер прописал растирания, клистир, но, судя по всему, это не помогло.

Отворили кровь на обеих руках, но кровь вытекала плохо, можно сказать, вообще не текла. Потом попытались сделать горячую ванну, и наконец, когда прошло уже четыре часа, а она все не приходила в себя,

начали щекотать больной горло обмакнутым в масло пером. Выступило немного крови, и тогда, по рассказам присутствующих (в дневнике Зелингера об этом не упоминается — судя по всему, в некоторых деталях он неполон), из вскрытых вен хлынула кровь и та, которую считали впавшей в летаргию, очнулась.

Зелингер в своем отчете упоминает только о "сильных приступах кашля и рвоты, вызванных применением пера".

Поставили диагноз — каталепсия.

Когда Мейснер оказался на расстоянии метра от Хелены Штессер и уже протянул к ней свой стеклянный жезл, женщина резко вздрогнула и посмотрела на него. Он остановился, выжидая. По ее лицу промелькнула вдруг улыбка, после чего она отвернулась и стала так же пристально, как прежде, всматриваться в чан. Тогда он продолжил прерванное движение и коснулся ее жезлом.

Улыбка на ее губах погасла. Она закрыла глаза — он увидел, как она побледнела. Тогда он медленно провел жезлом по ее шее, скользнул им вокруг ее уха и по ее лицу. Она стала хватать ртом воздух и упала ничком.

Зелингер помог Мейснеру отнести ее в соседнюю комнату. Остальные пациенты тем временем сидели спокойно; они привыкли, что такие вещи случаются во время сеанса, к тому же играла музыка. Впрочем, кое у кого еще хватило сил с интересом проводить взглядом обмякшее женское тело, которое уносили из комнаты.

Но было уже поздно, и сеанс скоро закончился. Об этом сообщил вернувшийся Зелингер.

— Мейснер говорит, что на сегодня лечение закончено, — шептал он каждому. — Он просит вас разойтись. Эта женщина, Хелена Штессер, требует всех его сил.

Пациенты постояли, озираясь вокруг и глядя друг на друга, а потом потянулись к двери. Зелингер наблюдал, как они исчезали словно тени.

Комната опустела.

Когда Зелингер вошел в смежную комнату, женщина, судя по всему, уже спала глубоким сном. Не обращая на нее внимания, он обратился к Мейснеру. Тот мгновение помедлил, а потом сказал:

— Посидите в соседней комнате. Я хочу остаться с ней наедине. Она очень неустойчива и впечатлительна.

Зелингер вышел и сел в соседней комнате. Выходя, он закрыл за собой дверь.

Поскольку слабый свет из-за двери проникал и сюда, зажигать лампу Мейснер не стал. Комната почти полностью была погружена в сумрак, но он видел лицо женщины. За окном завывал ветер, было холодно, за два дня до этого на крышу лег тонкий слой снега. Свет был очень слабым, но Мейснер знал, как выглядит комната, в которой он находится, и как выглядит соседняя комната — опустевшая, словно, бросив в беспорядке стулья и чан, из нее бежала охваченная внезапной паникой человеческая орда. Он знал, что на одном из стульев, на стуле без подлокотников, сидит Зелингер, и Мейснер догадывался, что он курит. За окном завывал ветер, музыканты больше не играли. Они были одни.

Женщина шевельнулась.

Он наклонился, поднял руку и стал осторожно, но с нажимом поглаживать ее по лицу, вверх и вниз, вверх и вниз. Лицо женщины выделялось в темноте светлым пятном. Оно было бледным и напряженным, голова напряженно откинута назад.

Женщина шевельнулась. Глаза ее были открыты.

— Вы меня слышите? — тихо спросил Мейснер. Он положил руку ей на живот, ощутил ее медленное дыхание.

Она не открывала рта.

— Слышите ли вы мои слова? — повторил он свой вопрос медленней и раздельней. Она повернула к нему голову и улыбнулась.

— Можете начинать лечение, о котором мы договорились, — очень внятно произнесла она.

Он поудобнее устроил ее на диване. Она лежала, расслабившись и глядя в потолок. Он положил левую руку ей на живот и сильно нажал. Правую он держал на ее лице.

— Сейчас я погружу вас в магнетический сон, — сказал он. — Тогда между вами и силой притяжения небесных тел наступит гармония и болезнь исчезнет.

— Знаю, — вдруг произнесла она.

Секунду он с раздражением смотрел на нее, потом начал свои манипуляции. Правую руку он легкими ритмическими движениями приблизил к ее лицу и стал водить по нему, другой рукой мягко массируя ей живот.

Она заснула не сразу. Помолчав, она негромко проговорила:

— Болезнь сидит в животе. В животе слева. Оттуда идут судороги.

— Знаю, — нетерпеливо сказал Мейснер. — Зелингер мне рассказывал.

— Она сидит там, — повторила женщина. — А боль, которую надо убрать — в середине живота.

Он не прекращал поглаживаний. В комнате было так темно, что он с трудом разглядел, как она подняла руку, опустила ее книзу и задрала платье.

— Там, — сказала она, наконец закрыв глаза. — Там, в животе, сидит боль.

Она высоко задрала платье, с одной стороны до самой талии. Белья на ней не было, и он видел посреди белизны широкий треугольник ее лона. Он медленно переместил руку к низу ее живота и стал делать круговые движения.

— Да, — глухо выговорил он, — сейчас магнетический сон одолеет болезнь.

Дыхание ее было спокойным и ровным, она улыбалась. Зелингер, подумал он, покосившись на закрытую дверь. Оттуда не доносилось ни звука; он снова перевел взгляд на женщину.

Его рука по-прежнему описывала круговые движения, осторожно поглаживая белую кожу живота. Коснулась черных волос, погладила шершавый треугольник, задержалась на нем. Он пошевелил пальцами, скользнул средним во влагалище, почувствовал, как увлажнились срамные губы, посмотрел на ее лицо. Оно было белым и неподвижным, почти по-детски невинным, а на губах бродила чуть заметная улыбка.

Тогда он снова задвигал рукой, скользнул пальцами внутрь влажных губ, ввел их глубже, стал делать ими круговые движения.

Он увидел, как она незаметно изменила позу, приоткрыла себя, медленно шевельнула ногами. Платье наискосок перерезало низ ее живота, он отодвинул его тыльной стороной руки, глядя на округлость, сходившую на нет к паху, на расслабленные ноги. И продолжал медленно работать внутри ее лона. Она дышала по-прежнему медленно и ровно.

Потом она приподняла левую ногу, отвела ее в сторону. Тогда он надавил сильнее и заметил, что в комнате не так темно, как ему казалось, и посмотрел на дверь, но она была по-прежнему закрыта и тот, кто сидел за ней, не появлялся, и все же Мейснер чувствовал: что-то не так и надо остановиться, пока не поздно. Но потом он видел уже только ее лоно, которое теперь медленно вздымалось, и видел собственную руку, двигавшуюся в такт с ним. Было темно, но он видел все. Снаружи завывал ветер, но он слышал только дыхание женщины, теперь участившееся. Он продолжал работать рукой в ее влагалище, наполнившемся слизью, а другой рукой спустил с себя штаны; дальнейшее произошло очень быстро, он вынул свой отвердевший член, она тихонько застонала, подавшись к нему, словно видела все, хотя глаза ее были закрыты. Тогда он отстранил ее, но потянул к себе ее ноги, так что они перевесились через край дивана. Теперь они свисали прямо вниз, и он опустился на колени и рывком вошел в нее, и ни звука не доносилось оттуда, где сидел Зелингер, и дверь была затворена, и он дышал носом, чтобы самому не издать ни звука, и женщина была открыта ему, совершенно открыта.

Потом ее легкие стоны прекратились. Его голова лежала между ее грудями, он видел тени от уличных фонарей, они дрожали и колебались, и он совсем освободился из ее лона, и ветер кричал, и мысли снова хлынули в его голову, словно мозг его был безвоздушным пространством, которое вдруг распахнулось. Опять что-то не так, думал он, я опять допустил ошибку.

Он медленно сполз с нее. Она не шевелилась. Он склонил голову к ее ноге, безвольно и бессильно свисавшей с дивана; нога была влажной, и все было позади.

Вот он, думал он, вот он, наш дар визионерства. И я снова его предал. Снова совершил ошибку.

И дверь не открылась, и никто не появился, и он довел до конца начатый сеанс лечения.

6

7

В 1749 году в Вюрцбурге ведьма по имени Мария Рената была сожжена, или, как это убедительно разъясняла церковь, “была очищена дымом и отправлена на небо”.

Ей было семьдесят два года, из них пятьдесят она провела в знаменитом монастыре Унтерцель возле Вюрцбурга помощницей настоятельницы — еще одно доказательство того, какие хитроумные и коварные пути иной раз избирает дьявол. По обычаю, ее, как ведьму, ввели в суд спиной вперед, “чтобы судью не тронул ее вид и не околдовали ее слезящиеся старческие глаза”.

Вина Марии Ренаты состояла в том, что, дунув на четырех монахинь и коснувшись их руками, она укоренила в женщинах власть Нечистого. Отчего у них и начались болезненные судороги и страшные конвульсии.

Добавим к этому следующее.

В 1774 году в Вюртемберге и Баварии распространился слух, будто монах по имени Иоган Иозеф Гаснер наделен сверхъестественной способностью изгонять болезни. Сам он страдал тяжелым недугом "Haupt-, Magen- und Brustbeschwerden"[1], но излечил себя сам, заговорив болезнь. Вскоре он стал очень известен. В иные дни на лечение к нему собиралось до десяти тысяч человек. И, как говорится в "Archiv für den tierischen Magnetismus"[2] Эшенмайера и Кизера (в этом издании опубликовано письмо Гаснера к одному французскому приору, откуда и взято нижеследующее замечание), "городские книгопечатники день и ночь потели у своих прессов, дабы изготовить нужное число молитвенников, а ювелиры и кожевники успевали мастерить только амулеты, всякого рода Агнцев Божиих, кресты, сердца и кольца".

О лечении, которое проводил Гаснер, сохранилось много свидетельств. Одна из его пациенток, Катарина Мундерин из Вюрцбурга, по какому-то случаю назвала изгнание дьявола "очистительной поркой", и ее слова с тех пор часто цитируются в литературе.

Деятельности Гаснера был положен конец после того, как комиссия Ингольштадтского университета, в которую входило по одному профессору от каждого из четырех факультетов, решила изучить методы его лечения с точки зрения науки.

Один из членов комиссии, профессор теологии Штатлер, однако, с жаром уверял, что Гаснер не повинен в обмане и "все, что он предпринимает и делает, вершится единственно силой Христова имени".

Вскоре после этого и появился Антон Месмер.

"Чаны" бывали разной конструкции.

Тот, что значительно позднее использовался в Париже, выглядел следующим образом. На полу посреди комнаты стоял снабженный крышкой круглый сосуд примерно пяти футов в диаметре.

На дне сосуда лежали бутылки, одни обращенные горлышками к центру, другие — наружу. Все бутылки были намагнетизированы одной рукой. Сосуд наполняли водой так, чтобы она покрывала бутылки. Из крышки, в которой были проделаны многочисленные отверстия, торчали изогнутые железные стержни. Стены комнаты в описываемом случае, где использовалось весьма дорогое оборудование, были покрыты зеркалами, долженствующими отражать магнетизм, наподобие того, как они отражают солнечные лучи. Солнцем же, в зависимости от источника, из которого мы черпаем наши сведения, считался либо магнетизер, либо чан.

Конструкция чана, которым в Зеефонде пользовался Мейснер, была значительно более простой. Зелингер в своем отчете один раз упоминает о ней. Вместо бутылок Мейснер использовал обернутый бумагой стеклянный шар. Откуда он его добыл, не говорится. Он не посыпал этот шар поверх стекла металлической стружкой, как делали позднее его последователи. А железные стержни заменил железными цепями.

1. Болями в голове, животе и груди (*нем.*).
2. "Ведомости животного магнетизма" (*нем.*).

Впрочем, внешнее устройство значения не имело. Де Пюисегюр в имении Бюзанси использовал вместо чана огромный дуб. В его тени местные жители погружались в целительный сон. Пюисегюр добивался очень хороших результатов.

Янсенист дьякон Франсуа Пари скончался в 1727 году от чрезмерной аскезы. Вскоре, по слухам, на его могиле на кладбище Сен-Медар стали происходить чудеса. Уже через месяц там ежедневно собиралось по восемьсот больных, у многих из которых под воздействием святой силы, исходившей от праха, начинались страшные конвульсии. Некоторые вели себя словно дикие звери.

Один из них, адвокат Пино, принадлежавший к течению янсенистов, ежедневно по три часа, от одиннадцати до двух, лаял как собака. Когда это стало известно, удивительные вещи начали твориться и с королевским придворным секретарем Фонтеном. "Шесть месяцев подряд ежедневно от девяти до одиннадцати кружил он вокруг самого себя, и притом с такой скоростью, что проделывал шестьдесят оборотов в минуту, читая в то же время вслух отрывки из "Нравственных рассуждений" Кенеля".

Однажды между Мейснером и Зелингером завязался разговор об этих событиях. Первым о них упомянул Мейснер. Он выразил сожаление, что шарлатанство и подделки буйными сорняками расцветают по следам чудесного. "Иногда очень трудно провести границу между ложным и фантастическим, – заявил он. – И это еще усложняет мою задачу"...

8

Дневник Клауса Зелингера с 7 января по 9 февраля 1794 года

7 января

Вчера Мейснер навестил мою дочь. Он оставался недолго и сразу ушел, отказавшись отобедать. Он навещает ее все реже.

Мария нетерпеливо ждет каждого визита, но говорит, что понимает, как он занят. Она также несколько раз спрашивала о Штайнере, но тот упорно уклоняется от встреч. Вот она, оборотная сторона счастья: когда жизнь обретает полноценный смысл, старые друзья от тебя отворачиваются. Это весьма прискорбно.

Насколько я понимаю, Мейснер работает теперь в двух направлениях. Один из его лечебных методов состоит в том, что он подвергает группу людей магнетизированию. Это происходит во время сеансов, уже мной описанных; они становятся все более успешными. Так, пациентка Штессер почти совсем выздоровела. Во время сеансов бывает также, что почти половина участников впадает в сон. Некоторых из них Мейснер рассматривает как сомнамбул, наделенных сверхчеловеческими способностями. Он высказывает множество гипотез, неожиданных, удивительных, но по крайней мере одну из них я безусловно разделяю:

его лечение пробуждает фантазию в людях, которых до сих пор я считал примером сухого рационалистического образа мыслей.

Иногда начинает казаться, будто он вырывает их из нашего города, уносит прочь из нашего мира, создавая для них какой-то особенный мир. Порой мне хочется, чтобы он не пробуждал их от этих чар.

Другая форма лечения более индивидуальна и, по мнению моей жены, которая все более саркастически высказывается о Мейснере, приносит меньше дохода. Я обычно резко ее осаживаю.

Мейснер заслуживает того, чтобы злые языки оставили его в покое.

Несколько дней тому назад я встретил Мейснера рано утром, и у нас состоялся разговор. Он огорчен тем, что у него мало индивидуальных пациентов. Я с усмешкой подумал об обвинениях моей жены и о том, сколь убедительно опровергает его замечание ее инсинуации.

— Мне нужен пациент, — вздыхал Мейснер. — Сложный пациент, который, подобно свежему ветру, снова двинет мой корабль вперед.

Мейснер часто употребляет очень смелые сравнения, я не всегда их понимаю. Но в данном случае я думаю, что этот яркий образ выражает его страстное стремление двигать вперед науку врачевания.

Тогда я рассказал ему об одном случае, о котором сам недавно услышал. Мой друг Штайнер лечил некую мадам Кайзер, которая страдает тяжелой и непонятной болезнью. Год тому назад у нее в животе появилась опухоль, причиняющая ей сильную боль. Ей ставили пиявки, пускали кровь, пользовали всевозможными лекарствами, но ничто не помогало. Штайнер вначале предполагал, что женщина беременна, но это невозможно — слишком долго длится болезнь.

Пациентка Кайзер особа очень нервная, и ее муж намучился за этот год. Женские болезни обычно тяжело отражаются на мужьях, и я посоветовал Штайнеру направить свое участие на господина Кайзера, который страшно исхудал и пал духом. Штайнер, однако, отклонил мое предложение, заявив, что предпочитает терпеть неудачи только с женщинами.

Однако за последний месяц состояние больной ухудшилось. Опухоль стала больше, и в городе, где многие знают о ее болезни, считают, что она скоро умрет. В последнее время участились рвоты и обмороки.

Я рассказал обо всем этом Мейснеру. Похоже, он очень заинтересовался.

10 января

Мейснер, без сомнения, человек, принимающий скорые решения. Уже на другой день он посетил госпожу Кайзер и предложил взяться за ее лечение. Она с благодарностью согласилась.

По-видимому, это будет очень сложный случай; такой же сложный, как возвращение зрения моей дочери. Едва предложение Мейснера стало известно в городе, поднялась целая буря слухов. Люди утверждают, что большая опухоль в животе у женщины — это и в самом деле ребенок, но лежит он не как положено, в матке, а запутался в кишках. Когда я рассказал об этих разговорах жене, она заявила, что верит слухам: муж мадам Кайзер, мол, подслеповат и, наверно, однажды перепутал женины отверстия — моя жена любит сочные выражения.

Я спросил Мейснера, насколько основательны эти городские толки. Он предложил в ответ, чтобы я как медицинский контролер тщательно обследовал больную.

Обмороки, парализация и прочие симптомы, появлявшиеся у мадам Кайзер в последние месяцы, затемняют картину болезни. Так что я с нетерпением жду обследования, которое назначено на девятнадцатое число сего месяца.

14 января

Сегодня Мейснер был неуловим. Мне нужно было поговорить с ним о новых пациентах (кстати, количество вновь записавшихся в последние недели сократилось), но тот, кого Мейснер называет Ткачом, заявил, что Мейснер сейчас у герцога, беседует с ним наедине.

Я страшно удивился. Не зная, как истолковать это сообщение, я предпочел посчитать, что оно лестно для Мейснера. Он становится влиятельным человеком.

15 января

Сегодня я встретил на улице Штайнера. Он спросил меня, знаю ли я, какую плату теперь берет Мейснер за свои сеансы. Я сказал, что не знаю. Он назвал сумму.

У меня возникло крайне неприятное чувство.

Но если подумать, ничего плохого в том, что он берет дорого, нет. Хорошее дело требует больших средств.

И все-таки Мейснер мог бы мне об этом сказать.

20 января

Вчера я обследовал мадам Кайзер.

При обследовании присутствовали: ее супруг, а также сорокалетний владелец бани Педерсен, господин Полински, датчанин, который вот уже два года живет в нашем городе, Мейснер и я сам.

Когда я пришел, пациентка лежала в постели. Живот ее сильно вздут и слегка, но все же заметно скошен влево. Когда я дотронулся до ее живота, она негромко застонала и сказала, что временами, хотя и не всегда, у нее здесь бывают боли. Пупок не торчит, а образует глубокую впадину. Вздутие очень тугое. Госпожа Кайзер сказала, что несколько месяцев назад в животе что-то шевелилось, но теперь все замерло. На ее вопрос о том, не могла ли к ней в живот заползти змея, я ничего не ответил.

При внутреннем обследовании я нашел, что матка у нее маленькая, чистая, шейка матки узкая, толщиной в палец, а отверстие плотное, гладкое и сомкнутое. Следовательно, опухоль располагается вне матки, вероятно, значительно выше.

Я заявил, что ни о каких родах не может быть и речи, ибо никакого ребенка в утробе нет; нет в животе также никакой змеи и никакого другого животного, будь то крыса или бегемот. При последних словах, произнесенных мной с улыбкой, женщина громко фыркнула и отвернулась к стене. Я призвал ее терпеливо предоставить природе делать свое дело. Возможно, перед нами случай внематочной беременности (graviditas extra uterina), хотя это сомнительно. Однако в связи с затрудненным стулом и мочеиспусканием я прописал пациентке по мере необходимости принимать Cremor tartari[1].

1. Винный камень (*лат.*).

После этого женщина заявила, что в области опухоли у нее начались сильные боли. Тогда я распорядился, чтобы при появлении болей ей ставили десять пиявок на самый высокий и напряженный участок вздутия, а именно под нижнее ребро над средней частью гребня бедренной кости.

Пока я проводил обследование, Мейснер молчал и выслушал мои назначения без всяких комментариев. После чего он начал говорить, обращаясь ко всем собравшимся:

— Мы все слышали, что в этом случае назначает медицинская наука, — заявил он. — Высокоуважаемый врач доктор Штайнер долгое время пользовал эту женщину, но помочь ей не смог. Наоборот, ей стало хуже. Обследование, которому вы были свидетелями, также не избавит ее от болезни.

Молча и удивленно слушали мы его слова. И ждали продолжения. И Мейснер продолжал.

— Если в ближайшие дни женщине не станет лучше, она должна полностью перейти под мое наблюдение. Тогда мы сможем судить о пригодности обоих методов лечения. Это придаст доказательствам особенную убедительность.

Я онемел. Этого я не ждал. Я открыл было рот, чтобы возразить, но Мейснер движением руки меня остановил. К тому же мое уважение к нему столь велико, что я промолчал.

После чего свидетели ушли.

— Я считаю, что это соревнование неуместно и неразумно, — резко сказал я потом. — Я считаю, что Штайнер лечил женщину правильно и добросовестно, и нельзя таким образом бесчестить преданного своему ремеслу профессионала, который потерпел неудачу.

— Значит, вы считаете, что нечего и пробовать мой метод? — спросил тогда Мейснер.

— Конечно, его надо испробовать, — ответил я, — раз обычные способы лечения не помогли, но такого рода соревнование между двумя методами кажется мне слишком скандальным.

— Когда речь идет о хорошем и справедливом деле, ничто не может быть слишком скандальным, — ответил на это Мейснер.

Слух очень быстро распространился по городу. Не прошло и часа после моего возвращения, как жена пришла ко мне сообщить, что Мейснер бросил вызов городским врачам.

Я сказал ей, что это вовсе не так. Она выслушала мой рассказ, но, по-моему, он ее не слишком убедил.

Теперь в Зеефонде появилась новая тема для разговоров. Я так и слышу голоса, любопытные, злорадные, торжествующие. Мои симпатии должны были бы быть на стороне Мейснера, но пока что мне просто жалко Штайнера. Ведь неудачу потерпел он, хотя ее и разделяет с ним вся корпорация медиков.

Женщине от его лечения стало хуже. Лечение Мейснера ей поможет. Я в этом уверен. Штайнер в этом уверен. И тверже всех в этом уверен Мейснер.

Моя дочь снова стала играть. Я слышу сквозь пол звуки ее любимой си-бемоль-минорной сонаты — примиряющие, печальные, прибежище от моих мыслей. Я крепко зажмуриваю глаза и слушаю.

26 января

Вчера я вместе со Штайнером обследовал мадам Кайзер. Утром у нее опять были конвульсии, причем несмотря на это она порывалась встать с постели и танцевать. Боли, по ее словам, меньше не стали.

Штайнер долго смотрел на нее, не говоря ни слова. Пациентка теперь спокойно лежала в кровати, отвернувшись от нас. Она еще не старая и нельзя сказать, что непривлекательная. Мы спросили ее, не почувствовала ли она облегчения после пиявок; она ответила — нет.

Другого ответа мы и не ждали.

Опухоль не уменьшилась. Штайнер еще раз произвел внутренний осмотр, но ничего нового не обнаружил. После чего мы ушли.

На обратном пути Штайнер был в угнетенном состоянии духа.

— Это станет триумфом шарлатанства, — с горечью сказал он. — Мейснер будет казаться еще большим чудотворцем, чем теперь: весь город будет лежать у его ног. Да что там город. Это пойдет и дальше. Шарлатанство заразительно, при дурном обороте дел ничто его не остановит. Оно будет жить долго и отравит многих.

— Если женщина поправится, значит, он все-таки содеет доброе дело, — заметил я.

— Ее болезнь непонятна, — ответил на это Штайнер. — Исходить мы можем только из того, что есть опухоль, и еще из того, что говорит сама пациентка. Она радуется нашему приходу. Внимание, которое она к себе привлекает, — отрава для этой женщины.

Тогда я спросил Штайнера, как он может называть шарлатаном человека, который спас мою дочь — не считает ли он сомнительным и ее выздоровление.

Штайнер не ответил прямо на мой вопрос, но продолжал, словно беседуя сам с собой.

— Слишком легко у него все получается. Он обращается к обманщику, который кроется в каждом из нас.

Вернувшись домой, я долго размышлял над его словами. Он ослеплен яростью, которую вызывает у него этот удачливый чудодей. В не поддающихся контролю силах — а Штайнер прав, они кроются в каждом из нас — он видит опасность, угрозу. Тут он несомненно ошибается. Вспомним, как много добра делает Мейснер! Он не стремится к личной славе, он хочет только, чтобы его идеи получили распространение и послужили всему человечеству. Вспомним, как он вылечил мою дочь.

Штайнер спросил меня также, как это я, неверующий, так легко мог стать жертвой шарлатанства в медицинском обличье.

Я сделал вид, что не понял натянутого сопоставления науки и веры, только усмехнулся и похлопал его по плечу. Ведь он еще так молод.

30 января

Мейснер уже официально заявил, что лечение, которое проводил Штайнер, оказалось неудачным и теперь он сам собирается заняться мадам Кайзер.

Огромный интерес, который в последнее время возбуждает этот случай, и рассуждения о том, каким образом возьмется за дело Мейснер, привели к тому, что увеличился приток желающих записаться на обычные сеансы Мейснера. Говорят также, что он сильно повысил плату за лечение. Теперь только самые состоятельные посещают его вечерние приемы. Такое развитие событий мне не нравится.

Я предпочел бы устраниться от участия в этом деле. Но Мейснер заявил, что я должен присутствовать при лечении как медицинский контролер. Штайнер косвенным образом тоже подтолкнул меня к тому, чтобы я присутствовал при лечении.

Вот почему я не отказался. В каком-то смысле я чувствую, что Мейснер — моя последняя надежда, спасение от моего равнодушия, рука помощи, протянутая мне, чтобы я вышел из своего оцепенения.

Даже если Штайнер прав, значит, именно теперь я нуждаюсь в обмане, притворстве и шарлатанстве. Света без тени не бывает.

2 февраля

Вчера Мейснер начал свое лечение. Я при этом присутствовал.

Во время лечения я записывал все, что происходит.

Я чувствую постоянную необходимость заносить в отчет все. Все.

Шесть часов пополудни. Присутствуют: повитуха, служанка мадам Кайзер, мадам Стройвер, банщик Педерсен, граф фон Дренерт, господин Левийн, Мейснер и я сам.

Сначала мы собрались в комнате, прилегающей к той, где находилась пациентка. Мейснер заявил, что намерен погрузить больную в так называемый магнетический сон. Во время этого сна у нее возникнет потребность заглянуть в себя, и благодаря магнетическому состоянию, которое поддерживается поглаживаниями, она сможет это сделать. И тогда, возможно, она скажет, какого рода лечение поможет ей избавиться от болезни.

Мы слушали его затаив дыхание.

После чего вошли к больной.

Мейснер подошел к ней и присел на край кровати, ни словом не объяснив женщине, что он намерен с ней делать. Потом положил руку ей на лоб, словно проверяя, нет ли жара. Так же непринужденно он погладил ее по лбу над бровями, после чего веки женщины дрогнули, глаза закрылись; так обычно вели себя пациенты при погружении в магнетический сон. После чего Мейснер несколько раз провел рукой по ее груди и по телу, задержав наконец руку на ее сердце. Пациентка лежала теперь совершенно спокойно. Она медленно дышала, черты лица разгладились. Когда она проспала десять минут, Мейснер спросил:

— Вам легче?

Склонившись над ней, он говорил очень тихим голосом, но при этом так внятно, что все присутствовавшие в комнате его слышали.

— Да, — без колебаний ответила пациентка так же внятно. При этом она продолжала лежать с закрытыми глазами и, без сомнения, спала. А потом, не ожидая его дальнейших вопросов, сказала:

— Я все слышу и вижу все совершенно ясно, даже себя и свои внутренности.

— Каким образом надо лечить вашу болезнь? — спросил Мейснер.

Ответ последовал без промедления:

— Теперь я узнала, что может помочь от головной боли, — это обтирания смесью одеколона с уксусом.

Несколько секунд казалось, Мейснера смутил столь внятно и скоро прописанный рецепт, но он овладел собой и спросил, не обращая внимания на сильное волнение, которое охватило нас, стоявших рядом и наблюдавших за происходящим:

— Что за опухоль у вас в животе?

— Это ребенок.

— Еще живой?

— Нет, он умер третьего числа прошлого месяца.

— Но ребенок должен быть необыкновенно большим, ведь уже год назад вы говорили, что у вас в утробе растет ребенок?

— Нет, он совсем маленький, хотя ему уже год и три месяца. Но там, где он лежит, он не мог питаться. Поэтому он такой маленький.

— Где же он лежит?

— Вне матки, ближе к спине, почти спеленутый брыжейкой.

При этих словах в комнате возник гул, вызвавший сильное раздражение Мейснера. Он сердито обернулся и знаком приказал нам замолчать. На пациентку наше неуместное вмешательство не оказало никакого впечатления. Она лежала по-прежнему спокойно, даже веки ее не дрогнули, словом, не было никаких признаков того, что она пробудилась.

Мейснер снова обернулся к ней.

— Каким же образом вы исцелитесь?

После этого вопроса впервые возникла пауза. До сих пор женщина отвечала с готовностью и без колебаний. Теперь, казалось, она старается сосредоточиться перед тем, как сделать важное сообщение. Мы все ждали, затаив дыхание.

Наконец она ответила:

— Ребенок распадется и выйдет из тела; то, что не распадется, выйдет целиком. Но мне надо очистить кровь; для этого есть средство: смесь очищающей кровь красной земли и обыкновенного красного вина. С помощью этого средства плод распадется и выйдет наружу.

— Что это за земля?

Женщина снова помедлила, словно всматриваясь в глубь самой себя, где что-то никак не могла рассмотреть. Мейснер напряженно глядел на нее, как будто его взгляд должен был придать ей сил. Наконец она выговорила:

— Такая земля есть у камня, что лежит в трех четвертях мили к востоку от Зеефонда.

— Где это? Можете указать точнее?

— Это земля в рощице возле камня, который величиной и видом напоминает человеческую голову. Возле этого камня лежит другой, поменьше. Они касаются друг друга. Вот под этими камнями и есть та земля.

— Откуда вы это знаете?

На этот раз она ответила без колебаний.

— Магнетическая сила научила меня заглянуть внутрь самой себя.

— А что с вашими судорогами? Долго они будут продолжаться?

— Нет, на этой неделе у меня будет только два приступа. Один завтра утром, второй на другой день вечером. Но они будут легкими и непродолжительными.

Мейснер, сидевший возле пациентки, встал. Никто из присутствовавших не произнес ни слова — мы все выжидательно смотрели на него. Он вдруг улыбнулся мне и развел руками.

— Ну что ж, господин контролер, — сказал он. — Лечение началось.

Он дал больной поспать в течение часа.

3 февраля

Вчера я заглянул к Штайнеру и рассказал ему обо всем, что произошло. Он выслушал меня, не сказав ни слова. Сидел, уставившись на свои тяжелые руки, светлая бородка всклокоченная, грязная. И весь он какой-то неопрятный. Думаю, на него тяжело повлияли события последних дней. Он более чувствителен, чем о нем думают.

— Как поживает Мария? — вдруг без всякого перехода спросил он.

Я начинаю понимать, что Мейснер строит обширные планы. Он, без сомнения, не намерен ограничиваться чисто медицинской сферой. Он рассказал мне, что пишет труд о государственном управлении.

Я спросил, идет ли речь об управлении только Зеефондом.

Он посмотрел на меня взглядом, который я истолковал как презрительный. "Нет, — ответил он, — мой труд имеет более обширный смысл".

Ходят упорные слухи, что он намерен применить свои теории на практике. Неделю назад в припадке откровенности он показал мне вырезку из "Анцайген", газеты, которую издает в Гёттингене некий господин Шлёцер. Подчеркнутые Мейснером строки гласили:

"Одна из величайших в мире наций, нация, одна из самых прославленных на поприще культуры, наконец сбрасывает иго тирании. Наверняка маленькие ангелочки на небе поют в честь этого события Te Deum laudamus"[1].

Я спросил Мейснера, не французская ли революция имеется здесь в виду. Он ответил утвердительно. Тогда я вспомнил, что он долго жил в этой стране.

Мне все это непонятно. Он часами беседует с правителем Зеефонда, вне всякого сомнения обсуждая дела политические, и в то же время показывает мне вырезку из газеты, которая славит освобождение от тирании. Одно очевидно противоречит другому.

Впрочем, новая Франция — это сила, враждебная нашему великому императору. А известно, что герцогство Зеефондское давно добивается от императора большей самостоятельности. К тому же у Мейснера могут быть полезные для нас связи в Париже.

Возможно, правитель Зеефонда хочет использовать известность Мейснера и для других целей. Но что будет тогда с его визионерством, о котором он так часто говорит? Можно ли применять его в любых областях? Искажаясь политическими целями, не теряет ли оно своей силы?

Я не решаюсь говорить об этом ни с кем, даже с женой. И еще один вопрос занимает меня: почему молчит церковь? Почему не выскажется за или против Мейснера?

Я пригласил Штайнера прийти к нам навестить мою дочь. Он продолжал сидеть молча и не ответил на мое приглашение.

Может, он боится собственными глазами увериться в величии Мейснера?

4 февраля

Вчера я в качестве контролера участвовал в поисках красной земли, а может быть, песка. Накануне была снаряжена небольшая экспедиция, дабы найти этот кровоочистительный песок, но она вернулась ни с чем.

1. Тебя, Бога, славим (*лат.*).

Мы сообщили это сомнамбуле — Мейснер теперь постоянно ее так именует, и я иногда повторяю это вслед за ним. Сообщение женщину огорчило, но она твердо стоит на своем.

Мы с Мейснером и банщиком Педерсеном, который участвовал в первой экспедиции, обсудили положение дел. И решили продолжать поиски с ее помощью. Может быть, в состоянии магнетического сна ей легче привести нас в нужное место.

Третьего числа утром она обычным способом подверглась магнетизированию. После чего спящую перенесли в ожидавшую карету. Наш отъезд привлек всеобщее внимание.

Я сидел прямо напротив сомнамбулы и все время внимательно наблюдал за ней. Глаза ее были закрыты. Иногда можно было приметить легкое дрожание век, столь слабое, что едва ли это что-нибудь значит. Она спала. Я убежден, что она в самом деле спала.

Полчаса мы ехали в молчании. Потом сидевший с ней рядом Мейснер спросил, не может ли она указать нам более точное направление. Она приказала ехать медленнее. Именно в эту минуту мне показалось, что веки ее разомкнулись, но я в этом не уверен.

Вдруг она крикнула, чтобы карету остановили. Мы спросили, прибыли ли мы на место, она ответила утвердительно.

Слева от нас и в самом деле оказалась рощица, вернее две рощицы. Мы переглянулись, пытаясь понять, какую из них она имела в виду.

Погода в этот день была скверная. При отъезде из Зеефонда было пасмурно, моросил дождь. Теперь дождь припустил.

Решили послать Педерсена на разведку — он должен был осматривать местность, пока сомнамбула не крикнет, чтобы он остановился.

Педерсен скрылся за пеленой дождя. Мы сидели в карете. Сидели в полном молчании.

— Ну как, он уже близко? — немного погодя спросил Мейснер. Педерсен уже исчез в одной из рощ.

— Нет еще, — спокойно сказала женщина.

Прошло совсем немного времени, и вдруг она крикнула Мейснеру:

— Вот здесь! Скажите, чтобы он наклонился и собрал землю.

Я открыл скрипучую дверцу кареты и крикнул Педерсену, которого не было видно за кустами:

— Остановитесь! Остановитесь!

Мне ответило слабое эхо из рощи. В нем звучало что-то вроде: "Ладно", но сильный дождь заглушал звуки. Я вылез из кареты и пошел за Педерсеном.

Педерсен, насквозь промокший, стоял, ковыряя землю ногой. Земля была ровная, заросшая травой, поблизости никаких камней. Мы вырыли ямку, но земля в ней была черной.

Мы выкопали яму около фута глубиной, но земля все равно оставалось черной.

Мы пошли назад.

Мадам Кайзер по-прежнему лежала, откинувшись на одну из подушек кареты, и спала. Мы сообщили ей о результате. Кажется, она огорчилась, но сказала, что Педерсен слишком поздно услышал ее крик — он уже прошел мимо того места, где следует искать землю. Пришлось идти снова.

Дождь лил как из ведра, было холодно. Дождевые капли мешались со снегом. Мы снова побрели по глинистой поляне к роще. Нашли то мес-

то, где вырыли яму, потом Педерсен восстановил в памяти путь, которым в первый раз добрел до этого места, и мы двинулись назад. Через тридцать метров мы оказались возле целого скопища камней, и Педерсен сказал, что видит два камня, которые лежат вплотную друг к другу. Он обратил внимание, что один камень и в самом деле меньше другого. На это я заметил, что так обычно и бывает, когда речь идет о двух камнях.

— Может, это здесь, — все-таки сказал он.

Мы стали рыть под камнями. Почва здесь была песчаной и желтой. Через некоторое время Педерсен докопался до слоя, который имел красновато-желтый оттенок, может, кто-нибудь назвал бы его коричневато-желтым, но мы согласились, что в нем без сомнения есть красные прожилки.

— Это тот самый песок, — заключил Педерсен.

Мы сели на землю. Мы оба устали от этого копания и к тому же насквозь промокли.

— А насчет приступа правильно она предсказала? — спросил я Педерсена.

— Правильно, — ответил он. — Во всяком случае, первый приступ случился в указанное время и был очень легким. Все произошло именно так, как она предсказала.

— А теперь мы нашли ее красную землю, — заметил я.

Женщина очень обрадовалась, когда мы сказали, что нашли землю.

Мейснер взял щепотку земли, внимательно ее рассмотрел.

— Да, — сказал он, — земля в самом деле красная.

По дороге домой все молчали.

Позднее во время сеанса Мейснер спросил пациентку, как она себя чувствует и какие меры надо теперь принять.

— Насчет головных болей дело обстоит так, — заговорила она. — Боли и судороги оттянули воду к голове, и она собралась вокруг моего мозга. Но магнетическое лечение отвлекло воду вниз, и судороги понемногу станут слабеть.

Чтобы остановить рвоту, позывы к которой у нее время от времени появлялись, мадам Кайзер, в частности, рекомендовала "каждые три часа принимать на кусочке сахара настойку бобровой струи".

После этого Мейснер магнетизировал красный песок, вино и настойку бобровой струи.

9 февраля

Сегодня Мейснер опять приказал мадам Кайзер заглянуть в себя и сказать, что она видит. Она с готовностью исполнила приказание. Нижеследующие записи делались во время ее рассказа, и, насколько я могу судить, мне удалось воспроизвести его слово в слово.

После магнетизирования она заявила, что лекарство проникло в нее очень глубоко, но только назавтра окажет настоящее действие. Тогда начнется сильная головная боль, сильная рвота и мучительные судороги. Но к полудню все эти симптомы исчезнут.

В последующие три дня в испражнениях появится кровь. Тогда во время магнетического сна следует сильно массировать больную сторону от позвоночника к паху, чтобы дать выход плоду. Некоторые его части выйдут обычным путем. Но самая большая часть, по-видимому черепная кость, еще какое-то время останется внутри и выйдет с испражнениями.

Она заявила также, что как только это произойдет, ее ноги (они уже давно настолько ослабели, что она с величайшим трудом ежедневно делала несколько шагов) обретут прежнюю силу. Очень полезно втирать в них также воду, в которую добавлена соль и цветы ромашки или мяты кудрявой.

После этого Мейснер еще несколько раз провел рукой по лицу сомнамбулы, чтобы, по его выражению, ее сон стал глубже. И попросил пациентку, еще раз заглянув в себя, описать, что она видит, в особенности плод и его положение.

— Я вижу все очень явственно, — заявила она. — Но частей так много и они так перепутаны, что я пока еще не могу их различить и назвать. Мне нужно время, чтобы получше их рассмотреть.

Тогда Мейснер спросил, свободно ли лежит плод между кишками.

— Нет, — сказала она. — Бóльшая его часть находится в собственной сумке, напоминающей кожаную.

— Вы сказали "бóльшая его часть", — спросил Мейснер. — Значит, не весь плод находится в сумке?

— Нет, левая рука лежит отдельно, возле кишки, которая идет вниз к прямой кишке.

— Она всегда так лежала?

— Нет, во время сильных судорог сумка прорвалась, и рука из нее выпала.

Пациентка заявила также, что различает перепутанные жилы, которыми плод прежде был прикреплен к ее груди и по которым к нему поступала пища. Теперь они порвались и переплелись между собой.

Я все время сидел, склонившись над моими записями, и поскольку женщина говорила очень медленно, думаю, могу с уверенностью утверждать, что именно таковы были ее слова. Могу утверждать, что она их в самом деле произнесла. Я свидетель того, что они были произнесены.

Ни за что другое я отвечать не могу. Я полон опасений и тревоги. Фантастическое обрушилось на меня мощной лавиной, я выбит из привычной колеи, я потерял почву под ногами. Все, во что я верил, чему учился, стало зыбким и ненадежным.

Между тем Мейснер заявил, что очень доволен пациенткой.

Уже вечером об этом знал весь город.

Все возбуждены. На Мейснера смотрят как на Бога. В таком случае и я заслуживаю нимба, как Предтеча. Или хотя бы как последователь.

Я замечаю собственные увертки: самоирония — благодарное убежище для тех, кто не может или не смеет занять позицию и отвечать за свое решение.

В тот же вечер я спустился в погребок Вегенера.

Меня тотчас окружили, стали угощать пивом. Я чувствовал себя героем, вернувшимся с войны. Меня превозносили за совершенные подвиги; в особенности все напирали на то, что под руководством медиума я пришел прямо к чудотворному камню, что камень был медно-красного цвета и излучал свет. По их словам, камень раздробили, и теперь с его помощью женщину вылечат.

Тут кто-то заметил, что все это совершилось только благодаря чудотворным свойствам Мейснера. Многие его поддержали.

Я хотел было возразить, но они заткнули мне рот своими криками — они решили, что мной движет скромность.

Далеко не сразу я увидел Штайнера. Он одиноко сидел за столиком в углу. Собравшиеся пытались помешать мне подойти к нему — насколько я понял, еще до моего прихода они спели громкую песню о его неудаче и о триумфе Мейснера.

Но я подошел к Штайнеру и подсел к нему.

— Ты делаешь большие успехи, — сказал он, подняв на меня взгляд. — Поздравляю.

Я сидел с ним рядом, не зная, что сказать. Он был моим другом.

— Мне очень жаль, — начал было я. — Я сожалею о преследованиях, которым ты подвергся.

Он посмотрел на меня и улыбнулся.

— Мне тоже жаль. Когда все минует и от чуда ничего не останется, — медленно сказал он, — выяснится, что я все время стоял в стороне. Это тоже достойно сожаления.

— Ты раскаиваешься? — с сомнением спросил я.

— Есть красота в гладкой, ровной поверхности, — сказал он, уставившись в свой стакан, — она чиста и благоразумна. Но есть другая форма красоты — звериная, гротескная, искаженная. Это красота предательства, я не способен ее оценить.

— Я тебя не понимаю, — сказал я.

— Ты слишком мало читаешь, — сказал он, снова улыбнувшись. — Иначе ты не стал бы звать его врачом, а разглядел бы в нем художника-романтика. Я выбрал ремесло врача, потому что считаю: звериное, темное не должно получить власть, даже если оно способно дать нам счастье. Предательство — красивое искусство, но только в малых дозах.

Я молчал.

— Я жалею не о том, что он сюда приехал, — помедлив, продолжал Штайнер. — А лишь о том, что он ни на мгновение не прельстил меня. Соблазн, который не прельщает, — это не соблазн. И в том, что ты перед ним устоял, нет никакой заслуги...

Мы вместе вышли из погребка. Когда мы оказались у порога, кто-то затянул песню, в которой речь шла о Штайнере, все сразу ее подхватили. Я с силой захлопнул за нами дверь.

Лил дождь. С минуту мы постояли молча, не зная, что сказать. Наконец Штайнер произнес:

— Вот куда их завел экстаз.

Лица его я не видел. Было темно, лил дождь. Я не видел его лица.

Я, Клаус Зелингер, городской врач и помощник Мейснера, разделял их вину. Я не двинулся с места, я не вернулся к ним, не поговорил с ними, я был опьянен успехом и по слабости не двинулся с места. И ничего не предпринял. Я не двинулся с места, я слышал, как дышит Штайнер, слышал слова песни и не решился сделать выбор. Штайнер повернулся и ушел, а я продолжал все так же стоять на месте.

9

...Утром Мейснер занимался лечением мадам Кайзер.

На протяжении своей карьеры ему приходилось иметь дело со многими сомнамбулами, но с такой, как она, никогда. Она была совершенством: засыпала, как только он начинал ее магнетизировать, охотно и

пространно отвечала на все вопросы, подробно описывала собственную болезнь и методы, какими ее следует лечить.

О пациентке Штессер он в последние дни почти ничего не слышал. Раза два она приходила на его сеансы, неподвижно сидела на своем стуле и уходила вместе со всеми. О ней говорили, как об успешно вылеченной больной. "Это не должно повториться", — думал он без большого убеждения. Она была жаркой и узкой, иногда по ночам он просыпался, воображая, что она лежит с ним рядом, извивается, прижимаясь к нему, и он в нее входит.

Но тогда, после сеанса, она повела себя так, будто ничего не произошло. И Зелингер сидел тогда за дверями комнаты, как всегда глядя во все глаза, и ничего не заметил.

Но вот лечение мадам Кайзер — его надо продолжать.

Как только сомнамбула заснула, она напомнила Мейснеру, что настают решающие минуты лечения. Она была в нетерпении, и Мейснер протянул к контролеру руки, чтобы подчеркнуть — эти руки обладают сверхъестественной, сверхчеловеческой силой, которая все направляет туда, куда нужно. До начала сеанса пульс у больной был сто четыре удара, после того как она заснула, он снизился до восьмидесяти. Во время сеанса никто его не считал.

Пациентка утверждала, что настало время массировать опухоль. От давления ребенок, о котором она говорила и о котором говорил весь город, должен распасться на части и выйти из нее. Драгоценный ребенок, не раз думал Мейснер. Ребенок, удваивающий мои доходы.

Женщина говорила очень внятно и четко, отдавала прямые приказания. Оставалось только их исполнять. Она сказала, что во время сеанса должна лежать вниз животом на чем-нибудь жестком, "что будет оказывать нужное сопротивление". Ее приподняли так, чтобы она села на кровати, потом она без труда встала сама, не пошатнувшись, как обычно, когда бывала в магнетическом состоянии. После чего она легла вниз животом на составленные вместе стулья, слегка изогнувшись в правую сторону. И стала руководить Мейснером: взяла его руку, попросила сжать ее в кулак и несколько раз с сильным нажимом провела ею от позвоночника у нижних ребер через гребень бедренной кости вниз к паху, почти до самого лобка.

Они переглянулись, но поняли, что именно этого она хочет, — так должно проходить лечение.

Мейснер склонился над женщиной и стал тереть кулаком так, как она указала. Но она посчитала, что силы одних его рук для больного места недостаточно, — ему пришлось вдобавок упереться коленом в ее спину.

Она заявила, что чем сильнее он жмет, тем более приятные ощущения появляются в опухоли и тем скорее наступит выздоровление. Мейснер молча выслушал ее, кивнул и продолжал трудиться над опухолью.

Минут через десять он выдохся — пациентка тоже была без сил. Но решительно воспротивилась тому, чтобы кто-нибудь сменил Мейснера. Ее отнесли обратно на кровать.

Позднее Зелингер подошел к магнетизеру.

— Я вот о чем подумал, — сказал он. — Если, по словам женщины, ребенку год и три месяца и он не весь находится в сумке, которую мы счи-

таем ядром этой опухоли, разве женщина не должна была бы в той или другой форме страдать от отравления?

— Она от него не страдает, — сказал Мейснер.

— Но это невозможно!

— Невозможное меня не интересует, — коротко ответил Мейснер.

— И все же я не избавлюсь от сомнений, — сказал Зелингер, — пока не увижу части этого ребенка.

— Сомнение бывает полезным, но и вредным тоже, — уже жестче заметил Мейснер.

— Вредным для кого?

— Для всех больных, которых я пользую на своих больших приемах, — сказал Мейснер. — Вера — необходимое условие их лечения. Подавлять всякое сомнение — в данном случае сомнение детское и бессмысленное, — вот цена, которую нам приходится платить за их исцеление.

Зелингер постоял в нерешительном молчании. Потом повернулся и ушел.

Контролер слишком серьезно относится к своим обязанностям, подумал Мейснер. Его обязанность — поддерживать меня и мое дело. Вот и все.

Мейснер вдруг решил, что скажет это Зелингеру. Но когда он вышел на лестницу, тот уже скрылся.

На другой день он навестил Марию.

— Вы приходите так редко, — сказала она, серьезно посмотрев на него. — Я выздоровела, и в то же время я нездорова. Все, о чем вы говорили, когда лечили меня, лежит во мне как комок необработанной глины. Я вижу, но все же я пока еще *ничто*.

Он долго смотрел на нее. Все, что тогда произошло, казалось теперь таким бесконечно далеким. Он вспоминал долгие беседы в полумраке, вспоминал ее чистый, ломкий голос, и все же вся история казалась нереальной, невероятной.

— Я не помню всего, что тогда говорил, — начал он было. Голос звучал глухо, ему показалось, что он просто что-то невнятно прокаркал.

— Вы говорили мне о том, что значит решиться видеть, — удивленно сказала она. — О том, как я должна решиться смотреть на мир. Как должна поверить в него и больше от него не прятаться. Неужели вы забыли?

— Да, — глухо ответил он. — Почти все.

— А потом вы сотворили со мной чудо...

— Я не творил никаких чудес, — поспешно сказал он. — Я сотворил чудо через тебя самоё.

— Но все равно это сделали вы, — сказала она и улыбнулась, как бы его извиняя. — Вы говорили, что чудо поколеблет действительность, и... нет, что передо мной возникнет видение... нет, что я прозрею, а видение мне поможет. Разве не так?

— Может быть, — сказал он. — Может быть, я так говорил.

— И все оказалось не так страшно, как я думала, — горячо продолжала она. — Сначала я не могла играть на фортепиано, но потом это прошло, когда я смогла забыть, что я вижу. Надо обрести новое свойство, а потом забыть, что ты его обрел! Не удивительно ли это? Сначала овладеть чем-то, а потом забыть, что ты им овладел, и тогда ты сможешь этим пользоваться.

Он встал и постоял возле стула, на котором она сидела, молча глядя на нее. Он видел светлые волосы, тонкую бледную кожу. Глаза у нее были серые. Она была среднего роста, не слишком полная. В черном платье с красными и белыми полосками. Смотреть на нее было приятно.

Надо что-то обрести, подумал он, и потом не пользоваться этим для каких-то других целей. Надо всему поставить предел и потом его не переступать. Если переступишь, в конце концов все истаивает, ничего не остается.

— Вы уже уходите? — удивленно спросила она.

— Да, — сказал он. — Ухожу. Ты выздоровела, моя помощь тебе больше не нужна.

Зелингер подал ему плащ. Мейснер хотел что-то сказать, но не мог вспомнить что. Впрочем, это не имело значения. Надо было уходить. Уходить от всего этого.

Но путь к дому был долог, и на улицах он был не один. Многие здоровались с ним, многие здоровались почтительно. Он слышал их голоса, сознавал, что́ они говорят, и сознавал, что они лишают его свободы, что он никогда не сможет быть свободным и что во всяком случае уже слишком поздно.

10

Дневник Зелингера с 12 февраля по 7 марта 1794 года

12 февраля

В последние дни самочувствие мадам Кайзер заметно улучшилось. Сомнения, которые порой одолевали меня, когда я размышлял о лечебных методах Мейснера и о том, в какой мере вообще можно на него положиться, почти совсем исчезли: больная спокойно спит по ночам, судорог почти уже не бывает, а опухоль внизу живота заметно опала.

Процитирую записи, сделанные мною на позавчерашнем сеансе.

“После того, как пациентка была магнетизирована, опухоль, как и накануне, подверглась массажу. Пациентка вела себя при этом так же, как и прежде. Удивительно, что при резких нажатиях на уже подвергшийся такому грубому обхождению опухший живот лицо пациентки просто сияет от счастья, выражая глубокое наслаждение, и к тому же она восторженно восклицает: “Ах, как хорошо!”, “Жмите сильнее!”, “Ах, как приятно!” и прочее в таком духе. У Мейснера иногда по лицу градом катится пот, но когда от усталости он вынужден прервать массаж, лицо пациентки выражает неудовольствие. Однако никого другого она к себе не подпускает”.

Мейснер, без сомнения, очень умело применяет к разным пациентам разные приемы; мысленно я сравниваю то, как он лечил мою дочь, с тем, при чем присутствую ныне. Многосторонность и умение находить к каждому свой особенный подход, безусловно, составляют одну из характерных черт его неповторимого гения.

Когда массаж был закончен, женщина объявила, что плод теперь совсем уже распадается и скоро придет конец ее мукам.

Если ее предсказание оправдается и плод выйдет вместе с испражнениями, это несомнено станет сенсацией в истории медицинской на-

уки. Я с величайшим тщанием веду свои записи, чтобы впоследствии, если понадобится, представить их более широкой научной аудитории.

Рано утром я встретил Штайнера. Он спросил меня, известно ли мне что-нибудь о прошлой деятельности этого самого Мейснера. Я ответил, что нет, не известно. Тогда он посоветовал мне собрать о нем сведения.

Я тотчас написал письма кое-кому из друзей моих студенческих лет. Никаких усилий не жаль, чтобы помочь торжеству правого дела.

Ну, а если что не так — стало быть, я просто исполнил свой долг наблюдателя.

Позднее, перед началом сеанса Мейснер попросил меня выписать женщине слабительное. Я выписал один скрупул ялаппы и пять граммов каломели.

Удивительное дело — Мейснер лишен простейших сведений в области медицины. Впрочем, это лишь укрепляет мою уверенность: он обладает одним-единственным даром, и больше ничем. Но этот дар — *все.*

20 февраля

Пациентка Кайзер в последие дни давала советы и касательно лечения других больных. Мейснер привел кое-кого из своих пациентов и предоставил сомнамбуле в известной мере указывать ему, как их следует лечить.

Вчера я находился в комнате мадам Кайзер, когда к ней вдруг явилась живущая на Виктуалиенгассе вдова по имени Хофрай. Как ни странно, Мейснер на мгновение словно смутился. Но быстро овладел собой и пояснил мне, что предоставил сомнамбуле сказать, как ему следует лечить эту больную.

Эта женщина в течение десяти лет страдала мучительными болями в левой части гипохондрия, испытывая в болезненной области тяжесть, жжение и позывы, а также судороги. Симптомы эти зачастую сопровождались чувством страха.

Ее пользовали лекарствами, но без всякого толка. Я сам некоторое время был ее врачом и, если верить моим записям, прописывал ей сначала пилюли асафетида, потом алоэ, а когда это не помогло, бычью желчь.

В этот раз пациентка Хофрай выглядела куда хуже, чем в то время, когда я ее лечил. Плоть ее истаяла так, что платье висело на ней престранным образом. Сомнамбула, которая уже спала магнетическим сном и, стало быть, не могла видеть, кто вошел, объявила, что картина болезни для нее неясна оттого, что женщину слишком усердно лечили, но что ей прежде всего следует дать рвотное, а потом кварту парного козьего молока в смеси с каплями Гофмана и датского короля и настойкой бобровой струи — по тридцать капель каждого снадобья, если же все это не поможет, больная должна проглотить ложку чайного танина, смешанного с опилками случайно обгоревшего березового полена. После чего не принимать пищу до двух часов следующего дня.

В ответ на прямой вопрос Мейснера мадам Кайзер с особенной настойчивостью подчеркнула, что все это должно сочетаться с сеансами магнетизма, кои следует проводить два раза в неделю в течение двух месяцев.

Вдова Хофрай, растроганная этими предписаниями, громко разрыдалась, рассыпавшись в благодарностях. Банщик Педерсен поспешно вывел ее из комнаты.

Я всегда любил все несложное, все простое и односмысленное. Может, тому причиной собственная моя прямолинейность. И когда я сталкиваюсь, как теперь, с многосмысленными — на мой взгляд, многосмысленными — обстоятельствами, для меня, понятное дело, это тяжкое испытание.

К удивлению моему, несмотря ни на что, все это меня притягивает. И я усматриваю в этом опасность: я склоняюсь к притягательному сомнению, вместо того чтобы искать односмысленности.

Я уже упоминал, что в поисках опоры для своих суждений обратился к прошлому. Первый, на кого я наткнулся, роясь в моем небольшом книжном собрании, был граф Алессандро Калиостро. Его характеризовали как "человека, пользующегося дурной славой, мошенника и экзорциста". Упоминались его весьма странные манипуляции. Похоже, он еще жив.

Внимательней изучив жизненный путь этого необыкновенного человека, я попытался обнаружить сходство между ним и Мейснером, но сходство это невелико, и оно скорее характера общего. Меня возмущает, что Калиостро заклеймили "мошенником". Люди с легкостью выносят скорый приговор тем, кто ищет путей, не подвластных здравому смыслу.

В связи с этим мне вспомнился разговор, который произошел у меня с Мейснером. Я спросил его, считает ли он себя мистиком. Он ответил утвердительно. Тогда я назвал Экхарта.

При звуках этого имени Мейснер повел себя совершенно неожиданным образом. Он стал запальчиво бранить Экхарта, объявив его мистику просто более хитроумным способом утвердить здравый смысл. Тогда я спросил его, что же такое, по его мнению, настоящая мистика.

— Рычаг, подведенный под здание мира, — загадочно ответил он.

Я с волнением ожидаю ответа на свои письма.

22 февраля

Пациентка Кайзер сегодня заявила, что плод уже настолько измельчился, что кости завтра из нее выйдут. Только прежде мы должны дать ей слабительное — английскую соль.

Она сказала также, что после выхода плода у нее из груди начнет сочиться молоко и посему к соскам следует приставить стеклянные трубки, чтобы "отсасывать молоко и разжижать сгустки".

Восемь часов вечера — я заканчиваю свои заметки. Жена только что принесла мне в кабинет легкий ужин. Дочь тоже перестала играть. Возвращенное зрение расширило ее мир, у нее появились другие интересы, кроме музыки. Теперь она играет не больше двух часов в день.

Я уже приготовился ко сну. Нынче ночью я хочу поспать подольше, завтра утром может произойти много важных событий.

Штайнер зовет Мейснера артистом. Сравнение меня поразило, ведь я знаю, Штайнер чрезвычайно интересуется искусством и литературой. А методы Мейснера он называет животными и нечеловеческими.

Стало быть и Штайнера одолевают сомнения. Я рад это отметить, ведь он мой друг и я ценю его суждения.

Недели две тому назад я как-то спросил Мейснера, верит ли он. Сначала он меня не понял; я пояснил свою мысль, спросив его, верит ли он в Церковь.

Он поспешно ответил: “Нет!”

Я думал еще и о другом. Вот о чем: если бы Мейснер был католиком, вообще христианином в принятом широком смысле, кем бы он стал — святым или крупным религиозным деятелем? Но он применил свои силы на другом поприще. А рассуждение мое зиждется отчасти на том, что методы его очень близки христианским. Подобно великим церковным деятелям он неподвластен подкупу и шарлатанству.

Пишу, уже лежа в постели. Усталости я не чувствую, но понимаю, что должен поскорее уснуть. Пациентка Кайзер заявила, что завтра извергнет из себя кости плода. Если так и произойдет, сомнений не останется. Мейснер совершил революцию, и совершил ее здесь, в Зеефонде, и притом с моей помощью и при моей поддержке.

24 февраля

Я собрал свои вчерашние заметки, они не односмысленны. Изложу их вкратце.

Сначала мы обследовали стеклянные трубки, которые прикрепили к грудям пациентки. В них обнаружилась белая и довольно вязкая жидкость в совершенно незначительном количестве. Я охарактеризовал ее в своих записях как смешанную с молоком слюну. Это, само собой, не анализ, а сравнение. Соски женщины были сухие, и из них не удалось ничего выцедить, сколько мы с Мейснером ни старались. Когда это пытался сделать я, женщина впала в страшное раздражение, поэтому впоследствии по указанию Мейснера я держался поодаль, впрочем, на расстоянии не более трех метров.

После этого трубки были вымыты, насухо вытерты и привязаны вновь.

Прежде всего, конечно, женщина подверглась магнетизированию.

Позднее она рассказала, что ночью спала хорошо, но проснулась в шесть часов утра от озноба. Он продолжался целый час. Потом она почувствовала, что из заднего прохода у нее течет кровь, при этом ощутив, как в прямой кишке что-то копошится, сползая вниз. “Это выходят мягкие части плода”, — заявила она.

Следует отметить, что за последние двенадцать месяцев у нее ни разу не было месячных очищений.

Теперь мы решили осмотреть ее более тщательно. Мы все склонились над ней. Мейснер стал разматывать повязку, которой ее опоясывали в последние дни. Он размотал только верхние слои, но мы уже увидели, что повязка вся в крови. Я заметил, как напряглось лицо Мейснера, его движения становились все нетерпеливее.

Наконец он извлек последний, внутренний слой повязки и поднес его к свету.

На повязке была кровь, хотя и немного. Но среди пятен крови лежал красный комок в слизистой оболочке. Предмет этот был примерно в дюйм толщиной и полдюйма длиной. Мейснер осторожно ковырнул

его. Оболочка прорвалась, и мы увидели мясистую сердцевину. Мейснер бросил на нас торжествующий взгляд.

— Это ребенок, — многозначительно произнес он. — Как она и сказала, это частица его мягких частей.

Мы уставились на темно-красный сгусток плоти, лежавший среди пятен крови, которая вытекла из внутренних органов женщины. Казалось, нам подали знак из другого мира. В моих записях об этой минуте стоит только одно слово: "предмет".

Очевидно, в них выразились моя неуверенность и замешательство.

Я стряхнул с себя оцепенение.

— Надо осмотреть пациентку, — предложил я.

Бросив взгляд на меня, потом на других присутствовавших, Мейснер пожал плечами.

— Разрешаю доктору Зелингеру осмотреть пациентку, — заявил он.

Мне почудилась в его тоне нотка высокомерия. Впрочем, возможно, я ошибаюсь.

В заднем проходе я увидел немного крови. Она была разбрызгана вокруг ануса и чуть ниже по ноге. Но во влагалище и вокруг него (лобок был выбрит) я не обнаружил ничего, никаких следов крови.

Тогда я тщательней обследовал задний проход. И, к своему удивлению, обнаружил, что прямая кишка немного раздражена и слегка посинела. И справа, с краю едва заметна трещинка, откуда могла просочиться кровь. Это последнее соображение я внес в свои записи, впрочем, настаивать на этом объяснении я теперь не решаюсь.

Трещинка там была, сомнений нет. Какая-то часть крови могла появиться оттуда, но не вся. К тому же эта трещинка не имела никакой связи с комочком плоти, вышедшим из живота женщины.

Я отошел от больной.

— Контролер закончил свою работу? — жестко спросил Мейснер, поглядев на меня в упор.

— Закончил, — ответил я.

25 февраля

Сегодня хорошая погода. Мы с дочерью вышли погулять и спустились к пристани. Наш маленький каменный причал мы, горожане, называем пристанью, потому что к нему иногда пристают лодки. Стало быть, мы лжем, но эта ложь призвана просто подбодрить, преувеличить, она никому не причиняет вреда. Маленькая невинная ложь, которую приятно иметь про запас, когда ты пал духом.

Теперь я часто размышляю о том, в чем назначение лжи и в чем ее оправдание. Думаю, на эти мысли меня натолкнули упорные обвинения Штайнера. Насчет пристани можно продолжать лгать. Ничего дурного от этого не произойдет. Хуже, когда ложь одновременно разрушает и созидает.

Скоро к нам придет весна. Завтра моей дочери исполнится двадцать один год. По этому случаю мы устроим небольшой праздник. Мы пригласили Штайнера, он обещал прийти. Он в первый раз увидит Марию после того, как к ней вернулось зрение. А она вообще никогда его прежде не видела.

Мы со Штайнером все чаще беседуем друг с другом. Позавчера у нас был долгий разговор у него дома. Он утверждает, что слишком погружен в

свое ремесло, слишком на нем сосредоточен, чтобы возвыситься над самим собой. И тут он произнес имя Мейснера.

— Мейснер всегда твердит о своем флюиде, — заметил я.

— Это всего лишь название, — ответил Штайнер. — Он говорит одно, а цель у него совсем другая. Он хочет вызвать у нас восторг, самозабвение.

— И к чему приводит этот восторг, это самозабвение? — спросил я.

— К созданию произведения искусства. К экстазу. К преступлению.

Объем живота пациентки Кайзер уменьшился до тридцати шести дюймов. Я сам измерял его. Цифра совершенно точная, возможны разве что незначительные отклонения, в зависимости от того, в каком месте измерять живот.

26 февраля

Когда мы пришли, пациентка сидела в кровати и улыбнулась нам. Мейснер сразу же приступил к делу и погрузил ее в сон, даже предварительно не осмотрев.

После этого он попросил ее рассказать, что за это время произошло с плодом.

И вот что она рассказала.

Большая часть плода уже раздроблена, осталось раздробить его отдельные самые крупные части. В первый день лечения (она, вероятно, имела в виду массаж) плод почти целиком отделился от того места, к которому был прикреплен, и околоплодная сумка порвалась. На второй день отделилась голова; также в течение первой недели отделилась грудная клетка и нижняя часть тела до колен. Вчера раздробилась голова, и часть ее материи по одной из жил стекла в мочевой пузырь, а часть попала в кишечник через дыру, которая образовалась, когда рука ребенка во время лечения оторвалась и кусочек кости прорвал кишку. Средство, очищающее кровь, которое она все это время принимала, оказало очень сильное и благотворное действие и ускорило распад трупа.

Она объявила также, что плоть младенца уже почти совсем отделилась от костей; возможно, она употребила выражение “сползла с костей”. Она недвусмысленно требовала, чтобы ее продолжали магнетизировать и массировать и чтобы все это проделывал только Мейснер.

Я слушал этот рассказ, потеряв дар речи. Потом попросил Мейснера узнать у больной, не вышли ли из нее еще новые частицы плода.

Он спросил.

И тут я увидел на лице спящей победоносное выражение. Ночью она почувствовала мучительные позывы в нижней части кишечника и попросила мужа снять с нее повязку. (Она могла бы сделать это сама, но уверяет, что попросила об этом мужа.) И муж извлек у нее из заднего прохода комок плоти, который она теперь держала в руке вместе с двумя маленькими округлой формы костями.

Мы рассмотрели кости. Это были кости — сомнений нет. Рассмотрели комок плоти — небольшой, продолговатый, напоминавший железу.

Мы постояли молча, глядя на лежащую женщину. Выражение ее лица как всегда было умиротворенным и замкнутым, красивой ее назвать было нельзя, но не была она и уродливой.

Боюсь, я исполнил свой долг контролера поверхностно и недобросовестно. Я ограничился тем, что издали смотрел на пациентку и поверил на слово сведениям о ней, полученным от других.

А ведь по сути я о ней ничего не знаю.

И все же я должен до конца исполнить обязанности, которые сам на себя взвалил. Одна ошибка не дает мне права снова впасть в апатию.

Мы подняли больную с кровати и усадили на горшок. Мы поддерживали ее с двух сторон, и она стала усердно тужиться.

Посадить ее на горшок предложила она сама. Ее испражнения были такими же зловонными, как и моча. Банщик Педерсен стоял у двери и, когда Мейснер отвернулся, скорчил гримасу.

Я прикинулся, что ничего не замечаю.

Потом мы исследовали ее кал.

Из кончика верхней колбаски торчала косточка, сохранявшая свой белый, а может быть, сероватый цвет, треугольной формы, шириной в полдюйма. Задержав дыхание, я взял кость кончиками пальцев — другого инструмента у меня не было — и завернул в носовой платок. Женщина сидела на кровати, продолжая дремать и все так же улыбаясь в пустоту. Мейснер слегка поддерживал ее сбоку.

27 февраля

Я понес кусочки костей Штайнеру. Мы тщательно исследовали их. Штайнер усомнился в том, что это детские кости. Его сомнения передались и мне.

А сегодня в первой половине дня произошло следующее.

Не успели мы прийти в дом пациентки, как она, *еще до магнетизирования*, показала нам две косточки, которые, по ее словам, вышли из нее с испражнениями. Обе были длинные, одна трех дюймов, закругленная на конце, другая короче, но зато немного толще. Мейснер несколько секунд молча их разглядывал. Потом небрежно сунул в карман. Я тут же потребовал, чтобы кости были отданы мне как официальному контролеру.

Он молча выполнил мое требование.

Я тотчас отправился к Штайнеру. Мы оба единодушны в своем мнении: кости не могут принадлежать человеческому существу. Штайнер думает, что это кости цыпленка. Я пока ограничусь предположением, что это птичьи кости.

Я чрезвычайно расстроен и подавлен.

3 марта

Вдобавок я получил вчера три письма. Для вящей убедительности привожу выдержки из каждого.

Первое пришло от швейцарского врача доктора Амштайна, который практикует теперь на водах в Пфеферсе. Он встречался с Мейснером десять лет тому назад. Чтобы дать представление о тоне его письма, приведу такой отрывок:

“Над крутыми его скулами горели глаза, явственно говорившие о том, что человек этот наделен хитростью, ловкостью и двоедушием. Вообще, по-моему, весь его облик весьма подходит человеку, решившемуся основать антирационалистическую секту на божественном поприще Эскулапа и сделаться ее главарем.

Сюда, в Пфеферс, явился он, по его словам, чтобы испытать силу вод и вылечиться. Не могу не усомниться в том, кто берется исцелять других, но не может исцелить самого себя.

За табльдотом, за которым сидели мы в обществе Его светлости великого князя и некоторых других гостей, приехавших на воды, он держался настороженно, говорил редко и, казалось, занят только наблюдением. Я заметил, что его внимание среди присутствовавших привлекли три или четыре особы — как видно, он решил, что они подходят для магнетизирования.

Впрочем, он так быстро покинул наши края, что никто не успел составить о нем определенного мнения. Я, однако, не питаю большого доверия к этому Мейснеру".

Второе письмо пришло от доктора Вохера, обосновавшегося ныне в Хайдельберге. Оно кончалось такими строками:

"В пору нашего пребывания в Нюрнберге я все больше привязывался к этому человеку. Конечно, происшедшие тогда события истерзали его, но держался он великолепно, не изменив ни своей скромности, ни общей своей повадке. Я считаю его великим человеком и притом человеком прямодушным".

Третье письмо пришло от моего брата, живущего в Париже. Оно было коротким.

"Здесь никто не слыхал о человеке по имени Фридрих Мейснер. Но зато в последние десять лет здесь появилось много таких, кто пытается лечить с помощью животного магнетизма. Самый большой успех стяжал пресловутый Калиостро, но более всех, несомненно, известен Ф. А. Месмер. Последний покинул Париж еще в 1784 году, и с тех пор никто о нем ничего не слышал".

Эти письма, конечно, не могут помочь разобраться в деле. И я усматриваю в этом определенный знак. Нельзя руководиться чужим мнением. Я почитаю своим долгом, несмотря на скудость моих умственных способностей, составить собственное суждение об этом человеке и об его деятельности. А составив это суждение, я должен действовать, просто, решительно и прямо, думая о всеобщей пользе, а не о собственной репутации.

Многие сочтут мои выводы наивными и само собой разумеющимися, а может, наоборот, просто глупыми. Я же смотрю на дело иначе. Другие следуют более сложным этическим нормам. Для меня же существует только одна норма, о которой я сказал выше. Ей я и буду следовать.

Отныне мне придется быть очень осторожным, очень спокойным и очень внимательным. Я знаю, что Штайнер меня поддерживает.

4 марта

Когда мы пришли к пациентке, стула у нее еще не было, однако она заявила, что ей вот-вот понадобится справить нужду. Эта потребность справлять нужду в строго определенное время кажется мне подозрительной.

Мы с банщиком Педерсеном подняли ее с кровати и усадили на горшок. Она двигается то очень легко, то с большим трудом, и, похоже, эти

перемены также зависят от неких потусторонних сил. Однако испражнение — незыблемая точка в ее существовании.

Горшок я перед этим осмотрел и нашел, что в общем его можно считать чистым.

Пациентка сидела на горшке, не нуждаясь в том, чтобы мы ее поддерживали. Некоторое время она тужилась, а потом завела за спину руку, в которой держала бумажку, и сунула ее в горшок. "Чтобы подтереться", — объяснила она в ответ на мой вопрос.

После чего она встала.

На дне судна лежали экскременты, а рядом крохотный, но почти правильной четырехугольной формы обломок кости.

Вслед за тем она снова прописала себе красного вина, смешанного с песком. Я спросил у банщика Педерсена, который присматривает за ней днем, когда мужа нет дома, впрямь ли она пьет этот песок. Он ответил, что не знает.

Наши с Мейснером отношения стали теперь весьма натянутыми.

Я решил проделать опыт и попросил жену несколько раз провести рукой над моим лицом, держа руку на таком расстоянии, как это делает Мейснер. При этом глаза у меня были закрыты. Я почувствовал легкое веяние воздуха или, во всяком случае, смутно ощутил, что надо мной что-то движется.

Стало быть, тот, у кого закрыты глаза, кто притворяется, будто спит, может почувствовать движения, которые Мейснер делает, чтобы разбудить пациента.

Я поделился своими наблюдениями с женой. Она спросила меня, неужто я думаю, что наша дочь хотела обмануть нас подобным образом. "Конечно нет", — ответил я.

Но каждый случай надо рассматривать по отдельности. Исцеление нашей дочери не имеет ничего общего с теперешней историей.

Обманщик должен быть судим, даже если когда-то он совершил хороший поступок. Тиран, который строит дороги, все равно остается тираном.

После полудня я, как всегда, отправился к мадам Кайзер. Мейснер уже был там. И как раз начал ее магнетизировать.

Банщик — по моему прямому, но тайному приказанию — провел у нее все утро. Он сообщил мне, что никаких костей ни из заднего прохода, ни из других мест у пациентки не выходило. Но она пребывала в хорошем расположении духа и даже полчаса бродила по дому.

Стало быть, никаких частей плода из нее не выходило.

Теперь мадам Кайзер спокойно лежала и спала. Я сел на стул в изножье кровати и все время внимательно наблюдал за пациенткой. Тут Мейснер обратился к ней. Услышав его голос, она задвигала руками под одеялом, сделав левой такое движение, словно сунула ее между ног. В последние дни повязки там не было. При этом женщина заговорила — жаловалась на боли и спазмы в заднем проходе.

Я тотчас заявил, что мне необходимо осмотреть ее до того, как прямая кишка опорожнится. Не успел я это сказать, как заметил, что женщина снова сделала какое-то движение, словно хотела убрать то, что, возможно, сунула между ног.

Осмотр ничего не дал, прямая кишка была припухшей и синеватой у ануса, но никаких следов крови видно не было.

Я заметил, что рука пациентки сжата в кулак.

— Дайте мне руку, — сказал я. — И обопритесь на меня.

Тогда она снова сделала быстрое движение, словно стараясь спрятать от меня руку, но я заметил, куда она ее спрятала — под перину.

Мы подвели женщину к горшку. Ее испражнения пахли как прежде.

Но пока она сидела на горшке, я обыскал ее кровать в том месте под периной, куда, как мне показалось, она сунула руку. Делая вид, что хочу оправить кровать, я осторожно ощупал это место пальцами.

И там обнаружил ее — острую кость, почти два дюйма длиной, с одного конца закругленную. Такую кость вполне можно было засунуть в задний проход, не поранив кишки.

Все это время пациентка усердно тужилась на горшке. Ей казалось, из нее выходит что-то живое и извивающееся, но при этом она полагала, что крупных частей плода сегодня не выйдет. Я был склонен думать, что в этом отношении она права.

Мы снова подвели ее к кровати. Испражнения были светло-коричневого цвета, в форме тонких колбасок — ничего кроме запаха и экскрементов в горшке не было.

Как только женщина оказалась в кровати, руки ее потихоньку, как бы ненароком, скользнули под перину, словно она желала разгладить простыню. Я мог бы сказать ей, что поиски ее напрасны, но не вымолвил ни слова.

А она становилась все беспокойнее. Полежав в постели некоторое время, она заявила, что на сегодня сеанс пора завершить.

Мейснер ее разбудил. Она, как всегда, протерла глаза и, как всегда, стала растерянно озираться вокруг.

Мне хотелось дать ей пощечину.

Потом она стала жаловаться, что ей плохо постелили постель, и предложила нам выйти из комнаты, чтобы мы “не запылились, когда будут встряхивать перину”.

Я все понял. Я знал: шулерство вскрылось, и с той минуты, как она обнаружит исчезновение кости, нам придется играть в открытую. Я бросил на женщину долгий взгляд, потому что понимал: такой, как теперь, я больше ее не увижу.

— Завтра, — сказал я Мейснеру в прихожей, — следует тщательно осмотреть ее анус до того, как она испражнится. Надо ввести палец поглубже в прямую кишку, чтобы проверить, не застряли ли там осколки кости, маленькие острые осколки, которые ловко введены туда поближе к стенкам кишок. Надо также обследовать влагалище пациентки.

— Все это должно быть обследовано тщательным образом, — заявил я Мейснеру.

Потом поклонился ему и банщику Педерсену. И ушел.

Мейснер выскочил следом за мной и нагнал меня на мосту.

Он был в ярости и набросился на меня с неистовой бранью.

— Что вы имели в виду? — кричал он. — Какие у вас основания для подобных обвинений?

Тогда я поднес к его глазам кость. Он взял ее в руку и тщательно рассмотрел. Я внимательно следил за его лицом, пытаясь прочесть его

мысли. Мне показалось, что он смутился, потом задумался. Я рассказал ему, где обнаружил кость.

— Это ничего не значит, — тихо сказал он. — Наверняка женщина сможет это объяснить. Я с ней поговорю.

Он вошел в дом и через пять минут вернулся. Он держался с прежней самоуверенностью. Он и в самом деле получил объяснения.

Я выслушал их со все возрастающим раздражением.

Мое участие в лечении мадам Кайзер закончено. Я уже составил о ней определенное мнение. Вопрос в том, что мне делать с моим знанием.

Все перестало быть прямым, простым, легким. В наш город явились обман и шарлатанство. Я оказался втянут в обман, и он безусловно вернул зрение моей дочери. Она в своей невинности к этому обману непричастна.

Мейснер собирается продолжать лечение мадам Кайзер. История ее болезни стала теперь широко известна, а через нее и сам Мейснер. Все об этом говорят, все обсуждают невероятную способность женщины заглядывать в свое нутро, измельчать внутри себя ребенка и исторгать его из себя.

Я уже больше месяца не хожу на публичные представления Мейснера. Говорят, что пациенты осаждают его приемную. Этой зимой по нашему городу пронеслась лихорадка, буря, накатил девятый вал — все околдованы, очарованы, охвачены религиозным экстазом.

А я стою на узком выступе скалы посреди разбушевавшейся стихии и знаю, что могу остановить ее. Но не знаю, вправе ли я. Ведь тогда я разрушу единственную надежду многих несчастных, лишу их единственной отрады.

Мейснер прислал мне письмо. Письмо с изложением того, что объяснила женщина. В письменном виде это выглядит еще менее убедительным.

Штайнер вот уже час сидит у меня в кабинете. Он уговаривал меня открыто все рассказать. Потом пришла моя дочь, села рядом, долго говорила со мной о Мейснере.

Меня приводят в смятение эти разноречивые голоса. Меня приводит в смятение этот шарлатан, который способен сотворить чудо и который в силах довести целый город до необыкновенного, неслыханного экстаза и самозабвения.

Штайнер уже виделся с моей дочерью. Придя в первый раз, он был очень бледен и неловко поздоровался с ней. Она дружески ему улыбнулась и весело заговорила о всякой всячине. Я заранее предупредил ее о том, что на лице у Штайнера несколько оспин.

Мало-помалу он расслабился.

Теперь они сидят внизу в гостиной. Мария снова играет. Он обещал послушать ее в течение часа, мне самому не удается слушать так придирчиво, как того хотелось бы моей дочери. Ей хотелось бы, чтобы я указывал ей на все погрешности, на все ошибки в технике и в темпе.

Я слишком устал, чтобы справиться с этой задачей.

Прошло уже десять часов с тех пор, как я расстался с Мейснером. А я все еще не знаю, что мне делать. Он собирается продолжать. Собирается по-прежнему лечить эту женщину. Собирается лечить других. При

желании я могу устраниться, предоставив им использовать свою веру в него (пока эта вера не иссякла), а потом отшвырнуть Мейснера как выжатый лимон. Это наиболее легкий путь. Но я могу избрать другой.

Мне недостает бунтарского духа. Я не отличаюсь большим умом, а мои достоинства мало кому заметны. Слишком тяжелый груз лег на мои плечи.

Мое восхищение Мейснером еще не угасло.

11

Вся комната была заставлена стульями, и все равно их не хватало. Люди сидели на стульях, теснились вдоль стен, устраивались в проходах между рядами, мешая другу другу, стояли в темноте и неотрывно глядели в середину комнаты, где помещался чан, а сдвинутые стулья образовали тесный круг, почти вплотную подступавший к столу, на который чан был водружен. Они смотрели на цепь, идущую от сосуда со стеклянным шаром, в котором была заключена сила, смотрели, как шар передают из рук в руки те, кто сидит в первом ряду, кто заплатил больше и потому оказался ближе к чуду, те, кто был болен или считал себя больным, но так или иначе знал, что может заплатить: прямо в карман золотыми монетами или косвенно, рассказав о магнетизере в нужную минуту нужным людям. Комната была набита битком, жара окутывала собравшихся влажными испарениями, и перед ними стоял он, Мейснер, чудотворец, почитаемый святым, тот, кто каждого избавит от его мук, от его проклятия. Они не сводили с него глаз, они несли к нему свои страдания; тут были те, кого били нервные судороги, и те, кто страдал падучей и во время приступа тщетно грыз жесткую хлебную корку и окунал руки в тминную воду; те, кто зимой впадал в хандру и без конца рассказывал всем и каждому, что страдает запорами и десны у него зудят; и теперь всех их подхватил мощный поток, и они сидели здесь, оглушенные, почти лишившись сознания от счастья, что все это могло случиться в *их* городе; они сидели здесь, ничего не слыша, потому что хотели услышать, или наоборот, потому что не хотели, или просто потому, что страдали воспалениями особого свойства, а глухота была небольшой платой, которую им пришлось заплатить за удовольствие. Все они сидели и мечтали, что он возьмется за их судороги, колотье в груди и боли в животе, объявит эти хвори единственными в своем роде, но скажет, что у него есть против них лекарство. И они дышали дыханием друг друга, задувая друг в друге здравый смысл, и, чувствуя, как комната полнится мечтою, жаждой и ловко возведенными воздушными замками, становились все дерзновеннее и шли все дальше в своих желаниях, ведь он был здесь, он был всамделишный, он, со своими теперь уже прославленными и воспетыми скулами, и он говорил с ними, и стояла тишина, и они медленно дышали, охваченные священным хмелем, зная, что этот хмель скоро доведет их до экстаза, унесет прочь, мимо и сквозь, а Он все будет стоять здесь со своим стеклянным жезлом, спокойный и похожий на священника, целиком принадлежащий *им*, созданный ими, созданный благодаря им, принадлежащий им и только им, их раб, их слуга, их повелитель.

Он говорил им о том, что с ними произойдет. Он подарит им чудо, будущее и счастье, если только они поверят в него. “Верьте в меня и в Силу”, — говорил он.

И он представил им образец такой веры, и все задышали чаще — ведь этого они не ждали.

Он взмахнул рукой, и из соседней комнаты появилась женщина. Ее фамилия была Кайзер, все это знали и знали о ней всё. Но то, что она здесь появилась, всех потрясло, и сидевшие в зале торопливо зашептались друг с другом, пожирая ее глазами: она уже прошла через чудо, с ней уже все произошло.

Мейснер поднял руку, воцарилась тишина.

— Эту женщину, — сказал он медленно, но очень внятно, — я лечил. Она — свидетель, она доказательство того, сколь успешны мои методы.

Женщина шагнула ближе к светлому кругу посреди комнаты. Она была темноволосая, и все помнили, какая она была, распухшая, ну просто бочка; а теперь перед ними стояла стройная молодая женщина, и глаза ее горели торжеством. Она словно притягивала к себе их взгляды и улыбалась открыто и победоносно, она ловила этот миг — миг своего триумфа.

— Я пришла свидетельствовать о том, что случилось, — сказала она.

И она начала рассказывать. Рассказала о том, как у нее появились боли в животе и стала расти опухоль и она решила, что беременна, хотя не могла взять в толк, как это случилось, — ведь она уже давно не имела сношений с мужем, он стар и не пригоден к сожительству; при этих словах среди собравшихся возникло оживление, а возле двери кто-то приглушенно хихикнул.

Она рассказала о Мейснере — как она ощущала его силу, каким даром он обладает, как он магнетизировал ее и она смогла заглянуть внутрь себя и увидеть то, чего не могли вообразить даже мудрецы, ищущие философский камень; все это она им рассказала.

Она рассказала о плоде, который умер в складках брыжейки; и на лице ее при этом застыло торжествующее выражение безоглядной самоуверенности и даже упрямства. Они глядели на ее лицо и сами себя не узнавали.

Под конец она рассказала о том, как она выздоровела, как с помощью Мейснера исторгла плод из своего тела (Мейснер, это всем известно, уже вылечил от слепоты девушку, дочь городского врача, который сам признал, что не мог добиться ничего подобного) и как этот самый Мейснер исцелил ее — ни одному лекарю в мире это было бы не под силу.

Она закончила; все сидели молча, словно разочарованные тем, что настал конец, а может, они ждали того, что сейчас произойдет, — завершения исцеления, кульминации.

Мейснер подошел к ним ближе. Оглядел битком набитый зал. Лицо его было замкнуто и серьезно.

— Через посредство этой женщины, — сказал он, — все причастятся целительной силы. Телесный флюид, который застыл в покое и вызвал болезнь, теперь придет в движение.

Он протянул к ним поднятые руки; собравшиеся сидели не шевелясь и смотрели на него.

— Покой — это смерть, движение — жизнь, — сказал он тихо.

Они смотрели на него, все эти обитатели городка, измученные жены и недовольные девицы, недалекие бюргеры и неудачливые коммерсанты, и они знали — он прав.

В их телах есть флюид, который застыл и омертвел.

Они уже сами мертвы. Они смотрели на него и знали — только он может помочь им, живущим в этом заново отстроенном, чистеньком, процветающем городе.

— Не все могут дотянуться до цепи, — сказал он. — Но каждый может дотянуться до соседа. Положите руки на плечи друг другу — я хочу, чтобы вы стали похожи на спицы в колесе. А ступица — эта женщина и та сила, что она получает от меня. Магнетический ток идет через нее, через вас, через ваш застывший флюид.

Зал зашевелился. Люди клали руки на плечи сидящих впереди, ощупывали друг друга в темноте и смотрели на тех двоих, что стояли перед ними: на темноволосую стройную женщину и на него, чудодея.

Поодаль, у двери стоял Зелингер. Обратившись к женщине, которая стояла рядом, он спросил:

— И так происходит всегда?

Она обратила к нему лицо, сиявшее восторгом и счастьем.

— Да, — прошептала она. — Будь благословен этот вечер!

А потом снова зазвучал голос Мейснера, негромкий, убеждающий, — они уже не слышали, что он говорит, они поддались убеждению, которое было в его словах, они не могли ему противиться, они косились друг на друга — на тех, кто сидел с закрытыми глазами, на тех, кого сотрясала медленная дрожь и кто уже оседал на стуле, на тех, кто бормотал что-то бессмысленное, и на тех, кто просто сидел и ждал. Были и такие, в ком все это вызывало сопротивление, но они ощущали его как помеху, как нечто несообразное, неприличное, постыдное, чего нельзя обнаружить перед другими, и они скрывали его и были такими же, как все остальные: открытыми, покорными.

Мейснер ходил между ними, держа в руках свой стеклянный жезл, наклонялся, проводил им над их лицами. Они уже не видели магнетизера. Он был отправной точкой, опорой, в которой больше не было нужды, потому что освободившиеся тела уже находились в свободном падении и никто не мог их остановить.

Зелингер тяжело дышал. Он посмотрел на Мейснера, подошел к нему, схватил за локоть.

— Мне надо с вами поговорить, — тихо сказал он.

Мейснер поднял глаза, по его лицу скользнула тень раздражения. Но он кивнул.

— Пойдемте, — сказал он.

Они вышли в комнату, предназначенную для особо тяжелых больных, — в ту минуту, когда они переступали порог, в памяти Зелингера вдруг всплыло ее название: salle de crises, комната кризисов, и он тяжело перевел дух.

Они закрыли за собой дверь. Бормотанье пациентов умолкло точно по волшебству.

Комната была ярко освещена. Они стояли близко друг к другу, и Зелингер заметил, что Мейснер навеселе. Лицо утратило резкость очертаний, острый взгляд стал рассеянным — никогда прежде не видел Зелингер у Мейснера такого взгляда.

— Как вы можете, — запальчиво начал Зелингер, — как вы можете использовать ее таким образом? Мы оба знаем, что она лгунья.

— Знаем? — спросил Мейснер.

— Да, — сказал Зелингер. — Знаем. Можно даже предположить, что вы и сами — обманщик, что вы вдохновили, подтолкнули, соблазнили ее на эту ложь. А теперь она стала предметом всеобщего восхищения и наслаждается этим. Вот почему вы не должны были ее использовать.

— Вы в этом уверены? — жестко спросил Мейснер.

— Да. Наконец-то уверен.

— И, само собой, вы ни разу не задумались о тех, кто сидит там, в соседней зале?

— О тех, кто сидит там?

— Об их болезнях. Об их хилой вере. Об их мертвом мире. О том, какой громадный запас доверия нужен, чтобы проводить такое лечение. О том, сколько людей могут стать счастливыми от того, что с виду легко принять за обман.

Теперь они стояли почти вплотную друг к другу. Зелингер чувствовал прерывистое дыхание Мейснера, пропитанное перегаром, яростное, отчаянное. "Никакой он не сверхчеловек, — подумал Зелингер,— ничего похожего". Но тут же увидел злобные глаза, решимость, силу.

— Вы намерены их предать, — процедил Мейснер.

— Истинное преображение никогда не может строиться на лжи, — сказал Зелингер, в упор глядя в разъяренное лицо. — Есть простые и незыблемые истины: у лжи короткие ноги. Доверие, построенное на обмане, — иллюзия, и она рухнет.

Мгновение Мейснер стоял молча с выражением отчаяния на лице. Наконец он открыл рот, заговорил:

— В этом-то и кроется ошибка! Именно в этом вы заблуждаетесь.

— Я не заблуждаюсь.

— Сейчас я покажу вам, насколько вы заблуждаетесь.

Зелингер увидел замахнувшуюся руку, увидел, как она приближается к нему, почувствовал внезапную острую боль, почувствовал, как его голова откинулась назад, и все кончилось: опустился мрак, тишина, покой.

Мейснер хладнокровно перешагнул через неподвижное тело, подошел к лампе, задул ее. Потом подошел к двери, открыл ее.

Он знал, что вернулся вовремя, что они еще в его власти, что он еще может подчинить их себе, и он вышел к ним, они снова увидели его, и он повел их дальше, вперед, и скоро все будет кончено.

Зелингер был весь в крови и чувствовал это, но ему было все равно, как будто боль не могла причинить ему страдания. Мучило его другое — теперь он уверился, он знал: все кончено, он должен наконец выйти вперед и сказать то, что необходимо сказать; знал, что это ему предстоит проткнуть иглой мыльный пузырь, положить конец всему. Они почитали меня, медленно и вяло думал он и, сидя на полу, ощущал, как темная комната медленно плывет по кругу. Они почитали меня, потому что я был его помощником, а теперь всему конец. Эта женщина, думал он, это чудесное исцеление. И тут же вспомнил о своей дочери, и тогда боль вдруг стала нарастать, и он, корчась, застонал, не в силах найти точку опоры; Мейснер вернул ей зрение, а теперь... Но он знал — это просто увертка, потому что уже твердо решил: я должен.

Он встал и шатаясь побрел к двери, но еще прежде, чем ее открыть, он знал, что он увидит: доверчивых, послушных, безвольных людей, тех, кто принял Мейснера за то, что было плодом их собственного воображения, и он знал, что должен это сказать.

Он открыл дверь и качнулся в полосу света. Кто-то вскрикнул, громко, пронзительно; потом воцарилась тишина. А он стоял в полосе света у чана, окровавленный, избитый, побежденный, послушный и вероломный контролер, и смотрел на них, и видел, что они именно такие, как он ожидал.

Он вынул руку из кармана штанов и поднял ее вверх, и все смогли увидеть кость в три дюйма длиной, похожую на куриную кость, а может, на кость какой-то другой птицы.

— Это птичья кость, — заговорил Зелингер в наступившей мертвой тишине. — Я начну с этой кости, а потом расскажу и обо всем остальном. Вы должны выслушать меня, это длинная история.

Краем глаза он видел Мейснера — тот стоял неподвижно, безмолвно, всего в трех метрах от него. Зелингер ждал, что Мейснер его прервет, но этого не случилось. Мейснер все время стоял на одном месте (впоследствии это больше всего поразило Зелингера), все время стоял безмолвно, закрыв глаза, словно молясь или отсекая от себя то, что должно быть отсечено, все время стоял на месте, и его крутые побелевшие скулы были похожи на птичьи крылья, распростертые над сидящими в зале, словно он ждал их слова, ждал приговора, показывая всем своим видом, что готов.

Зелингер рассказал, рассказал все. И все время держал в левой руке птичью кость, и стояла тишина, и он не отпускал их, пока не кончил. Тогда он снова сунул кость в карман и тяжело рухнул на стул.

И тишина стала такой, как бывает перед обвалом; и они сидели и ждали, чтобы тишину прорвало и лавина сорвалась, и накрыла их, и погребла под собой всех и вся.

12

Дневник Зелингера с 20 марта по 5 апреля 1794 года

20 марта

Некоторое время я не мог писать. Слишком много событий, я подавлен. Штайнер предписал мне несколько дней оставаться в постели.

Мейснера заключили в тюрьму. Не знаю, как он там сейчас. Ходит множество слухов; бесспорно одно — он жив.

Говорят, меня считают героем, рыцарем, который убил дракона, долго отравлявшего своим ядом наш город. Такие разговоры, такие мнения мне претят: на мой теперешний взгляд, я убил одно — надежду, доверие.

Но я должен рассказать о том, что случилось после разоблачения. Эти события так удручают меня, что я должен вникнуть в них, описать их и, подвергнув анализу, уничтожить. Впрочем, может, кто-нибудь извлечет из них урок.

После того как я разоблачил "исцеление" мадам Кайзер, многие, очевидно, решили стать подручниками в моем палаческом деле. Женщина по имени Хелена Штессер на другое утро обвинила Мейснера в том, что он ее гнусным образом совратил, а она не посмела сообщить об этом раньше, потому что боялась его сверхъестественной силы.

Я очень удивился, услышав обвинение в совращении. Не в моих жизненных правилах доверять такого рода запоздалым разоблачениям. Впрочем, пусть решает суд.

Потому что будет судебный процесс.

Несколько дней Мария была совершенно убита. Но теперь оправилась. К счастью, зрение ее не пострадало от этой удручающей истории.

Мы говорили с ней о многом.

Уже допросили многих людей. Многие, в особенности мужчины, без сомнения втайне ненавидели Мейснера. Между прочим, пациентками его чаще всего были женщины.

Теперь — после всех этих отступлений — я должен наконец подробно изложить, чем кончилось то собрание, как завершился тот удручающий день, которому лучше бы и не начинаться.

Я думал тогда, что после моего выступления начнутся споры, сшибутся мнения и мое предательское вмешательство будет пылко осуждено. Я ведь видел, как они захвачены, как он повелевает ими, как слепо и до конца они верят ему. Я не думал, что этот вал разобьется, отхлынет и что это случится так скоро.

Вид у меня, наверно, был очень глупый, во всяком случае, на моем лице наверняка отразилась растерянность.

Все еще сидя на стуле, я услышал сначала яростный рев, потом взволнованные выкрики, а потом обрушившуюся лавину слов и восклицаний. Я бросил взгляд на Мейснера, но он стоял совершенно невозмутимо и задумчиво смотрел на них. Тогда я подумал было, что эта лавина прежде всего накроет меня. На какой-то короткий миг я даже почувствовал облегчение, удовлетворение: я сказал то, что должен был сказать, но мое второе "я" радовалось тому, что они меня не поддержали, что они сочли мои слова ложью и хотят покарать меня за эту ложь.

Но вскоре я понял, что́ сейчас произойдет и как я ошибся. Какая-то незнакомая мне женщина кинулась к Мейснеру, который все это время неподвижно стоял с невозмутимым лицом, вцепилась ему в шею, точно вампир, намеревающийся высосать из него кровь, и с громкими воплями укусила его в плечо. Мейснер пошатнулся, но все-таки устоял на ногах. Я обернулся и увидел остальных. Они все повскакали с мест, и я увидел их лица — озлобленные, оскорбленные, обманутые, разочарованные, обокраденные, лишившиеся того, что принадлежало не им, а ему, ведь именно он дал им это; крича, бранясь, все более распаляясь и алкая мщения, двинулись они на него.

На меня никто не обращал внимания, я был всего лишь орудием, и теперь меня отбросили и забыли, теперь они видели только Мейснера. Не знаю, что именно видели они в нем в эту минуту, я много раздумывал над этим вопросом. Может, он олицетворял Разочарование, Равнодушие и Застылость в них самих — все то, от чего, как они надеялись, именно он должен был их избавить.

Они повскакали с мест и двинулись на него, и я уже знал, что будет: они его растерзают.

Помню, я бросился к этим двоим, к Мейснеру и той женщине, которая уже сползла к его ногам, продолжая кричать, но теперь еще и рыдая и все еще цепляясь за его талию. Мне кажется, я размахнулся ногой, чтобы

ее отшвырнуть, и, по-моему, в самом деле отшвырнул. Остальные еще не добрались до него; они подступали медленно — ведь несмотря на его поражение, он все еще имел над ними власть, окружавшую его неприступной стеной, а может, они просто были уверены, что ему от них не уйти; он был один, он попал в собственные силки, и деться ему было некуда.

Схватив Мейснера за руку, я оттащил его назад, распахнул дверь и поволок его за собой через порог. Должно быть, я запер дверь — теперь, задним числом я понимаю: они были так ошеломлены и растеряны от того, что его оттащил именно *я*, что приостановились на те несколько секунд, которые как раз и требовались. Они, видно, решили, что я сам набросился, напал на него, чтобы исполнить личную месть, совершить личную вендетту.

Но за что мне мстить этому человеку — за то, что он вылечил мою дочь?

Мы стояли у двери, слыша, как толпа приходит в себя, как снова наливаются яростью голоса, доносящиеся из-за двери. Мейснер был бледен.

— Вы должны укрыться в каком-нибудь надежном месте, — сказал я ему. — Скоро они вышибут дверь.

Он молча посмотрел на меня, потом кивнул.

— Да, — сказал он. — Я передумал. Сначала я думал о другом. Но я не вправе.

Я не понял, что он имел в виду, но объясняться было некогда. Я бросился к окну в противоположном конце комнаты, распахнул его и выглянул наружу. Передо мной был задний двор, темный и тихий. Мы находились на втором этаже, до земли было метра три — не больше. Он мог повиснуть на подоконнике и спрыгнуть вниз.

Я поманил его к себе. Он подошел.

— Сюда, — указал я.

— А что потом? — запальчиво спросил он — Уж лучше пусть меня растерзают в доме, чем втопчут в грязь во дворе! Куда я денусь потом?

— Уедете из города, — сказал я.

С минуту он с сомнением глядел на меня, потом перелез через подоконник, сполз вниз и исчез.

Я высунулся из окна и тихо окликнул его.

— Да, — отозвался он.

— Идите к префекту полиции. Они обложат таможни и помешают вам выбраться из города. Идите к префекту. Вы его знаете. Передайте от меня привет и попросите у него защиты

Ответом было долгое молчание. Я решил, что он обдумывает мой совет, но потом увидел, как он шагает через задний двор — более темная тень среди других темных теней, высокая, плотная тень беглеца.

Помню, я прищурился, чтобы лучше его разглядеть. Еще минута, и он исчез из виду.

Остальное я узнал от жены. Ее рассказ — сплав того, что она слышала в погребке Вегенера, с тем, что ей рассказывали соседки и рассказал Штайнер, пока я спал, не желая пробуждаться, потому что не видел смысла возвращаться к яви.

Мейснер пришел к префекту. Штормовая волна туда еще не докатилась, никто не знает, что он сказал префекту. Его ввели в какое-то помещение.

Но потом его там нашли.

Не знаю, как это случилось. Сначала они вышибли дверь в ту комнату, где находился я, и, не обращая на меня никакого внимания, ринулись к открытому окну. Бывает гнев внезапный, яростный и бесплодный. Их гнев, похоже, был очень холодным, очень здравым и очень плодотворным. Думаю, они в течение долгого времени так бережно расходовали свой здравый смысл, что теперь у них накопились большие его запасы, и это помогло им организовать преследование по всем правилам.

Трое мужчин явились к префекту. Этих мужчин призвали три женщины, присутствовавшие на сеансе Мейснера. Самих мужчин на сеансе не было, но им рассказали о происшедшем — отрывочно, впопыхах. К их ярости, наверно, примешивалось торжество. До сих пор они были бессильными свидетелями самозабвения, до какого доводил их женщин этот спокойный человек, всех подчинявший своей власти. Они роптали, но их ропот заглушался всеобщим восторгом и шумными толками о результатах лечения. Теперь месть была у них в руках, и они крепко держали ее, чтобы не упустить.

Они действовали очень хладнокровно. Они пришли к префекту и сказали, что хотят поговорить с Мейснером. Мейснер просил, чтобы его оставили одного, ответил префект. Так они получили подтверждение, что Мейснер у префекта, и очень спокойно, очень вежливо спросили, где именно он находится: вдруг Мейснер передумает и захочет с ними поговорить.

И тогда префект сказал, где Мейснер.

И они схватили префекта за руки и крепко его держали, а двое мужчин, которые весьма кстати явились на подмогу, отыскали ключ, вошли в комнату, и Мейснер сидел там и увидел их.

Судя по всему, его страшно избили. Говорят, его привязали к стулу, раздели до пояса и стали избивать короткой цепью, которую нашли в одной из комнат. Потом они сорвали с него штаны, чтобы изувечить ножом, но им помешал ворвавшийся в комнату помощник префекта, который, расшвыряв их в стороны, освободил Мейснера. Тот был без сознания, многочисленные раны кровоточили.

Таким его и увидел Штайнер. Они послали за Штайнером, к тому времени все уже успокоились и теперь весело хохотали на площади перед ратушей. Почему послали именно за Штайнером, не знает никто. Может, то было скрытое извинение. А может, последняя надежда, что их единомышленник (ведь, по счастью, теперь он был их единомышленником) разбередит раны Мейснера, сделает так, чтобы в них началась гангрена, и Мейснер умрет мучительной, но естественной смертью.

Штайнер рассказал моей жене о ранах Мейснера: ему исполосовали всю спину, сорвали кожу на лице и под волосами, охаживая его цепью, которая обвилась вокруг его головы и, словно раздвоенный коготь, прошлась диагонально по лицу, наискосок к уху, по середине лба и по щеке.

Но, говорят, он жив. И его будут судить.

21 марта

Я потерял сон, я ворочаюсь на постели, она мягкая, но слишком мягкая, в ней вязнешь. Я обливаюсь потом, встаю, чтобы попить воды, но это не помогает.

И вот я сажусь за письменный стол.

Неверие я унаследовал от отца, подкрепляла его окружавшая меня непроницаемая стена здравого смысла. Как-то раз я уже готов был сдаться, но тогда меня поддержал Штайнер. Случилось это четыре года назад; впрочем, и прежде я однажды едва не склонился к вере. Это случилось, когда над моей дочерью надругались и она ослепла. Я увидел в этом кару, знак того, что я слишком мал, чтобы возвышать голос.

Штайнер и тогда поддержал меня; ему было в ту пору всего двадцать два года и он только что приехал в наш город. "В мире слишком много зла, чтобы иметь дерзость усматривать в несчастьях кару, — заявил он, и его слова принесли мне облегчение. — Это все наша человеческая гордыня. Величие наше не столь велико, чтобы заслуживать индивидуальной кары. Злу должно быть другое объяснение".

Я тогда согласился с ним; согласен и сейчас. Мы не можем разумно объяснить зло, которое существует в мире, и воображать самих себя его центром. Зло живет своей собственной жизнью и не зависит ни от богохульства, ни от смирения. Оно разит нас мимоходом.

Но существует другая форма зла — та, что преображает нас изнутри, превращая в животных. По отношению к этому злу мы свободны — мы в силах умертвить его, оно наше личное, наше и больше ничье. В этом одна из причин моего неверия: внешнее зло я оставляю в стороне, но за внутреннее в ответе я сам, и только я один. Небольшой запас сил, который у меня есть, я направил внутрь, против самого себя, против мной самим определенной цели.

Вот почему меня так потрясло предательство Мейснера. Оно вне меня и в то же время во мне. Я не знаю, как я должен себя вести.

Я тружусь на своем поприще, я пытаюсь совершенствоваться и говорю сам себе, что если бы все поступали как я, мир стал бы значительно лучше. До мира мне дела нет, это понятие слишком абстрактное, и мировое зло слишком трудно определить. Я упорно кую свое маленькое звено в цепи. Его малость угнетает меня, порождает во мне сомнения, но я продолжаю ковать, зная, что в этом мой урок.

Теперь я знаю, в чем была моя ошибка, почему я поддался Мейснеру. Я хотел, чтобы мое звено в цепи стало больше, значительней. Я хотел, чтобы мое собственное значение возросло, а Мейснер придал мне значительности, и усилил мою власть, и еще больше сулил в будущем.

Вот в чем моя ошибка: наверно, она из тех, что свойственны людям, и, думаю, я принял на себя ее последствия. Но разоблачив его, я ступил на почву, которая уходит у меня из-под ног. Я не могу разобраться в Мейснере. Виновен он или не виновен? Я чувствую собственную ограниченность и знаю — мне не хватает ума, чтобы об этом судить.

Он вылечил мою дочь. И стало быть, совершил доброе дело. Может, он и шарлатан, но ей он помог, никому другому это было не под силу. И тем, другим, он дал иллюзию, которая помогала жить, подарил нам зиму, которую мы никогда не забудем, он представил нам в ярких лучах солнца произведение искусства, шедевр своего обмана; пусть иллюзия, но она жила в нас.

Я жду суда. На суде будет разбираться произведение искусства, нечто бесполезное, что соблазнило нас, но на какое-то время вдохнуло в нас жизнь. Я не уверен, что мы можем вынести беспристрастный приговор.

Моя девочка пролила много слез. Глаза ее покраснели, большую часть времени она проводит в одиночестве. Я очень беспокоюсь. Будь я верующим, я бы молился за нее, безвинно пострадавшую.

Светает. Незаметно подкралась весна: светлый воздух, птицы. Жена спит крепким сном в соседней комнате. Я чувствую за свой город ответственность, которая раньше была мне чужда, ответственность за всех его обитателей. Я взвалил на себя бремя — всех этих честных, чувствительных, легковерных, неуверенных людей, которые жаждут, чтобы их обольстили. И он обольстил их, и они поверили ему, он сделал их счастливыми, а я отнял его у них.

22 марта

Сегодня опять пришел Штайнер. Он навещал Мейснера. Рассказывал об арестанте — еще слаб, но живой. У него могучий организм.

Между ними состоялась недолгая беседа.

Штайнер не рассказал, что ему говорил Мейснер. Он посидел у меня час, потом ушел домой. Его гложут какие-то мысли, и он очень устал.

События этой зимы сблизили нас со Штайнером как никогда прежде. Разница в возрасте больше не чувствуется.

Мне кажется, его мнение о Мейснере немного изменилось. Вчера, когда он сидел у моей постели и мы с ним довольно долго разговаривали, из его рассуждений мне стало ясно, что его отношение к Мейснеру поколебалось.

— Наша действительность состоит из миражей и реальных картин, — говорил он. — Миражи существуют только внутри нас, и там они становятся явью. И тогда борьба между реальным миром и воображением протекает в двух разных, не пересекающихся плоскостях.

— В этом и состоит вся трудность, — продолжал он. — В оценке того, как мираж действует на нас, как он на нас влияет. Человек, чуждый миражам и иллюзиям, во многих отношениях убог. Как и человек, слепо верующий.

23 марта

Сегодня утром ко мне пришла Мария. Я понял по ее лицу, что она хочет меня о чем-то спросить. Поэтому я молчал, дожидаясь, чтобы она сама начала разговор.

Тогда она спросила меня, зачем я это сделал.

Вчера она зашла ко мне всего на несколько минут и отказалась остаться подольше. Она сказала, что ей нужно подумать. Я был поражен ее словами. Они звучат странно в ее устах.

Ей сейчас двадцать один год.

И вот она задала мне вопрос. Я притянул ее к себе на колени, она неохотно подчинилась, но потом пересела на стул рядом. Она становится женщиной. Я должен был это заметить.

И тут я рассказал ей обо всем, что перечувствовал с той минуты, как Мейснер появился в городе. Я ничего не скрыл — ни своего восхищения, ни горечи, ни сомнений.

Тогда она спросила, почему же мадам Кайзер выглядит теперь такой свежей и здоровой — ведь она не была такой, пока ее лечил Штайнер; значит, новое лечение ей помогло?

Я начал объяснять, что все может иметь самое естественное объяснение: нарушение регул, закупорка сосудов, скопление газов. И тогда новое лечение было правильным, как было бы правильным почти всякое другое лечение.

Она снова спросила, зачем же я так поступил с Мейснером.

Я пытался объяснить, что попытка этой женщины обмануть нас с помощью куриной кости (теперь уже доказано, что она раздобыла эту кость на кухне, где готовили курицу), что ее желание обмануть нас было бы неопасно, если бы оно касалось только меня или ее близких, но когда обман приобретает больший размах, когда он направлен уже против многих людей, да и вообще против всего человечества, он может причинить непоправимый вред. Я пытался объяснить, что власть Мейснера над людьми опасна, потому что их толкают к ложной цели. Я говорил, что надо бороться с обманом и слепой верой, даже если в отдельных случаях они приносят людям пользу, потому что обман и миражи создают зыбкую почву для нашей жизни. Я не скупился на слова, но не уверен, что Мария поняла все.

Она долго молчала. Комнату окутали сумерки, я чувствовал, что люблю ее, мое единственное дитя, горячей, мучительной любовью. Она молчала, но я чувствовал, что она немного успокоилась.

Потом она поцеловала меня в лоб и ушла.

Скоро я стану стариком — в будущем году мне стукнет пятьдесят. Но в эту минуту я почувствовал мучительную радость, мгновенное, почти смертоносное счастье.

Спрятав лицо в ладони, я склонился к прохладной мраморной столешнице и заплакал.

Я называю себя ученым. Говорю себе, что предпринял своего рода научный опыт, — так я себе говорю. Но, конечно, я допускал ошибки. Я пытался изучать реальность, какая чудилась мне за поступками и словами Мейснера, но я пренебрег нитями, которые тянутся от них назад и в стороны. Я должен был, присовокупляя одну подробность к другой, исследовать связи Мейснера с властями в Зеефонде, отсутствие его связей с церковью (что, несомненно, означает своеобразную форму связи), его общение с женщинами, которых он лечил, связи с ними вне лечения. Мне кажется, я знаю, к какому выводу я пришел бы: сделать определенный вывод нельзя. Но может, это и есть вывод, хотя обыкновенно я держусь того, что могу понять и изучить.

И тогда я свожу свой опыт к исследованию моей собственной ограниченности; это означает, что я все упрощаю, упрощаю уравнение, сокращаю его члены, пытаюсь внести ясность.

Но проблема все равно остается сложной. Я чувствую, она для меня слишком велика, она пригибает меня к земле, я становлюсь плоским, поверхностным, а проблема громоздится надо мной, и я знаю: все многообразие ее толкований лежит *там, в этой громаде*, а не в той реальной жизни, которую она плющит.

Именно так мне хочется смотреть на это теперь.

25 марта

Говорят, Мейснер сегодня потребовал, чтобы его выпустили на прогулку подышать свежим воздухом — это ему необходимо для выздоровления, сказал он. Ему разрешили.

Его вывели на лестницу ратуши. Двое стражников стояли у него по бокам, третий сзади.

Видно, они боятся, что он убежит, — просто смешно. Ведь даже если он убежит, если убежит его тело — это не имеет никакого значения. Главное — та власть, какую он имел над нами. Память о ней стереть не удастся.

За то короткое время, что он стоял на лестнице, собралась толпа, человек сто. Среди собравшихся был часовщик Штайхингер.

Он-то мне все и рассказал.

Мейснер был очень бледен, он оброс бородой. Похоже, он давно не мылся, вид у него неряшливый, лоб забинтован серой повязкой. Но спину он держал прямо и глядел на толпу высокомерным, вызывающим взглядом. Те, кто стоял у подножия лестницы, словечка не промолвили, только с любопытством глазели на него.

Как видно, ему уже приходилась попадать в подобные переделки, может, только чуть менее унизительные. Из Вены его изгнали, в Нюрнберге после процесса на него смотрели далеко не ласковым взглядом. Однажды он рассказал мне, будто несколько лет назад его едва не убили во время какого-то бунта во Франции. Так что опыт у него есть. Он, без сомнения, считает, что может позволить себе смотреть на нас с вызовом. Он ведь знает, как велика в нем сила обольщения, — он найдет для себя поприще всюду, где люди недовольны и разочарованы.

Меня просят выступить свидетелем на процессе. Мне не хочется, но я выступлю. Всякое дело нужно доводить до конца. К тому же я должен признаться: мне хочется еще раз взглянуть на него.

Сегодня дочь пришла ко мне. Пришла по делу. Рассказать о своих намерениях.

Она хочет уйти в монастырь.

Я спросил у нее, чем вызвано ее желание. Она ответила, что хочет посвятить свою жизнь служению. “Кому ты хочешь служить?” — спросил я. “Человечеству”, — был ответ. Тогда я спросил, не лучше ли служить людям, оставаясь жить среди них. Она секунду поколебалась, потом сказала, что хочет служить Богу, — стало быть, она переменила мнение. Тогда я спросил ее: разве Бог не говорил, что сам служит людям? Она еще секунду поколебалась, потом согласилась со мной. Тогда я спросил, не может ли она служить Богу, служа непосредственно людям, — по-моему, я даже сказал: “На равной ноге с Богом”.

Она посмотрела на меня расширенными глазами и убежала. Я слышал, как жена ее утешает.

Часом позже она опять пришла ко мне.

— Отец, — сказала она тихо и серьезно. — Ты должен принимать меня всерьез. А не затевать схоластический диспут. Я в самом деле хочу уйти в монастырь.

— Я отношусь к тебе серьезно, — медленно ответил я. — Очень серьезно. С тех пор как ты ушла, я ни о чем другом не думал.

Она мне поверила. И разговор стал спокойнее. Мы оба были серьезны.

— Ты недовольна? — спросил я ее.

— Чем? — спросила она.

— Всем.

— Пожалуй, — ответила она.

Она и в этом похожа на своего отца: недовольство, самоотверженность. Трудно сказать, к чему это ее приведет. Что до меня, я обрел фундамент, почву, которая по крайней мере *кажется* твердой.

Утвердившись на этом фундаменте, я протягиваю руку ей, в ту сторону, где она бродит ослепленная, выбитая из колеи. Не знаю, дотянусь ли я до нее. Не знаю, дотянусь ли.

Уходит она от меня поздно.

26 марта

Я сижу перед замызганным столом. Пью пиво и прислушиваюсь.

В моем присутствии о Мейснере не говорят. Еще тому два дня, когда я впервые после долгого перерыва зашел в погребок Вегенера, разговор шел о Мейснере. Но я сидел молча, и мало-помалу остальных тоже захлестнуло угнетенное, угнетающее молчание. Они не знают, какую я занял позицию, и я не собираюсь им это объяснять. Я масляная пленка на поверхности затхлой взбаламученной воды и так и лежу себе, храня молчание и сознавая, что предаю собственную роль разоблачителя, убийцы дракона, сознавая, что они не понимают меня и, стало быть, смотрят на меня со все возрастающим недоверием и удивлением...

Я не держу ничью сторону. У меня своя собственная партия, и свою роль я принимаю всерьез. Я лишен визионерского дара, я просто выполняю свою работу. Штайнер иногда говорит, что я глуп, что я тугодум и медленно раскачиваюсь. Что ж, может быть. Значит, мир порой нуждается в устойчивости. Я островок посреди того, что слишком текуче.

Вот я стою, честный и глупый, и меня уже не сдвинешь с места, хотя на несколько кратких секунд я дал потоку себя увлечь. Эти краткие секунды теперь драгоценны, и я их никогда не забуду.

Я смотрю на посетителей вегенеровского погребка, а они смотрят на меня. Вот они сидят, мои спутники по плаванию, легковерные люди, которые теперь не хотят признаться в своем легковерии. Теперь они видят во мне образец, того, кем можно восхищаться, потому что их прежний образец оказался с изъяном и пришлось его подлечить.

Я отвечаю им жестким взглядом. Судите меня, думаю я. Судите. Многое во мне достойно осуждения. Меня надо судить так же, как и его. В глубине души я знаю, что должен был быть таким, как Штайнер, камнем в потоке мыльных пузырей, камнем, который остается на месте, когда порыв ветра сдувает мыльные пузыри. Я должен был быть таким, как он, быть таким все время, оставаться в нашем реальном мире, среди людей и столов, среди улиц и домов, среди облаков, среди радостей и горестей, в их среде, в их толще, глядя на них в упор и видя их такими, какие они есть, без маскарадных одежд.

Судите меня, думаю я. Послезавтра будут судить его.

13

Она пришла и сказала, что хочет с ним поговорить. Они не знали, кто она такая, и разглядывали ее с недоверчивым любопытством. Женщина объяснила, что она нездешняя. Она была немолода, и видно было, что она проделала дальний путь. Ее дочь, на вид лет семнадцати, осталась сидеть на лестнице у входа, подставляя рябое лицо солнечным лучам и отказавшись разговаривать с помощниками префекта, которые вышли на лестницу и, подталкивая ее в бок, предлагали ей задрать юб-

ку, чтобы они могли проверить, нет ли у нее рябин и промеж ног. Потом они заметили, что она устала, и в приступе благородства дали ей кусок хлеба и кружку вина. Она стала есть, глядя на них загадочными пустыми глазами. Тот, кто сидел слева от нее, сунул руку ей за пазуху и схватил за грудь, крепкую, молодую, но едва развитую, словно у девушки-подростка. Она не сделала попытки ему помешать, и он тискал ее грудь, а потом сжал сосок, поглядеть, как она к этому отнесется. Она не отнеслась никак. Она спокойно, сосредоточенно жевала, а до него ей дела не было, и лицо ее было настолько лишено всякого выражения, что под конец, устыдившись, он убрал руку и оставил девушку в покое.

А в ратуше префект продолжал допрашивать мать.

— О чем вы хотите с ним говорить? — добивался он. — Вы знаете, кто он такой?

— Нет, — отвечала она, и говор у нее был такой смешной, что когда она в первый раз высказала свое пожелание, ответом ей были взрывы смеха. — Я не знаю, кто он, да и никогда об этом не спрашивала. Я просто хочу с ним поговорить.

— Выходит, вы с ним совсем не знакомы? — спросил префект еще нетерпеливее и бросил взгляд на лестницу, где его подчиненные уселись справа и слева от девушки. — Какая вам тогда корысть с ним говорить?

— А я и не говорю, что у меня корысть, — отвечала она с прежним терпением. — Я просто хочу его увидеть.

Тогда они впустили ее.

Они повели ее по коридору к камере, одной из двух камер, находившихся в ратуше, и она шла, щурясь и стараясь поспевать за ними, чтобы причинить им как можно меньше хлопот и не вывести их из терпения; и вот она оказалась перед какой-то дверью, услышала, как громыхнули железные скобы, щеколду отодвинули, она вопросительно глянула на них — может ли она войти в камеру сама или ее туда введут. Они дали ей в руку свечу, сказали, смотри не подожги солому, да не задирай юбку, не старайся его распалить. Он, мол, теперь слишком слаб, чтобы на нее влезть (если она пришла за этим).

Он лежал на деревянной койке и глядел на нее, хмуря лоб.

— Вот я и пришла, — застенчиво сказала она.

Собраться с мыслями было трудно, но он знал, что должен. Они нашли ее, думал он, нашли свидетеля, чтобы меня уничтожить. Он осторожно приподнялся, чувствуя, как саднят рубцы на спине, когда о них трется рубашка, но он уже привык к этой боли.

— Вижу, — сказал он. — А где твоя дочь?

— Сидит на лестнице, снаружи, — ответила женщина.

— Что ж, Ткач будет рад, — сказал он, презрительно глядя на нее в упор.

Не надо мне было брать ее тогда у костра, с горечью подумал он. Она того не стоила. Рыхлая, широкая, словно нарожала десяток детей, лучше было спровадить ее подальше.

Казалось, на какую-то минуту она растерялась, но потом по ее лицу скользнула смутная улыбка.

— Правда? — проговорила она. — Хорошо бы. Она часто о нем вспоминала.

Он бросил на нее неуверенный взгляд: шутит она или нет; впрочем, до сих пор ему не приходилось слышать от нее шуток.

— Чего тебе надо? — коротко спросил он.

— Быть здесь, — просто сказала она.

— Здесь? — раздраженно воскликнул он. — Ты что, не понимаешь, черт возьми, что тебе нельзя здесь быть!

— Тогда там, — сказала она, неопределенным движением указав то ли на город за стенами ратуши, то ли на мир вообще. — Я подожду, пока ты со всем этим разделаешься.

— Разделаюсь! — взорвался он. — Разделаюсь! Да если ты расскажешь им про меня, это они разделаются со мной, и навсегда!

— Вон что, — сказала она упавшим голосом и смущенно съежилась под его взглядом. — Я просто думала, ты будешь рад.

Он было встал, но теперь рухнул на койку, закрыв лицо руками. Она вернулась, она, которую он бросил на постоялом дворе, она, за которой по пятам шла чума и которую он не захотел больше употреблять, взятая приступом, изнасилованная, ни разу не попрекнувшая его ни словом. Сомнений нет, она его искала и нашла. Теперь она все погубит, ведь они наверняка станут ее допрашивать, а она по глупости расскажет все: про побег, про незнакомца, про то, о чем он, Мейснер, рассказывал, про все то, что он считал забытым, смытым в узкий провал лет, которые казались ему бесплодными, растраченными зря, — все это теперь восстанет из небытия, чтобы свидетельствовать против него. И тогда они вызовут Ткача, зажмут его пальцы в тиски и закрутят покрепче, и он поорет немного, а потом станет рассказывать взахлеб, как все началось, и про пещеру, где его нашли, и про побег — и все будет доказано.

Он посмотрел на женщину. Она стояла на прежнем месте и молча улыбалась.

— Ничего никому не рассказывай, — хрипло сказал он. — Ничего из того, что знаешь обо мне. Ничего.

Она улыбалась все добродушней — улыбкой человека, который наконец в силах что-то предпринять, которому перепала толика власти и он преобразился от собственной важности, хоть и не знает, что с этой важностью делать.

Он смотрел на нее и думал: "Я прошу, я клянчу у нее, а она смотрит на меня и по-матерински улыбается. Ей бы плюнуть мне в лицо, а она улыбается".

— Тебе ничего не нужно? — дружелюбно спросила она все с той же невыносимо снисходительной улыбкой на губах.

Он рывком вскочил, сделал два шага к ней и с размаху, молниеносно нанес ей короткий удар в зубы. Она отшатнулась, уставившись на него с ужасом.

— Убирайся, — тихо сказал он. — Убирайся.

Они вывели ее из ратуши. Когда она оказалась на лестнице, префект спокойно спросил ее, узнала ли она то, что хотела узнать.

Она не ответила. Дочь по-прежнему сидела на ступеньках, жевать она перестала, а стражам надоело ее безразличное молчание. Женщины спустились с лестницы и медленно побрели по городу, две серые мыши, жмущиеся к стенам домов. Никто их не заметил.

Он нашел железный гвоздь и стал рисовать им на каменной стене. Дело продвигалось медленно, приходилось думать над тем, что рисуешь. Сначала он нарисовал треугольник. Потом еще один, основание которого лежало над вершиной первого и касалось ее своей серединой.

Меня погубил успех, а не Зелингер, думал он. Зелингер сделал то, что должен был сделать. Всегда найдется кто-нибудь, кто встанет и укажет, что черта перейдена. Правда, его он не учел — не учел Зелингера из Зеефонда. Ничтожные рабы опрокидывают колесницу триумфатора. Они должны ее опрокинуть, потому что она покатила не по той дороге.

Искушение было велико, думал он. Сперва больная, с которой все шло хорошо, которую он вылечил. Потом другая, привлекшая еще большее внимание, но тут получилась осечка. Я не должен был так рисковать. Но когда при мне нет ни силы, ни визионерского дара, пациенты все равно толпятся вокруг со своими болезнями и смотрят на меня, словно сила при мне. Они не понимают, что это зависит не только от меня. Что мне надо помочь ее накопить.

У великого Парацельса тоже бывали неудачи. Ему пришлось скитаться из города в город с готовой рукописью "Сифилитических болезней". Только в Лейпциге удалось ее напечать вопреки глухому недовольству бургомистра. Великий Парацельс был выносливым, — думал Мейснер.

Великий Парацельс, думал он, пробуя это имя на вкус. Великий Парацельс, которого все время преследовали неудачи.

Хотел бы я знать, вяло думал он перед тем, как его сморил сон, что станет делать герцог. Может, все переменится. А может, полетит в пропасть...

Камера находилась в подвале. Однажды ночью в маленьком зарешеченном оконце, смотревшем в стену соседнего дома, выбили стекло. Позднее в тот же день в маленькое отверстие просунулась мужская голова — мужчина с любопытством уставился на длинноволосого человека с всклокоченной грязной бородой и высокомерным взглядом. Человек подошел к любопытному, приблизил свое лицо к его лицу и плюнул в него.

Любопытный с улицы отпрянул, по его веку стекал плевок. Мейснер улыбался ему из окошка.

— Вы человек благородный, — рассуждал недоумевающий префект. — Вы получили образование и много чего повидали в жизни. Почему вы заперты здесь? Может, все это просто поклеп?

Воздев руки к небу, Мейснер посмотрел на префекта прекрасными скорбными глазами.

— Злоба людская, — ответствовал он...

Мейснер выражал недовольство тем, как его кормят. Он утверждал, что не получает пищи, соответствующей его положению. Он обратился с официальным письмом к бургомистру. Он требовал, чтобы его кормили четыре раза в день, к каждой еде подавали вино и чаще цыпленка.

Ответа на жалобу не последовало.

Префект, позднее допрошенный на суде, заявил, что не считает себя вправе судить о характере человека, который лишь короткое время содержался у него под стражей в ратуше. Впечатления, которые у него сложились, столь противоречивы, что не могут стать основой общего суждения.

Поэтому он отказался дать какую-нибудь характеристику узнику.

Зато он счел необходимым отметить то бесспорное обстоятельство, что узник ни разу не застонал, когда его избивали, а префект сам слышал и отчасти видел, как это происходило, и побои Мейснеру нанесены были жестокие. Кстати, и позднее Мейснер ни разу не проклинал тех, кто его избивал.

Но чем это до́лжно объяснить, гордыней или смирением, он, префект, судить не берется.

На суде Мейснера прямо спросили, правда ли, что он был недоволен тюремной кормежкой. Он заявил, что это неправда. Пусть, мол, ему покажут жалобу, которую он якобы написал.

Во время судебного разбирательства к этому вопросу уже не возвращались.

Священник, преподобный Беффер, навестил узника в тюрьме.

Первым делом он спросил Мейснера, не находит ли тот, что его методы лечения проникнуты гордыней и направлены против священной власти Бога. На это Мейснер ответил, что, на его взгляд, гордыни в них не больше, чем в церковных чудесах, а пользы, пожалуй, больше. Потом священник спросил, что он подразумевает под словом "флюид". Тогда Мейснер попросил пастыря объяснить, что он подразумевает под словом "Святой Дух". Священник спросил, не считает ли Мейснер, что обманул людей, которые к нему обращались. Мейснер, в свою очередь, усталым голосом спросил, какую прибыль приносят церковные владения, получил ли монастырь доходы за последнюю неделю, и если да, то почему они столь велики, ведь Божий сын сам не имел крова; спросил он также, кого избрали епископом и нашла ли церковь за последнее время какое-нибудь божественное доказательство или хотя бы новую теорию, которая объяснила бы, каким образом воскрес Христос. При последних словах священник отпрянул и дрожащим голосом призвал проклятия на вшивую голову Мейснера. Сей последний, однако, не наложил на себя тотчас же руки, а только с усталой улыбкой сказал: "Берегитесь. Все мы основоположники религий, и проклятие может пасть на голову того, кто его изрек". Так, говорят, ответил он священнику.

Священник ушел.

Этой весной Ткач исчез навсегда.

Его искали, чтобы допросить как свидетеля на процессе. Но так и не нашли. Кое-кто утверждал, что видел его на другой день после памятного сеанса — он крался по улицам, торопливо прячась за каждым углом. Без сомнения, он был страшно напуган и поспешил скрыться из города.

Но Зеефонд окружен густыми лесами, а Ткач был очень стар. Никто о нем больше не слышал. К своей покинутой жене он не явился. Возможно, он устал от долгой ходьбы и проголодался, а съестного у него не было, усталость в конце концов сморила его и он улегся поспать. Во всех официальных бумагах его описывают как маленького и тщедушного. Так что мертвец, наверно, тоже был маленький и незаметный, серое пятнышко под елью. Наверняка в последний час он думал о Мейснере, воображал, как Мейснер явится в карете, запряженной множеством лошадей, снова могущественный, снова его, Ткача, удачливый хозяин, как этот самый Мейснер выйдет из кареты, возьмет его за плечо и дружес-

ким голосом прикажет ему сесть в карету, занять место рядом с самим хозяином.

Так, наверно, он представлял себе это как раз перед тем, как свет стал мутнеть, меркнуть и наконец совсем погас.

14

Дневник Зелингера со 2 по 4 апреля 1794 года

2 апреля

Жена утверждает, что я стал раздражителен. Сам я зову это неустойчивым состоянием — напряжение перед разрядкой. Завидую тем, кто чувствует себя уверенным. Сам я неуверен как никогда.

В тот миг, когда я рассказал пациентам Мейснера историю с куриной костью и рухнул на стул, — в тот миг я был уверен. Я был опустошен, но спокоен, я знал, что исполнил свой долг.

Теперь все по-другому.

Г-жу Кайзер вчера отвезли в дом умалишенных. Со времени разоблачения она пребывала в состоянии страшной тревоги, то впадала в неистовый гнев и, осыпая меня проклятиями, отрицала, что участвовала в обмане, то сидела в полнейшей апатии, медленно поглаживая рукой живот.

Вчера ее в последний раз навестил Штайнер. В продолжение осмотра она лежала совершенно неподвижно, уставившись в потолок и не произнося ни слова.

Он спросил, как она себя чувствует. Она не ответила.

Он спросил, прекратились ли судороги; она не ответила и на этот вопрос.

Но когда, уже уходя, он оказался у двери, спиной к комнате, он услышал громкий шум. Повернувшись, он увидел, что она скатилась с кровати и лежит на полу, скрючившись и медленно жуя пустым ртом. Штайнер бросился к ней, чтобы помочь, но она отстраняюще вытянула вперед руку и произнесла внятное и решительное: “Нет!” Он отступил на два шага. А она медленно перевернулась на спину, раскинула руки и ноги и так и осталась лежать распластанная на полу. Штайнер говорил, что она походила на вытащенную на берег утопленницу: лицо потухшее, онемевшее, нижняя челюсть отвисла. Глаза были закрыты, как тогда, когда Мейснер ее магнетизировал, но Штайнер заметил, что она плачет.

Он ничем не мог ей помочь. И ушел. А ее в тот же вечер увезли в лечебницу.

Ходит слух, что жители города, собравшиеся в погребке Вегенера, предложили, чтобы Мейснера до суда поместили в клетку у входа в церковь и каждый мог бы подойти и плюнуть в него. Но предложение натолкнулось на формальные препятствия.

Власти, по-видимому, желают, чтобы все прошло без лишнего шума и с соблюдением всех возможных формальностей. Дело в том, что Мейснер будто бы оказался австрийским подданным. Шумный или на-

рушающий нормы судопроизводства процесс вызовет недовольство и приведет к скандалу.

А вообще я легко могу себе представить это зрелище: сотни любопытных, прослышавших о печальном конце магнетизера, теперь пользуются возможностью оплевать столь знаменитую особу.

У меня сохранился список пациентов Мейснера. Сегодня вечером я его перечитал.

В списке по большей части женщины.

Вот, например, Шарлотта Хубер; пепельные волосы, темперамент холерический — однажды она повздорила с моей служанкой. Когда ей было двадцать четыре года, она присутствовала при последних минутах своего отца. Тот, кто всегда очень ее любил, и, если верить слухам, *не только* по-отцовски, умер на ее глазах. Ее это так потрясло, что с той поры каждый вечер она чувствовала, как в груди ей что-то мешает, а иногда болезненно сдавливает грудь. Мало-помалу эти ощущения становились все сильнее. Замуж она не вышла.

Знаю, что Мейснер лечил ее два раза в неделю. Интересно, что с ней сталось? Она всегда восторженно уверяла, что после сеансов ей легче. Что с ней сталось? Она тоже придет плюнуть в него?

Или вот еще Грета Ленертс, двадцатисемилетняя девица из прирейнских краев. Я до сих пор помню, какой она была, когда впервые приехала в наш город, — просто кровь с молоком. Потом она купила долю в прядильной мастерской и вышла замуж за человека, который прежде сожительствовал со многими женщинами и не намерен был отказываться от своих привычек, а она трудилась днем и ночью, чтобы побольше заработать. Ткацкий станок стоял в подвале, свет там был плохой, вдобавок она часто плакала без видимых причин. У нее стали болеть глаза, то один, то другой, ничто ей не помогало, она распухла, глаза потускнели, да к тому же у нее появились ревматические боли в плечах и затылке. Мейснер ее лечил; она сидела на его сеансах и своими подслеповатыми глазами видела его размытый силуэт, схожий с громадным медведем-шатуном, видела, как он движется, как его фигура становится все явственнее: он подходит к ней ближе, склоняется над ней, дотрагивается до нее. Что она теперь поделывает? И другие? Неколебимые одиночки, те, что, закрыв глаза, тянулись к обману, прижимали его к груди и не хотели с ним расстаться, даже когда его у них отняли. Они что, тоже будут в него плевать?

Нет. Нет. Это невозможно.

А мы, здравомыслящие зеефондские лекари, мы пользовали их. Отворяли кровь. Ставили пиявки, банки, давали рвотное, всевозможные очистительные, прописывали ртуть для отхаркивания, водку, нашатырный спирт, испанский нюхательный табак, хину и киноварь, холодные и горячие ванны, ванны серные и соленые; мы посылали их в Берлин и другие места, поближе, чтобы им там сделали операции и избавили от катаракты и прочих заболеваний глаз, от золотухи, трофических и прочих язв и от болей в желудке. Иногда они выздоравливали, хотя чаще умирали. Но даже когда нам удавалось их вылечить, все равно чего-то не хватало. Мы делали что могли. Делаем и сейчас, и должны продолжать. Но где-то остается пустота, которую мы не можем заполнить, потребность, которую мы не можем удовлетворить.

Он сидит теперь в тюрьме. Он не справился со своим успехом, экстаз завершился ложью и шарлатанством. Это самое горькое в том, что случилось. Теперь они судачат о нем в кабаке, им так легко во всем разобраться, что и потешаться над ним легко. И виноват в этом он сам. И за это его должны судить.

Мы вынесем приговор, который подтвердит, что мы его осуждаем. Но то, что лежит за всем этим, тот образ, что видится за Мейснером, — с ним нам не разделаться с помощью судебного разбирательства. Его так просто не разглядишь.

Мне нынешняя зима представляется произведением искусства, романтическим произведением искусства, в котором все сильнее нарастали элементы гротеска и все перемешивалось. Мейснер и впрямь, как он сам выразился, подвел рычаг под мироздание.

4 апреля

Завтра начинается суд. Мне предстоит давать показания. Они выбрали меня главным свидетелем, поскольку я все время присутствовал там и могу рассказать обо всем, что происходило.

Постараюсь выполнить свою работу честно и добросовестно. Пойдет ли эта честная и добросовестная работа на пользу или во вред общему благу, решать не мне. Я лишь как могу выполню ту ее часть, что выпала мне на долю.

Зима была короткой. Она началась с его приездом и закончилась с его последним сеансом, когда лавина с грохотом обрушилась на нас. Это благодаря ему зима оказалась для нас короткой. Он научил нас недолгой игре, он обманул нас, и нам нравилось быть обманутыми. Он научил нас видеть, как беден наш город. Показал нам, каким богатым он может стать, сколько в нем неиспользованных возможностей, различных стремлений и оттенков. Он показал нам это и научил нас это оберегать. И когда он нас предал, мы попытались это сберечь.

Он окутал нашу зиму разноцветной пеленой сомнений и неуверенности. Все это дал нам он. И хотя я осуждаю его, я не сожалею о том, что он повстречался на моем пути — он, бесполезный, научивший меня делать выбор.

Мы собираемся на заседание суда. Жена идет со мной. Дочь, наоборот, сказала, что не хочет принимать участия в этом всеобщем развлечении. Я ее понимаю и разделяю ее чувства. Штайнер добровольно отказался от присутствия на суде. Он хочет поддержать в эти дни мою дочь, он будет приходить к нам или она к нему. Он нам очень помогает, и я понял теперь: он давно любит Марию. Но и для меня он опора.

В трудные времена между людьми возникает нечто более подвижное, нежели флюид, и более крепкое, нежели скала, — и теперь это нечто связало нас всех.

15

Они пришли к нему во сне и спросили, где он был, почему сбежал и почему их бросил. Они пришли — все те, кого он касался своим жезлом и кого выманил из их собственного “я”, пришли и сказали, что теперь они одиноки, что им нужен его жезл, что они горюют и не верят наветам его врагов. Среди них была Хельга Опиц из Тюрингии — три года

назад он шесть месяцев лечил ее, а потом передал своему помощнику, которого взял, потому что пациентов стало слишком много. Она пришла к нему во сне и рассказала про этого помощника, как он помог ей и сколько пришлось ему заплатить и чем. Она спросила, почему он выбирал себе таких помощников, и он ничего не мог ответить. А потом пришли и другие.

Он почти никого не узнавал. Ведь он видел их лица в мерцающем свете вокруг чана, но он не познакомился с ними ближе, потому что спешил привлечь на свои сеансы как можно больше людей. А теперь они приходили, наклонялись над ним и разглядывали его: ты предал нас, говорили они, ты сбежал от нас, оставил нас ради могущества власти, влияния, богатства. Что такого дала тебе Власть, чего не могли дать мы? Знаешь ли ты, что твоя идея умерла вместе с нами? Зачем ты набирал так много пациентов разом? Зачем затеял в Париже спор с д'Эслоном — ведь он делал то же самое, что ты делал с нами? Или ты боялся, что у тебя станет меньше пациентов? Зачем ты брал такую высокую плату, когда у нас совсем не было денег и к тому же мы были больны? Почему ты брался лечить не тех, кто был тяжко болен, а только тех, кто слегка недомогал и с кем было удобней и проще работать? Почему не приходил к нам, когда мы не появлялись на твоих сеансах? Разве ты не знал, что мы лежим в постели и ждем тебя, даже когда говорим, что считаем тебя обманщиком?

И он ворочался во сне, и боли в спине копьем пронзали его сон, и он хотел ответить им, что они не должны предъявлять к нему слишком большие требования, что он знает — ему не удалось воплотить свою идею, но, может, кто-нибудь другой... И вдруг они исчезли, а над ним склонились полицейские приставы, те двое, что обычно приходили к нему; они принесли ему его одежду и сказали, что через час начнется суд.

— Тогда помогите мне одеться, — сказал он.

Телега была сколочена из грубых, необтесанных досок. Он спросил, неужто за ним не могли прислать экипаж получше и поприличнее, но на его вопрос никто не ответил.

Спасибо, дождя нет, подумал он. В прошлый раз шел дождь.

Но потом он подумал: шел бы дождь, люди сидели бы по домам, не толпились бы на улицах. Шел бы дождь, никто не высунул бы носа наружу. В крайнем случае глазели бы из окон, но когда видишь лицо в окне, это не страшно, не больно.

Слишком хорошая погода, упрямо думал он, пока телега тряслась на пути к ратуше. Слишком яркое солнце.

И на всем пути стояла тишина, до самого конца.

Вылезая из телеги, он упрямо смотрел перед собой, ничего не видя, не замечая тех, кто стоял вокруг и пялился на него, он заткнул себе уши и ничего не слышал, и все, о чем потом могли рассказать зрители, были только очевидные факты: как он побледнел за время ареста, как выпирают на его лице скулы и как надменно или, наоборот, смиренно, а может, просто равнодушно смотрят его черные глаза. Они пользовались последней возможностью разглядеть его испытующим взглядом, пока его не начали испытывать на суде.

Один из них, сестру которого лечил Мейснер и который не мог смириться с тем, что в его семье долго говорили об этом чудодее так, будто он сам Господь Бог, вырвался вперед и сунул под нос Мейснеру стеклянный шар из чана; на лице его было написано торжество — такое же торжество, как тогда, когда они в достопамятный вечер разбили вдребезги магнетизеров аппарат и в священном хмелю выбросили цепи из окна. А этот, ловко спрятав за пазухой шар, потихоньку улизнул — теперь он тыкал этим шаром в нос Мейснеру.

— В нем воздух! — пронзительно кричал он. — Ничего кроме воздуха! Ничего другого там нет!

Мейснер не мог пройти мимо этого человека — тот преграждал ему путь. Несколько секунд оба стояли молча, и вдруг Мейснер с улыбкой посмотрел на шар, который был просто воздухом.

— Да, — подтвердил он, — теперь в нем ничего кроме воздуха нет.

Человека оттащили судебные приставы. Мейснер двинулся дальше. Они вошли в ратушу.

И вот судьи сидят на своих местах. Их шестеро. Всё это люди простые, только двое из них получили образование. А он сидит перед ними, этот самый Мейснер. Зрители занимают места. Среди них много женщин.

В первый день заседания у дверей в зал суда произошла небольшая стычка. Несколько человек обсуждали рассматриваемое дело, и какая-то взволнованная женщина открыто взяла Мейснера под защиту. Она утверждала, что процесс затеяли власти, которые боятся Мейснера. А все доказательства подтасованы.

Во время этой стычки какому-то человеку — им оказался тридцатипятилетний портной — ножом обезобразили лицо. Нож прошелся по переносице, потом, скользнув по кривой вверх, разрезал нижнее веко и серьезно повредил глаз. Вызвали было Зелингера, но раненый предпочел другого врача, который уже находился в зале суда. Тот быстро перевязал рану.

16

Дневник Клауса Зелингера

Накануне первого судебного заседания я долго беседовал со Штайнером. Мы пытались вместе разобраться в той сумятице, которую Мейснер поселил в наших душах.

Мы ведь сами участвовали в обмане, погрузились в него с более или менее открытыми глазами. Поэтому почти невозможно его осудить. Должно быть, во мне самом жила потребность уступить соблазну. Если мы его сейчас осудим, образуется пустота, которая на долгие времена будет свидетельствовать о том, что мы поступили неправильно. Но Штайнер неколебим в своей уверенности: эта пустота не может быть аргументом в пользу Мейснера, она говорит лишь о том, что пустоту надо чем-то заполнить.

Я поделился с ним мыслями, которые в последние дни неотступно меня тревожат. Когда моей дочери было девять лет, я как-то пообещал ей, что мы поедем в горы. Она была счастлива. Три месяца продолжалось это счастье, то было светлое время для всей семьи.

И вот мы поехали в горы. Мы пробыли там неделю, и все это время шел дождь. Мария устала, и, по-моему, в каком-то смысле горы ее напугали: они оказались слишком величественными и грозными. По возвращении домой она была совсем без сил и больше уже не радовалась.

И вот теперь я представляю себе такую картину: я постоянно сулю что-то другому человеку, рождаю у него мечту о грядущем счастье, а потом, перед тем как этой мечте осуществиться, отнимаю у него эту мечту. Поездка в горы не состоится. И нет никаких разочарований, обещание забыто, жизнь продолжается.

В этом случае человек по-прежнему будет счастлив, хотя реальных на то причин у него нет. Перед его взором будет поблескивать паутина, и хотя это всего лишь паутина, чувство счастья останется реальным. Разве оно изменится от того, что зиждется на обмане?

Но если убрать паутину, чем мы ее заменим? Поездкой в горы? Богатством? Более удобным жилищем? Более коротким рабочим днем? Более легкой работой? Более долгой жизнью? Лучшим пивом?

Я сомневаюсь в своей жизненной программе, но твердо ее держусь, пока кто-нибудь не научит меня жить по-иному. И вот я работаю, стараюсь делать свое дело как можно лучше, делаю все что могу, пока могу. Стараюсь причинять как можно меньше зла. И в то же время я смотрю на тех, кто поддался Мейснеру, и понимаю их, потому что во мне живет то же недовольство. Я живу так, как живу, но во мне все время что-то протестует.

Я осужу Мейснера с большой неохотой, но я сделаю это, потому что считаю: это правильный шаг, и следующий шаг можно сделать, только исходя из этого осуждения. Мы встречались в течение одной зимы, мы две линии, которые пролегают очень далеко друг от друга, но где-то сближаются.

Я вижу перед собой свой город. У него блестящее будущее — он будет благоденствовать, станет богатым, развитым, единообразным. Это жуткое видение, и я спасаюсь от него в обманном мире Мейснера, чтобы найти отдушину в этом невыносимом благоденствии. Мир Мейснера гротескнее, но он живой.

Мейснер сидел всего в двух метрах от меня, вполоборота ко мне. Когда я опустился на свое место, он взглянул на меня и улыбнулся без всякого выражения.

Народу собралось много.

Изложить выступления всех свидетелей я не берусь. Расскажу только о главных — очень уж многие считали, что их обманули, хоть и весьма невнятно объясняли, в чем это выразилось.

Часть материалов прибыла из других мест. В одной из бумаг речь шла о том, что десять лет назад Мейснер был осужден за подделку документов. Его приговорили к четырехнедельному содержанию под стражей на хлебе и воде — наказание мягкое, видно, многие влиятельные особы в том городе, где происходил суд, имели, как говорится, свой интерес в том, чтобы Мейснер оставался в их краях.

Полагаю и опасаюсь, что здесь все будет по-другому.

Мейснер заявил, что не намерен давать никаких пояснений насчет этой бумаги.

Мейснера спросили также о мадам Кайзер. Спросили, считает ли он, что лечил ее успешно.

— Когда я видел ее в последний раз, — ответил Мейснер, — она была жива и здорова. Кто пользовал ее после этого, мне неизвестно.

Ему сказали, что у нее случился новый приступ и она лишилась рассудка.

— Знаю, — ответил Мейснер. — Я это предвидел. Пойдемте в дом умалишенных, она будет свидетельствовать в мою пользу. Мне случалось посещать сумасшедшие дома. Я их не боюсь.

— Вы обманывали людей, — сказали ему.

— Да, — подтвердил Мейснер.

— Сознавали вы, что это обман? — спросили судьи с кисло-сладкой улыбкой. Они были уверены, что он станет отрицать, а им удастся его опровергнуть.

— Да, — ответил Мейснер. — Сознавал.

По залу прошелестел ропот.

— И все-таки вы продолжали свое?

— Да, — сказал Мейснер. — На ранней стадии я призывал ее к осторожности. Но для выполнения более важной задачи считал необходимым обман.

Он произнес это не без достоинства и затем внимательно оглядел зал, чтобы уяснить, как собравшиеся относятся к его словам. Но большинство из них сидели совершенно спокойно и слушали с невозмутимым выражением лиц. Тогда он продолжал:

— Краткие часы самозабвения и экстаза должны преобразить флюид пациента, эти часы может погубить рациональное лечение, рассудочный образ действий. Вот почему я избрал другой способ.

Судьи усердно писали в своих тетрадях.

Во время судебного заседания была минута, когда меня задело за живое и я почувствовал, что должен сразу возразить.

Мейснер защищал свое предательство, правда предпочитая употреблять выражение “мои методы”. Он заявил, что ригористическая мораль всегда бессильна и нет в нашем мире ничего, что было бы связано незыблемыми правилами игры, ибо жизнь — это взаимодействие возможностей и цели, но цели принадлежит главная роль.

Тут я вскочил и спросил напрямик, не находит ли он, что, обманывая людей, чтобы сделать их лучше, он поступает непоследовательно. Он ответил на это, что последовательность никогда не была его сильной стороной, но зато он достиг некоторых результатов. И презрительным тоном задал мне встречный вопрос: каковы мои собственные достижения?

Я обвинил его в том, что он защищает иезуитскую мораль. Он со смехом оглядел зал и спросил: можно ли считать это упреком в католическом городе? Наше время, продолжал он, требует новой морали, которая обращена против нынешней, незыблемой.

Он защищается очень искусно, но есть в его защите изъян. Он видит добродетель в недостатке твердости. Он хочет представить меня ригористом, приверженным незыблемым правилам, но на самом деле это он незыблем в своей уверенности, что изменчивость должна быть этической нормой. Исходя из этого определения, он начал развивать сомнительные суждения о моем простоватом гуманизме.

Грустно, что проповедь его меня соблазняет. Словно злой вихрь, пропитанный сложностями и сладким ароматом, промчался он по нашему городу. Легковесное и изворотливое приобрело вес, и мы с благодарностью это приняли.

И все же я доверяю суду. В нем сидят простые, необразованные люди. Я говорю это не с презрением, а с гордостью. Им его судить, и они имеют на это право.

А потом настал мой черед давать свидетельские показания. Чтобы чего-нибудь не забыть, я пользовался своими заметками. Когда я кончил, воцарилось молчание.

И тогда в присутствии всего зала один из судей спросил меня:

— Считаете ли вы его обманщиком?

Я без раздумий ответил утвердительно.

Мое мнение зиждется не только на истории с мадам Кайзер. За последние дни обнаружилось многое другое. Я считаю, что у меня есть основания для такого суждения.

Путь до скамьи, на которой я сидел, был коротким. Но мне казалось, я иду под перекрестным огнем взглядов, и каждый взгляд способен ранить. Все смотрели на меня.

В его вещах нашли заметки.

На суде выдержки из них читали вслух. Некоторые вызвали страшное негодование.

"Государственная власть, — стояло там, — зависит от воли отдельных людей. Государство — это тело, чья голова устроена так, как глаза некоторых насекомых: она состоит из многих сотен фасеток, которыми являемся все мы. Власть должна сообразовываться с этим. В секторе общественном все должны править ко всеобщему благу. Но внутри каждой из этих фасеток править должны лишь божественные законы, которые руководствуют нашим флюидом".

Я был потрясен, особенно первой частью этого рассуждения. Я бросил взгляд на графа Норштоффа, герцогово ухо на процессе: при чтении этой бумаги он побагровел.

Были тут и другие вызывающие материалы. Пребывание во Франции, как видно, оказало на Мейснера глубокое впечатление, и он самым удивительным образом смешал революционные идеи со своими собственными.

Его спросили, он ли писал все это. Он с гордостью ответил: "Я".

После четвертого дня слушания дела мне довелось поговорить с одним из судей. Он пришел ко мне и спросил совета: как ему быть? Вина Мейснера несомненна, но доказательства большей частью расплывчаты и не все одинаково весомы. К тому же горожане очень быстро потеряли к Мейснеру интерес и если теперь говорят о нем, то чаще всего равнодушно или насмешливо, как, бывает, рассказывают забавную историю в погребке. Городские власти тоже начинают выказывать недовольство, что судебное разбирательство так затянулось. Обычно такого рода процессы заканчиваются в один день.

Судейский спросил меня также, считает ли себя обманутой моя дочь. Я сказал: "Нет". Тогда, досадливо передернув плечами, он выразил пожелание, чтобы все скорее кончилось.

Я мог бы завести с ним разговор о сущности обмана, доказывая ему, что обман может порой оказаться столь же действенным, сколь верность и честность, и даже более, потому что он обращается к дурному началу в человеке, к гротескному, к потаенному. Я, однако, не стал затевать такой разговор — суд должен сам вынести решение.

Но главное — это не приговор, главное — как мы сами поведем себя после приговора. Чем мы заменим Мейснера. Об этом надо думать не откладывая, потому что время бежит, надо торопиться, иначе мы почувствуем, что без него стало пусто, и в заблуждении станем думать, что он многое для нас значил.

Во время прений случилось неожиданное происшествие.

Присутствовавшая в зале женщина средних лет, рядом с которой сидела рябая девушка, вдруг встала с места, никем не спрошенная, и объявила, что готова взять Мейснера на свое попечение.

Зал в изумлении зашумел. Все повскакали с мест, чтобы поглядеть на говорившую. Я покосился на Мейснера: он стиснул зубы.

Когда ропот стих, женщина сказала, что считает себя нареченной невестой Мейснера и готова позаботиться о нем. Она просит суд не медля отпустить его на свободу, потому что ей очень нужен мужчина.

При этих словах зал разразился хохотом.

Побагровевший Мейснер, вскочив, заявил, что не намерен вручать свою судьбу этой дурехе, как бы ни нуждалась она в мужчине. Громким, резким голосом он заявил, что этот состав суда непригоден для подобного разбирательства, он имеет право, чтобы его дело рассматривала комиссия из одних только медиков, а это судилище совершает страшную несправедливость, вознамерившись вынести суждение о новой медицинской методе, способной служить всеобщему благу.

Закончил он свое пылкое выступление требованием, чтобы суд распустили и особая комиссия, не такая пристрастная, как в Париже (я так и подскочил при этих словах — они полностью противоречили тому, что мне сообщил в письме мой брат!), подвергла изучению его идеи.

Он самым решительным образом отверг женщину и все ее притязания.

Судьи некоторое время пребывали в замешательстве. Потом председательствующий произнес несколько слов, которые, ко всеобщему облегчению, подтвердили правомочия суда.

Шум, поднявшийся после вспышки Мейснера, еще не улегся. Женщина, плохо одетая и с виду очень усталая, так и стояла в растерянности у своей скамьи. Через некоторое время те, кто сидел сзади, стали дергать ее за юбку; она смущенно обернулась и опустилась на место, съежившись, чтобы не заслонять им происходящее.

Сидевшей рядом с ней девушке было, наверно, лет пятнадцать. Она, без сомнения, была слабоумной. Смотрела пустым взглядом прямо перед собой и все время улыбалась.

Теперь, когда я пишу эти заметки, слушание дела окончено. Я снова сижу у себя в комнате и слышу, как моя дочь негромко беседует со Штайнером. Они сидят в гостиной. Еще недавно она играла, теперь они беседуют.

Ту женщину из зала суда я привел к нам домой. Когда заседание окончилось, она уселась на лестнице у входа, дочь рядом с ней. Женщи-

на горько плакала. Я дотронулся до ее плеча и спросил, не хочет ли она поесть — может, это немного ее подбодрит. Продолжая рыдать, она встала и приказала дочери идти за ней.

Мы втроем направились к нам домой. Многие смотрели на нас с любопытством. Женщина передвигалась с трудом — она была на последних месяцах беременности.

Мы принесли им еду, они поели. Но когда мы предложили им ночлег, их почему-то охватила тревога. Я стал их убеждать, что до ближайшего города далеко и им не дойти туда засветло — уже вечерело.

Тогда они согласились у нас переночевать. Они лежат в каморке служанки. Одеты они в рубище.

Тут самое время упомянуть о том, что рассказал Готфрид Крамм. Историю эту я услышал вчера. Вот она.

Два месяца назад Крамму довелось присутствовать при лечении, которое Мейснер проводил в доме на углу Готшалькштрассе и Майцгассе. Там лежал больной мужчина. Мейснер его лечил.

Комната была скупо освещена, и по мере того, как сеанс продолжался, Мейснер становился все беспокойней и неприкаянней. Он то и дело озирался, спрашивал, не стоит ли кто за дверью, просил Ткача проверить, нет ли кого на лестнице, раздраженно потребовал, чтобы присутствующие затихли и был слышен каждый звук, а под конец вообще почти перестал обращать внимание на пациента. Тогда Крамм спросил, что его беспокоит.

— Сила ищет меня, — ответил Мейснер.

Никто не понял, что он хочет сказать. Пациент, на голени которого была большая трофическая язва, гноившаяся и источавшая зловоние, сделал попытку сесть. Быстро обернувшись к больному, Мейснер резко толкнул его в грудь правой рукой, так что тот откинулся назад. За окном поднялся сильный ветер.

Мейснер замер, прислушиваясь теперь только к звукам за окном. Он вслушивался в них сосредоточенно и напряженно. Ветер выл, присутствующие испуганно глядели на Мейснера. Окно обледенело. В последние месяцы его никто не открывал.

— Вот оно, — прошептал вдруг Мейснер.

Окно внезапно распахнулось, в комнату ворвался ветер. Мейснер громко вскрикнул и упал ничком. В комнате стало холодно, свечу задуло. Охваченные ужасом свидетели шумно двинулись к двери, пытаясь ощупью ее найти.

И вдруг ветер стих. Окно оказалось закрыто. Кто-то зажег свечу. Мейснер лежал на спине, раскинув руки, и улыбался, глядя в потолок. Ткач исчез. Пациент громко всхлипывал. Повязка на его ноге размоталась, и каждый мог увидеть его зеленую с изъеденными краями язву.

Мейснер продолжал лежать не шевелясь.

— Я звал ее, — промолвил он, — и она пришла. Потом я изгнал ее, и она исчезла. Я жив. Пациент жив. Можем начать сначала.

Тут в комнату вошел Ткач. Он, всхлипывая, подошел к своему господину и дотронулся до него. Мейснер медленно перевернулся на живот, встал на колени, потом поднялся во весь рост, снял с себя кожаный пояс и изо всей силы вытянул им Ткача по спине. Стоявший на коленях Ткач рухнул ничком.

Вот что рассказал Готфрид Крамм. Мне эта история совершенно не интересна, к тому же она наверняка выдумана, и я вообще не придал бы ей значения, если бы другой очевидец не подтвердил ее мне.

Этого другого звали Карл Мерингер.

Его рассказ начинается с того места, где кончается история Крамма.

Мерингер задержался в доме больного после того, как другие разошлись. В комнате остались только страдалец с язвой на ноге, Мейснер, Ткач и пожилая женщина, родственница больного.

Мейснер с Ткачом вышли в соседнюю комнату. Они просили, чтобы их оставили одних. Но Мерингер увидел их. Он подглядывал за ними в дверную щель.

Мейснер стоял на коленях посреди комнаты. Лицо его было спокойным, усталым и скорбным. Очертания крутых скул никогда не казались такими мягкими. Глаза у него были закрыты, в руках ремень, который он с себя снял. Он молча протянул его Ткачу. Ткач взял ремень. Тогда Мейснер знаком приказал Ткачу, чтобы тот начал его бить. После долгих колебаний Ткач повиновался.

Удары сыпались на плечи и на спину Мейснера, а он неподвижно стоял на коленях с закрытыми глазами. Вид у него был усталый и страдальческий. Он не произносил ни слова.

Произошло это за два месяца до суда.

Мерингер осмотрел оконную раму. Гвозди, которыми ее забили на зиму, были вытащены. То ли рукой человека, то ли какой-то другой силой.

Язва стала зарубцовываться. Слух о происшествии, об окне, о наступившей темноте, о чем-то, что искало Мейснера, по-видимому, широко распространился, хотя до моих ушей не дошел, а ведь мне следовало узнать об этом первому. Но я, Клаус Зелингер, обо всем узнаю слишком поздно. Никто не рассказал мне о том, что́ искало Мейснера. Никто не рассказал об ударах. Никто не дал мне осмотреть окно.

Никто не соблаговолил дать мне пережить внезапный страх, когда свет погас и стало темно и что-то посетило магнетизера.

Пациента с трофической язвой Мейснер лечил потом следующим образом. Мейснер внушал ему, что дьявола нет, есть только движение в самом пациенте, которое можно уподобить дьяволу. Движение это заперто, связано, точно закрытое окно. То, что произошло у них на глазах, было знаком. Пациент лежал и слушал, широко раскрыв глаза, он вдруг начал улыбаться, ожил, был счастлив. Он уснул спокойным сном и до самой кончины не причинял своим близким никаких хлопот.

Умер он за два дня до начала суда. Уверяли, что все это время он вел себя тихо, спокойно, часто улыбался, на боли никогда не жаловался. Часто слышали, как он говорит сам с собой, обращаясь в пустоту, не отводя взгляда от темного прямоугольника окна. Что он говорит, не понимал никто.

Умер он за два дня до начала суда. Никто не слышал, как это случилось. Еще накануне он говорил своим родным о Мейснере, повторял, что верит ему, что все зло раз и навсегда изгнано из его тела. Говорил, что счастлив. Они обнаружили его почти сползшим с кровати — голова безвольно склонилась к плечу, расширенные глаза уставились в пустоту.

На суде об этом случае ни разу не упомянули. Мне, Клаусу Зелингеру, этот рассказ только прибавил трудностей к тем, которых и без того уже довольно. Не знаю, почему умер этот больной. Не знаю, во что он

верил. История, рассказанная Готфридом Краммом, вызывает у меня сомнения — мне рассказали ее так много времени спустя, что она утратила все признаки правдоподобия. Я ничего не знаю об окне, об ударах ремнем и вообще о чем бы то ни было. Я сомневаюсь.

И все же я присоединил этот рассказ к другим свидетельствам. Они все лежат на мне бременем, карой за мою ограниченность, за недостаток восприимчивости. Меня там не было, это случилось без меня, и все же это меня касается.

Дочь заиграла снова. Я отбиваю такт ногой, я спокоен, хоть и устал, но я знаю: ничто не приходит извне, ни сумятица, ни спокойствие. Все уже было во мне самом, было все время. Я предъявил обвинение самому себе.

Думаю, жизнь — это соблазн, соблазн предпочесть красочное справедливому, изящное — неуклюжему. В этом свете вижу я теперь Мейснера, надежду, которую он мне дал. Я поддался Мейснеру, все мы всегда на короткое время будем ему поддаваться. А потом маятник качнется в другую сторону: весомое всегда побеждает легковесное.

Он не умрет, он будет жить. Он постоянно будет стоять перед нами, искусительный, убедительный, полный власти, которой наделил его наш восторг. И всегда найдутся люди, подобные Штайнеру, угрюмо неколебимые в свой борьбе против него, недоверчивые и спокойные, и другие, которые будут ждать, пока качнется маятник, а когда он качнется обратно, они все так же будут ждать, разочарованные тем, что им не удалось пережить упоение, недовольные собственным бесчувствием, но все же выжившие и никуда не девшиеся.

Мария играет, а мы сидим молча и слушаем ее — фортепианная пьеса по окончании рабочего дня. Музыка баюкает нас, и мы дремлем, и все уже позади.

Интерес публики к последнему дню судебного заседания оказался куда меньшим, чем я ожидал. Конечно, скамьи были заполнены, но у дверей народ уже не толпился. Двери были распахнуты, но рядом никого. Дополнив свои показания по одному вопросу, я вышел на лестницу глотнуть свежего воздуха и постоять на солнышке.

Я стоял на лестнице и смотрел на наш город.

Отец не раз рассказывал мне о том, как город выглядел, когда мы сюда приехали, — мне было тогда всего три года, и я мало что помню. Отец рассказывал, каким грязным, запущенным и убогим все ему тогда показалось. И как преобразился город за годы, что он в нем прожил, как выстроили новые дома, как все стало чистым и похорошело. Он ничего не говорил о том, как это преображение отразилось на людях, шли ли они в ногу с прогрессом. Если мы смогли поддаться человеку, который сейчас там, в зале, если у нас была в нем потребность, стало быть, что-то в нашем городе мы забыли построить.

Я глядел, как поднимающиеся с берега испарения стелются над городом: у берега стирали, кипятили воду в железных котлах и вальками выколачивали грязь. Я видел только клинышек моря, но мне казалось, я вижу все. Воду, темную, как всегда по весне, и полную подтаявших льдин, солнечные блики на воде, смех, мячиком скачущий по ее зеркалу, голоса, разносящиеся далеко вокруг, детей, играющих у кромки на берегу и шлепающих по воде длинными палками, их пронзительные ра-

достные крики; пар от котлов, который поднимался вверх и стлался над городом, над нашими красивыми домами и мощеными улицами, над красивой главной торговой площадью и недавно построенными новыми церквами, над нашими надуманными, безнадежными, неразрешимыми проблемами; он поднимался к солнцу, стлался над главной площадью и над ратушей, где я стоял, поднимался все выше, выше, становясь все реже, я его уже почти не видел; солнце, испарения и воздух, которым так легко дышалось, и небо, мглисто-голубое, светло-голубое, чистое, ясное.

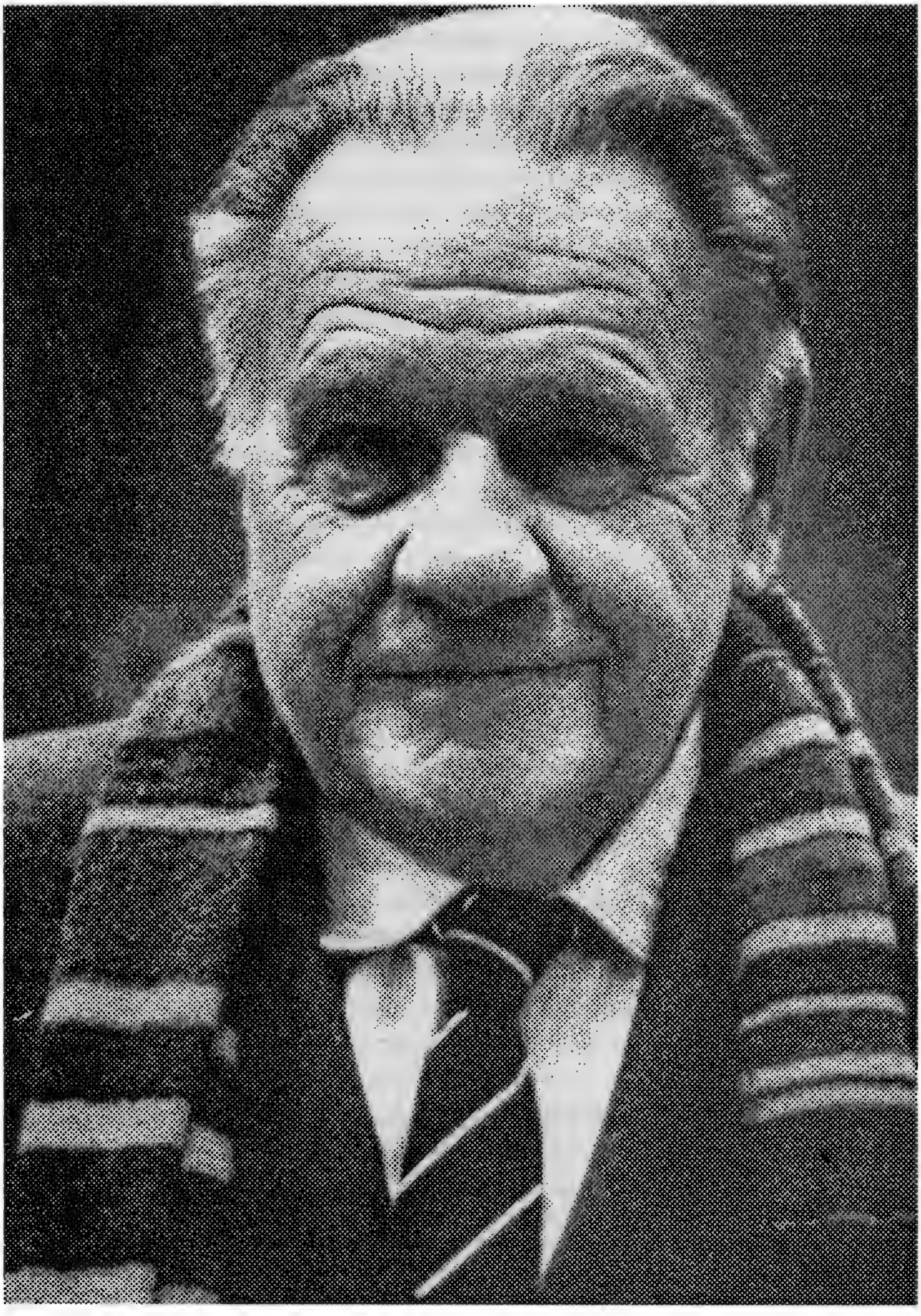
Я глубоко вздохнул и обернулся к двери. Вошел в нее. Когда я вошел, судебное заседание как раз закончилось.

Приговор еще не огласили.

Многие документы, касающиеся Фридриха Мейснера, предъявить невозможно: они возникли и исчезли в процессе написания этого романа о нем. Только некоторыми деталями сходен герой с Францем Антоном Месмером. Однако один из случаев, здесь описанных, – случай мадам Кайзер – частично основан на подлинном материале. Его можно найти в журнале, в котором в 1821 году последователь Месмера, врач П. Г. Седершёльд, вел записи историй болезни.

Автор

Лоренс Даррелл, или Путь эксцентрика



Вадим Михайлин
Портрет на фоне изменяющегося пейзажа

В конце августа 1935 года сорокачетырехлетний Генри Миллер, никем не принятый и не понятый – по крайней мере, в англоязычном мире, – получает письмо от такого же, как и он, безвестного писателя по имени Лоренс Даррелл. Дарреллу двадцать три года, он тоже литератор, хотя и не спешит в этом признаться, но самое главное – он в восторге от недавно изданного в Париже "Тропика Рака" и считает этот первый по-настоящему сильный роман Миллера лучшей книгой, вышедшей по-английски со времен окончания первой мировой войны. Лучшей, несмотря на то, что в полную силу работает все послевоенное поколение английских и американских "модернистов": Джойс, Уиндем Льюис, Хаксли, Вирджиния Вулф, Олдингтон, Гертруда Стайн, Шервуд Андерсон, Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек...[1]

Миллер пишет в ответ очень простое и теплое письмо, из которого сразу становится ясно – он признал в Даррелле родственную душу.

Так было положено начало долгой дружбе и такой же долгой – до самой смерти Миллера в 1990 году – переписке. Дружбе уникальной, поскольку все в ней было "по гамбургскому счету". В конце сороковых, дочитав до середины присланную Миллером по почте рукопись "Sexus", Даррелл пишет, что страшно разочарован, что книга плохая и безвкусная, что в ней есть очень хорошие куски, где чувствуется прежний Миллер, но даже и они теряются в бесформенном и нарочито непристойном материале: пошлость ради пошлости, совсем не то, что было в обоих "Тропиках" и в "Черной весне". Более того, дочитав рукопись до конца, он шлет Миллеру срочную телеграмму и просит, если еще можно, отозвать книгу из печати, потому что иначе репутация большого писателя будет безвозвратно утрачена. В этом нет ни тени рисовки, как нет и желания "уесть" бывшего (впрочем, весьма недолго остававшегося в этой роли) мэтра и наставника. Есть только искреннее беспокойство за друга, сделавшего, с точки зрения Даррелла, откровенно ложный шаг. Миллер отвечает – спокойный, уверенный в собственной правоте, как и в праве друга на собственное, пусть даже откровенно нелестное

© В. Михайлин, 2000

1. Английское слово modern в первой трети века ничего особенного, в общем-то, не означало и существовало для отграничения "современных", пишущих на новый лад (причем на свой собственный лад) литераторов, от "традиционных" Голсуорси, Уэллса и Беннета. Объединение таких разнородных фигур под общим флагом "модернизма" является, на мой взгляд, литературоведческой нелепостью (особенно если учесть, что под этот термин подверстывают также и неанглоязычных авторов, связанных как между собой, так и с англоамериканцами, чаще всего эпохой и общей наклонностью к пересмотру литературных и культурных норм XIX века, – Кафку, Пруста, Селина, сюрреалистов и т.д. – *прим. авт.*).

мнение о его новом детище. Ему удается, хотя и не сразу, убедить Даррелла в том, что книга написана именно так, как он того хотел, что никакой ошибки нет и что он, Миллер, остался верен себе. Ни обид, ни нареканий. И ни малейшего желания сглаживать углы.

В конце семидесятых адресаты меняются местами. Даррелл, которого во всем мире считают теперь одним из самых сильных современных писателей, живым классиком, стоящим едва ли не вровень с Джойсом, Прустом и Кафкой, посылает Миллеру, чья слава давно уже пошла на убыль, рукопись "Monsieur", первого романа из нового, еще более амбициозного, чем "Александрийский квартет", прозаического гиганта. И Миллер устраивает Дарреллу точно такой же дружеский разнос, какой и сам получил от него четверть века назад: книга скучная, бесформенная, отдельные хорошо написанные сцены не вытягивают общего целого... Даррелл уверен в собственной правоте. Миллер, прочитав "Ливию", второй роман "Авиньонского квинтета", немного сбавляет тон — спор при этом не прекращается, однако так и остается чисто творческим, ни капли не мешая дружбе оставаться дружбой.

Завязавшаяся в тридцать пятом году переписка между Парижем, где жил в то время Миллер, и Корфу, первым средиземноморским прибежищем Даррелла, значима не только в силу того, что она сама по себе — уникальный литературный факт, позволяющий следить за творческой лабораторией двух равновеликих писателей, а также и за фигурами, в той или иной степени входившими в их круг общения: Анаис Нин, Альфредом Перле, Т. С. Элиотом, Георгосом Сеферисом, Ричардом Олдингтоном и многими другими. Значима она еще и в силу элементарного, но весьма показательного факта: в середине тридцатых годов, как будто бы совершенно случайно, сошлись два литератора, разные по национальности, возрасту, жизненному опыту и пристрастиям и похожие только в том, что они вступили в литературу примерно в одно время и что у них обоих учились потом литераторы следующей, постмодернистской литературной революции. Причем у Даррелла — даже в большей степени, чем у Миллера.

Впрочем, об этом позже. А пока начнем с начала.

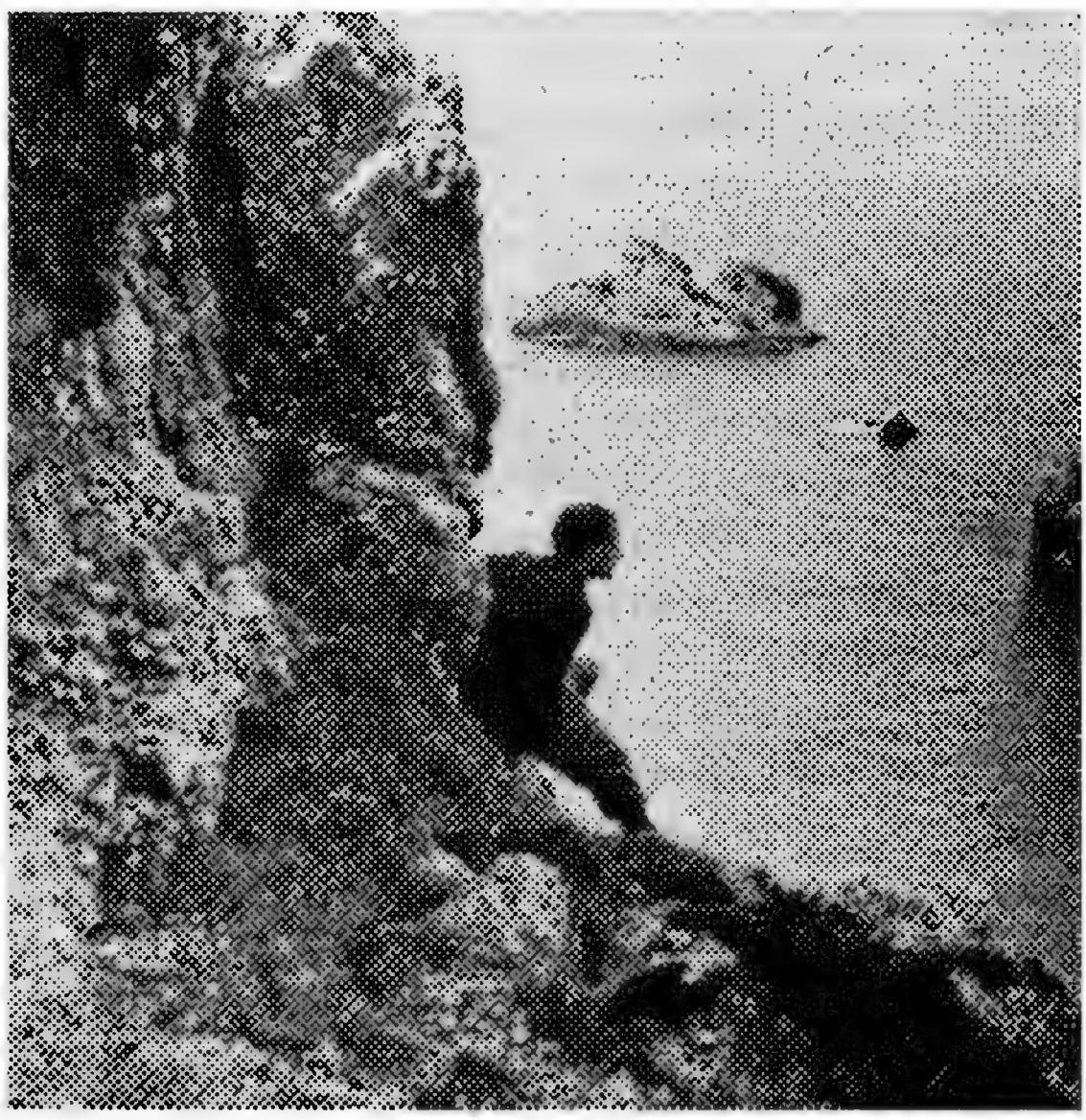
Лоренс Джордж Даррелл родился 27 февраля 1912 года в индийском городе Джаландхаре, в семье инженера, так сказать, потомственного колониального "столпа Империи". Джаландхар стоит едва ли не у самого подножия Гималаев, и образ скрывающих горизонт священных гор станет в дальнейшем одним из ключевых "внутренних" образов Даррелла. Впоследствии александрийский период 1941-1945 годов будет мучителен для него также из-за "плоского аллювиального пейзажа", в который вписана эта "столица памяти", мучителен вполне в духе теорий любимого Дарреллом Карла Гроддека, склонного привязывать человеческое бессознательное к гео— и топографии. И оттого в 1945 году с такой радостью Даррелл уедет из Александрии на Родос, где, кроме собственных гор, есть в восемнадцати километрах гористый турецкий берег, задающий доминанту пейзажу. Англия также не вызовет у него никаких родственных чувств. Климат, скука, разговоры о погоде и всеобщая "непропеченность" — вот основной список претензий. Но в гористой Шотландии, где климат тоже отнюдь не средиземноморский, а скуки ничуть

не меньше, чем в "культурных" южных графствах, Даррелу, против ожидания, понравится.

Когда Лоренсу минуло одиннадцать лет, родители отправили своего первенца в метрополию, получать приличествующее будущему колониальному государственному служащему образование. Но мальчик не хотел быть колониальным госслужащим. И получать надлежащее образование тоже не хотел. К восемнадцати годам, когда настало время поступать в университет (родители слали из Индии соответствующие по тону и содержанию письма), Даррелл окончательно уверился в том, что он писатель и что университеты ему ни к чему.

Начало тридцатых годов проходит в неустроенности и постоянном безденежье. Даррелл пробует зарабатывать на жизнь журналистикой, потом устраивается тапером в ночном клубе, пишет джазовые песенки, но сводить концы с концами ему удается далеко не всегда. Впрочем, до поры до времени такая жизнь его вполне устраивает. Он уверен, что знает, зачем ему все это нужно: богемный образ жизни, случайные заработки, беспорядочное самообразование, смена жилищ, бесконечный поток новых знакомых. Он вынашивает планы. Нэнси, будущая первая жена непризнанного гения, также появляется на его горизонте именно в этот период. "С деньгами не умели обращаться ни она, ни я, и все же вместе мы обходились немного лучше, чем порознь". Это из "Жюстин", первого романа "Александрийского квартета", о самом начале взаимоотношений героя по имени Л. Г. Дарли и его бледной (на общем ярком экзотическом фоне) возлюбленной.

Будущий писатель пишет. И даже издается. Сперва появляется "Причудливый фрагмент" – сборник стихов, которые больше говорят о начитанности, творческих амбициях и пестрых литературных пристрастиях автора, нежели об истинном уровне его мастерства. Впрочем, первые, изданные за свой счет сборники начинающих поэтов редко бывают другими. Затем "Бромо Бомбаст" – злая, вполне в духе молодого Байрона пародия на современного литературного мастодонта, властителя дум всей прогрессивно мыслящей английской интеллигенции, великого Джорджа Бернарда Шоу, фабианца и пророка, чьи мессианские замашки вкупе с откровенно слабой драматургией (а влюбленный в елизаветинцев юный Даррелл сравнивает их технику с техникой мэтра) вы-



Лоренс Даррелл на Корфу, 1937 г.

зывают в авторе разлитие желчи. Чего стоит один только псевдоним, под коим сей опус выходит в свет, – Гэффер Пислейк, где Гэффер – просторечное "папаша", а Пислейк – не слишком пристойное слово.

К концу 1934 года появляется наконец перспектива более или менее серьезного литературного заработка. Или, вернее, окололитературного. Потому что Даррелл, понимая, что "легкую" прозу он может писать ничуть не хуже, чем десятки преуспевающих коммерческих авторов вроде Майкла Арлена или Алека Во, усаживает себя за стол и производит на свет "Хамельнскую дудочку любви", которую вскоре принимает к печати довольно известное издательство "Кэссел". И не только принимает, но и выплачивает автору аванс. А элиотовский "Фейбер энд Фейбер", вдохновленный примером "Кэссела", подписывает с Дарреллом контракт на три его следующих романа. И тоже готов заплатить аванс. Издательство "Фейбер" заодно с Т.С. Элиотом, его главным редактором, Даррелл после этого надолго перестанет уважать. До тех пор, пока не познакомится с Элиотом лично, не отдаст должное разнице между издательскими и творческими интересами крупнейшего поэта и не поймет, сколь плодотворным и мощным может оказаться влияние его поэтики на собственную – уже серьезную – даррелловскую прозу.

Однако денежные авансы оказываются весьма кстати. Даррелл, никогда раньше не державший в руках такой суммы, не теряет тем не менее головы и не пускается во все тяжкие – несмотря на демонстративно богемный образ жизни. Он решает убить сразу всех зайцев. Во-первых, чтобы писать подолгу и всерьез, необходимо где-нибудь себя запереть от многочисленных знакомых и продолжать общаться с ними разве что по переписке. Во-вторых, место, где ему предстоит творить великие шедевры, должно быть по возможности дешевым – чтобы авансов хватило на максимальный срок. В-третьих, если уж он собрался торговать своей бессмертной душой ради бренных материальных интересов, то делать это нужно с удовольствием, то есть место само по себе должно служить наградой за неизбежные душевные издержки.

По всем вышеперечисленным причинам Англия, и без того уже изрядно надоевшая, исключалась однозначно. Даррелл перебирает варианты и останавливается в конце концов на Греции, которая существовала в те благословенные годы на правах дальних задворков Европы и ничем не напоминала нынешнюю туристическую сверхдержаву. Он уезжает в Грецию, останавливает свой выбор на Корфу и постепенно перевозит туда все свое многочисленное семейство: жену, мать, младших братьев и сестру. Этот период жизни Даррелла – пожалуй, единственный более или менее знакомый отечественному читателю период. Знакомый, потому что Джеральд Даррелл, младший из братьев, которому в ту пору было лет десять-одиннадцать, повзрослев и став профессиональным звероловом, тоже стал писать книги. И одной из его книг была "Моя семья и звери", неоднократно издававшаяся в бывшем СССР и в свое время весьма у нас популярная. Юмор у Дарреллов – также чувство семейное, как, впрочем, и склонность к крайне субъективной оценке происходящего: Ларри в книге Джеральда Даррелла – персонаж сугубо комедийный и не слишком приятный. Хотя, возможно, это всего лишь попытка отплатить за постоянные насмешки по поводу любви Джеральда к "братьям нашим меньшим".

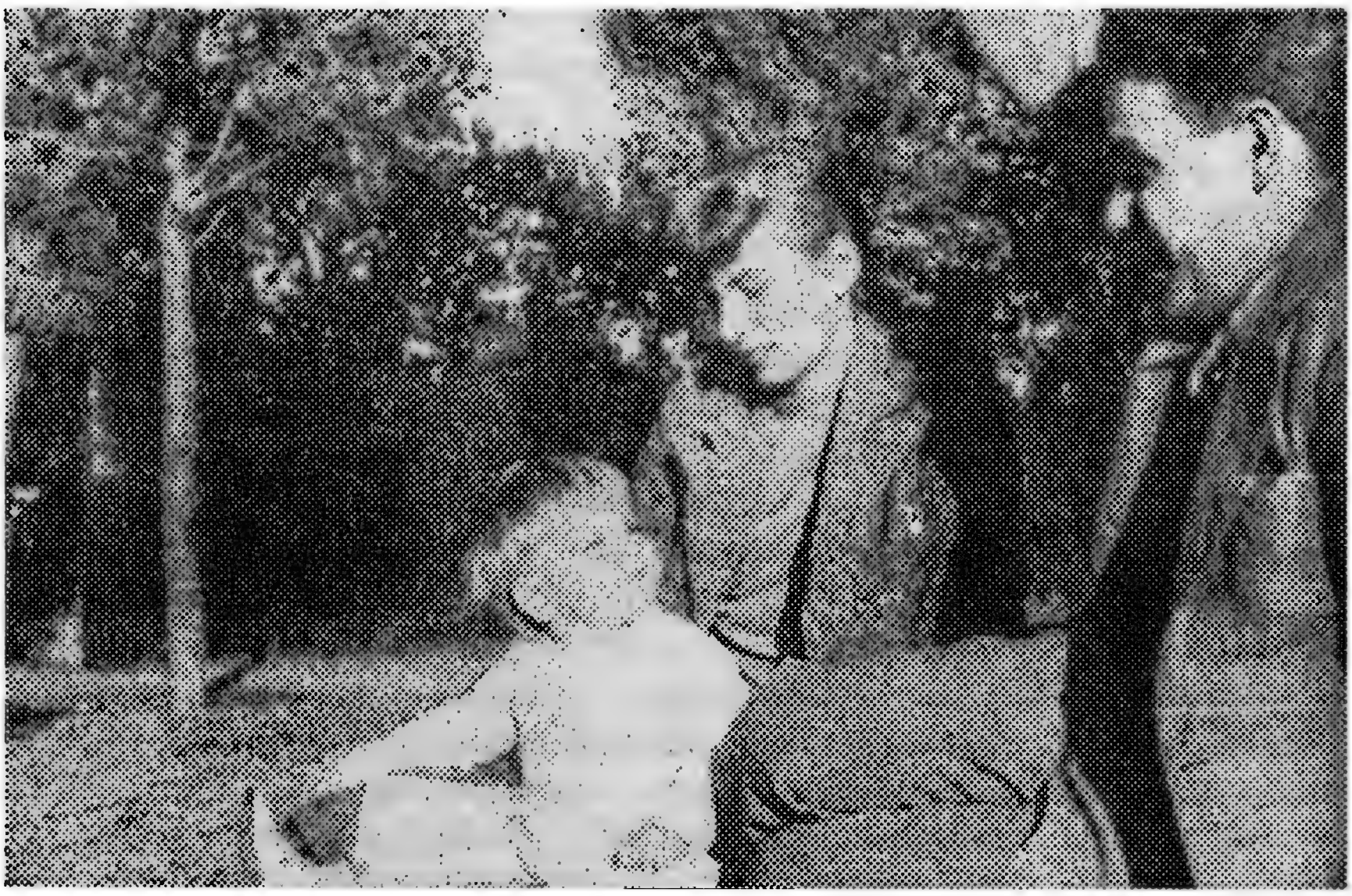
Итак, Даррелл поселяется на Корфу и начинает отрабатывать авансы. 17 октября 1935 года "Кэссел" выпускает из печати "Хамельнскую дудочку любви", а Даррелл уже трудится над первым из трех обещанных "Фейбер энд Фейбер" романов, название которого, "Panic Spring", содержит непереводимую на русский игру смыслов: здесь разом и "паническая", то есть находящаяся под покровительством греческого бога Пана, весна – и пружина катапульты, выбрасывающей в случае опасности летчика из кабины. Впрочем, заряда и запала хватает ненадолго. Творческие амбиции, подогретые знакомством – сперва по переписке, а затем и личным – с Миллером, берут верх. И Даррелл параллельно с "Панической пружиной" начинает писать свой первый по-настоящему серьезный роман, "Черную книгу", книгу очень молодую и неровную, в которой всякий мало-мальски искушенный читатель сразу же заметит следы наиболее значимых для молодого Даррелла влияний (Лоуренс, Миллер, Элиот времен "Пруфрока" и "Бесплодной земли"), но при этом, несомненно, книгу сильную и свежую, которая позволила всем желающим понять, что отнюдь не легкая проза составляет призвание этого молодого амбициозного автора, уже привыкшего раздавать направо и налево самые уничижительные характеристики своим коллегам по ремеслу.

Миллер, получив в Париже сперва короткое эссе о "Гамлете" (в ноябре 1936-го), а потом рукопись "Черной книги" (в начале 1937-го), окончательно уверяется в том, что перед ним настоящий, большой писатель, и начинает рекомендовать его всем своим многочисленным парижским и американским знакомым. Его не останавливают даже манерные выходки молодого Даррелла, который принципиально не желает печатать свои тексты под копирку и потому неизменно отправляет единственный экземпляр оригинала (эссе о "Гамлете" было написано красными чернилами на огромном, разлинованном от руки листе бумаги) по почте с просьбой к Миллеру прочесть, а если не понравится, то выбросить в мусорную корзину и забыть – или (как в случае с "Черной книгой") переслать, если выдастся время, в "Фейбер". Миллер не только ничего не выбрасывает, но сам садится за машинку, усаживает за машинку Анаис Нин и еще нескольких друзей, чтобы перепечатать тексты, да еще и пытается заинтересовать Даррелом знакомых издателей.

Восьмого марта 1937 года он пишет Даррелу восторженное письмо, а через пять дней, дочитав книгу до конца, – еще одно, не менее восторженное, которое заканчивает на самой жизнеутверждающей ноте. Гений состоялся. К черту деньги и договоры с "Фейбер". Ответа Миллеру приходится ждать до конца июля, и ответ приходит весьма неожиданный. Несмотря на неровный – и довольно нервический – тон, суть письма – четко выстроенная и обдуманная позиция: Даррелл не собирается спешить. Более того, он твердо уверен в том, что постоянно работать на уровне "Черной книги" он не сможет и что помимо высокой прозы, помимо уже вырисовывающихся на горизонте "Книги мертвых" (из которой получится впоследствии "Александрийский квартет") и "Книги чудес" он намерен и дальше производить на свет "литературу" разного плана, хотя бы для того, чтобы не потерять контакт с действительностью и с потенциальным широким читателем.

Здесь начало той загадки, которую Даррелл представлял и до сих пор представляет и для критиков, и для читающей публики. Кто же он

на самом-то деле такой? Ловкий литературный шарлатан не выше какого-нибудь Колина Уилсона, сумевший в конце пятидесятых угадать резкий поворот вкусов читающей публики и выплыть к олимпийским высотам на волне нарождающегося раннего постмодернизма? Но тогда зачем было писать "Черную книгу", которая по части успеха не принесла автору ничего, кроме неприятностей? Почему было не продолжить начавшуюся в конце тридцатых годов и вполне перспективную карьеру коммерческого литератора? Зачем было двадцать лет ждать звездного часа, наступившего лишь в 1957 году? И зачем еще через двадцать лет, уже имея за плечами номинацию на Нобелевскую премию, гигантские тиражи и прочие атрибуты успеха, упрямо выпускать под старость том за томом "Авиньонский квинтет" — книгу, которую вряд ли кто-нибудь, кроме специалистов и горячих почитателей, дочитает до конца? Или он все-таки гений, как определил Миллер в 1937 году? Писатель, которому было уготовано место четвертого в великой обойме Джойс—Кафка—Пруст? У которого учились и продолжают учиться ведущие мастера современной литературной традиции, скажем Джон Фаулз, чей знаменитый "Волхв", по сути, есть всего лишь изрядно затянутая вариация "Александрийского квартета". Но тогда непонятно, зачем нужен был поток пусть крепкой и перекликающейся с великолепной стилистикой "Квартета", но все же ординарной, вроде хороших ординарных вин, путевой прозы? Зачем юмористические рассказики из дипломатической жизни? Пусть неплохо сбитые, но какие может написать каждый средний литератор. Зачем понадобилась дилогия "Восстание Афродиты", сделавшая бы честь тому же Колину Уилсону? Зачем, как выразился Миллер, "стишки", и драмы в стихах, и киносценарии, и эссе, и интервью для светских журналов, и... По меткому замечанию одного не слишком расположенного к Даррелу критика, единственный жанр, в котором автор "Александрийского квартета" себя не попробовал, — это жанр оперного либретто. "Для упражнения для забавы для денег для мо-



Пенелопа, Нэнси и Лоренс Даррелл, 1941 г.

Вадим Михайлин. Портрет на фоне изменяющегося пейзажа

их подружек", – как напишет он сам восемью годами позже (5 мая 1945 года) в александрийском письме к Элиоту.

Однако вернемся к биографической канве. Летом тридцать седьмого года Даррелл едет в Лондон, и конечно, через Париж. В Париже, добавив к заочным литературным впечатлениям неотразимое личное обаяние, великолепный талант рассказчика и воистину непревзойденное чувство юмора, он окончательно влюбляет в себя Миллера, Анаис Нин и всю прочую компанию из дома номер восемнадцать по улице Сёра. Миллер с готовностью расстается с ролью *cher maître* (каковое словосочетание останется в ходу лишь в качестве шутливого обращения); два реформатора англоязычной словесности уравниваются в правах и фигурально – если воспользоваться не применимой к английскому способу говорения русской реалией – переходят на "ты". Даррелл обещает вернуться на виллу Сёра и отправляется в Лондон выяснять отношения с "Фейбер энд Фейбер".

"Фейбер", как и следовало ожидать, "Черную книгу" печатать отказывается, хотя и не возражает против ее публикации в другом издательстве, поскольку "право первой ночи" соблюдено. Как объясняет Дарреллу Элиот, публикация не состоялась исключительно из-за нежелания его издательства вступать в конфликт со строгой английской цензурой. Свое нелестное мнение об Элиоте как о человеке и редакторе Даррелл меняет на прямо противоположное; в свою очередь, Элиот и раньше был к Дарреллу неравнодушен, а о не принятой к печати "Черной книге" отозвался однажды в письме к ее автору как о "единственной книге молодого английского писателя, которая помешала окончательно разувериться в будущем отечественной прозы".

Обратная дорога лежит опять-таки через Париж, где Миллер, Перле и Нин затеяли разом издание журнала "The Booster" ("Толкач") и книжной серии – "Серия виллы Сёра". Даррелл, вкусив для разнообразия парижской богемной жизни, уезжает к себе на Корфу, а в "Серии виллы Сёра", наряду с "Зимой в Африке" Анаис Нин и "Максом и белыми фагоцитами" Миллера выходит в 1938 году "Черная книга". Чуть позже Миллер и Нин уламывают Джека Кэхейна, владельца скандально известного издательства "Обелиск-пресс", опубликовать книгу еще раз. Широкого резонанса, однако, несмотря на все их старания, роман не получает и денег не приносит тоже. Чего, впрочем, от него никто и не ждал. От фейберовских авансов кое-что остается, и Даррелл зовет всю честну́ю компанию к себе в Грецию, обещая райскую жизнь и отдых от столичной суеты. В июне 1939-го на Корфу приезжает Миллер, и следует путешествие по Греции, начиная с Афин, где Даррелл знакомит Миллера с Георгосом Кацимбалисом и Георгосом Сеферисом – гениальным рассказчиком, прообразом миллеровского "Колосса", и гениальным поэтом, будущим Нобелевским лауреатом.

Расстанутся они только 26 декабря 1939 года в Триполисе, на Пелопоннесе, чтобы в следующий раз увидеться почти через тридцать лет. Начинается – или, по крайней мере, официально объявлена – война. Деньги тоже как-то сами собой подходят к концу. Даррелл предлагает свои услуги греческому представительству Британского совета. Он неплохо владеет новогреческим языком и, несмотря на неподобающий род занятий и образ жизни, обладает определенными организаторскими способностями, к тому же умен, наблюдателен и хорошо разбирает-

ся в местной политической и культурной ситуации. Британский совет поручает ему несколько неожиданную работу: возглавить находящуюся под его культуртрегерским патронажем школу в Каламате, на юге Пелопоннеса, в самой глуши. Однако в делах международных культура и разного рода гуманитарные акции всегда были наилучшим прикрытием для совсем другой деятельности. Очевидно, именно в это время и именно в силу перечисленных выше качеств на Даррелла обращает внимание английская разведка, что очень скоро отразится на его дальнейшей судьбе, а некоторое время спустя — и на его книгах.

Все греческие друзья Даррелла (Сеферис, Кацимбалис, Теодорос Стефанидес) идут добровольцами в армию и принимают активное участие в боевых действиях — сперва в разгроме итальянцев в ходе Албанской кампании, а с апреля 1941 года — в отчаянном сопротивлении неудержимому немецкому наступлению. Даррелл учит детишек в Каламате английскому языку и литературе, нянчит только что родившуюся дочь, следит за пролетающими время от времени немецкими бомбардировщиками и наведывается, как только выпадает такая возможность, в опустевшие Афины.

За три дня до прихода немцев в Каламату, 25 августа 1941 года, Даррелам удается уехать из Греции на случайной кайке, экипаж которой состоит по преимуществу из не подчиняющихся ничьим приказам солдат разгромленной греческой армии. Кайка идет на Крит, но только по ночам, чтобы избежать встреч с немецкими "штуками", которые в то время бомбили любое замеченное судно, поскольку немецких и итальянских судов в этом районе Средиземного моря заведомо не было. Однако и по ночам идти немногим безопаснее, поскольку судно допотопное и из трубы вместе с дымом сыплется целый сноп искр, очень хорошо заметных и с воды, и с неба.

С Крита, опять-таки едва ли не в последнюю минуту перед тем, как немцы осуществили одну из своих дерзких десантных операций, Даррелы уезжают в Египет, в Каир. По дороге происходит разрыв между супругами ("просто война" — как позже лаконично объяснил в письме к Миллеру Даррелл), и Нэнси с годовалой Пенелопой уезжает в Иерусалим. Даррелл пытается — уже во второй раз — вступить в английскую армию, однако у правительства свои планы на этого, уже успевшего себя зарекомендовать в "культурной" деятельности, молодого литератора. И буквально через месяц он оказывается в Александрии, в должности пресс-офицера, и вступает в один из самых, наверное, сложных периодов своей жизни.

Он ненавидит Александрию. Здешний пейзаж, здешние нравы, работу, которую ему приходится выполнять, беспросветность затянутого тоской и неприкаянностью горизонта. Из Иерусалима — ни весточки. Разрыв окончательный и обжалованию не подлежит. Следующая встреча с дочерью состоится только через шестнадцать лет, но об этом Даррелл пока, естественно, ничего не знает. Он пускается во все тяжкие, и богемная лондонская юность повторяется почти зеркально, с той разницей, что сам он стал на десять лет старше, а Александрия никак не Лондон.

Старая и не раз успевшая скомпрометировать себя теория насчет того, что художник должен быть несчастлив, чтобы творить, к Дарреллу имеет самое непосредственное отношение. Только он тугодум. И на

то, чтобы острый эмоциональный опыт, отстоявшись, обрел внутреннюю художественную структуру, у него уходит не год и не два. Для непосредственного самовыражения существуют "стишки", которые он готов выплескивать снова и снова. Но колоссальное внутреннее напряжение александрийской поры должно пройти очистку и закалку памятью, должно освободиться от всего ситуативного, случайного, обрасти — на совершенно "александрийский", если иметь в виду эллинистическую традицию, манер — множеством значимых культурных отсылок, чтобы в итоге (через пятнадцать лет!) дойти до точки кипения. В 1957 году Даррелл сядет и, "не отрывая пера от бумаги", согласно банальной романтической формуле (а как он любил банальные романтические формулы!), перепишет набело уже сложившийся, уже готовый "Александрийский квартет". Пока же — несчастливость, ругина и "стишки".

Впрочем, быть несчастным по Дарреллу отнюдь не означает всеобъемлющего немецко-романтического Weltschmerz. Радости жизни, а-то: вино, литература, море, женщины и так далее — составляют непременный контрастный фон для личной неустроенности (вот, кстати, один из секретов потрясающей психологической притягательности "Квартета"). А поскольку состояние влюбленности — главный ключ к упомянутым радостям жизни, то многочисленные быстротекущие романы удивительно скоро приводят Даррелла к главной его александрийской любви, к Эве Коэн по прозвищу Цыганка, что, впрочем, лишь отчасти сокращает число быстротекущих романов.

"Жюстин", первый роман "Александрийского квартета", Даррелл посвятит Эве Коэн. Она действительно ключевая фигура и в этом романе, и в "Квартете" вообще. Центральный и весьма противоречивый женский персонаж, Жюстин, александрийская еврейка с тяжелой наследственностью, трудным детством и бурной юностью, с достаточно тяжелым психическим расстройством и неутолимой тягой к поискам истины, — этот персонаж сознательно и старательно списан именно с нее. Но не только он один. Мелисса, вторая, "параллельная" любовь Л. Г. Дарли — гречанка, проститутка, наркоманка, танцовщица ночного клуба и воплощение греческой "агапе", — тоже Эва Коэн. Только другая, греческая ее половина (мать Эвы была гречанка из Смирны, родного города Мелиссы). А у старого меховщика и двойного агента, чьей содержанкой была Мелисса до роковой встречи с Дарли, весьма знакомая фамилия: Коэн. Да и Лейла Хознани, если вдуматься, да и сама Александрия в ее женской и "софийной" ипостаси — все это Эва Коэн.

Но до столь прихотливого сплетения сюжетов, персонажей, образов и сцен пока еще очень далеко. Пока Даррелл только и мечтает, как бы вырваться из ненавистного города, этой, говоря словами из "Квартета", "суки среди городов". И как только ему представляется возможность перебраться "на нужный берег Средиземного моря", он незамедлительно ее использует.

Осенью 1945 года он добивается поста "офицера по связям с общественностью" на Родосе, что предполагает собственный штат сотрудников, собственную типографию и возможность выпускать любую печатную продукцию на любых языках.

Коэн, "с ее семью языками", следует за ним в качестве личного секретаря, причем для этого приходится в буквальном смысле слова похищать ее из дома, поскольку отец и слышать не хочет об отъезде дочери

из Александрии с англичанином, который ей пока не муж и который, между прочим, формально еще не разведен с Нэнси (сюжет Мелисса — меховщик Коэн в "Квартете").

Даррелл и Эва Коэн поселяются на вилле "Клеоболус" — в маленьком аккуратном четырехкомнатном домике, окруженном зарослями бугенвиллеи и расположенном на старом турецком кладбище. Греческое море, греческий воздух, греческая речь и греческое вино: Даррелл отдыхает душой и телом, несмотря на довольно напряженную работу. Наброски к "Книге мертвых" становятся все обширнее, и все явственней в них начинает проглядывать будущий "Квартет", да и место действия окончательно и бесповоротно перемещается из Греции в довоенную и военных времен Александрию.

Даррелл теперь довольно крупная по местным меркам фигура, и это, помимо приличного жалованья и массы обязанностей, имеет еще один немаловажный смысл. Он искренне надеется, что солидный пост на Родосе послужит мостиком для перевода в Афины, на должность не менее денежную и престижную, но поближе к Сеферису, Кацимбалису и к прежней греческой жизни. Однако в британском посольстве в Греции у него есть недоброжелатель, развязывается настоящая канцелярская война, в которой менее искушенный Даррелл проигрывает по всем позициям, из-за чего на успешной дипломатической карьере при британской миссии в Греции приходится поставить крест. Он вынужден сперва вернуться в Англию, а потом на год (с декабря 1947-го по декабрь 1948-го) подписать унизительный — после родосских высот — контракт все с тем же Британским советом и уехать в Аргентину преподавать в провинциальном университете английскую литературу.

Потом следует возвращение в Англию и попытка получить новое назначение поближе к Средиземноморью по линии все того же Британского совета, которому, как он полагает, ничто не мешает послать его во Францию или в Грецию. В результате — с июня 1949-го по конец 1952 года — он занимает пост пресс-секретаря в британском посольстве в Белграде.

Коммунистическая послевоенная Югославия произвела на Даррелла неизгладимое впечатление, которое послужило причиной резкой и окончательной смены политической ориентации. Если до конца сороковых он скорее склонен сочувствовать левым, как то и должно английскому интеллигенту поколения двадцатых — тридцатых годов, если, приехав в 1947 году в Англию, восхищается успешной политикой нового лейбористского правительства, то отныне он консерватор и антикоммунист.

Должность пресс-секретаря посольства позволяет совмещать достаточно высокий дипломатический статус с гораздо более свободным, чем у прочих коллег по цеху, "распорядком". С одной стороны, Даррелл снова становится весьма заметной в местном дипломатическом мире фигурой — он удостоен личной аудиенции у маршала Тито, принимает самое активное участие в организации исторического визита сэра Энтони Идена в Белград и вообще разворачивает в пределах британской миссии весьма активную и разнообразную деятельность. С другой стороны, он практически беспрерывно колесит по всей стране с некими туманными культурно-дипломатическими целями, что лишний раз дает повод заподозрить в нем отнюдь не только пресс-секретаря.

На писательство, судя по количеству проделанной на благо родины работы, вовсе не должно бы оставаться времени. Однако за время службы в белградском дипкорпусе Даррелл пишет (на основе прочитанных в Аргентине лекций) литературоведческую книгу "Ключ к современной поэзии" и стихотворную драму из греческой истории "Сапфо", и это не считая всяческих мелочей вроде откровенно антикоммунистического фарса на сюжет "Красной Шапочки", поставленного силами сотрудников британской миссии на радость самим себе и избранным гостям. В 1950 году в Оксфорде появляется на свет его дочь Сапфо, и Даррелл, уже успевший поднакопить за истекший период весьма солидную, на его взгляд, сумму, начинает подумывать о том, чтобы свернуть затянувшийся роман с министерством иностранных дел и вернуться к счастливой жизни вольного литератора, имеющего в своем распоряжении издателя в Лондоне и дом где-нибудь на берегу Ионического моря. К 1952 году эти планы превращаются в навязчивую идею — он задыхается в Югославии, а эмбрион "Книги мертвых" все настойчивее заявляет о своем желании развиваться. Дарреллу как воздух нужна свобода, нужен досуг, нужен свой дом, и теплое море, и стакан холодной горьковатой греческой рецины душным вечером на террасе, рядом с пишущей машинкой.

Контракт с министерством заканчивается в 1952 году, и Даррелл любовно и тщательно строит планы на следующий, 1953-й. Он обещает себе "golden year" — золотой год: уйти со службы, купить дом и засесть за "Книгу мертвых". Однако перед самым отъездом из Югославии у Эвы случается нервный срыв, ее приходится отправить на лечение в Англию, и он, естественно, едет следом за ней. Месяц за месяцем проходят в полной неопределенности — психическое состояние Эвы не улучшается. Потом врачам удается убедить Даррелла в том, что от его присутствия Эве нет никакой пользы, и в марте 1953 года он, взяв с собой дочь, отправляется на Кипр.

На острове ему удается достаточно быстро и достаточно дешево купить подходящее жилье в горной деревушке Беллапаис, неподалеку от Никосии, и он с головой уходит в перестройку старого турецкого дома в будущую штаб-квартиру будущего великого писателя. Денег у него, как между тем выясняется, вовсе не так уж и много. Эва понемногу идет на поправку, но врачам приходится платить, и платить щедро. Кипр переживает период строительного бума, и на камень, трубы, цемент и дерево, не говоря уж о каменщиках и водопроводчиках, тоже уходят кругленькие суммы. За полгода от накопленных денег не остается и следа, и Даррелл вскоре вынужден взяться за привычную рутинную работу: преподавание английского языка и литературы в никосийской гимназии для девочек. Тем временем ситуация на Кипре обостряется до предела, и его, как кажется совершенно внезапно, приглашают на другую, столь же привычную, но куда лучше оплачиваемую работу: возглавить пресс-службу местной британской администрации.

Согласно "официальной" версии, отраженной в письмах и в книге "Горькие лимоны", написанной по горячим следам кипрской эпопеи, для Даррелла его личное активное участие в затяжном конфликте (который начался с акций гражданского неповиновения и террористическо-партизанской войны греков-киприотов против британской колониальной администрации, а затем перерос в гражданскую войну между

греческой и турецкой общинами) было полной неожиданностью. Он приехал на Кипр писать и радоваться жизни. Но сразу возникает ряд вопросов, ответы на которые грозят не оставить от этой версии камня на камне.

Во-первых, довольно странным представляется сам выбор места для "золотого года". Кипр не Греция, и Даррелл сам неоднократно подчеркивал различия между ними, причем никак не в пользу Кипра. Он, по горло сытый Левантом, вряд ли мог всерьез мечтать о том, чтобы навсегда пустить корни на этом, пусть в основном и грекоговорящем, но все же, по сути, совершенно ближневосточном острове. Почему же не знакомый и любимый Корфу, не Родос, где осталось столько добрых друзей, не Пелопоннес, наконец, и не Афины, куда уже давно вернулись и давно зовут Даррелла в гости и Сеферис, и Кацимбалис, и вся столь желанная и близкая ему компания? И почему такая спешка, заставившая бросить в Англии больную и все еще любимую жену и ехать именно на Кипр? Обширнейший круг знакомств, которые сразу же завязываются на острове, удивлять вроде бы не должен: Даррелл всегда был человеком весьма общительным, очень быстро сходился с людьми и мог очаровать кого угодно при любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах. Но уж очень это похоже на целенаправленную и упорную работу по созданию сети информаторов как в греческой, так и в турецкой общине. Для человека, официально числящегося на британской государственной службе, подобное в тогдашней непростой обстановке было бы практически невозможным, а вот для писателя на вольных хлебах, для свободно говорящего по-гречески весельчака, балагура и просто рубахи-парня, который знает, как наладить долгие и прочные дружеские связи, — пожалуйста, ведь и греки и турки всегда были людьми гостеприимными и всегда очень высоко ценили дружбу. И еще одна деталь: Даррелла в его кипрском уединении навещает, естественно, нескончаемый поток старых знакомых. Но среди этих старых знакомых подозрительно часто мелькают разведчики-профессионалы, из тех, кто в период немецкой оккупации Крита создавал там диверсионно-партизанские отряды: Ксэн Филдинг, Пэдди Ли Фермор и другие. То есть специалисты по горной партизанской войне — только на сей раз воевать приходится не вместе с греками, а против греков.

Лоренс Даррелл разговаривает с Эвангелисом – "мусорщиком с лицом святого". Корфу, 1965 г.

"Приглашение" Даррелла на высокий официальный

пост при британской колониальной администрации (причем сразу на самый верх, минуя все промежуточные стадии, так что вчерашнее частное лицо в одночасье становится одним из главных игроков на кипрской политической арене) в этом контексте, вероятно, имеет смысл считать просто легализацией резидента, выполнявшего до сей поры все ту же привычную работу по "связям с общественностью", только на другом уровне. Легализацию тем более своевременную, что для ЭОКА, партизанско-террористической организации националистического толка, его инкогнито, видимо, уже перестало быть таковым. "Близко знакомые" с ним греки погибают, если верить самому Даррелу, без всяких видимых на то причин, а потом и с ним самим происходит какая-то темная история, которую можно интерпретировать и как попытку покушения. Жить в Беллапаисе становится явно небезопасно, и Даррелл окончательно перебирается в столицу.

Родственников (а за прошедшие два года на Кипре успели побывать и маленькая Сапфо, и ее бабушка, спешно выписанная из Англии для ухода за ребенком, и даже брат Джеральд, тут же наводнивший дом в Беллапаисе всякой живностью) постепенно переправляют обратно в метрополию, ситуация с Эвой, несмотря на периодические улучшения ее психического состояния, становится все более и более сложной — особенно после приезда на Кипр, закончившегося очередным нервным срывом, — и Даррелл снова оказывается в ситуации вынужденного одиночества, которое скрашивают и даже делают желанным два "параллельных" обстоятельства. Во-первых, он, каким-то невероятным образом выкраивая по нескольку часов в день (а вернее, в ночь), пишет "Жюстин", первый роман своего главного прозаического гиганта, который называется уже не "Книга мертвых", а "Александрийский квартет". К январю 1956 года заканчивает работу над рукописью (и тут же, в силу старой доброй традиции, отсылает ее в Калифорнию Миллеру). А во-вторых, он знакомится с журналисткой и писательницей по имени Клод Вансендон, которая становится прообразом самой светлой героини "Квартета", Клеа Монтис, и с которой он наконец, впервые за много лет, по-настоящему счастлив.

Вот здесь и наступает подлинный перелом. Он знает, что написал гениальную книгу и что эта книга — только начало. Он больше ничем не хочет заниматься, кроме писательства, и находит женщину, которая понимает его так, как до сих пор не понимала ни одна женщина на свете. Ему становятся совершенно неинтересны давно уже превратившиеся в повседневную рутину политические игры. Греция — заметим, не Кипр, не Левант, а именно Греция — начинает его раздражать: греки очень любят дружить, то есть болтать ночами напролет, пить вино и петь песни, и совершенно не дают работать. Тем более что далеко не каждый грек согласится теперь подать Даррелу руку — в Греции его и до сих пор не любят, обвиняя, и, очевидно, не без оснований, в том, что ошибки британской администрации на Кипре, приведшие к затяжному локальному конфликту, во многом были результатом его "эллинофильской" деятельности. Так что со всех точек зрения пришла пора ставить крест на дипломатической карьере и заняться наконец настоящим делом. С того дня как Миллер признал в Даррелле гения, прошло уже двадцать лет. И за эти двадцать лет, по большому счету, он не опубликовал ровным счетом ничего, что можно было бы поставить рядом с "Черной книгой" и оп-

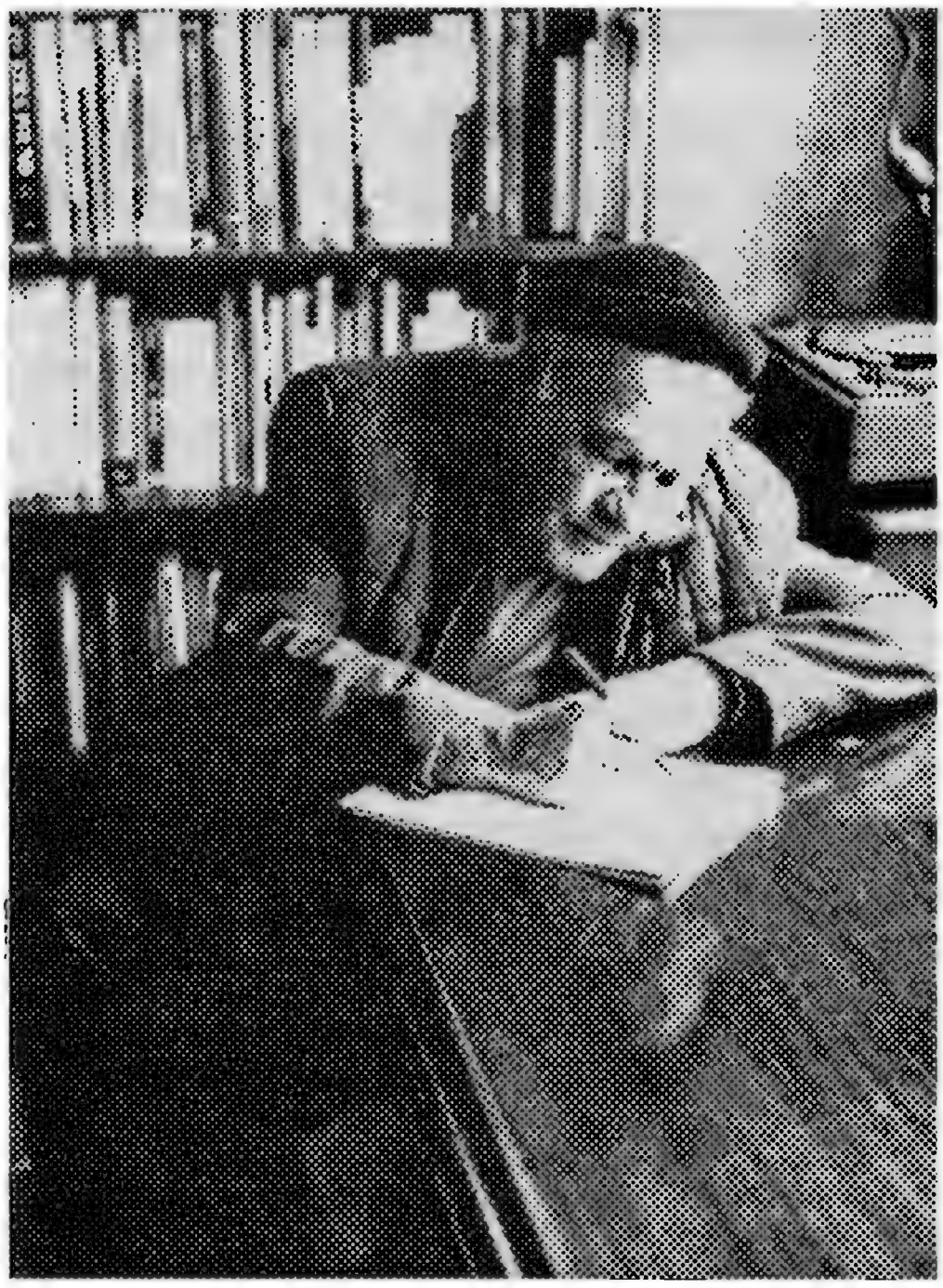
равдать надежды и ожидания, заявленные этим типичным романом юного гения.

26 августа 1956 года Даррелл выбирается наконец из кипрской каши. Сперва он улаживает кое-какие дела в Англии, а потом — и на сей раз окончательно — выбирает "нужный берег Средиземного моря". Юг Франции, Прованс.

В феврале 1957 года он поселяется на вилле "Луи", на окраине маленького провансальского городка под названием Сомьер. Так начинается давно обещанный им себе "золотой год". Вернее, не один год, а как минимум три. В течение первого из них Даррелл публикует ни много ни мало четыре книги, причем в самых разных жанрах. "Горькие лимоны" — традиционная в английской литературе путевая проза, стилистически выдержанная, не лишенная сентиментального начала, уравновешенного, впрочем, началом ироническим; пригоршня пейзажей, типажей, забавных сюжетов, объединенных между собой не слишком лезущей в глаза, но и не дающей о себе забыть личностью автора. Книга настолько обаятельна, что за чтением невольно забываешь об одном немаловажном обстоятельстве: авторскую позицию, как и любую откровенно субъективную позицию непосредственного участника событий, следует воспринимать именно как позицию человека, кровно заинтересованного именно в такой трактовке происходящего. "Белые орлы над Сербией" — чисто коммерческая затея, приключенческая книга для подростков, впрочем по-своему также весьма обаятельная. "Esprit de Corps" — первый из дарреловских юмористических сборников, легкие скетчи из дипломатической жизни: вынесенная в название книги французская идиома "чувство локтя", будучи произнесенной на английский лад, меняет смысл на "запах трупа". У Даррелла накипело на душе, он зол на дипломатический корпус, и он дает себе волю.

Но главное, конечно, — "Жюстин". Роман совмещает в себе два плохо сочетающихся качества. Это, во-первых, действительно великолепная проза, оставившая далеко позади первую дарреловскую заявку на гениальность и провозгласившая: гений состоялся. Кроме того, это бестселлер, мигом побивший все рекорды продаж не только "высокой", но и чисто коммерческой прозы. Но напомним, для Даррелла это всего лишь начало настоящей работы. "Жюстин" — вполне законченное, самостоятельное произведение, однако все его богатство будет явлено только тогда, когда оно столкнется, сплетется, схлестнется с тремя другими романами тетралогии — ибо смысл целого несводим к сумме смыслов составных частей. К июню того же пятьдесят седьмого года он заканчивает "Бальтазара", второй роман "Квартета", ставший полной неожиданностью для публики, которая с нетерпением ожидала "продолжения" "Жюстин", потому что "Бальтазар" не продолжение: все истины, с таким трудом обретенные в "Жюстин", оказываются здесь обманкой, сюжеты и персонажи обнаруживают свою "истинную" подоплеку, и впору перечитывать "Жюстин" заново, удивляясь, как это ты сам не заметил настолько очевидных авторских "уловок".

К апрелю следующего, 1958 года готов и третий роман "Квартета", "Маунтолив". И публика, ожидавшая на сей раз резкого поворота в духе "Бальтазара", была обманута вновь. То есть поворот, конечно, состоялся, поскольку большая часть сюжетов, выписанных в "Жюстин" и в "Бальтазаре" с такой дотошностью, с таким обилием сложнейших пси-



Лоренс Даррелл В Нью-Йорке

хологических, мистических и прочих мотивировок, оказывается, как и должно, блефом. Однако главная неожиданность текста заключалась вовсе не в этом. Читатель, уже успевший привыкнуть к густой, на барочный манер прихотливой прозе Даррелла, к затейливой мозаике фабулы, к принципиально эклектичной стилистике, где главные смыслы рождаются именно на стыке несовместимых стилей, столкнулся с добротным, совершенно "стендалевским" по форме романом, написанным как будто специально для того, чтобы подтвердить правоту критика, который сказал как-то раз, что Даррелл "может писать замечательную простую прозу, но не слишком часто того хочет".

Уникальность "Александрийского квартета" состоит, конечно же, не в постоянных играх с читательскими ожиданиями. Всерьез ставить его на одну доску с величайшими романистами XX века стало возможно потому, что он открыл и опробовал совершенно незнакомые до сей поры в европейской традиции способы "производства текста". И дело даже не столько в знаменитой дарреллovской "зеркальности", в бесконечном умножении детальнейшим и достовернейшим образом прописанных — и взаимоисключающих при этом — интерпретаций одного и того же факта, образа, персонажа и так далее. Этот "формальный аспект" Даррелл отработал практически с самого начала, в наделавшей много шума авторской вступительной ремарке к "Бальтазару":

Современная литература не предлагает нам Единства, так что я обратился к науке и пытаюсь завершить мой четырехпалубный роман, основав его форму на принципе относительности. <...> Итак, первые три части должны быть развернуты пространственно <...> и не связаны формой сериала. Они соединены друг с другом внахлест, переплетены в чисто пространственном отношении. Время остановлено. Только четвертая часть, знаменующая собой время, и станет истинным "продолжением".

Субъектно-объектные отношения столь важны в теории относительности, что я попытался провести роман как через субъективный, так и через объективный модус. Третья часть, "Маунтолив", – это откровенно натуралистический роман, в котором рассказчик "Жюстин" и "Бальтазара" становится объектом, то есть персонажем. <...> Эти соображения звучат, быть может, нескромно или даже помпезно. Но, пожалуй, стоит поэкспериментировать, чтобы посмотреть – не сможем ли мы открыть какую-нибудь морфологическую

форму, которую можно бы было приблизительно назвать "классической" – для нашего времени[1].

Заявление для Даррелла чрезвычайно характерное. Расценивать его как чистой воды издевательство над читателем ("морфологическая форма") никак нельзя, ибо и в самом деле четыре романа "Квартета" с готовностью встраиваются в предложенную "естественнонаучную" схему. Но доверять этой "бумажной конструкции", как сам автор окрестил ее в одном из интервью, – значит заранее отказаться от всяких попыток приблизиться к пониманию авторского хода. Структура, рациональный каркас в дарреллovском гиганте необходимы, иначе до предела насыщенный энергией разнородный и разнокалиберный материал просто рассыплется на самостоятельные внутри-себя-завершенные отрывки. Более того, эта структура постоянно демонстрируется, навязывается читателю, но именно ее читатель и должен ломать, ибо она лишь посылка для полемики, полем для которой служит весь текст.

Структур, встраивающих персонажей и ситуации в различные смысловые системы, в тетралогии довольно много. Но только некоторые из них имеют прямое отношение к несущим конструкциям как отдельных романов, так и всего "Квартета". Так, для "Жюстин" – это "гностический" скелет, опирающийся на структуру гностического мифа о падении души, о Софии. Для "Бальтазара" – "оккультный" скелет, имеющий под собой структуру Книги Таро. В романе "Маунтолив" использована структура традиционного реалистического романа воспитания, но, встроенная в общую систему "Квартета", сама эта схема приобретает выраженные черты парафразы. "Клеа" знаменует собой разрушение структурности, она опирается на дарреллovскую концепцию "геральдической вселенной", преодолевающую, по мысли автора, ограниченность прочих способов виденья мира и объединяющую различные образные системы. При этом гностическая, таротная и "геральдическая" образность присутствуют во всех без исключения романах тетралогии, сгущаясь и образуя несущую конструкцию в одних и присутствуя в качестве фона в других. Основная функция этих конструкций – удерживать в составе единого целого самый разноплановый материал: воспоминания героя, рассказы и цитаты из писем, дневников, записей и художественных текстов большого числа действующих лиц.

И еще одно. Центральным в тетралогии является образ Александрии. Даррелл сознательно "олитературивает" свой Город, давший название всему произведению, ставит акценты, с одной стороны, на чисто романтической экзотичности, благо что сплавленные Александрией воедино традиции Древнего Египта, эллинизма, Римской империи, Византии, греческой и еврейской диаспор, коптского христианства, арабского Востока и европейского Запада дают для этого самый богатый материал; а с другой стороны – сосредоточивает внимание на экзотичности иного рода, на достаточно жестком натурализме. Сочетание вполне традиционное (достаточно вспомнить Гонкуров), ведь как одно, так и другое помогает Дарреллу экстраполировать свою Александрию, вывести ее из "здесь и сейчас" в ту область, где она получит возможность стать представительным символом мира (в двух значениях этого слова – как современной цивилизации и как "царства кесаря").

1. *Лоренс Даррелл.* Александрийский квартет. Бальтазар. СПб., 1996. Перев. В. Михайлина.

Еще в конце 1957 года, после выхода в свет "Жюстин", он получает свою первую литературную премию — британскую премию Даффа Купера. Ни в сумме, ни в статусе премии ничего особенного нет, но есть нечто особенное в обстоятельствах ее вручения: 9 декабря 1957 года на специально устроенном по этому случаю приеме Даррелл получает соответствующие документы и чек из рук английской королевы. Далее от года к году растет его популярность и степень обласканности самыми различными литературными, культурными, окололитературными и околокультурными инстанциями. Пиком публичного признания "Квартета" едва не становится Нобелевская премия по литературе, на которую Даррелл был номинирован в 1961 году. По сведениям из "информированных источников", при голосовании нобелевского комитета он недобрал minimum minimorum, и на повороте его обошел — по иронии судьбы — югослав Иво Андрич.

Впрочем, Даррелла данное обстоятельство, видимо, не слишком расстраивает. "Квартет" переведен на все основные европейские языки, за автором этого интеллектуального бестселлера в буквальном смысле слова охотятся издатели и журналисты, и к тому же всемирная слава имеет весьма солидное денежное выражение. Он меняет дома, и в 1966 году обретает наконец постоянное жилье: довольно мрачный трехэтажный особняк в стиле модерн на окраине Сомьера, в окружении каштанов и пальм, с надписью "Mme Tartes"[1] над парадной дверью. Он тратит деньги на исполнение давних, почти мальчишеских желаний — вроде большого надувного катера "Зодиак" с мощным подвесным мотором, на котором совершает морской переход из Италии в Грецию, и микроавтобуса "фольксваген", чтобы можно было не только ездить вместе с Клод и друзьями по суше, но и возить с собой, на всякий случай, "Зодиак".

Работа между тем идет своим чередом, и Даррелл с присущим ему умением хвататься за все свежие, неопробованные и чреватые неожиданностями возможности открывает для себя все новые и новые сферы творчества. Давняя и неразделенная до поры до времени любовь к театру находит наконец свое воплощение. 22 ноября 1959 года в престижном гамбургском театре "Дойчес шаушпильхаус" проходит триумфальная премьера написанной еще в 1950 году пьесы "Сапфо". Ставит ее именитый немецкий режиссер Густав Грюндгенс. В главной роли — бесподобная Элизабет Фликеншильдт. В 1961-м тот же Грюндгенс ставит "Акте". В 1963-м Даррелл специально для и "под" Грюндгенса пишет "Ирландского Фауста" (режиссер собирался не только ставить пьесу, но и играть в ней Мефистофеля), однако Грюндгенс внезапно умирает. Пьесу ставит Оскар Фриц Шу, состав исполнителей достаточно сильный, но публика принимает премьеру совсем не так тепло, как ожидалось, и на этом недолгий роман Лоренса Даррелла с театром подходит к концу.

Параллельно развивается не менее бурная интрига с кинематографом. Еще в 1960 году в Голливуде возникает замысел грандиозной исторической костюмной драмы "Клеопатра", фильма фильмов, который должен побить все возможные — в том числе и кассовые — рекорды. Режиссером "проекта" приглашают Рубена Мамуляна. Вопрос о том, кому доверить написание сценария, имеет, как представляется в 1960 году,

1. Мадам Тарт — по-французски и мадам "Фруктовый торт", и мадам "Оплеуха". А по-английски tart — еще и "шлюха".

только одно решение, и сценарий заказывают Дарреллу. Однако в 1961 году Мамулян приходит к мысли бесповоротно порвать с кино. Деньги в проект между тем вложены уже очень и очень немалые, скандал разрастается и приводит к практически полной смене всего работающего над фильмом коллектива. Режиссером становится Джозеф Манкевич, из нескольких написанных Дарреллом вариантов сценария в окончательном тексте используются лишь жалкие крохи, и даже в титрах вышедшего-таки в 1963 году "гиганта" его имени, кажется, нет.

Но Даррелл не спешит ставить крест на карьере в шоу-бизнесе. В середине шестидесятых годов он пишет сценарий для еще одного фильма — "Юдифь", а потом переписывает его полностью, проведя несколько недель в Израиле с исполнительницей главной роли Софи Лорен.

В 1969 году на экраны выходит снятый на киностудии "XX век — Фокс" фильм "Жюстин" со "звездным" составом исполнителей (Майкл Йорк — Дарли, Дерк Богард — Персуорден, Анук Эме — Жюстин, Анна Карина — Мелисса). Автор, однако, не в восторге от кинематографической версии своего прозаического шедевра и, кажется, задет тем, что сценарий по его книге заказали не ему.

В 1970-м лондонская "Таррет рекордс" выпускает пластинку с мюзиклом Даррелла "Вернись, Улисс", где текст читает сам автор.

Кинематограф, сцена, музыка — однако и этим интересы Даррелла не ограничиваются. В 1964 году в парижской "Галери де коннэтр" проходит выставка гуашей никому до сей поры не известного художника по имени Оскар Эпфс. Под этим не слишком благозвучным псевдонимом скрывается все тот же неугомонный и вездесущий гений. Выставка проходит достаточно успешно, публика со знанием дела кивает головами, что не может не восхищать Даррелла, чьи творческие рецепты, позаимствованные все из того же вечного источника, от Генри Миллера (Миллер в эту пору бóльшую часть денег зарабатывает поставленным на поток производством акварелей), особой сложностью не отличаются. В одном из интервью он ничтоже сумняшеся раскрывает тайны своей творческой лаборатории: "Писать шедевры меня научил Миллер. Техника у него была такая: рисуешь лошадь, или женщину, или еще какую-нибудь лабуду; потом бежишь в ванную, подставляешь рисунок под струю воды — и шедевр готов!" Занятий живописью он не оставит до самой смерти. Кроме того, он еще и читает лекции в университетах, занимается йогой (причем использует йогические навыки и в чисто сценических целях — скажем, садится в позу лотоса во время лекций), и так далее, и так далее...

Несостоявшийся нобелевский лауреат не намерен забывать и о том, что в первую очередь он все-таки писатель. Однако с писательством после выхода "Квартета" все как-то не клеится. То есть пишет Даррелл много, правда, гораздо меньше, чем в конце пятидесятых: путевые заметки, рассказики для периодических изданий и тому подобные мелочи плюс сценарии... Складывается впечатление, что ни до чего серьезного у него просто не доходят руки. Он всегда умел и хотел жить со вкусом, а поскольку теперь вдобавок к желанию и умению появились еще и возможности, грешно этими возможностями не пользоваться. Клод прекрасно готовит, и Даррелл окончательно превращается в гурмана, что, кстати говоря, тут же сказывается на его фигуре. Но он не против перемены имиджа. К тому же Лоренс Даррелл знает свой ритм.

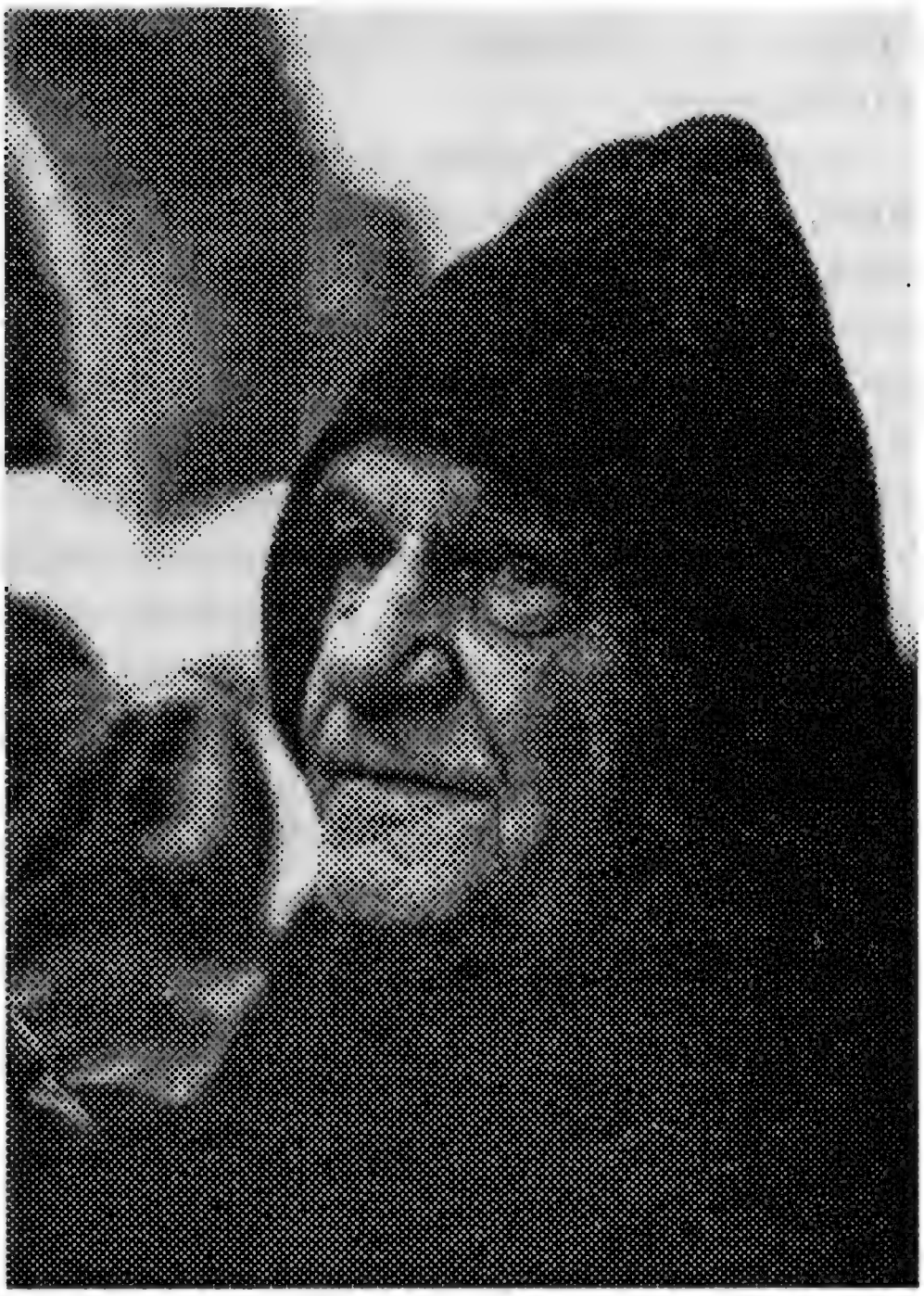
Сразу после "Квартета" шедевров ждать не приходится. За шедевры браться нужно не раньше чем лет через десять–пятнадцать.

Это, впрочем, не означает, что "машина" работает совсем уж вхолостую. Кое-какие предварительные замыслы у Даррелла есть. Он поговаривает о большом "комическом" романе под названием "Плацебо" и еще с 1961 года делает к нему наброски. Бóльшая их часть, видимо, так и осталась невостребованной, но кое-что всплывет потом в следующем его амбициозном прозаическом "проекте", дилогии "Восстание Афродиты", написанной в самом конце шестидесятых и состоящей из романов "Tunc" и "Nunquam".

Даррелл никуда не торопится, он дает себе волю отвлечься, а новым замыслам – отлежаться и созреть. Может быть, так бы оно все и вышло: следующий даррелловский гигант появился бы на свет в начале восьмидесятых и выглядел бы совершенно иначе, но вмешалась судьба. 1 января 1967 года в цюрихской больнице внезапно умирает Клод. Даррелл сам ее отвозит под Новый год именно в эту больницу, поскольку доверяет тамошним врачам. Врачи уверены, что у Клод какая-то инфекция, и проводят соответствующий курс лечения, но умирает она от рака. Для Даррелла ее смерть – страшный удар, и он находит единственный адекватный способ забвения: очертя голову бросается в писательство. Результатом этого кризиса и становится "Восстание Афродиты" – откровенная творческая неудача, попытка написать второй "Квартет", но только с заменой "пути писателя" на "путь ученого". В науке Даррелл, в отличие от литературы, был и остается полным дилетантом, и оттого выходит у него в результате некая полунаучная полуфантастика – так сказать, "Секретные материалы", где трагически-задумчивый герой вступает в противоборство с таинственной и всесильной "корпорацией". В романах полным-полно знакомой восточной (и всякой другой) экзотики, гротескных персонажей, умствований и афоризмов в духе Персуордена, масок, "зеркальности" и прочего двойничества – короче говоря, всего обильно "отработанного" в "Квартете" материала. Чего здесь не хватает, это жизни, художественной (а не бытовой, ее от Даррелла требовать бессмысленно!) достоверности и цельности, благодаря которым "Квартет" и стал десять лет назад захватывающим дух шедевром. А на одних архитектурных излишествах далеко не уедешь.

Самое печальное, однако, не это. Печально, что сам Даррелл этого уже не понимает. Зоркий и въедливый критик, всегда умевший замечать малейшие творческие слабости как в чужих, так и в собственных книгах, он как-то разом теряет бдительность. "Восстание Афродиты" ему нравится. Он, естественно, далек от того, чтобы считать эту свою работу безупречной, он замечает недостаток структурности и обещает, что следующий, смутно вырисовывающийся на горизонте текст станет достойным завершением титанического, начатого "Черной книгой" и продолженного "Квартетом" и "Восстанием" прозаического гиганта – единого макротекста, согласно возникшему еще на рубеже 30-х и 40-х годов амбициозному замыслу.

С начала семидесятых он с головой уходит в изучение двух основных тем для будущей большой книги: египетского гностицизма, а также истории и идеологии ордена тамплиеров. И в 1974 году публикует первую книгу из задуманного "Авиньонского квинтета", само название которого служит достаточно внятным намеком как на масштабность текс-



Лоренс Даррелл на Манхэттене

та, так и на его преемственность по отношению к "Квартету". "Monsieur, или Князя Тьмы" и публика, и критика встречают недоуменным молчанием — а Миллер пишет автору то самое, уже упоминавшееся дружески-зубодробительное письмо. Даррелл между тем уверен, что все идет так, как должно. Структура задана, и отдельные недостатки превратятся в достоинства, когда конструкция примет завершенный вид, — в конце концов, разве свободен от частных неудач его великолепный "Квартет"? Через четыре года он публикует вторую книгу "пятипалубного" гиганта, "Ливия, или Погребенная заживо"; в 1982-м выходит третий роман, "Констанс, или Уединенные обыкновения"; в 1983-м — четвертый, "Себастьян, или Всепоглощающие страсти", и в 1985-м — последний, пятый — "Quinx, или Сказка совершенства". Структура "Авиньонского квинтета" и впрямь стройна и внешне незамысловата, в основе ее лежит один из основных магических и оккультных символов — пентаграмма. Замысел действительно грандиозен. История Ордена Храма полна загадок, необъяснимых совпадений и темных мест, а гностические и близкие к гностическим идеи порой на удивление созвучны исканиям современных философов, богословов и мистиков. Но тут уместно вспомнить слова Д. Г. Лоуренса о том, что роман порой прибивают гвоздями идей, и о том, что из этого выходит. "Вы либо убьете роман, — говорил Лоуренс (а ему ли не знать!), — либо он встанет и уйдет прочь вместе с гвоздями". Оккультные идеи в этом отношении ничуть не лучше марксистских или, скажем, фрейдистских, юнгианских, фрейзеровских и так далее. Мало того, всякая попытка воспринимать литературу как форму популяризации оккультных (или любых других) идей чревата разрушением тонкой грани между популяризацией и кичем. Впрочем, откровенно "кичевые" ходы все равно не прибавили популярности даррелловскому "пятикнижию". В качестве увлекательного чтения этот текст — тяжеловесный, громоздкий и заумный — представить трудно.

Работал Даррелл и после 1985 года — несмотря на то, что чувствовал себя все хуже и хуже. Он писал эссе, делал наброски к так и не состоявшейся прозе, даже брал интервью. В 1990 году его не стало. В его сомьерском доме 19 сентября 1992 года провели посмертную выставку работ Оскара Эпфса. И в том же 1992 году "Фейбер энд Фейбер", по-прежнему основной хозяин даррелловских текстов, переиздал

"Квартет" и "Квинтет", два больших тома. "Квартет" разошелся довольно быстро.

Творческая судьба Лоренса Даррелла совсем не похожа на привычную, основанную на романтических и постромантических штампах модель писательской судьбы. Верно, он успел пожить в роли непризнанного гения. Но непризнанный гений, трезво распоряжающийся в ожидании звездного часа собственным писательским даром, — это уже из какой-то другой оперы. И сам избранный Даррелом образ жизни скорее подобает состоявшемуся гению.

Юношеское увлечение елизаветинцами многое тут может прояснить. С точки зрения Т. С. Элиота, который, собственно, во многом и открыл елизаветинскую поэзию и драматургию для относительно широкого круга английских читателей (и писателей), XVII век стал последней в истории эпохой, когда человек был целен и самодостаточен, когда поэт и ученый, солдат и богослов мирно уживались в одной и той же личности, делая ее "многолюдным дарованием", как позже на совершенно барочный манер обозначил гения основатель немецкого романтизма Шлегель, в отличие от человека просто талантливого, который талантлив в одной какой-то области. А с высоты "многолюдного дарования" всякое призвание, будь то даже писательское, есть всего-навсего один из частных аспектов человеческого бытия. И если человек писатель, он должен в первую очередь быть мастером, профессионалом. Ремесленником — в самом лучшем, ныне практически полностью выветрившемся смысле этого слова.

Здоровое барочное отношение к писательству как к ремеслу с ранней молодости выгодно отличало Даррелла от большинства его современников. И ко всякому стремлению писателя встать под какое бы то ни было знамя и заняться глобальным переустройством мира Даррелл относился в то время как к элементарному свидетельству небрежения профессиональными обязанностями. Так, на предложение Миллера, подпавшего на время под обаяние парижских сюрреалистов, подписать какой-то очередной манифест Даррелл однажды ответил: если речь идет об "измах", а также об "истах", то он законченный "дарреалист". Писатель должен писать. Переустройство мира — это другая профессия. В ней, самой по себе, нет ничего дурного, а писатель и так этим постоянно занят — на свой страх и риск.

Две эти свободы — свобода от диктата "гениальности" и обычная, внутренняя человеческая свобода — всегда шли для Даррелла рука об руку. Да, я гений, и я об этом знаю. Ну и что же? Почему мне не зарабатывать на жизнь писательским ремеслом в его более скромных ипостасях? Или, скажем, дипломатией, если так повернулась судьба и мне охота поиграть в шпионов? Почему не писать джазовые песенки? Или гуаши? Или киносценарии? Весь мир — система знаковых отсылок, и, потянув за ниточку в одном его конце, рискуешь вытянуть что-то неведомое на противоположном. Эта постмодернистская по видимости мысль — плоть от плоти барочной эстетики. Даррелл не "придумывал" постмодернизма (хотя многие мэтры постмодернистской литературы откровенно у него учились). Просто на излете романтической, по сути, эпохи авангарда он "вспомнил" об иной культурной доминанте.

Лоренс Даррелл
Горькие лимоны

Фрагменты книги

Перевод с английского Вадима Михайлина

Как купить дом

Последними пришли греки и спросили Господа, что даст он им в дар.

— А чего бы вам хотелось? — спросил Господь.

— Нам хотелось бы Власти, — сказали греки.

А Господь в ответ:

— Бедные мои греки, вы пришли слишком поздно. Все дары уже разобраны, и почти ничего не осталось. Власть я отдал туркам, болгарам — Трудолюбие; евреям — Расчетливость, французам — Хитрость, англичанам — Безрассудство.

Тогда греки очень разозлились и стали кричать:

— Что за козни, почему про нас забыли?

— Ну ладно, раз уж вы так настаиваете, будет и вам подарок. Чтоб не ушли вы с пустыми руками, пусть Козни вам и достаются, — так сказал им Господь.

Болгарская народная сказка

САБРИ Тахир, если верить облупившейся вывеске на его конторе в турецкой части Кирении, был оценщиком и агентом по недвижимости, однако с тех пор, как написали вывеску, область его интересов успела стать заметно шире, и теперь он явно был не только оценщиком и не только агентом по недвижимости. Центр паутины находился в прохладном темном полуподвале дома, расположенного на стратегически важном пересечении двух улиц, напротив выстроенной в память о каком-то святом или воине маленькой турецкой часовни; имени героя никто уже не помнил, однако его каменное надгробие по-прежнему служило для правоверных объектом поклонения и местом паломничества. Над могилой стояло сухое, пропыленное насквозь перечное дерево с неизменной парой ex voto[1] на нижних ветвях.

© В. Михайлин. Перевод, 2000

1. Приношение, в том числе и во исполнение какого-либо данного верующим обета (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

За домом начинался бесформенный и безразмерный, заросший крапивой двор, где стояли два-три сарая, забитые разрозненными деталями каких-то механизмов и сваленными в огромные кучи цельными стволами олив и рожковых деревьев, а между сараями громоздились штабеля железнодорожных шпал и каркасы автобусов — любая здешняя тропа неизменно упирается в такие вот слоновьи кладбища. Империя Сабри делала свои первые шаги, хотя уже сейчас было ясно, что ее хозяин далеко пойдет. В одном из сараев с утра до вечера стенала и скрежетала циркулярная пила, доверенная заботам двух весьма недурных собой и весьма небрежно одетых молодых турок в зеленых головных повязках; рядом — через равные промежутки времени — неторопливо и со вкусом испражнялась машина по производству цементных блоков, и звук был просто чарующий.

За всей этой многообразной деятельностью Сабри мог надзирать прямо из магазина, из полумглы, где он и просиживал большую часть дня за чашечкой турецкого кофе, недвижимый, ко всему безразличный, но с зорким глазом. Его стол стоял в самой дальней части помещения, у стены, и чтобы до него добраться, нужно было сперва пересечь terrain vague[1], настолько плотно заставленный креслами, школьными партами, детскими колясками, газовыми плитами, обогревателями и прочими бесполезными порождениями цивилизации, что больше всего это было похоже на первый этаж магазина "Мейплс".

Самому Сабри было, наверное, лет сорок. Это был человек крепкого телосложения и с прекрасной головой. Вид у него был добродушный и сонный — обаятельная улыбка, ослепительные зубы, внимательные карие глаза; нечто похожее встречаешь иногда на рекламных плакатах турецких туристических фирм. Но воистину турецкой была в нем главным образом та леность плоти, та роскошная безмятежность, с которой он воспринимал окружающий мир. Ни один грек не в состоянии сидеть неподвижно, чтобы при этом не суетиться, не притаптывать ногой, не постукивать карандашом, не подергивать коленом или не цокать языком. Турок не сидит, он покоится — этаким монолитом — молчаливый и замкнутый в себе, как рептилия. Такой вид бывает у хамелеона, который застывает на ветке и, ни разу не сморгнув, час за часом созерцает бытие; который, судя по всему, живет в раздумчивом и мудром состоянии внутреннего равновесия, означенном арабским словом kayf. Мне доводилось видеть, как Сабри грузит бревна, как он кричит на крестьян, я даже видел Сабри, бегущего по улице; но ни разу не возникало ощущения, что он потратил на это хотя бы каплю энергии. Его слова, его поступки были гладкими, как данность; они стекали с него, как мед стекает с ложки.

В то утро, когда я впервые ступил под сумеречные своды магазина, штаб-квартиры растущей империи, он с отсутствующим видом сидел за столом и чинил неисправную зажигалку. Тон его приветствия был вежливым, хотя и чувствовалось, что он сейчас занят и ему не до меня; однако, когда я подошел поближе, он отвлекся на долю секунды для того, чтобы щелкнуть пальцами, и тут же откуда-то из окружавшей его полумглы материализовался стул. Я сел. Он отложил зажигалку и глядел теперь на меня молча и не моргая.

1. Запущенный участок земли (*франц.*).

— Мистер Сабри, — сказал я, — мне нужна ваша помощь. Я навел в Кирении справки, и повсюду слышал одно и то же: из всех здешних деловых людей в последнюю очередь имеет смысл связываться именно с вами. То есть, проще говоря, что во всей округе вы самый отпетый мошенник.

Моя мысль показалась ему даже не столько обидной, сколько не лишенной интереса. Тем не менее глаз его, внимательный и острый, едва заметно блеснул, и он слегка наклонил голову, чтобы повнимательнее меня рассмотреть. Я решил, что пора продолжать.

— Я в Леванте не первый день и знаю, что́ может означать репутация мошенника. Она может означать только одно — человек, о котором так говорят, просто *умнее* прочих. — Здесь было никак не обойтись без рук, ибо ум на местном языке жестов обозначается следующим образом: следует медленно и важно поднести указательный палец правой руки к виску и осторожно постучать, как ложечкой по скорлупе яйца за завтраком. (Кстати, осторожность при этом действительно не повредит, потому что, стоит вам слегка повернуть палец, будто вы заворачиваете винт, и смысл станет совершенно другим: это означает, что у человека "винтиков не хватает" или что у него "сорвало резьбу".) Итак, я осторожно постучал себя по черепу. — *Умнее* всех прочих, — повторил я. — Настолько, что в людях недалеких это вызывает зависть.

Он не спешил соглашаться или не соглашаться со мной. Он просто сидел и разглядывал меня, как разглядывают какую-нибудь механическую штуковину, когда не совсем понятно, зачем она, собственно, нужна. Но выражение его глаз почти неуловимо изменилось, в них зародился намек — всего лишь намек, и весьма отдаленный — на восхищение.

— Я пришел сюда, — продолжил я, уже уверенный в том, что с английским у него все в порядке, поскольку до сей поры он, судя по выражению лица, улавливал смысл каждого сказанного мною слова, — я пришел сюда не с деловым предложением, а для того, чтобы просить вас о помощи. Денег на мне не заработаешь. Я хотел бы воспользоваться вашими талантами и вашим опытом. Я пытаюсь подыскать себе дом в деревне, и чем дешевле, тем лучше, чтобы поселиться в нем на год или на два — а может, и навсегда, если мне здесь понравится. Теперь я вижу, что не ошибся; никакой вы не мошенник, вы самый настоящий турецкий джентльмен, и я чувствую, что могу полностью довериться вашей заботе — если вы согласитесь взять на себя эту ношу. Мне в обмен предложить вам нечего, за исключением благодарности и дружбы. Я прошу у вас как у благородного турецкого джентльмена совета и помощи.

На протяжении всей этой речи цвет лица Сабри претерпевал тончайшие метаморфозы, и когда я закончил, на щеках его играл теплый румянец. Я понял, что могу поздравить себя с блестящей дипломатической победой: я целиком и полностью положился на железный закон гостеприимства, на коем основаны все и всяческие отношения в Леванте, — и не прогадал. Более того, едва ли не главную роль сыграло волшебное слово "джентльмен": для Сабри оно означало возможность приобрести в глазах иностранца непривычный, хотя вне всякого сомнения вполне подобающий ему статус, и все дальнейшие отношения со мной он станет выстраивать соответственно этому новому статусу. Одна-единственная хорошо продуманная речь — и я приобрел надежного друга.

Он наклонился ко мне через стол, уже с улыбкой, и тактично, доверительно похлопал меня по руке.

— Ну конечно, дорогой мой, — сказал он, — конечно. — Затем он внезапно выбросил челюсть вперед и выкрикнул короткий приказ. Из полумглы явился босоногий юноша с кока-колой на подносе; было ясно, что он все приготовил заранее, повинуясь какому-то не замеченному мною жесту. — Попей, — тихо повторил Сабри, — и расскажи мне, какой ты хочешь дом.

— Обычный деревенский дом, не современную виллу.

— Далеко?

— Не слишком. Где-нибудь на окрестных холмах.

— Старые дома обычно приходится доводить до ума.

— Если у меня получится купить дешево, я так и сделаю.

— На какую сумму ты можешь рассчитывать?

— Четыреста фунтов.

Он помрачнел, и его можно было понять, поскольку после войны цены на землю здорово взлетели и продолжали расти примерно теми же темпами вплоть до времени моего отъезда с острова, когда участки под застройку в центре Никосии шли примерно по той же цене, что участки в центре Вашингтона.

— Дорогой ты мой, — задумчиво проговорил он, поглаживая себя по усам. — Дорогой ты мой. — За пределами полутемного магазина весеннее солнце отблескивало на перегруженных прохладными танжеринами деревьях; холодный ветер, заряженный вкусом и запахом снега с Тавра, с турецких гор на той стороне пролива, тронул листья пальм. — Дорогой ты мой, — раздумчиво повторил Сабри. — Да, конечно, если бы ты хотел купить дом где-нибудь подальше, очень далеко, это было бы легко устроить, но ты, наверное, хочешь жить поближе к столице?

Я кивнул:

— Если у меня кончатся деньги, придется искать работу, а за пределами Никосии я ничего не найду.

— Ты хочешь стильный старый дом не слишком далеко от Кирении. — Более удачную формулировку найти было бы трудно. Сабри задумчиво прошелся взад-вперед между подвальными тенями и загасил сигарету о ящик. — Дорогой мой, честно говоря, — сказал он, — это будет зависеть от того, насколько нам повезет. Я знаю, что к чему, но тут уж как повезет. И самое трудное — найти человека, с которым можно иметь дело. Потому что, мой дорогой, обычно вокруг сразу собирается все его чертово семейство. — Тогда я еще и понятия не имел, что́ он имеет в виду. Мне еще предстояло сделать пару открытий. — Если какое-то время я не буду давать о себе знать, не бери в голову. Найти для тебя подходящий дом будет не просто, но мне кажется, я смогу тебе помочь. Я буду работать, даже если ты ничего не будешь об этом знать. Ты понял меня, мой дорогой? — Последовало теплое рукопожатие.

Я пошел обратно к дому Паноса и едва успел дойти до центральной улицы, как из переулка вывернул Ренос, чистильщик обуви, и взял меня под руку. Это был маленький тщедушный человечек с глазами, какие пришивают обычно тряпичным куклам.

— Друг мой, — сказал он, — ты был у Сабри. — Шпионить без устали за собственными друзьями и знакомыми — любимая в Средиземноморье игра, общая, впрочем, для всех не преуспевших в грамоте человеческих

сообществ, чья жизнь целиком и полностью основана на устной традиции и на искусстве сплетни.

— Да, — согласился я.

— Ой, — он разыграл на языке жестов целую пантомиму: обжег кончики пальцев, тронув раскаленные угли, а потом принялся на них, на пальцы, дуть. Что означало: неприятности неизбежны.

Я пожал плечами.

— Что делать? — жизнерадостно сказал я.

— Ай-ай-ай, — простонал Ренос, прижал ладонь к щеке и принялся горестно мотать головой, как будто у него вдруг заболел зуб. Но больше не сказал ни слова.

К тому времени, как я добрался до дома, Панос тоже знал о моем визите к Сабри — новости здесь разносятся со скоростью барабанного телеграфа.

— Ты был у Сабри, — сказал он, как только я пересек восхитительный церковный дворик и сел с ним рядом на балконе, лицом к обманчивой голубизне весеннего моря. — Это насчет дома? — Я кивнул. — Ты правильно сделал. Я и сам хотел тебе посоветовать то же самое.

— Клито говорит, что он мошенник.

— Чушь. Я давно его знаю, и он ни разу меня не обманул. Его, конечно, на мякине не проведешь, что вообще-то для турок редкость: они всю жизнь в полудреме. Но мошенник он ничуть не больший, чем все остальные. Если уж на то пошло, Клито и сам тоже мошенник. За эту бутылку "Коммандерии" он взял с меня лишнее. Да, кстати, а ты не сказал Сабри, сколько у тебя денег?

— Нет. Я назвал сумму поменьше.

Панос восхищенно прищелкнул языком.

— Я вижу, ты действительно понял, как в наших краях делаются дела. От слухов здесь спасенья нет, так что какой бы суммой ты ни располагал, об этом скоро будет знать вся округа. Ты правильно сделал, что занизил цифру.

Я принял из его рук стакан сладкой "Коммандерии" и — с расписного фарфорового блюда — маринованный перчик; дети на самом солнце трудились над головоломкой. Церковный сторож, повинуясь внезапному отчаянному порыву, ударил в колокол, и тишина вокруг наполнилась отзвуками, как будто птица забила крыльями.

— Я слышал, — сказал Панос, как только воздух перестал вибрировать, — что твой брат погиб на войне, при Фермопилах.

— Если честно — но только между нами, — я всю эту историю выдумал от начала до конца, просто чтобы...

— Подначить Франгоса!

— Так точно. Я боялся, что придется.[1]

— Превосходно. Просто замечательно, — тонкость моего хода привела Паноса в полный восторг. Он рассмеялся, восхищенно похлопывая рукой о колено. — Тебе палец в рот не клади. И если уж речь зашла о мошенниках, ты будешь почище любого из нас.

1. Речь идет об эпизоде, описанном в предыдущей главе. Автор избежал столкновения с подвыпившим и агрессивно настроенным энозистом (сторонником изгнания англичан с Кипра), напомнив тому о совместной борьбе греков и англичан против немцев во второй мировой войне. Д. Даррелл, младший брат Лоренса Даррелла, не только не погиб при Фермопилах, но и вообще не принимал участия в войне.

Быть таким вот образом включенным в галерею киренских мошенников — большая честь.

В тот вечер урок географии повторял я, а не дети; Панос стоял со мною рядом и одобрительно кивал, покуда я переводил указательный палец с одной вершины на киренском горизонте на другую, неспешно отслеживая пролегающий вдоль голубых хребтов путь от той точки, где средь затянутых вечерней дымкой ферм и виноградников лежала невидимая Мирту, до той, где дремал между желто-зеленых ячменных полей Аканту (тоже невидимый). По правде говоря, к настоящему времени я вызубрил урок настолько четко, что вместе с именами мест, куда мне только предстояло съездить, в памяти всплывали отчетливые зрительные образы. Я видел лимонные рощи Лапитоса и густую прохладу тамошних садов; слышал приглушенный рокот ручья, сбегающего с горного склона в долину. Огромная двурогая корона Хилариона высилась прямо у нас за спиной, и тамошний замок нежил свои коричневато-рыжие бока в последних, золотистых, как львиная шкура, вечерних лучах. Чуть ниже, через перевал, шла главная дорога на Никосию. Дальше к востоку высилась череда вершин, равных друг другу в мрачном своем величии, — одна немного ниже, другая выше, соединенные, как ноты в единой гармонии музыкального аккорда: Буффавенто, гнездо ветров, где у подножия притулилось изящное и тихое готическое аббатство Беллапаис; Пендедактиль, чья пятиглавая вершина напоминала пятерню Дигениса, героя местного фольклора; и они медленно таяли в вечерней мгле и плыли во тьму, к востоку, подобно гордым парусам большого венецианского "купца", туда, где в самом конце длинной каменной рукояти Карпатоса грезил, укутавшись в морскую пену, мыс Андреас. Имена мест звучали колокольным перезвоном, греческие Бабилос и Мирту, турецкий Казафани, от крестоносцев оставшийся Темплос... Коктейль был терпкий и ударял в голову.

— Прекрасно, — сказал наконец Панос и удовлетворенно вздохнул. — Ты и в самом деле все помнишь. Теперь осталось там только побывать.

Раньше я именно так и намеревался поступить, но потом весь ушел в хлопоты, связанные с домом, а от проблем перевозки багажа, перевода денег, корреспонденции и так далее голова у меня и вовсе пошла кругом. И я оставил этот план до времени в покое, покуда не буду по-настоящему готов к встрече. До сей поры, если не считать нескольких коротких экскурсий по окрестностям Кирении — где мы собирали грибы и весенние цветы, я еще нигде не был; да по сути, ничего и не делал — только плавал и строчил письма. Островная жизнь, какой бы она ни казалась праздничной, очень строго подчинена обстоятельствам, и чем раньше ты начнешь дозировать собственные впечатления, тем лучше, потому что в конце концов неизбежно наступит момент, когда все вокруг будет тебе известно и от бесконечного повторения попросту утратит вкус. Если никуда не торопиться, прикинул я, и если все мое время будет в полном моем распоряжении, Кипр, в пересчете на свежие впечатления, даст мне года два как минимум; а если потянуть подольше, а я хотел потянуть подольше, его хватит на полные десять лет.

По этой причине я и намерен был начать свое знакомство с ним прежде через людей, чем через пейзажи, погрузиться в роскошное чувство общности образа жизни с обычными здешними крестьянами; а уж потом закинуть сети дальше, в его историю — и подсветить сей тусклой

лампадой особенности национального характера, предложив моим персонажам структуру, в которой они могли бы занять подобающие им места. Увы и ах! Времени на это у меня не хватило.

Месяц или около того весенней погоды, щедрой на обещания скорого лета, оказался чистой воды надувательством. Однажды утром мы проснулись под низким, сплошь увешанным уродливыми фестонами иссиня-черных облаков небом и увидели, как волны длинных, похожих на стрелы серебряных игл обрушиваются одна за другой на стены Киренского замка. Удары и раскаты грома; и виноградно-синее море, то и дело озаряемое фосфорическими вспышками молний, которые, подобно семейству разгулявшихся драконов, когтили нас со стороны турецких гор. Выложенные каменными плитами полы стали вдруг холодными и влажными, забормотали переполненные водостоки, сбрасывая на улицу целые водопады. А ниже море обрушивало на берег тяжелые крутые валы — на те самые пляжи, где еще неделю тому назад мы сидели в сандалиях и шортах, пили кофе и узо[1] и строили планы на лето. Перемена была разительная, и ты почти физически ощущал, как наливаются соком буйные заросли трав под оливами, как весенние цветы раскрывают свои нежные лепестки на горных склонах чуть ниже Клепини.

Для приезда Сабри момент был явно не самый подходящий, но тем не менее Сабри приехал — в один черный в буквальном смысле слова день, прикрывшись от буйства стихий носовым платком в горошек. Он появился у Паноса в промежутке меж двумя могучими громовыми раскатами, этаким пришельцем из преисподней в промокшем насквозь костюме, и выдохнул:

— Дорогой мой, я хочу кое-что тебе показать, только *я прошу,* — и едва ли не с болью в голосе, — не вини меня, если что-то будет не так. Я сам там еще не был. Но *может* так случиться... — он принял заледеневшими пальцами стакан вина. — Деревня называется Беллапаис, но это далековато от дороги. Впрочем, ладно, ты едешь? Я на такси. Хозяин, конечно, прохвост. Я *ничего* не могу гарантировать.

Было видно, что ему очень не хочется, чтобы я судил о его профессиональных навыках по первому, возможно ошибочному, впечатлению. Вдвоем мы промчались через гулкий залитый водой дворик и дальше, вниз по длинной лестнице, туда, где ждало нас допотопное такси Джамаля. На дверцах не было ни единой ручки, и последовала короткая фарсовая сцена на три действующих лица в духе турецкого театра теней; в результате мы все-таки пробились внутрь машины сквозь слабейшие в ее оборонительных укреплениях места. (Джамалю пришлось протиснуться сквозь багажное отделение, а потом еще и скрючиться особым образом на заднем сиденье, помогая нам открыть дверь.) Затем мы тронулись — и пейзаж вокруг был едва различим: из-за дождя, а также по причине полного отсутствия дворников на ветровом стекле. Чтобы не врезаться во что-нибудь ненароком, Джамаль был вынужден вести машину, высунув голову из окна. Снаружи молнии с завидной регулярностью высвечивали почерневшие от дождя куски горных склонов.

1. Греческая анисовая водка молочно-белого цвета.

Едва мы выехали из Кирении, дорога свернула вправо и потянулась сквозь туманно-зеленые плантации олив и рожковых деревьев туда, где у самого подножия горы притулилась, в дожде и дымке, Беллапаис.

— И все-таки, — глубокомысленно изрек Сабри, — с погодой нам повезло, потому что сейчас все сидят по домам. В кафе никого не будет. Мы не дадим повода для сплетен, мой дорогой. — Я понял, что он имел в виду: в любом споре относительно цен и продаж мнение деревенских всезнаек может всерьез повлиять на запросы владельца собственности. Чем обстановка интимнее, тем лучше; если дебаты по условиям сделки переместятся в деревенскую кофейню, последствия предугадать невозможно.

Я был готов увидеть нечто прекрасное и уже знал, что руины монастыря в Беллапаисе — один из красивейших памятников готической эпохи во всем Леванте, но я никак не ожидал той захватывающей дух геометрической законченности, с которой маленькая деревушка охватывала монастырь с разных сторон, осторожно, как в вату, укутав его и прислонив к прохладному боку горы. Перед последним подъемом дорога начала виться среди апельсиновых и лимонных садов, наполненных шумом бегущей воды. К тому же путь наш был сплошь усыпан абрикосовым и персиковым цветом: роскошь неправдоподобная, как декорация в японской пьесе. Последние сто с небольшим ярдов дорога шла по окраине деревни, мимо спускающихся один за другим по склону серых, на старый образец построенных домов со сводчатыми резными дверными створами на старомодных же петлях. Потом под Древом Лени[1] мы сделали резкий поворот на сто пятьдесят градусов — и уткнулись в центральную площадь. Под оплеухами ветра гнулись молодые кипарисы; на обширных клумбах меж абрикосовых деревьев щедро цвели великолепные розы. Но шел дождь, и в Беллапаисе царило безлюдье.

Владелец дома ждал нас в глубоком дверном проеме, накинув на голову мешок. Это был довольно мрачного вида человек, по профессии сапожник, которого я уже несколько раз видел в Кирении: он слонялся без дела по улицам. Особой радости по поводу нашего прибытия он не выказал — может, просто погода такая — и, не проронив ни единого лишнего слова, тут же повел нас вверх по вымощенной булыжником улице, то и дело запинаясь и оскальзываясь на неровных мокрых камнях. Канавы были переполнены, вода шла через край, и Сабри, все с тем же носовым платком на голове, неодобрительно оглядывался по сторонам, пробираясь между намытыми за несколько дней кучами грязи, в которых копошились куры.

— Н-да, мой дорогой, не нравится мне все это, — сказал он после того, как мы отошли от площади ярдов на сто, а до места так и не добрались. — Пусть в таких местах покупают себе дома скалолазы. — Но наш вожатый по-прежнему двигался вперед, и мы, из чистого любопытства, старались от него не отставать. Улица резко пошла в гору и более всего напоминала теперь русло горной реки; по самой ее середине вода неслась сплошным стремительным потоком. — Боже, — простонал Саб-

1. Стоящее обыкновенно в центре греческих деревень "мировое древо" — средоточие местной общественной жизни (наряду с кафе). В сопутствующем букете смыслов главным является тот, что соответствует итальянскому dolce far niente — "сладкому ничегонеделанию". Местные жители настоятельно рекомендовали рассказчику даже не останавливаться под Древом Лени — если он и впредь намерен заниматься в жизни чем-то стоящим.

ри, — дорогой ты мой, да тут хоть форель лови. — С ним трудно было не согласиться. А мы все шли и шли вверх, стараясь ступать по проложенному вдоль канавы бордюру там, где таковой сохранился. — Ох и влип же ты по моей милости, — сказал Сабри, — теперь наверняка подхватишь насморк, а виноват буду я.

Вид у деревушки был совершенно очаровательный; архитектура чистейших крестьянских традиций: через огромные сводчатые двери с привычной в здешних деревнях резьбой, в которой до сих пор угадывается венецианское влияние, можно углядеть во внутренних двориках турецкие, под куполом, нужники; окна закрывали допотопные турецкие ставни-жалюзи. Такую чистоту, такую аутентичность встретишь разве что на Крите, да и то в горах. И повсюду — розы и бледные облачка абрикосового и персикового цвета; на окнах в навесных ящичках из старых канистр растут лекарственные травы; и венчает каждый дворик, этаким посланником из моего индийского детства, роскошный зеленый веер банановых листьев, шуршащих на ветру как пергамент. Сквозь притворенные двери таверны — скорбные всхлипы мандолины.

На самой вершине холма, там, где деревня уступала место диким горным зарослям, стояла старая ирригационная цистерна, и здесь наш провожатый свернул за угол, вынув из-за пазухи железный ключ размером с полруки здорового мужчины. Мы вскарабкались вслед за ним на последний пригорок и вышли к дому, большому кубической формы дому, какие строят турки-киприоты, с массивными резными дверями, сработанными во время оно для какой-то вымершей расы гигантов и для их огромных стад.

— Очень стильно, мой дорогой, — сказал Сабри, указывая на прекрасные окна с резными деревянными ставнями, — но что за дом, что за дом! — и он с видом знатока пнул ногой стену, так что отвалился кусок штукатурки и открыл его наметанному глазу все тайны постройки. — Саманный кирпич, глина пополам с соломой. — Что, конечно, было в высшей степени неприемлемо.

— Да ладно, — сказал я, взбудораженный смутным внутренним чувством, которое наверняка не смог бы облечь в слова. — Бог с ним. Раз уж мы сюда пришли, давай посмотрим.

Хозяин всем телом повис на ключе, чтобы провернуть его в замочной скважине, — замок был допотопный, на пистолетной пружине, какие встречаются иногда в средневековых английских домах. Мы тоже поднажали, упершись ему в плечи, и давили до тех пор, пока ключ со скрежетом не провернулся и огромная дверь не подалась под нашими общими усилиями. Мы вошли, а хозяин тем временем откинул две могучих щеколды, на которые была заложена вторая половинка двери, открыл обе створки и подпер вязанками прутьев. На этом его интерес к предприятию угас окончательно, поскольку он так и остался стоять в дверях, почтительно, не снимая с головы мешка и не выказывая никакого видимого интереса к нашим действиям. На первом этаже было сумеречно и тихо — и на удивление сухо, если учесть, что́ творилось снаружи. Я постоял немного, прислушиваясь к ритму собственного сердца и оглядываясь вокруг. Четыре высокие двойные двери были великолепны, как и оба выходившие в холл окна, закрытые деревянными, в турецком стиле, резными ставнями. Сами пропорции дома и то, как все здесь

было расположено, пришлись мне по душе; и даже Сабри откровенно понравилась резьба — искусная и в прекрасном состоянии.

Пол, хотя и земляной, был сух, как будто выложенный плиткой. Изоляцию стены этого дома явно давали хорошую — хотя, в общем-то, с саманом всегда так, если кладка достаточно толстая. В банановых кронах снаружи стенал ветер, а в промежутках был слышен далекий плач мандолины.

Сабри, который наконец сумел перевести дух, приступил к детальному осмотру всего и вся, я же, по-прежнему одолеваемый смутным чувством узнавания этого дома, прошел в самый конец зала и принялся смотреть, как лупит по гранатовым листьям дождь. Площадь сада вряд ли превышала двадцать квадратных ярдов, но деревья здесь росли так плотно, что кроны составляли единую, почти непроницаемую кровлю. Их было слишком много — часть придется вырубить: я даже вздрогнул, поймав себя на этой полумысли. Не рановато ли распоряжаться? Я еще раз небрежно их пересчитал: шесть танжеринов, четыре горьких лимона, два граната, два тутовника и высокий, наклонно растущий орех. С обеих сторон к саду примыкали дома, которых было почти совсем не видно за зеленью. В этой части деревни, на крутом склоне, строили уступами: балкон, над ним еще балкон, а между ними деревья. Кое-где сквозь зелень проглядывало море или — силуэтом — уголок аббатства.

Мои мечты были прерваны громким, на мычание похожим звуком, и на секунду я испугался, что Сабри принес себя в жертву, обнаружив в одной из комнат что-нибудь ужасное в состоянии стропил и балок. Но нет. Мычала телка. Она стояла в ближайшей к выходу комнате, привязанная к вделанному в стену кольцу, и с печальным видом жевала жвачку. Сабри осуждающе поцокал языком и притворил дверь.

— Чертова корова, мой дорогой, — улыбнулся он со снисходительностью истинного горожанина по отношению к мужицким штучкам. — И прямо в доме.

Были еще две довольно приличные комнаты, соединенные старинной створчатой дверью, и в них пара резных комодов. Потом наступил роковой момент.

— Не открывайте! — закричал хозяин и поспешил на помощь доблестному Сабри, боровшемуся с дверью, за которой, судя по всему, бушевало какое-то огромное животное — верблюд или, может быть, слон? — Совсем забыл вам сказать, — пропыхтел хозяин, когда мы, уже втроем, подналегли на дверную створку. Комната была по грудь засыпана зерном, которое тут же потекло наружу, стоило Сабри приоткрыть дверь. Всем вместе нам удалось ее закрыть, но прежде Сабри успел обратить внимание, насколько сухим было хранившееся в комнате зерно.

— В доме сухо, — с некоторой неохотой признал он, едва переведя дыхание. — По крайней мере, на первый взгляд.

Но это было не все; мы уже совсем было собрались уходить, как вдруг хозяин вспомнил, что в доме есть еще на что взглянуть, и уставил дрожащий палец в потолок, совсем как святой Иоанн на иконах.

— Еще одна комната, — сказал он, и мы вышли во двор, где продолжал накрапывать дождь, к узенькой наружной лестнице, вскарабкались по ней на балкон и оба застыли, лишившись дара речи. Вид был неописуемый. Под нашими ногами деревня уходила вниз и вдаль, изгибаясь в сторону зеленого мыса, на котором, резным силуэтом прорисованное

на фоне турецкого Тавра, высилось аббатство. За широкими дугами холмов виднелись серо-золотистые вишневые и апельсиновые сады и изящный абрис казафанской мечети. С этакой верхотуры мы видели по сути весь Беллапаис, а за ним, в пяти милях, Кирению, и тамошний замок выглядел до смешного игрушечным. Даже Сабри был потрясен открывшимся видом. Прямо за нашими спинами гора возносилась в голубые выси, увенчанная косматыми зарослями и осыпающимися башенками Буффавенто.

— Бог ты мой! — осевшим голосом сказал я. — Вот это место.

Сам балкон представлял собой всего-навсего ровную глиняную площадку без перил. В дальнем его углу — по диагонали от нас — и в самом деле располагалась довольно вместительная комната, теперь совершенно пустая, если не считать пары туфель и пирамидки танжеринов. Мы вернулись на балкон с его потрясающим видом. Гроза сошла на нет, и солнце делало первые слабые попытки пробиться из-за туч; вся восточная часть панорамы была залита тем самым светом, который царит над эль-грековским Толедо.

— Но этот балкон здесь вроде как сам по себе, — проговорил с искренним сожалением в голосе Сабри, — дорогой мой, тут нужен цемент.

— Зачем?

— Я тебе расскажу, как строится крестьянский дом — крыша в крестьянском доме. Пойдем-ка вниз. — Мы спустились по узкой наружной лестнице, а он тем временем достал блокнот и карандаш. — Сначала кладут балки, — сказал он, ткнув пальцем вверх, где лежал длинный ряд великолепных деревянных балок, и одновременно царапая на бумаге схемку. — Потом, на них, тростниковые циновки. Потом, в качестве наполнителя, лозняк или, бывает еще, сухую морскую траву. Потом глину из Карми, потом щебенку. А потом все это протекает, и ты всю зиму скачешь по крыше, пытаясь залепить дыры.

— Но в этом доме сухо, — сказал я.

— Где-то крыша начинает течь раньше, где-то позже.

Я указал на оставленный каменщиком автограф в виде прибитой над дверью чеканной металлической пластинки. На ней был выбит стандартный православный крест, буквы IE XP H (Иисус Христос Спаситель) и дата – 1897. На нижней половине той же пластинки, зарезервированной для записей о будущих перестройках или переделках дома, стояла одна-единственная дата (9 сентября 1940 года) — судя по всему, день окончания какого-то капитального ремонта.

— Да, дорогой мой, я в курсе, — терпеливо сказал Сабри. — Но если ты купишь этот дом, тебе придется переделывать балкон. Ты мне друг, и я на этом настою для твоей же пользы.

Мы говорили о балконе вполголоса на обратном пути. Дождь стих, но деревенская улица была по-прежнему пустынна, только у бакалейной лавки под открытым небом, на углу, сидел довольно плотный молодой человек, один-одинешенек среди мешков с картофелем и пакетов со спагетти, и раскладывал на столе пасьянс. Он — еще издалека — пожелал нам доброго дня.

На главной площади под Древом Лени сидел как на иголках Джамаль и прихлебывал кофе. Я уже совсем было собрался завести с хозяином дома разговор о том, какую примерно цену он собирается назначить за такое славное допотопное чудище, но Сабри жестом велел мне

молчать. Кофейня понемногу заполнялась народом, и любопытные лица одно за другим поворачивались в нашу сторону.

— Тебе нужно будет время, чтобы все обдумать, — шепнул он. — И я уже сказал ему, что ты не собираешься покупать эту рухлядь, ни за какие деньги. Пусть немного помучается...

— Но мне бы хотелось получить хотя бы самое общее представление о цене.

— Дорогой ты мой, о цене он и *сам* представления не имеет. Может быть, пятьсот фунтов, а может, двадцать или — десять шиллингов. То есть ни малейшего понятия. Начнем торговаться, вот тогда все станет ясно. Но нужно выдержать паузу. Время, мой дорогой, время на Кипре — это все.

Я горестно трясся по зеленой извилистой дороге обратно в Кирению, напряженно думая о доме, который задним числом нравился мне все больше и больше. Тем временем Сабри со знанием дела объяснял, как сильно я просчитался бы, купив дом прямо здесь и сейчас.

— Ты, к примеру, совершенно не принял в расчет целый ряд проблем, — сказал он, — вроде проблемы с водой. Ты подумал о воде? — О воде я действительно не подумал и устыдился. — Дай мне еще два дня, — добавил Сабри, — и я все выясню насчет прав собственности и на землю, и на воду. А потом пригласим этого человека и его жену ко мне в контору — и вот тогда уже всерьез поговорим о ценах. Богом клянусь, ты увидишь, какие тут на Кипре люди, жулик на жулике. А если ты его все-таки купишь, я тебя направлю к одному моему другу, и он займется переделкой дома. Он тоже, конечно, жулик, но дело свое знает. Об одном тебя прошу, дай мне время.

Вечером я рассказал Паносу о том, что видел подходящий дом в Беллапаисе, и он пришел в восторг, потому что сам прожил там несколько лет, преподавал в местной школе.

— Там живут самые ленивые люди на свете, — сказал он, — и самые добрые на всем Кипре. И у тебя всегда будет мед, а еще в долине, как раз за твоим, мой друг, домом, живут соловьи.

Он ни слова не сказал о шелке, миндале и абрикосах, об апельсинах, гранатах, айве... Может быть, просто не хотел влиять на мое решение.

Сабри между тем не давал о себе знать — задумался на неделю, не меньше; я представлял себе, как он готовится к предстоящему поединку двух воль, изнуряя себя долгими постами и молчанием — разве что время от времени стакан шербета — или даже страстными молитвами. Небеса опять налились синевой и затвердели, и апельсиновые деревья в епископском саду выкатили россыпи сияющих ярких солнц. Дело, судя по всему, шло-таки к лету; время тянулось с ленцой, дни разгонялись все дольше и дольше, сумерки висели вечность. Маленькая гавань снова наполнилась крикливыми рыбаками, занятыми починкой сетей, и яхтсменами, которые откровенно изнывали над давно законопаченными швами и последним, сотым по счету, слоем краски.

Потом наконец пришло извещение: назавтра в восемь утра мне надлежало быть у Сабри в конторе. У Паноса, который принес мне записку, мое откровенное нетерпение вызвало улыбку, он же сказал и о том, что Сабри не слишком верит в удачный исход дела, поскольку дом, как выяснилось, принадлежит не самому сапожнику, а его жене. Дом был частью ее приданого, и торговаться она собиралась сама.

— А с женщинами спорить, — изрек мой друг, — это просто муки крестные. Голгофа.

Тем не менее, Сабри решил от дела не отказываться. Затребованный им перерыв тоже прошел не даром, потому что ему удалось заполучить жизненно важную информацию относительно тамошнего водоснабжения. Вода на Кипре такая редкость, что продают ее малыми долями. Ты покупаешь у владельца источника час времени, а потом еще один час, и еще — и вся вода, которую ты сможешь набрать за это время, твоя. Вот здесь-то и начинаются главные сложности: права на воду являются неотъемлемой частью гражданских прав собственности и после смерти владельца распределяются между его наследниками. То же касается и земли, и растущих на этой земле деревьев. А если принять во внимание размеры кипрских семей, нетрудно представить, что число владельцев одного-единственного родника может доходить до трех десятков человек и что права на одно и то же дерево могут быть поделены между дюжиной родственников. Проблема, исходя из сказанного, заключается в том, что нужно добиться общего согласия на сделку — и для того, чтобы она вступила в хоть сколь-нибудь законную силу, заплатить каждому из тридцати за подпись. Иначе единственный мятежный племянник — или племянница — может наложить вето, и все ваши старания пойдут прахом. В случае с деревом один человек, к примеру, может владеть урожаем, который приносит это дерево, другой — землей, на которой оно стоит, третий — самой древесиной. Можно себе представить, какими гигантскими сложностями обрастает здесь самая элементарная покупка — чем и объясняется статистически невероятное количество юристов на Кипре.

И вот до Сабри дошел слух о том, что правительство собирается наконец взяться за давно обещанный жителям Беллапаиса проект общественного водопровода; более того, что сам проект уже почти готов. А поскольку так уж вышло, что архитектор из управления общественных работ был его другом, он и зашел как-то раз, совершенно случайно, к другу на работу и попросил показать ему, где конкретно будут размещены различные водоразборные системы. Идея явно была ниспослана ему свыше, ибо первое, что он увидел, так это общедоступную водоразборную колонку у самых дверей интересующего нас с ним дома. Данное обстоятельство по всем статьям крыло полученные из надежных источников довольно мрачные разведданные о том, что единственные "водяные права", которыми обладал в Беллапаисе сапожник, предполагали что-то около часа всего один раз в месяц — из главного колодца, то есть галлонов шестьдесят, в то время как средняя потребность в воде для обычной семьи составляет здесь порядка сорока литров *в день*. Вот это был козырь так козырь, ибо права на воду принадлежали в равной доле всем родственникам жены — в количестве восемнадцати человек, включая юного идиота по имени Пипи, от которого всегда было крайне трудно добиться согласия поставить под нужным документом свою идиотскую подпись...

Я застал моего друга Сабри, свежевыбритого и разряженного, сидящим в конторе, в обычном полумраке, неподвижно застывшим в окружении детских колясок. Перед ним на листе промокательной бумаги лежал огромный ключ от дома, и время от времени Сабри с видимым

упреком этот ключ от себя отталкивал. Он заговорщически приложил палец к губам и указал мне на стул.

— Они все уже здесь, мой дорогой, — прошипел он, — готовятся. — Он указал через дорогу: в тамошнем кафе сапожник успел собрать все свое семейство. Впрочем, выглядели они скорее как секунданты. Они расставили стулья полукругом, потягивали кофе и вполголоса о чем-то спорили: столько-то бород качнулось в стороны — "нет"; столько-то голов кивнуло — "да". Более всего они напоминали команду регбистов из американского фильма, получающих перед схваткой за мяч последние наставления от капитана. Еще чуть-чуть и они обрушатся на нас как тонна кирпича и оставят от нас мокрое место. Мне стало не по себе. — И самое главное, — сказал Сабри дрогнувшим от возбуждения голосом, — что бы ни случилось, не выказывай удивления. Ты ничему не должен удивляться. И еще: тебе же на самом деле совершенно не нужен этот дом, правда?

Я повторил за ним его слова, как фразу из катехизиса: "Мне не нужен этот дом. Мне совершенно не нужен этот дом". Но перед моим внутренним взором неотвязно стояла огромная резная дверь ("Бог мой, — сказал тогда Сабри, — какое прекрасное дерево. Из Анатолии. Раньше был такой способ: привязывали к корме большие бревна и привозили их сюда по морю. Настоящий анатолийский лес, он же простоит до скончания века"). Да-да, огромные резные двери под гладким слоем свежей синей краски... "Мне не нужен этот дом", — шепотом повторил я, судорожно пытаясь вогнать себя в нужное состояние духа.

— Скажи им, что мы готовы, — бросил Сабри куда-то в темноту, и тут же через дорогу метнулся босоногий юноша — туда, где собрался противник. Они тут же загудели, как потревоженный пчелиный рой, а потом от толпы отделилась жена сапожника или, вернее, попыталась отделиться, потому что с полдюжины рук тут же ухватили ее за юбку и за рукава и старейшины клана принялись нашептывать ей на ухо появившиеся в последний момент соображения. В конце концов ей удалось как-то вывернуться, она решительной походкой пересекла улицу и вошла в контору Сабри с громким и весьма уверенным "Доброго вам утречка!"

Она была вся как тугая связка старого ивняка — крупное тело, красивое самоуверенное лицо, слегка развинченные движения. На ней был обычный деревенский наряд: белая косынка на голове, черная юбка, традиционный, со шнуровкой впереди, мешковатый — и оттого похожий на небрежно подобранный парус — корсет. Поздоровавшись, она встала прямо перед нами, и вид у нее был очень решительный. Сабри откашлялся, осторожно, двумя пальцами, ухватил со стола ключ — так, словно тот был хрупкости необычайной, — и опустил его на ближайший к ней край стола с видом чародея, приступившего к начальной стадии заклинания духов.

— Мы тут как раз говорили о твоем доме, — сказал он вкрадчиво, и лишь по самому краешку его ровного и мягкого тона пробежал сквознячок коварства. — А известно ли тебе, что все дерево, из которого выстроен твой дом... — внезапно он выкрикнул последнее слово с такой силой, что я чуть не упал со стула, — гнилое! — И, подхватив со стола ключ, шваркнул им о столешницу, в подкрепление сказанному.

Женщина презрительно вскинула голову, взяла ключ и в свою очередь тоже шарахнула им о стол, возопив:

— *Нет*, не гнилое!

— *Да*, гнилое. — Сабри стукнул ключом о стол.

— *Нет*, не гнилое, — стукнула в ответ женщина.

— *Да*, гнилое, — удар.

— *Нет*, не гнилое, — ответный удар.

Интеллектуальный уровень дискуссии явно оставлял желать лучшего, и я почувствовал себя не совсем в своей тарелке. И еще у меня возникло опасение, что они в конце концов погнут ключ, и тогда уже никто из нас не сможет попасть в дом. Но это были, так сказать, вступительные аккорды, вступление к основной музыкальной теме.

Женщина взяла ключ и подняла его вертикально вверх — так, словно собралась принести на нем клятву.

— Этот дом — хороший дом! — выкрикнула она. И положила ключ на место.

Сабри задумчиво подобрал его, дунул в дырочку, как в ствол кольта, навел его на женщину и сощурил глаз. Потом рассеянно уронил обратно на стол и впал в задумчивость, словно отрешившись от происходящего.

— Ну а если предположить, что мы захотим купить этот дом, — сказал он, — чего мы, собственно, делать не собираемся, сколько ты за него спросишь?

— Восемьсот фунтов.

Сабри разразился долгим приступом театрального хохота, утирая с глаз воображаемые слезы и повторяя "восемьсот фунтов" так, будто за всю свою жизнь ему не приходилось слышать более удачной шутки. Он, не прекращая смеяться, повернулся ко мне, и я тоже стал смеяться жутким фальшивым смехом. Он ударил себя по коленке. Я завертелся на стуле, изображая острый приступ гастрита. Мы смеялись до тех пор, пока совершенно не выбились из сил. Потом мы снова сделались серьезными. Сабри, я видел это совершенно явственно, на самом деле был свеж как маргаритка. Он переключился и мигом стал терпелив, рассудителен и собран, как шахматный игрок.

— Забирай ключ и уходи, — рявкнул он вдруг, сунул ей в руки ключ и тут же повернулся спиной, крутанувшись на стуле-вертушке; потом, столь же внезапно, завершил круг и опять оказался с ней лицом к лицу. — Что такое? — удивленно спросил он. — Ты все еще здесь?

По правде говоря, женщине, даже при всем желании, вряд ли достало бы времени уйти. Но она была из тугодумов, к тому же упряма как мул, — тут уж сомневаться не приходилось.

— Ну и ладно, — звенящим голосом сказала она, схватила ключ, сунула его к себе за лиф и повернулась. Со сцены она удалилась не то чтобы слишком быстро.

— Не обращай внимания, — сказал Сабри и занялся бумагами.

Женщина в нерешительности остановилась за порогом конторы, к ней тут же подскочил муж и принялся о чем-то упрашивать, шепотом, заглядывая в глаза. Он взял ее за рукав и почти что волоком втащил обратно в контору, где сидели мы, демонстративно читая письма.

— А, это ты, — весьма удачно разыграв удивление, сказал Сабри.

— Она хочет еще поторговаться, — пояснил сапожник: голос у него был тихий, тон — примирительный.

— О чем тут еще говорить? Она меня за дурака держит, — тут он резко развернулся в ее сторону и проревел: — Двести фунтов и ни пиастра сверху!

Настала ее очередь корчиться в пароксизме фальшивого смеха, вот только спектакль у нее вышел не такой удачный. Мешал муж, который тут же принялся дергать ее за рукав, пытаясь вернуть к серьезному разговору. Сабри своего шанса не упустил.

— Хоть ты ей объясни, — сказал он. — Ты же мужчина, ты в таких вещах понимаешь. А она — всего лишь женщина, откуда ей знать настоящие цены. Скажи ей, сколько стоит этот дом.

Сапожник, который, судя по всему, совсем потерялся, опять обернулся к жене и уже открыл было рот, но тут она одним движением выхватила из-за корсажа ключ и подняла его над головой — так, словно собиралась обрушить на мужнин лысый череп.

— Дурак, — прорычала она. — Ты что, не понимаешь, что они из тебя дурака делают? Уйди, я сама с ними разберусь. — Она еще раз замахнулась на него ключом, и он, совершенно раздавленный, на цыпочках вышел из конторы, чтобы присоединиться к остальным ее родственникам в кафе напротив. Она же повернулась ко мне и протянула умоляющую руку, приговаривая по-гречески: — Послушай, будет тебе, ведь ты же англичанин, разве подобает англичанину так жестоко торговаться с женщиной... — Но, поскольку я до сей поры ничем не выдал, что знаю язык, мне не составило особого труда изобразить полное непонимание. Она со зловещей миной обернулась к Сабри, хрястнула еще раз ключом об стол и выкрикнула:

— Шестьсот!

На что Сабри, практически одновременно с ней, проорал:

— Двести!

У меня заложило уши. Они долго и молча смотрели друг на друга, отдуваясь, как боксеры в клинче, которые ждут рефери, чтобы тот их разнял. Сабри решил, что настал самый удобный момент для быстрого удара ниже пояса.

— В любом случае, дом-то заложен, — прошипел он, и она поплыла в нокдауне. — Шестьдесят фунтов и три пиастра, — выпалил он. Она схватилась за нижнюю часть живота, как будто туда и впрямь пришелся удар. Сабри не терял ни секунды: — Я дам тебе двести фунтов плюс сумму залога.

Она завопила в голос:

— Нет! Ни за что на свете! — и шваркнула ключом.

— А я говорю, да!

Она схватилась за ключ (к настоящему моменту он, по сути дела, стал представительным символом нашего состязания. О доме никто уже не помнил. Мы пытались купить у нее этот старый ржавый ключ, который куда удачнее смотрелся бы на поясе у святого Петра, чем на моем собственном). Она ухватилась за ключ, по-детски прижала его к груди и сказала:

— Да ни в жисть! — она побаюкала его, как младенца, а потом положила обратно.

Сабри хозяйским жестом взял ключ со стола и опустил в карман. Тут она завизжала и бросилась на него с криком:

— Отдай мой ключ, да чтоб ты сдох, ни дна тебе ни покрышки, отдай мой ключ!

Сабри резко выпрямился, картинным театральным жестом поднял ключ над головой, вне пределов ее досягаемости, и продолжал неумолимо твердить:

— Двести фунтов. Двести. Двести.

Она извивалась и хватала ртом воздух, словно рыба на крючке, выкрикивая беспрестанно:

— Спаси и сохрани меня, святая Катерина! Нет. Нет! — потом вдруг, ни с того ни с сего, они оба остановились: он положил ключ и опустился на стул, она же вся как-то разом осела, словно закипевшее молоко, когда его снимешь с огня. — Мне надо посоветоваться, — сказала она совершенно другим тоном, больше не прикасаясь к ключу, пошла через дорогу в кофейню, где ждали ее с полотенцами и губками секунданты. Первый раунд закончился вничью, хотя Сабри и удалось провести пару хороших ударов.

— Что теперь? — спросил я, и он усмехнулся:

— Самое время попить кофе. Ты, мой дорогой, наверное, уже понял, — добавил он, — что нам придется накинуть еще сотню. Я так чувствую. — Он был похож на крестьянина, который по малейшим, незаметным для обычного городского жителя приметам может с точностью предсказать погоду на завтра. Эта затянувшаяся пантомима являла собой довольно увлекательное зрелище, и я уже был внутренне готов к тому, что переговоры затянутся на целую неделю. — Они еще ничего не знают про воду, — сказал Сабри. — Они отдадут дом задешево, а потом постараются выжать из нас все соки, когда речь зайдет о "водяных правах". Нам нужно сделать вид, что мы забыли о воде, и купить дом подешевле. Ты понял? — и тут его план раскрылся передо мной во всем своем великолепии. — Однако, — сказал он, — все нужно закончить сегодня, сейчас, потому что, как только она вернется назад в деревню и начнет распускать сплетни, ни до чего договориться уже не удастся.

Мне показалось, что с этой задачей она довольно успешно справилась и здесь, ибо в кофейне напротив разразилась жуткая перебранка. Она в чем-то обвиняла мужа, а тот огрызался как мог и размахивал руками.

Немного погодя Сабри шепнул:

— Вот, опять идет.

И она пришла опять, распустив паруса, под самую ватерлинию нагруженная неурядицами и бедами. Она поменяла тактику. Теперь она начала с того, что изложила нам длинный список семейных невзгод, надеясь нас растрогать; но к этому времени у меня уже возникло такое ощущение, будто все мои зубы превратились в клыки. Стало ясно, что она слабеет. Еще чуть-чуть, и можно будет вить из нее веревки. Настал самый психологически верный момент для того, чтобы немного стравить леску, что Сабри Тахир незамедлительно и сделал, пообещав накинуть сотню сверху ("целую сотню", медовым голосом ворковал он), если она подпишет все бумаги прямо здесь и сейчас.

— Муж у тебя дурак, — продолжал он, — а родственники — темные люди. Ты никогда не найдешь покупателя, если упустишь этого джентльме-

на. Посмотри на него. Он уже дал слабину. Можно еще на него нажать. Ты только глянь, какое у него лицо.

Я постарался изобразить на лице соответствующее выражение, честно отрабатывая положенную роль. Она бросила в мою сторону взгляд, каким голодный крестьянин оценивает пареную репу, и вдруг, в первый раз за все утро, села на стул и разразилась душераздирающими рыданиями. Сабри аж засветился от радости и тут же мне подмигнул.

Она закрыла лицо углом платка и забилась в конвульсиях, приговаривая между тем вполне отчетливо:

— О господи Иисусе, что они со мной делают? Разор на меня и на весь мой род. Детишек моих удавили, имя мое честное втоптали в грязь.

Сабри пребывал в откровенно приподнятом расположении духа. Он перегнулся к ней через стол и принялся приговаривать ей на ухо голосом вошедшего в раж Мефистофеля, заполняя своими дьявольскими инсинуациями каждую паузу между ее горестными восклицаниями. До меня доносились только отдельные, на одной и той же ноте, фразы: "Залог... две сотни... муж дуралей... никогда не будет другой такой возможности". Тем временем она раскачивалась и причитала, как арабская женщина, от души наслаждаясь собственным спектаклем. Иногда она как бы невзначай пробегала глазами по нашим лицам, чтобы оценить произведенный эффект; из Сабри, однако, ни капли сострадания сейчас было не выжать, он уже поймал удачу за хвост; в здешнем неверном полумраке он напоминал мне тигровую акулу — моментальный проблеск белого брюха, хищник уже перевернулся на спину, чтобы удобней было отхватить кусок.

— Мы ведь еще не говорили о воде, — сказал он, и она, сквозь затихающие всхлипы, сразу уловила суть этой последней его фразы. — Ему это встанет еще в сотню фунтов. — Мы же говорим сейчас только о доме, — гнул свою линию Сабри, и у нее в глазах зажегся огонек понимания. — А о воде поговорим после, — тон, которым все это произносилось, содержал в себе смутный намек на то, что он теперь переметнулся на ее сторону.

Иностранец, который не говорит по-гречески, вполне ведь может и не разобраться в том, что без прав на воду дом ровным счетом ничего не стоит. Она стрельнула в мою сторону глазами, а потом перевела взгляд обратно на Сабри, и огонек понимания сменился огоньком торжества. Неужто Сабри и в самом деле меня предал? Он ведь может отхватить кусок и от меня — как только я куплю дом... Она уже улыбалась и всхлипывать перестала.

— Если хочешь все это провернуть, действовать надо быстро, — тихо сказал Сабри. — Смотри. Мы сейчас едем к вдове и забираем закладную. И заплатим за нее в земельной управе, прямо при тебе. А потом при свидетелях заплатим за дом, — и добавил, понизив голос почти до шепота: — А вот уже после этого обсудим с этим джентльменом проблемы с водой. Бумаги при тебе?

Но мы взяли слишком быстрый для нее темп. Ее одолевали противоречивые чувства: на лице попеременно отражались то подозрительность, то растерянность. Время от времени ее сотрясал приступ плача — как самопроизвольный взбрык в перегретом моторе, когда ты его уже выключил.

— Они у дедушки у моего, бумаги.

— Иди возьми их, — коротко сказал Сабри.

Она встала, по-прежнему борясь с собой, и пошла на ту сторону улицы, где среди ее секундантов тотчас же разразился яростный спор. Седобородый старик, размахивая палкой, произнес целую речь. Сапожник тряс широко расставленными руками. Сабри скептически наблюдал всю эту кутерьму.

— Существует одна-единственная опасность — ее нельзя отпускать в деревню.

Он был совершенно прав; если одни только родственники были в состоянии этакое устроить, чего в таком случае ждать от целой деревенской кофейни? Всякая способность принимать решения — а противной стороне и без того ее недоставало — будет сведена на нет градом противоположных по смыслу советов. И обсуждение простейшей сделки вполне может перерасти в уличные беспорядки, а от уличных беспорядков рукой подать до всеобщей — на весь остров — забастовки...

Я с восхищением смотрел на моего нового друга. Какой бы из него вышел дипломат!

— Вот, опять идет, — тихо сказал Сабри; и она опять пришла, и положила бок о бок с ключом свернутые в трубочку бумаги. Сабри не удостоил их вниманием. — Вы обо всем договорились? — строго спросил он.

— Дедушка не велит мне продавать дом. Он говорит, что вы меня обманываете как дурочку.

Сабри фыркнул, вложив в один звук все свое презрение к ее темным родственникам.

— Дом твой?

— Да, господин.

— Деньги тебе нужны?

— Да.

— Ты хочешь получить их сегодня?

— Да.

Мой друг откинулся на спинку стула и закатил глаза к затянутому паутиной пространству под кровлей.

— Ты только подумай, — сказал он, и в голосе его звенела вся поэзия торговли. — Этот джентльмен даст тебе маленький такой, славный такой чек. И ты отправишься с ним в банк. Там станут смотреть на чек с почтением, потому что на чеке стоит его имя. Они откроют сейф... — его голос дрогнул, а она смотрела на Сабри жадно, не отрываясь, завороженная его колдовским тоном сказителя. — Они достанут оттуда пачку денег, толстую, что твой медовый сот, толстую, как салями, — тут они оба невольно облизнулись, и даже я сам почувствовал внезапный приступ голода при мысли о таком обилии съедобных денег. — Один... два... три, — месмерическим тоном, полным животного магнетизма, считал Сабри. — Двадцать... шестьдесят... сто, — и голос у него становился все громче и громче, покуда не достиг вершины на слове "триста". На протяжении всей этой мелодекламации она вела себя как курица, уткнувшаяся клювом в меловую линию. Как только он кончил, она издала экстатический полувздох-полустон — и вздрогнула, будто вышла из гипноза.

— И заклад тоже будет уплачен. Вдова Анти будет вне себя от счастья и преисполнится уважением к тебе. А ты и твой муж — вы получите *триста фунтов наличными,* — у него перехватило дыхание, и он вытер лоб красным носовым платком. — Все, что от тебя требуется, это дать свое

согласие. Или забирай свой ключ! — он сунул ей в руки ключ, еще раз крутанулся на стуле и на сей раз полные десять секунд созерцал стену, прежде чем завершить круг. — Ну? — спросил он. Она опять была на грани слез.

— А как же мой дедушка? — дрожащим голосом спросила она.

Сабри раскинул руки в стороны.

— Что мне прикажешь сделать с твоим дедушкой? Похоронить его за мой счет? — тон у него сделался откровенно издевательским. — Но ты давай думай быстрее, а то вон джентльмен уже собрался уходить.

Я уловил сигнал, встал, потянулся и начал говорить что-то вроде:

— Ну что ж, я думаю, мне... — ни дать ни взять помощник приходского священника в ликоковском рассказе.

— Ну, живей! Живей! Скажи что-нибудь, а то он сейчас уйдет, — сказал Сабри.

На лице у нее появилось выражение полной потерянности.

— Ой, святой Матфей, ой, святой Лука, — выкрикнула она в голос, терзаемая жуткими сомнениями. Для обращения к святым момент был довольно странный, но слишком велика была тяжесть ответственности за принимаемое решение. — Ой, Лука, ой, Марк, — сипела она, протянув одну руку в мою сторону, чтобы я не дай бог не ушел.

Сабри был похож теперь на великого психоаналитика-клинициста, который почувствовал близость долгожданной трансференции.

— Сейчас дозреет, — шепнул он мне и, сунув два пальца в рот, издал пронзительный свист, всполошивший всю округу. Буквально в то же мгновение Джамаль, который, судя по всему, в полной боевой готовности сидел в машине на боковой улочке, с грохотом и в облаке пыли подкатил к нашей двери. — Хватай ее, — крикнул Сабри и подхватил женщину под левый локоть. Я выполнил приказ и поймал ее за другую руку. Она не то чтобы сопротивлялась, она просто легла в дрейф, и нам стоило немалых усилий проволочь ее через всю комнату, а потом — к дверце такси. По всей видимости, такая спешка в этом coup de main[1] была вполне оправдана, и он крикнул мне: — В машину ее! — и сам поднажал плечом: мы затолкали женщину на заднее сиденье, Сабри ввалился следом и только что не плюхнулся на нее сверху.

Она вдруг принялась стонать и звать на помощь, как если бы ее на самом деле похитили, — концерт, вне всякого сомнения рассчитанный на пресловутого дедушку, — и делать знаки через заднее стекло. Ее группа поддержки в полном составе высыпала на дорогу, во главе с размахивающим тарелкой патриархом и с мужем-сапожником, который тоже, насколько я успел заметить, ударился в слезы.

— Стойте! Что вы делаете! — хором завопили они, мигом перебаламутив всю улицу. С криком "Они увозят маму!" в толпе объявились рыдающие дети.

— Не обращай внимания, — сказал Сабри с видом Наполеона в самый канун Ваграма. — Гони, Джамаль, гони. — И мы с ревом рванули с места, распугивая сбежавшихся на шум зевак, которые, судя по всему, решили, что имеет место самое настоящее умыкание невесты с положенными по сценарию перестрелкой и погоней.

— Куда мы едем? — спросил я.

1. Смелое предприятие, налет (*франц.*).

— Лапитос — вдова Анти, — коротко бросил Сабри. — Давай, Джамаль, жми.

Когда мы сворачивали за угол, я с ужасом заметил, что сапожник и его семейство тоже остановили такси и уже набиваются в него с явным намерением отправиться за нами следом. Все это предприятие и в самом деле начинало походить на боевик.

— Не беспокойся, — сказал Сабри, — водитель в том, втором, такси — брат Джамаля, и по дороге он проколет шину. Я обо всем позаботился.

Мы тряслись по залитой ярким солнечным светом дороге на Лапитос. Женщина с интересом выглядывала из окошка, весело тыча пальцем при виде знакомых садов, ручьев и скал. Она совершенно перестала нервничать и улыбалась нам обоим. Похоже, в последний раз возможность покататься на машине была у нее не вчера и не позавчера, и она радовалась как ребенок.

Мы пушечным ядром ворвались в дом вдовы Анти и потребовали закладные; но вдова куда-то отлучилась, а бумаги были заперты в буфете. Еще одна колоритная сцена. В конце концов Сабри и жена сапожника при помощи какой-то железки взломали дверцу буфета: мы, хотя и не без задержки, выбрались на свет божий и заняли свои места в экипаже. Второго такси, когда мы тронулись в путь меж благоухающих лимонных рощ в сторону Кирении, действительно не было видно, но вскоре мы наткнулись на всю честную компанию, сгрудившуюся вокруг шофера, который менял на допотопном авто колесо. Как только они нас увидели, раздался оглушительный крик и была незамедлительно предпринята попытка перекрыть дорогу, но Джамаль, уже успевший проникнуться авантюрным духом нашего предприятия, прибавил скорость, и мы пошли на таран. Я очень переживал за дедушку, который до самого последнего момента стоял прямо посреди дороги и размахивал палкой, и я боялся, что он не успеет вовремя отскочить в сторону. Я закрыл глаза и глубоко втянул носом воздух, то же сделал и Сабри, поскольку глаз у Джамаля был всего один и ездить на скорости больше двадцати миль в час Джамаль не привык. Но все обошлось. Старичок был, судя по всему, чистый порох: когда я обернулся, чтобы посмотреть через заднее стекло, он уже сидел орлом в канаве — поза не слишком соответствовала его возрасту, но он был в самом добром здравии, если судить по тому, как и что он выкрикивал нам вслед.

Чиновников в земельной управе наше появление повергло в некоторый шок, поскольку к этому времени жена сапожника решила вновь удариться в плач. Я до сих пор не могу понять зачем — ведь производить впечатление было уже, по сути, не на кого; разве что ей просто захотелось использовать весь драматизм ситуации, до последней капли. Потом выяснилось, что она не умеет писать, — единственным грамотным человеком в их семье был дедушка, и она собиралась ждать дедушку.

— Боже мой, если он сюда нагрянет, для нас, мой дорогой, все потеряно, — сказал Сабри.

Нам пришлось силком приложить ее палец к договору о купле-продаже; звучит легко, но в результате мы в буквальном смысле с ног до головы измазались в чернилах.

Она вернулась в нормальное человеческое состояние только после того, как все подписанные и заверенные бумаги были вручены Сабри; когда же я протянул ей чек, она уже положительно сияла от радости и

даже, к немалому моему удивлению, настояла на том, чтобы пожать мне руку, сказав при этом:

— Вы славный человек, и дай вам бог в новом доме счастья.

И наружу, в яркий солнечный свет и в густую тень перечных деревьев, мы все трое вышли лучшими друзьями. На главной улице стояло пыльное такси, откуда сердито и вяло выгружались остатки разбитой армии. Увидев нашу спутницу, они завопили на разные голоса, выстроились шеренгой и двинулись в нашу сторону, жестикулируя и размахивая палками. Жена сапожника издала душераздирающий крик и рухнула в дедушкины объятья, рыдая так, словно с ней только что случилось нечто трагическое и непоправимое. Старик, слегка помятый за время боевого похода, с застрявшими в бровях сухими травинками, прорычал в ее сторону что-то обнадеживающее, а потом загремел:

— Ты сделала это?

Она зарыдала еще того пуще и кивнула, безнадежно, как будто отныне вся ее жизнь не стоила ломаного гроша. Воздух огласился проклятиями, но Сабри был спокоен и тверд. Весь дальнейший спектакль игрался исключительно в пользу бедных, и не стоило принимать его всерьез. Широким жестом он приказал подать каждому по бутылке кока-колы — и тут же рядом оказался мальчишка с ящиком на колесиках. Сабри таким образом убил сразу двух зайцев: противник немного остыл, и к тому же кола сошла за традиционное угощение — выпивку по случаю удачной сделки. Надо ли говорить, что и этот ход был рассчитан заранее, как, впрочем, и все его ходы. Разбирая бутылки, они по инерции все еще поругивали нас, но достаточно вяло, а вот пили с видимым удовольствием. И то сказать, прокатиться до Лапитоса — дело пыльное.

— Во всяком случае, — сказал сапожник, когда они все уже успели немного оттаять, — права на воду пока у нас. На этот счет мы с джентльменом еще не говорили.

Однако джентльмен к тому времени что-то подустал, и к тому же его переполняли свежеобретенные чувства собственника.

— Я купил дом!

Сабри едва заметно кивнул.

— Потом, — сказал он и привлек выразительным взмахом руки внимание Джамаля, который тоже пил свою честным трудом заработанную кока-колу в тени перечного дерева. — А теперь мы немного передохнем.

Все семейство распрощалось с нами в наилучшем расположении духа, каждый считал своим долгом просунуть голову в такси и пожелать мне напоследок всяческих благ, так что я и в самом деле почувствовал себя женихом.

— Цену вы дали каноническую, — в качестве последнего напутствия изрек седобородый дедушка. И я подумал, что лучше, наверное, не скажешь.

— А теперь, — заговорил Сабри, — я отвезу тебя в совершенно особенное место, и там ты попробуешь meltemi – есть тут такой ветер. Да, кстати, который теперь час? Значит, у нас в запасе ровно полчаса.

В Киренском замке на самом верху среди оборонительных сооружений имелся небольшой балкон, служивший офицерам полиции столовой. Сабри, как я выяснил позже, был еще и полицейским сержантом по особым поручениям. Именно там мы и уселись, словно два императора, наслаждаясь подобающими императорскому сану уединением и горним

простором, и стали глядеть поверх залитой солнцем полоски пролива на далекие Караманские горы, а перед нами на скатерти сменяли друг друга потрясающе разнообразные сорта охлажденного пива в сопровождении разнокалиберных блюдечек с роскошными кипрскими закусками. И именно сюда заглянул к нам, точно по часам, обещанный Сабри ветерок — легчайшее дуновение прохлады, тронувшее на бегу ровную поверхность гавани.

— Чувствуешь? — спросил он, подставляя ветру щеку, как парус. Он явно был от природы наделен счастливым мусульманским свойством, именуемым kayf, — той созерцательностью, что происходит от умения молчать и от внутренней свободы. Это не мечтательность и не склонность к медитации, которые суть дети рефлексирующего сознания, позволившего себе расслабиться; kayf есть нечто более глубокое — бездонное отдохновение воли, которая даже не удосуживается задаться вопросом: "Счастлива я или нет?"

Он что-то царапал на клочке бумаги, а потом протянул эту записку мне.

— Вот теперь у тебя начнутся настоящие проблемы, потому что дом нужно довести до ума. Смотри, я все для тебя посчитал. Ванная будет стоить тебе столько-то. Балкон, при таких-то расценках за кубический фут материалов, — столько-то. Если ты продашь балки — каждая принесет тебе фунта три, а их там восемьдесят, — у тебя образуется вот эдакая сумма. Это так, просто к сведению, мой дорогой, чтобы тебя не слишком надули. — Он закурил сигарету и улыбнулся уголками губ. — Да, а человека, который тебе нужен, чтобы справиться со всей этой стройкой, зовут Андреас Каллергис. Он парень хороший и надежный — хотя, конечно, жулик, вроде меня! Но он свое дело знает — потому что, сам понимаешь, за всем-то сам не уследишь. Вот цены на цементные блоки, а вот — на штукатурку, за квадратный метр.

Я рассыпался было в изъявлениях благодарности, но он махнул рукой.

— Мой дорогой Даррелл, — сказал он, — если человек ко мне со всей душой, так и я к нему со всей душой. Ты теперь мой друг, и мое отношение к тебе никогда не переменится, даже если переменишься ты сам.

Мы выпили по полной и посидели в тишине.

— Меня к тебе отправил грек, — сказал я, — а теперь турок отправляет меня обратно к греку.

Он расхохотался.

— Кипр — маленький остров, — сказал он, — и между собой мы все друзья, хотя и очень друг на друга не похожи. Ты на Кипре, мой дорогой.[1]

1. Когда работа над переводом "Горьких лимонов" уже подходила к концу, газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала сообщение о том, что 9 мая 2000 г. в офисе принадлежавшей ему гостиницы в г. Лефкоза (бывший Лефкос), столице самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра, был застрелен собственным охранником 76-летний Сабри Тахир. Он стал жертвой борьбы за передел сфер влияния. В 1981-м у Сабри зарезали единственного сына, в 1990-м он сам лишь чудом избежал смерти — взлетела на воздух его машина; в 1996-м он получил пулю в ногу. Сабри, судя по всему, был одним из крупнейших в турецкой части Кипра теневых "авторитетов". Какое-то время он даже был мэром в своем родном городке Гирни (бывшая Кирения) — и вместо фамилии иногда употреблял своего рода "владетельный титул" Гирнели (Гирнийский). Сабри Тахир родился в 1923 г., так что Даррел прибавил ему лет, сделав своим ровесником, тогда как летом 1953-го ему не было и тридцати.

В тот теплый медово-золотистый вечер мне казалось, что и в самом деле лучшего острова — чтобы остаться года на два, на три — просто не найти.

Ветер надежд

<...>

Добравшись до дома, я обнаружил, что приехал мой брат с женой и целой кучей всяческого снаряжения — не привез он с собой разве что мешочков с солью и цветных бус для подкупа аборигенов. Он слегка расстроился, узнав, что я похоронил его при Фермопилах, однако к последствиям этой трагической истории отнесся с большим воодушевлением; в конце концов, это означало, что его везде и всюду станут угощать дармовой выпивкой — в признание семейных заслуг. Вся деревня возрадовалась чудесному воскрешению из мертвых, и даже Франгос не слишком на меня обиделся за обман. Более того, через несколько дней брат обнаружил, что его греческий — познания в котором, как ему казалось, утрачены безвозвратно — мало-помалу вернулся, что открыло ему прямой путь к радушным сердцам наших друзей и соседей. И более того, вооружившись киносъемочной и звукозаписывающей аппаратурой, он незамедлительно приступил к изматывающе детальному запечатлению и самой деревни, и здешней деревенской жизни, так что все ее обитатели как один стали грезить о голливудских контрактах и принялись отрабатывать сценическую походку; даже мистер Мёд, которого я бы ни за что на свете ни в чем таком не заподозрил, вел себя весьма фривольно.

А еще настало время поменять постоянное место жительства, поскольку мои новые обязанности подразумевали, что в любое время дня и ночи я буду рядом с телефоном; но как ни жаль мне было переезжать, я был рад передоверить дом брату, оставив за собой счастливое право наезжать сюда на выходные. И если при расставании с домом печаль моя мешалась с чувством облегчения, то по одной простой причине: я знал, что стоит моему братцу взяться за основное свое занятие, как через несколько дней здесь будут кишмя кишеть ящерицы, крысы, змеи и всякая ползучая тварь — и чем отвратнее, тем лучше, — которую Создатель измыслил для того, чтобы жизнь на земле не казалась нам раем. И если вам ни разу не приходилось обонять запертую в тесном помещении сову или видеть, как тошнит ящерицу, вы и представить себе не можете, о чем идет речь!

Когда кругом война, меча в долг не выпросишь.
Кто сын попу, тот черту внук.
Всяк цыган свою корзину хвалит.

Поговорки греков-киприотов

<...>

Нужно не меньше месяца, чтобы научиться улавливать в воздухе специфический привкус терроризма, букет, составленный из самых смутных и неожиданных страхов: торопливые шаги, человек бежит по улице за полночь; молчаливый мужчина в белой рубашке стоит на углу и держит велосипед, слишком маленький и явно не подходящий ему по росту; припаркованная машина с погашенными фарами; распахнутые фабричные ворота или мигающий ночью в поле электрический фонарик. Терроризм отравляет самые истоки человеческого существования. Если человек боится, что его подкараулят, убьют, бросят в него гранату, в этом по крайней мере есть элемент испытания — здесь есть место чувству жалости к себе или страха и готовности встретить опасность лицом к лицу. Но злой демон, порождаемый терроризмом, зовется иначе — подозрительность. Человек, который останавливается рядом с вами и просит прикурить; повозка со сломанной осью на дороге и рядом погонщик, поднявший руку; неподвижная фигура в лесу среди деревьев; трое подростков возвращаются в деревню затемно; крик пастуха ночью за околицей, неведомо к кому обращенный, когда не понятно ни слова; внезапный звонок в дверь поздней порой. Тонкая цепочка доверия, на котором основаны все и всяческие человеческие отношения, рвется — и террорист об этом знает и предпочитает точить свои когти именно здесь, ибо вовсе не открытое сражение является его главной целью. Его главная цель — переложить ответственность за собственные преступления на всю общину, когда наказываются ни в чем не повинные люди, что неминуемо вызывает возмущение и гнев и обеспечивает ему постоянный приток все новых и новых сторонников. Здесь-то и кроется основная опасность, ибо действовать всегда приходится на грани допустимого; теория коллективной ответственности, предполагающая такие меры, как экономические санкции, аресты и комендантский час, может работать на протяжении весьма ограниченного срока и непременно вызовет противодействие, адекватное получаемому давлению. Иными словами, силовые методы часто оказываются на поверку столь же бесплодными для нас, как и все те политические трюки, к которым мы прибегали в прошлом, порождая всякий раз, с каждым новым маневром правительственного корабля, с каждой последующей попыткой продвинуться хоть немного вперед, все более и более высокую встречную волну. Я не мог и не хотел примерять все эти соображения к собственной своей ситуации, я надеялся, что все обойдется; но мне казалось, что главная опасность тех мер, к которым мы, вероятнее всего, будем вы-

нуждены прибегнуть, состояла в том, что мы своей волей превратим в греков тех, кто раньше считал себя лишь греками-киприотами, — поскольку, если мы и не выступали открыто против самой Греции, мы открыто выступали против греческого духа. И простого решения этой проблемы я не видел и не вижу; Афины слишком близко от Кипра, и самая форма и самая суть того восстания, идею которого киприоты сперва вынашивали, а потом взялись осуществлять на практике, слишком отчетливо выдают общегреческие корни. Временные затишья, да, конечно, и периоды относительной стабильности — может быть, даже не в год и не в два длиной; но в конечном счете эта неотвязная проблема все равно встанет перед нами в том или ином виде. И ни одно из политических решений не способно удовлетворить даже половины требований каждой из трех вовлеченных в конфликт наций! Кипр и в самом деле стал опаснейшим слабым местом во всей структуре НАТО.

В каком-то смысле в том, что происходило на Кипре, начиная с этого момента, не было ничего нового, хотя отдельные детали, поданные прессой в сугубо драматическом ключе, приобретали яркую и — иногда — более чем сомнительную окраску: так поступают с бактериями, когда подкрашивают стеклышко, чтобы разглядеть под микроскопом объект исследования, — хотя, может статься, я придумал неверную метафору. Ее скорее следовало бы позаимствовать у той техники, которую фотографы употребляют, чтобы "увеличить" негатив. Однако с другой точки зрения, с другого конца коридора — с точки зрения того Кипра, который я близко знал два года тому назад, — изображение радикальным образом переменилось. Очертания того, что мы имели в виду, говоря о гражданском обществе, оказались размыты, как только было приостановлено действие акта о правах человека, как только коммунист и энозист очутились бок о бок за решеткой, а пресса — под запретом; государство теперь вело войну с самим собой.

Терроризма не стало меньше, его стало больше — весьма характерный показатель общего состояния вещей; и к тошнотворно подлой практике убийства солдат и полицейских на улице из-за угла добавилась еще более отвратительная, типично балканская практика убийства гражданских лиц, заподозренных в предательстве национальных интересов. Кроме того, под прикрытием и во имя Энозиса сводилось, естественно, множество чисто личных счетов. Черная маска служила достаточно надежной защитой. "Стоит только какому-нибудь типу раздобыть пистолет и маску, — задумчиво сказал мне как-то Рен, демонстрируя на сей раз полное понимание средиземноморского темперамента, — и первым делом он выпускает обойму в человека, которому должен деньги, а уж потом берется за прочие национальные проблемы". Впрочем, он, как и все мы, сделался циником.

Однако скотская охота на безоружных гражданских, которых стреляли одного за другим, словно кроликов, — в церкви, в кофейне, даже в больнице, — поставила последнюю, на этот раз непреодолимую преграду между мной и моими деревенскими друзьями, чье упорное и непоколебимое нежелание расставаться с былой дружбой до сей поры выдерживало все испытания. Да и сейчас, по сути, все осталось по-прежнему. С обычным киприотским упрямством они, как и в былые времена, шли пешком в Кирению отправить мне по почте приглашение на свадьбу — в среднем я получал по приглашению в неделю, — чтобы я ни дай бог не

подумал, что они стали иначе ко мне относиться. Вот только теперь я уже сам не решался эти приглашения принимать; информаторов хватало повсюду, и мысль о том, что Андреасу, или Франгосу, или толстому Антемосу придется отвечать за "предательство", была для меня невыносима. Но приглашения прибывали регулярно, как и цветы, и мандарины, и цветочные луковицы; и по-прежнему Мореплаватель-Андреас заходил поговорить о достоинствах цементных блоков, хотя балкон давно уже был построен. Где бы я ни встретил односельчанина, приветствием мне были радостный крик и рукопожатие, даже на безлюдной дороге за Фамагустой — месте не самом удачном, если ты грек и тебе пришло в голову поговорить с проезжающим в машине иностранцем. А потом застрелили Паноса. Он вышел прогуляться в сумерках по узким извилистым улочкам в районе гавани. На стенах близстоящих домов остался, как всегда, автограф Дигениса[1], хотя я сомневаюсь, чтобы Дигенис лично нажал курок пистолета, из которого Панос был убит.

За двое суток до этого мы провели день на мысу, у Мэри, по его настоянию; ему хотелось воочию познакомиться с затеянными ею работами по разбивке колоссального сада, я же, со своей стороны, был рад съездить туда с человеком, понимающим толк в деревьях, поскольку Янису, ее фактотуму, я не слишком доверял, и теперь, когда Мэри не было дома, желал лишний раз убедиться в собственной правоте. Теплым безоблачным утром мы выехали из дома — в приподнятом настроении, поскольку убийств и взрывов не было уже полных двое суток, и душноватая островная истома начала, как обычно, будить в душе иллюзорные воспоминания о мирной жизни, успевшие осесть в самые дальние, едва ли не доисторические глубины памяти, но всегда готовые воскреснуть, чуть только наступало такое вот кратковременное затишье. Клито снабдил нас большой оплетенной бутылью белого вина, а собственный Паноса огород — латуком, огурцами и изящными стрелками лука-шалота. Коврига черного деревенского хлеба из непросеянной муки и несколько ломтиков вареной говядины дополнили запас продовольствия, которого, как мы прикинули, нам должно было хватить на весь день. Уложив провизию, мы заправили машину и тронулись в путь сквозь серебристые плантации олив в сторону Айос-Эпиктетос, через утопающие в мягком солнечном свете раннего весеннего утра мирные зеленые предгорья Готского хребта, чей остро отточенный край был четко прорисован на фоне безоблачного голубого неба. Могучие утесы отбрасывали теплый коричневато-золотистый отсвет, как буханки свежего хлеба.

— Куда? — спросил я, потому что обещал ему заехать в пару мест, прежде чем мы возьмем курс на мыс.

— В Клепини, — сказал он. — Мой календарь подсказывает мне, что там сегодня начнут цвести цикламены. — У Паноса по всей округе были разбросаны любимые уголки и уголочки, целая коллекция, собранная за долгие годы пеших прогулок, — так любовник наперечет знает те места, где в нужную минуту должен расцвести желанный поцелуй, — более того, он постоянно держал в памяти настоящий цветочный календарь, который с точностью до одного дня подсказывал ему, когда войдут в цвет абрикосы в Кармы или шиповник под Лапитосом. Его память хранила целую геоботаническую карту, и он всегда знал, куда нужно ехать за

1. Кипрский фольклорный герой, чей образ эксплуатировался энозистами.

анемонами или цикламенами, за лютиками или бархатцами. И не ошибся ни разу.

В качестве уступки яркому солнцу он снял галстук и расстегнул воротничок; однако ничто на свете, даже удушающая августовская жара, не могло заставить его изменить своему старому, выгоревшему до рыжины черному костюму с пятнами мела на рукавах. Мы катили по прибрежной дороге, и всякий раз, как между олив и рожковых деревьев показывалось море, он в восторге вскидывался, попыхивая сигаретой, поблескивая очками.

— Мы обо всем на сегодня позабудем — даже о внутренней ситуации, ладно? — он улыбнулся и поудобнее расположился на переднем сиденье с видом человека, который настроился на радости жизни — вопреки всему. Я не сказал ему, что у меня под передним сиденьем спрятан маленький радиоприемник и что мне придется время от времени прослушивать сводки новостей на случай, если внезапная необходимость призовет меня вернуться к исполнению обязанностей, и что, буде такая необходимость возникнет, я тут же брошу все и помчусь обратно в столицу. Тяжкий груз службы никуда не делся, но в это роскошно дремлющее утро ножные путы политики и войны казались невесомыми. Даже мой маленький пистолет выглядел жутким анахронизмом на фоне всей этой желтизны и зелени — на табачно-коричневых зимних полях проклюнулся юный ячмень и пытался встать на ноги. Мы следовали изгибам и извивам дороги — и море преданно бежало параллельным курсом, — покуда не доехали до небольшой деревни, названной в честь святого, о котором уже никто и ничего не помнил. Было, конечно, искушение возвести название деревни к Эпиктету-философу, но такая версия была маловероятной; скорее всего где-нибудь в окрестных скалах жил и умер некий отшельник, духовный наследник святого Илариона, завещав потомству в имени своем терпкий привкус одиночества и аскезы, на которых греческий крестьянин всегда готов построить образ святости.

Узкие улочки деревни были безлюдны, большинство магазинов закрыто, если не считать расположенной на главной площади кофейни, где, лениво просматривая вчерашние газеты, сидела за утренним кофе дюжина крестьян. Только вот этой традиционной мирной сцене никак не соответствовал обложенный со всех сторон мешками с песком полицейский участок и крепко сбитый спецназовец на посту у передней двери; стоило нам подъехать, и его ярко-голубые на фоне загорелого лица глаза воззрились на нас с тяжелым и отнюдь не праздным интересом, и — палец тотчас лег на курок автомата. Он был начеку и тем внушал доверие; я помахал ему рукой, и он тут же помахал в ответ, успокоенный, быть может, знакомым английским лицом среди множества местных, темных.

— Как бы мне хотелось, — сказал Панос, провожая восхищенным взглядом фигуру молодого солдата, — чтобы все тут было как прежде. Но так уже не будет. — Он покачал головой и глубоко вздохнул. — Это теперь надолго, очень надолго, друг мой, если только... если... — Он снова тряхнул головой. — Они не будут принимать нас всерьез до тех пор, пока наши горячие головы не поостынут. Смотри, олеандры. Рановато для змей, а, как ты считаешь? Мне показалось, я увидел змею.

В нескольких милях за деревней, после целой серии головокружительных зигзагов и спусков, у самой дороги мы увидели громады песчаных насыпей — и это в четверти мили от пляжа. Рожковые деревья и оливы стояли здесь по колено в песке, который из года в год продвигался все дальше и дальше от моря, понемногу убивая, удушая между коричневатых дюн и без того чахлые заросли кустарника и горного дуба. Пахиаммос, огромный песчаный пляж, снялся с места и двинулся в глубь суши, бог знает в силу каких таких причин. Однако наметенные прямо поперек дороги барханы — воистину дар божий для киренских строительных подрядчиков, которые слали и слали сюда за дармовым песком грузовики; здесь мы наткнулись на Сабри — в красной рубашке и серых брюках, он сидел не шевелясь под рожковым деревом, а тем временем команда хекающих от натуги молодых турок грузила машину песком. Мы притормозили, и он с видимым удовольствием тут же встал и подошел к нам. Они с Паносом считались если и не друзьями в прямом смысле слова, то по крайней мере старыми знакомыми, и было отрадно видеть их откровенную расположенность друг к другу. Они были односельчане, а старые деревенские связи здесь, на нейтральной, что называется, территории, оказывались сильнее всех национальных и религиозных распрей.

— Так что, домов ты больше не покупаешь? — спросил он, и улыбчивый Панос ответил за меня:

— Без твоего участия? Да ни за что на свете! Нет, мы решили съездить за цветами.

— Ну а я вот езжу только за деньгами, — и Сабри кивнул в сторону маленькой трудолюбивой команды в разноцветных головных повязках. — Мы люди бедные, — он скорчил жалостливую гримасу, — у нас выходных просто так, захотел и поехал, не бывает. В данный момент, — добавил он, — речь идет о строительстве большого дома для одной английской леди. Дом не такой стильный, как у тебя, мой дорогой, но такой, знаешь, как у вас говорят, *щщикарный*.

Я сразу понял, что он имеет в виду. Особняк собирались назвать "Охинлех"[1].

Мы посидели немного на теплом песке под старым рожковым деревом, обменяв добрый глоток нашего вина на пару розовых гранатов, украденных им по дороге с плоского навершия деревенской стены в Казафани, а тем временем солнечное утро уже заставило окрестные предгорья переливаться и подрагивать во влажном горячем мареве, и вытертая серая крокодилья кожа Буффавенто приобрела фиолетовый оттенок. Луна не спешила покидать небосвод, бескровная и бледная. Где-то в блеклой синеве, за пределами видимости, самолет преодолел звуковой барьер, раскатив по горам громовое эхо.

— Бомба? — не поворачивая головы, лениво спросил Сабри — в расслабляющей неге и благолепии этого роскошного утра даже и в голову не могло прийти, что это слово может звучать как-то иначе, чем-то отличаться от слова "ящерица" или "цветок". Панос поглядел в сторону и зевнул. Наше собственное молчание окутывало нас подобием кокона, сотканного из тончайших прядок жаркого воздуха, которые вились вверх по горячим дюнам, перебирая тихо дышащие под рожковыми деревьями тени.

1. Нарочито "древнее" и "народное" шотландское название для богатого особняка на Кипре.

— Лето начинается, — сказал молодой турок, утирая со лба пот концом цветистой головной повязки.

Потребовалось немалое внутреннее усилие, чтобы оторвать себя от этих теплых дюн и внять дорожному указателю с надписью "Клепини", но Панос никак не хотел забыть о своих цикламенах, и моя маленькая машина нехотя свернула с шоссе и начала медленное восхождение по куда менее доброжелательному к ней покрытию деревенского проселка.

Мы поднялись всего на несколько сот футов, однако воздух здесь был совершенно иной. Тонкая искристая пелена влаги больше не застила нам неба, и море, которое перекатывалось под нашими ногами в подернутом серебристой рябью обрамлении олив, стало зеленым, зеленым, как гомеров эпитет. Здесь начинались предгорья, а сама деревня лежала еще выше, на платформе из красноватого песчаника, отдаленная и улыбчивая. И здесь росли те самые анемоны и цикламены — бескрайними коврами, блестящими, как первый снег, — и плоские цветочные головки покачивались и мельтешили по воле налетающего с моря ветерка, и на первый взгляд казалось, что поля густо заселены миллионами бабочек.

— Ну что я тебе говорил? — воскликнул Панос, и у него от радости перехватило дыхание, когда мы свернули с дороги и тихо скатились по тенистому склону, лавируя между деревьев, пока машина не остановилась сама собой, увязнув в густом зеленом бархате. Мы сидели в машине, выключив мотор, слушали ветер в верхушках деревьев и молчали. Реальность настолько превзошла все наши ожидания, что мы вдруг потеряли всякое желание рвать цветы, которые превратили этот безмолвный ландшафт в подобие звездного неба — густого как Млечный Путь. Ходить иначе как прямо по цветам здесь было совершенно невозможно. Панос глубоко вздохнул, впитывая усладу глаз своих, дав взгляду волю скользить взад-вперед по зачарованным склонам, которые за пятнадцать лет не утратили для него ни капли новизны и прелести. — Как жемчугом шитые, — еле слышно произнес он по-гречески и обвел рукой мягкие контуры холмов, ласково, как хозяин оглаживает круп любимой лошади. — Я так и знал: последняя гроза свое дело сделала.

Мы распаковали наши запасы, разложили их на большом плоском камне и неторопливо подошли к краю утеса, чтобы бросить взгляд вниз, на побережье подле Аканту, на тамошние ярко-желтый и суховато-коричневый цвета, туда, где прорастали волна за волной ячмень и пшеница. Пока мы шли по лугу, тонкие цветочные стебли цепляли нас за башмаки и тянули назад и вниз, словно хотели утянуть в Царство мертвых, откуда только что выбрались сами, напитанные слезами и ранами бессмертных. Деревья карабкались по отвесным каменным стенам, запуская корни в любую едва заметную щель, и кроны их нависали над долиной, где каркали и катались на ветре грачи, ловя невидимые нам воздушные потоки. А ниже, еще ниже, длинными дрожащими мазками поперек средней части пейзажа, плыло зеленоцветное море, отрава и греза Европы, натянутым луком изгибаясь вдоль серо-стального Тавра — Тавр замыкал наш горизонт и связывал небо и землю, модулируя великолепие обоих.

Мой спутник забрался вверх по ветвям нависшего над пропастью дерева и молча, восторженно глядел вниз на раскинувшуюся там рельефную карту, на поросшую щетиной деревьев низменность, которая од-

ним своим боком спускалась к линии моря, а другим то карабкалась, то скользила в сторону небесно-голубого края ойкумены, туда, где выставил в небо свои каменные морды Карпатос и где границы полуострова были очерчены разбивающимися о камень волнами и султанами повисшей в воздухе водной пыли.

— На следующий год мне стукнет шестьдесят, — сказал Панос, — какое это наслаждение — становиться старым. — Белое вино оказалось славным и терпким на вкус, и, подняв стакан, Панос огласил тост дня: — За то, чтобы все это кончилось и чтобы мы смогли в один прекрасный день проснуться на прежнем, забытом Кипре — как в Зазеркалье. — В каком-то смысле он пил за умирающую день ото дня привязанность, которой воскреснуть уже не суждено, — за одну из тех ярких грез о бессмертной дружбе, в которую до сих пор верят школьники, о дружбе между Англией и Грецией, что всегда были родней по духу.

Сколь бессмысленны такого рода бредни с точки зрения политиков и сколь они необходимы молодым растущим нациям!

— Знаешь, — тихо сказал Панос, — я получил письмо с угрозами от ЭОКА[1] — письмо второй степени.

— Что ты имеешь в виду — "письмо второй степени"?

— Есть разные виды таких писем. Сперва приходит просто письмо-предупреждение. Потом — письмо с нарисованным черным кинжалом, а есть окончательный, так сказать, приговор — конверт с вложенным в него лезвием бритвы. Вот именно такой конверт я и получил, должно быть, кто-то из моих учеников решил отыграться и пытается меня напугать.

— Да в чем они могут тебя обвинить?

Панос налил себе еще стакан вина и долго смотрел, как дымок от его сигареты тихо тает в воздухе. Отсутствующий взгляд, в глазах отголосок улыбки, как если бы он вспомнил то, первое чувство, которое охватило нас при виде Клепини, полян, усеянных мириадами цветочных звездочек.

— Дорогой ты мой, ну откуда мне знать? В подобных ситуациях всяк доносит на ближнего своего. А мне скрывать нечего.

— Может, это из-за того, что я у тебя жил, — хотя я ведь и был-то у тебя всего один раз с тех пор, как заварилась вся эта каша.

— Я знаю. Я догадался почему и благодарен тебе за это.

— Тогда зачем сегодня ты решил сюда со мной поехать?

Он встал и принялся отряхивать следы мела с рукава пиджака. Потом глубоко вздохнул.

— Потому что хотел поехать. Жизнь и без того стала невыносимой из-за всех этих забастовок, и штрафов, и комендантского часа; а если еще и подчиняться всему, чего требуют экстремисты, она и вовсе потеряет всякий смысл. А кроме того, я всего лишь один из тех людей — а их десятки, — которые получали такого рода письма, и с ними пока ничего не случилось.

— Но я правительственный чиновник.

— Да, ты правительственный чиновник.

— Они могут подумать, что ты мой информатор.

1. ЭОКА (Этники Органосис Кюприон Агоинстон — Народная организация борцов за свободу Кипра) — националистическая организация греков-киприотов, поставившая своей целью добиться Энозиса — воссоединения Кипра с Грецией.

— А что я такого знаю? Ничего. Это правда, что я настроен несколько менее патриотично, чем большинство здешних греков, хотя я верю в то, что Энозис — дело стоящее и в один прекрасный день так оно все и выйдет; в конце концов, я грек, а Кипр — такая же Греция, как... как Вуни. Но я, естественно, не могу принять насилия, хотя и понимаю, что таким способом Энозиса можно добиться куда скорее, чем вежливыми разговорами.

— Что ты имеешь в виду?

Теперь он вытянулся на плоском камне лицом вниз и раскинул руки, так что его пальцы скрылись в густой поросли.

— О господи! — сказал он. — Я же давал себе слово сегодня не говорить о политике. Но ты иногда задаешь такие детские вопросы. Ты что, сам не понимаешь? Сперва не было никакой кипрской проблемы. Потом было несколько взрывов, и вы признали, что проблема есть, но что решить ее никак невозможно. Еще несколько взрывов. Тут вы согласились подумать и попытаться ее решить, но на самом деле только усугубили. А тем временем ЭОКА убедилась, что несколько вовремя брошенных бомб вполне могут переменить ваше непоколебимое "никогда" на "когда-нибудь"; и теперь она чувствует себя вправе выбивать из вас ответ на вопрос "когда?". Они с политической точки зрения не такие идиоты, какими их себе представляют ваши ответственные лица. Им, по сути дела, удалось изрядно расшатать английскую позицию в кипрском вопросе, и они это понимают. У твоих односельчан в ходу две поговорки, которые прекрасно иллюстрируют нынешнюю ситуацию на Кипре. О человеке недалеком они скажут: "Он думал, что можно бить жену так, что соседи не услышат". В данном случае соседи — ваша собственная лейбористская партия, ООН и иже с ними; мы вас провоцируем, чтобы вы нас били, а потом кричим на весь мир. А с другой точки зрения, вы проводите ваши контртеррористические операции, то и дело нанося удары прямо по живому телу кипрского народа — вроде боксера, который бьет противника, задевая и стоящего между ними рефери. У вас в Беллапаисе говорят: "Не уморивши пчел, ты меда не достанешь". Ну а вы, как вы намерены добраться до медовой сути мирного Кипра?

Потом мы стали собирать цветы, сколько возьмут руки, и укладывать их в большую плетеную корзину с крышкой; и, пока я осторожно выкапывал луковицы, которые намеревался высадить в собственном саду, Панос отводил душу, перекладывая прохладные влажные стебли широкими листьями кукушечника.

— Мы могли бы их тут собирать изо дня в день, и не одну неделю, — сказал он, — и даже если бы работали сегодня до самого вечера, поле бы ничуть не изменилось. — Он ходил с места на место, подыскивая разные оттенки, и каждая собранная им охапка цветов выглядела как искусно составленный букет, что говорило о немалой практике. Я уже видел, как они сияют в синих лапитосских вазах, расставленных у него дома на кухонной полке, на стратегическом удалении от детских рук. После того как дети уйдут спать, он, прежде чем сесть за проверку школьных сочинений — толстых стопок серых тетрадей, исписанных прихотливыми греческими закорючками, — снимет вазы, расставит перед собой и будет со вздохом поднимать время от времени голову, чтобы, по его словам, освежить "глаза души" взглядом на просвечивающие сквозь цветы луга и рощи Клепини.

Мы рвали и рвали цветы, покуда не завалили заднее сиденье машины — "ни дать ни взять деревенская свадьба", сказал Панос, — а потом опять уселись на гранитные наши троны, чтобы распаковать хлеб и мясо.

Солнце близилось к зениту, и огромные лапы скал в предгорьях уже разложили перед собой свои тени, как вырезанные из черной бумаги силуэты. Панос снял очки и взялся раскладывать ломти черного хлеба из грубой муки местного помола, приговаривая себе под нос:

— В такие дни, как сегодня, в таких местах, как наши, — какая же все это чушь: национальность, язык, раса. Это все выдумки великих наций. Глянь себе под ноги и повтори-ка имена всех королей, которые правили когда-то здешними монархиями; всех завоевателей, которые высаживались на этот берег, — хотя бы тех немногих, о которых до нас дошли письменные свидетельства! Какая в сущности разница, что *мы* живы, а *они* уже умерли, — нас просто вытолкнули на несколько секунд вперед, чтобы мы заняли места у рампы, чтобы вдохнули аромат цветов и этот вот весенний ветер, который... мне показалось? ... пахнет лимоном, лимонным цветом.

Он едва успел договорить, как из оливковых рощ до нас донесся звук выстрела и раскатился эхом по окрестным рощам, эхом, которое становилось все короче и тише; затем над нами опять сомкнулась тишина и не стало слышно ни звука, если не считать легкого шелеста листвы. Мы обменялись долгими взглядами.

— А мне казалось, все охотничьи ружья давно конфисковали, — сказал я.

Он улыбнулся, слегка расслабился и закурил сигарету.

— И тем не менее это охотничье ружье, — сказал он, — и совсем близко. — Над нашими головами пронеслись три отчаянно работающие крыльями галки, как если бы их только что кто-то здорово пугнул в ближайшей лощине. — Еще год назад я бы даже головы не повернул, — с усмешкой сказал Панос, — а посмотри-ка на нас здесь и сейчас. Наверняка какой-нибудь бедолага палит по воронам, чтобы отвадить их от своего поля.

На гребне утеса появилась маленькая, скраденная перспективой фигурка, человек остановился, глядя вниз по склону в нашу сторону. Под мышкой он держал охотничье ружье и вроде бы не столько присматривался к нам, сколько к чему-то прислушивался. Я ничего не сказал, а Панос без очков "был лишен горизонтов", как это обычно звучало у него по-гречески.

— Там какой-то человек, — тихо произнес я, и пока проговаривал эту фразу, фигурка двинулась по направлению к нам, не спеша, угнездив ружье со спущенными курками на сгибе локтя. Когда он подошел поближе, я увидел, что на нем обычная в здешних местах крестьянская одежда, а на поясе — ягдташ. Его высокие — от змей — тяжелые коричневые сапоги с матерчатыми, в рубчик, отворотами неслышно ступали по густой траве. Сквозь расстегнутый ворот рубахи виднелась неизменная фланелевая фуфайка, которую здешние крестьяне носят и зимой и летом. Он шел к нам по прогалине уверенной и неспешной походкой, останавливаясь через каждый десяток шагов, чтобы получше нас рассмотреть. — Он идет в нашу сторону, — сказал я.

Панос очков надевать не стал, только подпер голову руками и начал вполголоса материться. Мне еще ни разу не доводилось слышать от него ничего подобного.

— Тут и не захочешь — выругаешься, — объяснил Панос, — от унижения, от того, что один только факт появления чужого человека нагоняет на тебя страху — чувство настолько незнакомое на Кипре, что оно уже само по себе не может не пугать, одна только возможность такого чувства. О боже, до чего мы докатились!

Я не ответил, потому что незнакомец снова остановился, но на сей раз пауза явно затянулась. У него была большая квадратная голова, ежик седеющих волос. Пышные черные усы с закрученными назад и вверх кончиками. Неловким угловатым движением, которое явно планировалось как незаметное, он взвел собачку на одном стволе. Щелчок взведенного курка был слышен совершенно отчетливо — как будто кто-то хрустнул костяшками пальцев.

— Мера за меру, — сказал я и достал свой маленький пистолет, прикрыв его лежащей на коленях салфеткой; холодок легшей в ладонь металлической рукояти успокаивал, и в то же время мне было очень неудобно — из-за Паноса. Он заметил мой жест и скривил губы.

— Вряд ли это нам поможет, — сказал он.

Я снова занялся своим бутербродом, поглядывая между делом на незнакомца уголком глаза. Он опять остановился и нерешительно медлил в тени рожкового дерева.

— Эй, там, — крикнул он глубоким хрипловатым голосом, и по тону я сразу понял, что нам совершенно нечего бояться. Сунув пистолет обратно в корзину, я поднял оплетенную бутыль с вином и произнес традиционное кипрское приветствие:

— Копиасте — садитесь, выпейте с нами.

Он тут же расслабился, стравил собачку и прислонил ружье к дереву, прежде чем подойти к нам.

— А, господин учитель, — с упреком сказал он, пожимая Паносу руку. — Что же вы сразу не сказали, что это вы? — Потом перевел любопытные темные глаза на меня и хриплым голосом пояснил: — Господин учитель, он моему второму сыну крестный.

Панос сел прямо и надел очки, чтобы получше присмотреться к своему, как выяснилось, знакомому.

— А, Дмитри Ламброс, — сказал он. — Что ты тут делаешь?

— Да вот, галок стрелял, — ответил вновь прибывший, блеснув на долю секунды ослепительно белыми зубами — на фоне лица, темного, как сливовый пудинг. — Я знаю, что это запрещено, — добавил он, словно бы желая упредить неизбежный вопрос. — Но здесь у нас... — он махнул рукой в сторону гор, — мы так далеко живем... Отсюда слышно, как машина сворачивает с шоссе на проселок, там, в самом низу. Сто раз успеешь его спрятать и перепрятать. — Он подмигнул и, коротко поблагодарив, поднял стакан, дружески кивнул в мою сторону, выпил до дна и восхищенно выдохнул: — Ого! Вот это я понимаю, это вино! — Прежде чем принять из рук Паноса хлеб и мясо, он вытер коричневые руки с обломанными ногтями о бедра, а Панос тем временем уже задавал ему вопрос за вопросом из тех, числом не меньше дюжины, которыми, как обязательными начальными ходами в шахматной партии, начинается любой сколь-нибудь серьезный разговор между греческими крестьяна-

ми. Ламброс держался совершенно естественно — у него был открытый, на свой, грубоватый манер, взгляд — и производил приятное впечатление. По выражению лица Паноса я видел, что этот человек у него на хорошем счету. В ягдташе у Ламброса лежали три помятых и забрызганных кровью галочьих тушки, с галками он вел войну и показал нам свою добычу с гордостью. — Глаз у меня хороший, — пояснил он.

— Как дела в деревне? — спросил Панос, и я совсем не удивился, услышав ответ:

— Тихо, как в могиле, — потому что его деревня была еще безнадежнее затеряна в предгорьях, чем моя собственная. — Конечно, — добавил он чуть погодя, — и у нас есть двое-трое из этих. И они за нами следят. Но покуда ничего особенного не случилось. Хотя, конечно, если англичане все-таки повесят этого мальчишку, Караолиса...

Панос довольно резко оборвал его и сказал:

— Этот кюриос[1] — англичанин.

И Ламброс тут же обратил на меня бархатистые темные глаза, полные своего рода бравады.

— Я так и думал — по правде говоря, я, кажется, видел его внизу, на участке, где Мария из Деспозини строит дом, ведь правда? А Янис, который у нее служит, — мой двоюродный брат. Так что видите, на Кипре ничего не скроешь! — Он быстрым и ловким движением раскурил сигарету, сел на корточки и выпустил дым с редким по глубине и довольству выдохом.

— Почему все так сочувствуют этому Караолису, — спросил я, — хотя всем давно понятно, что он виновен?

Он задумчиво посмотрел себе под ноги, а потом поднял лицо ко мне, просто и прямо глядя мне в глаза.

— Виновен, но казнить его нельзя, — сказал он. — Он сделал это ради Энозиса, а не ради собственной выгоды. Он хороший парень.

Я вздохнул:

— Это всего лишь игра слов. Давайте предположим, что турка Хасана взяли за убийство, совершенное во имя Вулкана, а потом он стал говорить, что сделал это ради Энозиса.

Он провел по усам тыльной стороной пальцев.

— Турки все трусы, — сказал он.

Панос вздохнул.

— Да не крути ты, Дмитри, то, что говорит кюриос — правда. Преступление оно и есть преступление, вне зависимости от мотива.

Крестьянин медленно покачал головой из стороны в сторону, став вдруг похожим на быка, и посмотрел на нас из-под насупленных бровей. Его разум был не способен на такие курбеты — Караолис был юный герой Кипра. И снова я не мог не заметить про себя, сколь бессмысленны все на свете концепции абстрактной вины — и абстрактного правосудия. Кто, зная особенности мыслительного процесса современных греческих крестьян, сможет отследить в нем отсвет сократовской логики? Их мысль движется, как мысль персидских женщин: капризно, непоследовательно, от импульса к импульсу, подчиняясь исключительно сиюминутным настроениям. Будь Караолис убит на месте преступления, его бы, конечно, все равно приравняли к лику святых великомучени-

1. Господин (*новогреч.*).

ков, однако все признали бы свершившийся факт свершившимся фактом и отнеслись бы к нему более или менее индифферентно — если ты взялся стрелять, ты должен быть готов к тому, что и тебя застрелят. Нимб мученика он заслужил бы так или иначе, но сама его смерть была бы проведена по разряду обыденных несчастий, на которые так горазда жизнь. Зато полномасштабный процесс по всем правилам европейского судопроизводства был невыносимо скучен, действовал на нервы и выглядел не более чем пустой болтовней для народа, который на первое место всегда ставит поступок, а уже потом задумывается о его бледных отражениях в зеркале моральных ценностей. Ну вот, конечно, думали они, опять эта извечная мания лицемерных англосаксов — оправдывать явную несправедливость. Парнишка — герой, а они пытаются затянуть на его геройской шее удавку закона.

— Мы знаем правду, — сказал он, упрямо выпятив челюсть.

Панос перехватил мой взгляд и подмигнул, давая понять, что всякие дискуссии на эту тему лишены какого бы то ни было смысла. Я это знал и сам.

Мы сменили тему — пока наш спор не породил уклончивых ответов и недоброжелательности, которых лучше избегать при случайной встрече под рожковыми деревьями, — и заговорили о деревенских новостях, и это пришлось ему по вкусу. Елена и Мария, дочери директора школы, на прошлой недели вышли замуж, и свадьба у них была самая пышная за долгие, долгие годы. Вино лилось рекой.

— Уже пять дней прошло, а голова у меня все идет кругом от этого вина, — с улыбкой сказал он и потер загорелой рукой подбородок. — Совсем как в былые времена. А после полудня приехали какие-то англичане, взглянуть на церковь; и детишки сперва кричали им "ЭОКА" и даже пытались бросать в них камни, но когда обнаружили, что чужаки немного понимают по-гречески, и вообще люди "добрые", им всем стало очень стыдно. Так что, пока англичане были в церкви, дети набрали цветов для леди, и чужаки уехали с полными руками цветов, и улыбались. Вот такие у нас в деревне дети, — с гордостью сказал он, придя в трепет от одной только мысли о том, что противостояние, каким бы острым оно ни было, может помешать проявлению обычного гостеприимства. А потом добавил, обернувшись ко мне: — И вообще все греки такие.

И об этом я знал тоже.

Солнце стояло теперь в самом зените, а вина в бутыли заметно поубавилось. Покидать прохладную высокую траву и тенистые деревья — казалось преступлением против человеческого естества; но если Панос хотел посмотреть на землю Мэри, нам нужно было трогаться.

— Дмитри, — сказал Панос, который все никак не мог забыть о своем цветочном календаре, — я хотел тебя попросить об одном одолжении.

— Для вас — все что угодно, господин учитель, — ответил тот, с гордостью проговорив на диалекте этот весьма почетный титул.

— Знаешь маленькую разрушенную мельницу — за деревней? Там есть поляна, как раз над ручьем, и на ней растут грибы. Пошли туда кого-нибудь из своих замечательных детей, чтобы набрали мне корзину, и захвати ее с собой, когда в следующий раз выберешься в Кирению, ладно? И скажи, что взамен я пришлю им конфет.

— С нашим удовольствием, — сказал Ламброс, поднялся и щелчком отбросил в сторону окурок.

Я развернул машину, а Панос тем временем уложил в корзину снедь и разочарованно поднял на свет бутыль.

— Надо же, — посетовал он. — Почти половину уже уговорили. Давай-ка еще по стаканчику, на дорогу.

Мы встали в кружок в тени огромного рожкового дерева и подняли стаканы.

— Будем здоровы, — воскликнул Ламброс, и мы эхом повторили его слова; а потом, словно задавшись целью найти такую фразу, которая смогла бы заполнить ненужную — против сердца — брешь между ним самим и ненавидимым-любимым чужаком, он протянул мне руку и сказал:
— Когда-нибудь все наладится.

— Когда-нибудь все наладится, — эхом откликнулся я.

Он подобрал ружье и постоял еще, на самом солнцепеке, подняв в прощальном жесте руку и глядя нам вслед. Я выжал сцепление, и машина легко покатилась под горку в сторону моря, хрустя колесами по неровной щебенке и ребристым камням деревенского проселка. Солнце жарило вовсю, и горный кряж казался бледным и призрачным: испарения из влажных низин уже успели подняться до самого гребня. На последнем пригорке перед выходом на шоссе я на минуту притормозил, чтобы окинуть взглядом долгую извилистую линию берега, которая терялась понемногу в дымке, дрожащей и переменчивой в сиянии голубого весеннего полудня, как дрожит и переливается свет звезды. Под нами лежал Айос-Эпиктетос, со всеми своими белыми колокольнями и кубистическими очертаниями домов — прямо у подножия длинного скалистого языка уже начал расти будущий дом Мэри, подобающим образом подсвеченный солнцем и морем.

Сабри по-прежнему покуривал невдалеке от шоссе, в тени рожкового дерева. Он помахал нам рукой и крикнул:

— Там на дороге проверка. В Айос-Эпиктетос.

— Будут искать оружие, — тихо сказал Панос. И к этому мы тоже успели привыкнуть как к ничего не значащей повседневной рутине.

Мы катили вниз по зеленой извилистой дороге, и Панос внимательно вглядывался в сухие русла ручьев, пытаясь разглядеть под пыльным слоем цветущий олеандр или гибискус. За столько лет он, конечно, запомнил в лицо едва ли не каждый куст, каждую рощицу мастиковых деревьев и каждую заросшую полынью прогалину, так что за всяким поворотом его подстерегали старые знакомые, и тем острее делалось удовольствие от поездки. На предпоследнем витке дороги, перед въездом в деревню, которая лежит, свернувшись калачиком, в окружении цветущих садов, мы увидели первого солдата. На самой вершине утеса, праздно застящего нам солнечный свет; автомат небрежно устроился в сгибе руки, и красный берет сиял, как вишня, сквозь серебристые оливы. Я поднял большой палец — англичанин встретил англичанина; он улыбнулся в ответ, коротко ткнул большим пальцем в сторону деревни, а потом тихонько прихлопнул ладонью воздух: “Притормозите немного”. Паносу по-детски нравились военные, и он безошибочно угадал в часовом парашютиста.

— Современные кипрские королевства, — сказал он, — состоят из областей, в которых правят разноцветные береты: зеленые в горах, а в окрестностях Готы — красные и черные. Мы начали к ним привыкать.

Эта мысль ему явно понравилась. Не был он настроен брюзжать и тогда, когда мы подъехали к блокпосту, окруженному чем-то вроде плетня из колючей проволоки. Там хозяйничали два крепко сбитых парнишки, которым на вид было никак не больше восемнадцати; один, с винтовкой, остался стоять на месте, другой подошел к нам, вежливо отдал честь и взял мои документы. Акцент южанина и копна соломенно-желтых волос ласкали слух и глаз в этакой дали от Англии. На верхней губе честно пыталась удержать захваченные позиции ниточка по-мальчишески самоуверенных усов. Он тщательно просмотрел мои бумаги, медленно шевеля губами, потом вернул документы и еще раз отдал честь.

— Этот джентльмен с вами, сэр, он местный?

Панос восхищенно пихнул меня локтем в бок:

— Слышишь — он назвал меня джентльменом, — шепотом сказал он; а потом, высунувшись из окошка, добавил, — я грек, я школьный учитель. — Он никогда не упускал возможности поупражняться в английском.

Солдатик помрачнел и нахмурился.

— Тогда мне придется вас обыскать, ну-ка, живо из машины, — сказал он, отчаянно пытаясь нагнать на себя суровость.

Панос пришел в восторг. Вид у него был такой, как будто ни о чем другом, кроме обыска, он и не мечтал.

— Да-да, — с готовностью согласился он, — давайте обыскивайте. — И вышел из машины, и позволил двоим юнцам ощупать себя со всех сторон, и даже вывернул по их просьбе бумажник. Должен заметить, действовали они неглупо и слаженно. И даже записали время и номер нашей машины.

— Ладно, Деннис, — сказал наконец тот, что повыше, — пропусти их. — Потом обернулся ко мне и сказал с легкой завистью: — Столько цветов вы набрали, сэр, и таких красивых, — остановив понятный мне, как англичанину, голодный взгляд на заваленном цветами заднем сидении.

Панос сверкнул очками.

— Ага. Хотите? Я вам тоже немного подарю, — и, прежде чем молоденький солдатик успел опомниться, в руках у него, смутившегося совершенно, уже оказалась охапка анемонов. Он сделал было попытку отдать их обратно, проговаривая фразу:

— Я при исполнении, сэр... — но я уже выжал сцепление, и мы покатили к деревне, оставив его решать — под улыбками напарника — проблемы устава караульной службы.

На маленькой площади возле церкви стояли коричневые армейские грузовики, и главная улица сделалась необычайно оживленной; красные береты мелькали там и сям по всей деревне, так что ее мощенные булыжником улицы приобрели вдруг сходство с клубничными грядками. Там и сям сооружались загончики из колючей проволоки, и местные жители терпеливо и неспешно накапливались в них в ожидании обыска. Повсюду стояли небольшие группы людей; те глазели и судачили между собой с таким видом, будто прибывшая скопом компания мелочных торговцев расставляла и разворачивала перед ними лотки, готовясь к какому-то привычному деревенскому празднику. И, не скрывая

восхищения, поглядывали на рослых загорелых коммандос, которые ходили в толпе, подталкивая, дергая за рукав — беззлобно, терпеливо и с улыбками на лицах, — разбредающихся кто куда крестьян, более всего похожие в этот момент на сгоняющих отару овчарок. Вся эта операция проводилась без спешки, с общим ощущением этакой дружеской неловкости. Деревенский священник, в ожидании своей очереди — "как индюки", оценил сбившихся в загончике людей Панос, — заказал себе кофе, купил газету и уселся на балконе с видом на главную улицу, потом надел на нос очки и принялся читать, а за тем же столиком откинулись на спинки стульев в позах отдыхающих леопардов два офицера-десантника, которые, судя по всему, ждали, пока он допьет свой кофе, чтобы вежливо препроводить его "в мешок". Панос оглядывался вокруг с неподдельным интересом, и чувство сострадания мешалось в его глазах с чисто детским восторженным любопытством.

— Смотри — Ренос, — сказал он. — Эк его пихнули. Вот это здорово. Если есть на свете человек, заслуживающий хорошего тычка, так это Ренос. Забавно. Но слушай, эти парашютисты, честное слово, ни дать ни взять боги, сошедшие с небес. Как им удалось такими вымахать? Их что, на особых почвах выращивают?

В дальнем углу площади толпа забурлила и завертелась вокруг небольшой группы молодых людей, солдаты дружно поднажали, и в их голосах сами собой появились знакомые интонации киношных полицейских.

— Проходите, проходите, пожалуйста! Прекратить беспорядки! Пожалуйста, не задерживайтесь!

В сторонке стояли еще грузовики с солдатами, оплетенные венками солдатских улыбок. Стоило нам проехать мимо, и оттуда раздался дружный свист — и в ответ на мой жест вырос целый лес немытых пальцев. У многих к беретам были приколоты розы.

— Ага, — сказал Панос, — сразу видно, что они побывали в саду у Сабри и у Коллиса.

— Будем расценивать это как мародерство? — спросил я, и он ухмыльнулся в ответ.

— А это что такое? — спросил он, когда мы проехали мимо грузовика, груженного дубинками с крючком на конце и громоздкими пластиковыми щитами — реликтами уже успевшей кануть в Лету эры полномасштабных уличных беспорядков. И в самом деле, двое молодых солдат уже затеяли гротескную игру в гладиаторов, облачившись в стальные шлемы и выставив перед собой те самые штуковины, которые какой-то остряк давным-давно успел окрестить "патентованным миротворческим антикока-кола-бутылочным щитом". Они кружили по пятачку между грузовиками, делая неловкие выпады, и высекали из дорожного покрытия искры подошвами кованых ботинок. Горячие аплодисменты доносились из крытых грузовиков, откуда за этим бесплатным спектаклем наблюдали десятки глаз. Панос был сам не свой от любопытства.

— Они что, действительно используют эту амуницию — этот вот садовый инвентарь? — Ему ни разу не приходилось видеть настоящих уличных беспорядков, и о мерах, предпринимаемых администрацией в борьбе с ними, он тоже ничего не знал. А потому выслушал мои разъяснения с самым неподдельным интересом.

— Правительство постановило, что войска не имеют права открывать огонь первыми. Для разгона обычных манифестаций они используют дубинки; если натыкаются на засаду или попадают еще в какой-нибудь серьезный переплет — пускают в ход специальное снаряжение. Но поскольку, выезжая на задание, они никогда не знают, что их ждет, то берут с собой все, что только могут. В прошлом месяце неподалеку от Пафоса их встретили бомбами и выстрелами из дробовиков. В Ларнаке на прошлой неделе им довелось разгонять старшеклассников. Два дня назад в Лапитосе — расчищать на дороге завал из срубленных деревьев, а потом иметь дело с двумя сотнями крестьян, которым пришла охота побросать в них камнями.

Панос глядел на меня в удивлении и восторге от такой предусмотрительности.

— Да, их врасплох не возьмешь, — сказал он.

Мы миновали последние рогатки и выехали на самый край холма, откуда уже видна была маленькая, с цилиндрическими сводами, церковь Святого Георгия, стоявшая прямо на ближней, береговой, границе земельных владений Мэри; с утеса у самой деревни срывался ручей, и несколько старух сосредоточенно стирали у водопада, не обращая никакого внимания на солдат. И вообще, пейзаж был на удивление будничным и даже сонным. В живых изгородях пели птицы, в зарослях шустрили первые ящерицы, вызванные к жизни солнечным призраком скорого лета. Панос вздохнул и сел поудобнее, стряхнув с себя воспоминание о краткой, но многолюдной и шумной интермедии, столь чуждой неторопливому — с ленцой — ритму этого весеннего дня. Дорога заложила две по-змеиному крутых петли, а потом внезапно выровнялась и побежала, прямая как стрела, меж рощами рожковых деревьев; именно здесь, отмеченный одним-единственным высоким кипарисом, был поворот к морю, на пустынный мыс, где должен был вскоре вырасти роскошный загородный дом (его уже успели окрестить "Фортуна"). Мы решили оставить машину неподалеку от шоссе и прогуляться пешком по тенистому, устланному слоем мягкой пыли проселку, который, поплутав и повыкидывав коленца, выведет нас к мысу, где стоит очаровательная маленькая церквушка и сияет белым на фоне темно-синего моря. Между камней сновали первые ящерицы, и сочная трава у дороги полнилась деловитым стрекотом неведомых и невидимых глазу насекомых, безраздельно царивших в этой живой зеленой стене вплоть до самого берега, где брал силу и власть шум моря — которое катило сегодня ровные синие валы, разбивало их с глухим взрывом в пещерах и гротах и полнило пляжи страстным шепотом увлекаемых отливом голышей. На внешнем мысу чудесной маленькой бухты стояла старая мечеть, где я провел десятки незабываемых часов; Мэри собиралась выстроить дом таким образом, чтобы вид из обращенных в сторону моря окон захватывал и ее тоже.

Издалека, окруженная невысокой белой стеной, она была похожа на чайку, присевшую передохнуть на крутой морской волне, а полуостров за ее спиной — прихотливое нагромождение изрезанных и изломанных морем белых скал — зеркалом отражал яркий солнечный свет. Я заметил подле мечети крохотное черное пятнышко: Ходжа, похожий на муравья, пересекал сплошную белую поверхность, и следом за ним, низведенная расстоянием до размера булавочной головки, семенила кош-

ка. Они шли к источнику. Тот берег был чист, незамысловат и ясен, как теорема Евклида, — маленькая часовня в память о семи забытых не то полководцах, не то святых (мнения насчет того, кто они были такие и чем прославились, противоречили друг другу), приваренная к белому мысу, белизна известки и гипса в продолжение природной белой скалы, окатанной набело, как вымытая зимним морем кость. Будто некое животное или невообразимых размеров титан заглотили, переварили и вывалили наружу гору морских раковин, и та слежалась в огромный известковый утес, который и вытянулся в море, источился до бритвенно опасной остроты и оброс косматой гривой водорослей, вздымающейся и опадающей при каждом вздохе моря. Или какой-нибудь страшно занятый бог, присевший передохнуть и отвлечься, выточил его лобзиком или вырезал для забавы ножом.

Однако природная щедрость и обилие ключей являли себя на каждом здешнем мысе, оделив их плотным покровом плодородной почвы, так что не далее чем в сотне ярдов от голой полосы прибоя можно было встретить поля молодой пшеницы. Вот, к примеру, новый дом Мэри — пшеничное поле заканчивалось прямо у заднего крыльца, а фасад при этом выходил на омываемый морскими волнами пустынный каменистый пляж.

Еще не подведенный под крышу дом — большие комнаты с окнами на море, где будет так прохладно и просторно, — был пуст. Рабочие сегодня ушли пораньше, оставив там и сям груды извести, песка и белого пиленого камня — для кладки верхней части стен. Янис копался на другом краю поля. Он крикнул и неловко, как-то по-верблюжьи побежал в нашу сторону, прямиком через пашню, торопясь открыть нам калитку в бамбуковом заборе, за которым стояла кучка маленьких времянок — пристанище Мэри на период строительства "Фортуны".

— Благослови вас бог, — он был нам страшно рад, он жал нам руки и улыбался бесформенной и беззубой — как у устрицы — улыбкой.

— Я представил своего спутника и объяснил, что мы приехали взглянуть на то, как тут рассажены деревья, и он обрадовался пуще прежнего. Он приседал, он подскакивал, как обезьяна на цепочке, ему страшно не терпелось доставить нам как можно больше удовольствия. Но сперва нужно было соблюсти — неукоснительно соблюсти — ритуал гостеприимства. Он отпер калитку и провел нас в маленькую крытую галерею с какими-то фантастическими пальмами, где переговаривалась между собой вполголоса парочка навлинов, и, расставив стулья, налил нам по стакану шербета — в греческом названии которого до сих пор слышен отзвук имени Афродиты: "афрос", или, попросту, "пена". Мы выпили наш шербет, потом состоялся положенный обмен любезностями, а потом я сказал Паносу, что пойду и искупаюсь, пока он будет проводить инспекцию.

— Знаю, что вода холодная, — сказал я, — но через несколько дней мне уезжать. Не лишай меня этой радости.

Панос усмехнулся.

— Так радости или пытки?

— А одно без другого бывает?

— Хорошо сказал. — Грек не в силах устоять против афоризма; одна лишь форма уже заставляет его уверовать в истинность высказывания,

даже если по сути оно является ложным. — Хорошо сказал, — повторил он. — Ну что ж, а я тогда отправлюсь с Янисом.

Старик опять вскочил и поклонился.

— С радостью. С радостью.

Когда они ушли смотреть свои деревья, я немного помедлил на тихой террасе, наслаждаясь отдаленным гулом моря с наветренной стороны и думая о том, какое же славное это будет место, "Фортуна", когда уйдет политика и унесет с собой свои порождения — жестокость и неотвязное чувство тревоги. Янис открыл те комнаты, в которых жила Мэри, и я безо всякой задней мысли зашел внутрь, подивился тому, как быстро покрылись пылью книжные полки, и окинул взглядом знакомые сокровища, которые в один прекрасный день займут свои места в особняке: испанский сундук, мавританскую решетку, индийские картинки и всякие другие безделушки, египетские и турецкие светильники и наваленные повсюду книги, преданные наперсники одиночества — не вынужденного, но желанного. Зеркальце и гребень с Бали, Танагра, железная статуэтка Кришны, нарисованная гуашью мандала — все эти вещи умудрились как-то зацепиться за ее подол во время очередного молниеносно-взбалмошного кругосветного турне и собрались здесь, чтоб обрести покой в прохладных комнатах будущего дома. Те самые вещи, которые писатель таскает повсюду с собой как талисманы, как память о пережитом и забытом, о том, что в один прекрасный день он может воскресить и облечь в слова. Эта вот танцовщица с Бали стоит на страже прошлого столь же чутко, как морская раковина, когда ее приложишь к уху... С моря пришел ветерок и тронул занавески на окнах, напомнив мне о том, что я пообещал себе морские ванны.

Следуя ее обычной манере, я взял с полки книгу, хотя и знал, что читать не стану, потом вытащил привезенные с собой плавки. Дорога на ее личный пляж вела через маленький естественный амфитеатр — к стоявшей у самого моря длинной каменной стене, а вдоль стены тянулись сплошные заросли мимозы, и вся эта высаженная для защиты от ветра полоса выглядела взъерошенной и нечесаной. Здесь стояла маленькая бамбуковая хижина, служившая разом и кабинкой для переодевания, и летней спальней. На бамбуковом лежаке дремала ящерица, похожая на греческого политика, прикорнувшего в ожидании открытия сессии. Пока я раздевался, на глаза мне попались пустая бутылка из-под кьянти, красный веер и пара пиал из бутылочной тыквы — свидетели счастливых, щедрых на радость вечеров два года назад; на сработанном из пальмового обрубка табурете лежали полосатое полотенце и "пенгвиновская" история архитектуры, вся в пятнах от соленой морской влаги. За всем этим встали имена: Пирс и Данте — отчетливей, чем если бы я проговорил их вслух. Пустая бутылка из под рислинга с масляным осадком на донышке сказала мне: Пэдди Ли Фермор (мы сидели здесь, пережидая оглушительную, свалившуюся на нас невесть откуда грозу, пили вино и умащивали кожу маслом, чтобы не обгореть на солнце, которое обязательно возьмется за нас после грозы, а дождь тем временем разносил крытую бамбуком крышу, Пэдди пел переливистые, с трелями песни критских горцев, отмечая окончание каждого куплета глотком кьянти). Висит на гвоздике "бутылочка для слез"... И тут я спугнул ящерицу, которая юркнула с лежанки и мигом удрала на крышу.

На море ходили изрядных размеров валы, но в бухте вода была спокойна, набегая на берег невысокими покатыми "горками". Ветер дул с севера, а это означало, что главный удар стихии принял на себя западный мыс, а до лагуны после встречи с ним волна доходила на излете, растратив ударную мощь. Вода была по-весеннему холодной и обжигала — как обжигает горло глоток ледяного вина, и в этом был свой изыск. Я отдался на волю течения, почти не шевеля руками и ногами, а только лишь удерживаясь на плаву, чтобы вода сама вынесла меня на середину бухты, откуда была видна вся ослепительная панорама здешних гор. Солнце окончательно омыло и очистило их, и они уже успели набрать тот вибрирующий розовато-сиреневый цвет, который прячется в самом сердце цвета фиалкового. Деревья стали чистым серебром, а ломтики пшеничных полей наполнились лютиковой желтизной и переливались, как стеклярус. Я дал течению отнести себя к маленькой мечети, которая сияла передо мной, будто вырезанная из цельного куска самородной соли — разве что слегка подкрашенная зимними дождями и получившая от них дюжину серых и желтоватых оттенков. Ходжа с кошкой на руках стоял и смотрел на меня с балкона — пятно сочного черного, как вороново крыло, цвета. Я поднял руку и помахал ему, и он тут же махнул в ответ. Потом повернулся и пошел вниз по дорожке к воде, чтобы дождаться меня, пока я неспешно дрейфовал к изрытому и изъеденному морем скальному выступу, который не давал волне во время шторма бить в стены старенькой мечети в полную силу. Над подводной частью скалы как будто поработал некий могучий каменотес, вырезав в податливом известняке целый каскад ступеней, нисходящих вплоть до песчаного дна бухты, в трех фатомах[1] от поверхности. Когда-то зазубренные и острые, эти плиты давно уже были окатаны по краям и покрыты яркими зарослями фукуса и огромными париками морской травы, которые колыхались по прихоти подводных течений, подобно хоругвям. Столешница этого самой природой сотворенного стола была покрыта множеством больших и малых каменных бассейнов: прилив регулярно менял в них воду, и они в буквальном смысле слова кишели креветками, крабами и маленькими рыбками. Тот же самый прилив и забрасывал их сюда, и отступал, и оставлял их в неволе, и время от времени к скале наведывались босоногие пастухи, чтоб без особого труда наловить чего-нибудь съестного на обед.

Мы были одни в тот день, Ходжа и я — да еще небо с морем, для компании. Он скинул гниющие заживо туфли (сравнение из Рембо было как нельзя более кстати), подоткнул халат и осторожно, стараясь не приближаться к ямам, пошел на цыпочках по скользкому, сплошь покрытому водорослями дну к самому краю отмели, где я разлегся на солнышке и раскинул руки и ноги, один над роскошной шестидесятифутовой изумрудной и огненно-опаловой чашей. Его массивная голова покачивалась на тонкой шее, как шляпка гриба-навозника на ножке.

— Добро пожаловать, — сказал он и поднял лапки, похожий на ученую мышь. — Ты останешься сегодня ночевать?

— Не могу, — с грустью в голосе сказал я. — Мне скоро домой.

Он мотнул головой, сначала вверх, потом вниз, как мотают головой верблюды, и страдальчески выпятил нижнюю губу.

1. Фатом — английская мера глубины, морская сажень, равна шести футам.

— А у меня есть вино, — голос у него был обиженный.

Я вытянул руку, ухватился за плотный ворс подводного ковра и, повисев подольше, приспособив тело к ритму моря, выбросил себя на отмель рядом с ним — задохнувшийся и мокрый. Мы, так же на цыпочках, прокрались по его следам через скользкое мелководье — к суше, к сухому и твердому боку скалы.

— У меня там кое-какие бумаги, — сказал он, — я хотел тебя попросить: посмотри, помоги мне их заполнить.

Я глотнул свежей холодной воды из источника и вскарабкался следом за ним наверх, на маленькую белую террасу, именно в этот час залитую жидким нежарким золотом закатного солнечного света, который уже успел подпалить туманные горные склоны выше Лапитоса. Свет пучком тонких розг выбивался из-за горных отрогов, сбрызнутых солнцем по краю, превращая крепости и мысы в ирреальные и бесплотные, как будто во сне, силуэты. В террасу, с ее чисто выбеленными стенами, свет попал как в мышеловку, и сюда старик вынес мне единственный — неудобный — стул, чтобы можно было воссесть над шепелявым плеском моря, над тоненьким посвистом ветра, который вцепился в старый турецкий вымпел на флагштоке и то натягивал его, то отпускал, то трепал, то оставлял безвольно болтаться. Не торопясь, подрагивая, наползали сумерки, и один из серебристых горных пиков вгрызся в подвижный диск света — и уронил в долины густые полосы прохладной полумглы. Скоро через Месаорию засквозит легкий вечерний бриз, завертит в Никосии крылья мельниц; за внешней дамбой при входе в киренскую гавань дрогнут и натянутся паруса идущих к дому яхт; и Сабри на маленьком балконе полицейской столовой глянет на часы и подставит щеку ветерку — а перед ним застынет глазурь морской воды и сбившиеся в тень, как овечья отара, турецкие горы.

По эту сторону от Готского хребта сумерки спускались рано, мы были в тени, в то время как срединная часть неба все еще сияла светом солнца; он косо падал вниз, в нашу сторону, рассеянный и отраженный небом, изливаясь не яркими основными цветами, но теми прохладными тонами, которые тень сообщает оливам и сухим камням, когда, подобно промокательной бумаге, высасывает свет по краям горных склонов. С каждым нисходящим градусом солнца все более и более густые полосы тени — цвета угольной пастели, которую рисовальщик втирает в картон подушечкой большого пальца, — станут размывать пределы видимости. Где-то в темных закоулках маленькой и душной спальни Ходжи проснулся радиоприемник и разразился турецкой песней, но до нас ее аккорды доносились приглушенно — так кот вопит в мешке. Потом Ходжа прикрыл дверь, и вернулась морская тишь. Он снова вышел ко мне на солнышко, по-актерски шаркая подошвами ветхих туфель. В руке он сжимал толстую пачку бумаг, на первый взгляд похожих на бланки по уплате подоходного налога — хотя при его совокупном годовом доходе в десять фунтов я не видел необходимости беспокоиться насчет подоходного налога.

— Мне нужно заполнить вот эти бумаги, — сказал он, — чтобы потом получить деньги. — Он говорил на забавном кулдыкающем греческом, и его тяжелые кожистые, как у ящерицы, веки смущенно подрагивали. Это были напечатанные на прекрасной бумаге купоны футбольной лотереи. Бог знает — пардон, одному Аллаху ведомо, — где он их взял и ка-

кие мысли пробивались в его голове сквозь обычную сумеречную кашу, когда он раз за разом их перебирал, у очага, под истошные вопли радио. — Деньги, — проскрипел он еще раз, не отступая от основной темы, увязанной с бумагами единственно усилием его воображения. Он потер ороговелый большой палец о другие, чтобы проиллюстрировать смысл чужеродной греческой фразы, и повторил: — *Парадес... болика.*

"Куча бабок". Но я, к сожалению, ничем не мог ему помочь, поскольку сам ни разу в жизни ничего подобного не делал. Хуже того, я даже был не в состоянии объяснить ему, как работают эти бумаги, когда он задал мне прямой вопрос, поскольку его греческий состоял из пригоршни рудиментарных слов, а все остальное приходилось говорить на языке жестов. Я был уверен, что ничего не выйдет, но тем не менее какое-то время пинал на террасе воображаемый мячик, пока Ходжа не затряс безнадежно головой, по-прежнему каркая свое: "Деньги. Деньги", похожий на Ворона Эдгара По, а затем в полном отчаянии не повернулся ко мне спиной, чтобы, вне всякого сомнения, заткнуть купоны обратно под матрас, как талисманы из великого и непостижимого внешнего мира, где люди пишут карандашом на бумаге кабалистические знаки, а потом на них внезапно и необъяснимо сваливается сказочное богатство. Глядя на величественный закат, я думал о том, сколь трогательны все эти несообразности, которые со скоростью кинокадров сменяют друг друга в обыденной жизни острова.

Косые лучи солнца отражались теперь от поверхности моря, отбрасывая в нашу сторону суматошные яркие блики. Когда старик вернулся ко мне на террасу, его красный тюрбан вспыхнул на фоне беленой стены за нашими спинами танцующим алым пятном. Ходжа, скрючившись, присел со мной рядом и молча застыл, как черепаха, и мы вдвоем стали смотреть в сердце тьмы, перекипающей через края долин и сочащейся вниз по склонам. То был благословенный миг — закат, каким его видели греки и римляне — когда сознание входило в резонанс с широким и монотонным, как у колыбели, движением моря и заставляло душу биться в согласии с элементарным ритмом самой земли. Он не говорил ни слова, я не говорил ни слова; мы просто сидели бок о бок, как будто лишившись дара речи, и смотрели, как накрывает нас ночь.

Внезапно на том мысе, где возвышался силуэтом лишенный крыши и потому похожий на руины новый дом, появилась маленькая черная фигурка и принялась размахивать рукой на фоне фиолетового неба. Через бухту до нас донесся крик Паноса, еле слышный, изломанный о торчащие из моря скалы. Время ехать.

Прощание с Ходжой было делом нелегким; всякий раз, когда наступало время собираться, он выглядел таким ошарашенным, таким оглушенным перспективой одиночества на своем голом каменном мысу; он цеплялся за руку, за полу плаща, за рукав, за полотенце — за что угодно, только бы отсрочить момент расставания, а сам тем временем безнадежно рылся в дряхлой мякоти мозга в поисках темы для разговора, который мог бы хоть ненадолго задержать гостя.

— Ты приедешь завтра? — с надеждой в голосе спросил он.

— Нет.

Он сморщился и выкатил тусклый глаз.

— А послезавтра?

Я крепко пожал ему руку и отпустил, но она опять поползла вверх по моей руке к локтю, как виноградная лоза, и вцепилась намертво.

— В субботу, — сказал я, прекрасно зная, что вру, поскольку именно в субботу я должен был покинуть Кипр, и, быть может, навсегда.

— В субботу, — проскрипел он. — Отлично. Отлично. Привези турецкую газету, эфенди мой, привези, пожалуйста, турецкую газету. — Он принялся подскакивать и подмигивать, заранее благодаря за этакую любезность.

— Привезу, — сказал я, мысленно ставя галочку: послать ему из офиса "*Hur Soz*". — Ну, до свидания. — Он подобрал с земли кошку, словно бы в утешение, и зашаркал со мной к источнику, что-то бормоча себе под нос.

Я пошел на закат вдоль белой, цвета слоновой кости, линии прибоя, а он стоял, неподвижный как ящерица, и смотрел мне вслед. Навстречу мне шагнули тени, и вместе с ними пришел холодок повернувшейся вкруг собственной оси на теневую сторону земли; остров погружался в синь, будто в колоссальную чернильницу. Но когда я обернулся, мечеть по-прежнему сияла солнцем, прямая, летящая ввысь, как эхо тех древних открытий в области пространства, которые до сих пор населяют подсознание нашей архитектуры, — куб, сфера, квадрат, цилиндр. И все так же стояла рядом с мечетью маленькая черная фигурка, тихая, как статуя, с маленькой бледно-полосатой кошкой на руках, и глядела мне вслед.

К тому времени, как я добрался до бамбукового палисада, Янис уже успел зажечь керосиновую лампу, чей ослепительный белый свет растолкал по углам вечер и зажег на мраморной столешнице ответный хрустальный отблеск. Они с Паносом сидели за столом, опустив на руки головы, словно придавленные страшной усталостью, и что-то в их позах заставило меня запнуться; они сидели непривычно скованно и тихо. Между ними на столе стоял маленький радиоприемник Мэри, и, судя по всему, они его только что выключили — столь внезапным показалось мне царящее за столом молчание, как будто впереди вдруг разверзлась пропасть.

— Караолиса приговорили к повешению, — сказал Панос осевшим, как будто надтреснутым от долгих и тяжких трудов голосом.

У Яниса на глазах стояли слезы. Что мне оставалось делать, кроме как сесть меж ними в тяжелом молчании, в том полном сострадания молчании, которое хранишь в присутствии человека, который только что понес невосполнимую утрату. Мы все прекрасно знали, и знали давно, что так и будет; с объективной точки зрения все было как нельзя более логично и справедливо. Их скорбь была скорбью людей, которые видели, как за кем-то гонятся эвмениды; видели жертву стечения обстоятельств, которые могли бы сложиться по-другому, если бы те, кто склонен ускорять события, подошли к этим обстоятельствам хоть немного иначе. Панос закурил и уставился на собственные руки, лежавшие перед ним на столе.

— Ну вот, что-то важное кончилось, — сказал он. — Мы теперь еще долго не сможем говорить друг с другом по-человечески, смотреть друг другу в глаза. А, черт! — И опять он не ставил под сомнение справедливость приговора — плохо, что так неудачно сошлись звезды. Он поднялся, и на минуту от его привычной мягкости не осталось и следа; он сказал — весь отвращение и ярость: — Почему вы не захотели быть

честными с самого начала? Если бы вы сказали: "Да, это греческий остров, но мы решили здесь остаться и, если придется, будем драться за него", — неужели вы думаете, что хоть один человек поднял бы против вас оружие? Да ни за что на свете! Мы знаем: ваши права на этот остров бесспорны. Но ваша маленькая ложь — то самое семя, из которого выросли все эти чудовищные вещи, и будут, будут расти. Только здесь всему причина: *естественно*, Караолис, должен быть повешен. Губернатор прав. Я и сам на его месте сделал бы то же самое... — Он загасил не докуренную и до половины сигарету о стол, дрожащей рукой поднес ко рту стакан с вином и выпил до дна. Потом встал. — Но умрет не только Караолис, прервется та глубокая связь, которая до сих пор существовала между нами, — навсегда.

И я подумал: он имел в виду, что образ — тот мифопоэтический образ англичанина, который каждый грек носит в своем сердце и который сплавлен из великого множества перекликающихся между собой, наложенных одна на другую картин, — образ поэта, лорда, защитника без страха и упрека попранных прав, справедливого и влюбленного в свободу англичанина — этот образ сброшен наконец с пьедестала и разбит на тысячу осколков, и никогда уже не склеить их вместе. Парадоксальнейшим образом оплакивали они вовсе не Караолиса, но — Англию.

Мы долго и молча сидели, пока за нашими спинами сгущались фиолетовые сумерки, а море за мысом стихло. Под пальмами кудахтали павлины. Резкий белый свет, пропущенный сквозь фильтр вечерней сини, заглядывал через дверной проем в комнаты, полные собранных Мэри сокровищ. <...>

— Пора ехать, — сказал наконец вполголоса Панос. Янис тоже поднялся, отбросив на белые стены гигантскую тень. Они оба тяжело вздохнули и постояли еще, и каждый глубоко ушел в свои мысли, потом двинулись следом за мной наружу. Море сияло в сердце ночи, как изумруд.

— До свидания, — сказал Янис, и столь весомая когда-то дружеская теплота прощальных формальностей выглядела теперь натянутой и смазанной из-за сгустившихся над нами туч.

— Счастливо оставаться, — ответил я, и мы шагнули в плотную завесу тьмы и еще несколько ярдов несли перед собой свои собственные силуэты, пока и их не поглотила ночь, лежавшая теперь повсюду, рассеченная на части изломанными тенями олив и рожковых деревьев. Мы оставили за спиной каменное безмолвие мыса и вышли к машине, уже успевшей покрыться густой вечерней росой.

Панос молчал, и я проехал четыре мили до его родной деревни, тоже не сказав ни слова, — так было лучше. В этом молчании не было обиды — одно лишь бездонное чувство печали.

Я высадил его у подножия длинной белой лестницы возле церкви Святого Михаила, не зная, что больше мы не встретимся. Он поблагодарил меня и на секунду положил ладонь мне на руку; потом, горестно качая головой, пошел вверх по лестнице, с полной охапкой цветов из Клепини. Я выпил у Клито стакан вина — он подал мне его со слезами на глазах, но не сказал ни слова; а потом я вернулся обратно к берегу, где, в перенасыщенной прохладой тьме великолепного весеннего вечера меня ждала машина. Каждый уголок, каждый звук Кирении я воспринимал с новой, мучительной остротой, как будто переживал все это в пер-

вый раз. Балконы, повисшие над разговорчивыми улицами компанией застенчивых нерях в исподнем, в сей час были молчаливыми, как и оплетшие чуть не каждую стену виноградные лозы; рыбаки при свете блуждающих огоньков чинили сети; какой-то мужчина набивал обруч на бочку; седой старик рокотал на мандолине; турок шагал мимо в винно-красной феске; два мальчика играли в "классики"; под укрепленными стенами замка спали дети, совсем как на барельефе; торговец раздувал угли, а на углях были рассыпаны зерна сладкой кукурузы; тихо шествовал маленький мальчик с кадилом, в кадиле курился лавр — у Клито подвыпившие крестьяне захватывали щепоть дыма и крестились ею; в кофейне, полной канареечьих трелей, *наргилехи* были составлены в козлы, как ружья в казарме, — принесешь с собой свой собственный выточенный из слоновой кости мундштук, и выбирай, какой понравится.

Я прошелся вниз до гавани, где по тихой воде плыли приморожен-ные блики света из окон стоящих вдоль берега домов — под резиново-черным, усыпанным звездами небом. Было совсем тихо, но по всему ос-трову, из конца в конец, медленно проклевывались крохотные островки ненависти, и оперативные линии в управе выдавали сейчас вошедшие в привычку сообщения. "Бомба в кинотеатре в Ларнаке... два человека убиты в кофейне... бомба на автомобильной стоянке в Пафосе... в Фама-густе застрелен солдат..." Бесконечно, ничтожно малые вспышки нена-висти, как будто в темном ночном поле зажигают то там, то здесь спич-ку, и слава богу, у них не достанет силы разжечь всеобщий пожар, но они всегда тут как тут, напоминание об угрюмой тяжести народной воли. Мои шаги по парапету отдавались тихим, еле слышным эхом. Я — до ме-ня вдруг дошло — я страшно устал за этот двухгодичный срок на службе у Короны; и ничего не добился. Как хорошо, что я уезжаю.

Пригоршня песка

Если б Бог не создал темный мед, фиги казались бы людям много слаще, чем кажутся.

Ксенофан

Утром, в день казни, мне нужно было забрать из дома кой-какие бу-маги и книги. В столице была объявлена всеобщая забастовка, которая полностью парализовала обыденные формы жизни и подарила людям ненужный и нежданный выходной. Чтобы предупредить всплеск наси-лия, были предприняты такие экстраординарные меры безопасности, что я не боялся ни внезапной волны новостей, ни того, что на мое от-сутствие хоть кто-нибудь обратит внимание.

— Вы с ума сошли! Ехать в деревню именно сегодня! — сказал Ахил-лес.

Но времени было слишком мало, и другого способа забрать необхо-димые мне бумаги я не видел.

Был яркий звонкий день, и вдоль извилистых улиц вовсю цвели аб-рикосы и персики. Завернув за последний угол и притормозив у коло-кольни аббатства, я увидел, что вся деревня собралась на площади, а

под Древом Лени сидит знакомая компания бездельников. Народу было точно в воскресенье; никто не вышел нынче на работу. Но как только заглох мотор, я уловил в этой сцене нечто совершенно непривычное. Обросшие густыми бакенбардами пастухи сидели на своих обычных местах, но никто не заказывал кофе; засаленные колоды карт пылились у Дмитри на полках нетронутыми. Как будто знакомую реальность засняли сквозь густые фильтры, вылущив весь цвет. К выдержанной, затаившей в себе эхо тишине аббатства жители деревни добавили как еще одну составляющую — собственное молчание, глубокое и гулкое. Я пошел через площадь к маленькому кафе, полному застывших в мертвом безмолвии посетителей, и мои шаги хрустко шуршали по гравию. Люди смотрели себе под ноги — беспомощно, с неловким чувством неприязни. Я сказал "Доброе утро!", и в ответ кто-то поднял голову, кто-то кивнул, но привычного хора пожеланий и леса загорелых рук ждать не приходилось. Дмитри стоял за стойкой, вцепившись в фартук, словно в спасательный круг, и поминутно сглатывал. Он так побледнел, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. На мое приветствие он ответил, беззвучно шевельнув губами. Перед ним на стойке лежала моя корреспонденция. Я взял письма и почувствовал себя так, словно должен извиниться за непрошеное вторжение в сцену мировой скорби.

Когда я шел по мощенной булыжником улице к своему дому, я видел все те же любопытные лица, но вместо грубоватых шуток и традиционных приветствий — "Здравствуй, сосед!", "Йасу, англичанин!" — из-за старомодных дверей с резным витым орнаментом и осыпавшейся лепниной у притолоки меня встречало лишь молчание словно дурманом оглушенных людей. Они ныряли в тенистые закутки, в темноту, ускользая от слов и улыбок, как рыбы. Под ореховым деревом у моста, на своем обычном месте, сидел мистер Мёд. Раньше он непременно встал бы мне навстречу и ухватил бы неловкими руками за лацканы плаща; засим следовало настойчивое приглашение присесть с ним и выпить. Как только он меня увидел, его тело начало двигаться само собой, независимо от воли, и улыбка собрала в морщинистую темную маску и без того загорелое лицо. Он выбросил руки вперед и вроде бы даже попытался встать на не желающие слушаться ноги, но потом как-то вдруг осел, уткнувшись подбородком себе в грудь. Я молча прошел мимо.

В прохладных комнатах на первом этаже гуляло гулкое эхо, и солнце по чуть-чуть цедило свет сквозь густую листву растущих у меня в саду горьких лимонов. Я даже не осмелился подняться на балкон, так жалко мне было все это оставлять. Ксену, моя одышливая горничная, убирала на кухне. Она поздоровалась со мной, и довольно тепло, но тут же спросила:

— Вы слышали новости?

Я кивнул.

— Насчет казни?

Она перевела дыхание и потемнела лицом.

— Зачем они так поступают?

И я вдруг страшно разозлился.

— Если ты убил человека, тебе самая дорога на виселицу, — сказал я; но она подняла руку, как будто для того, чтобы остановить меня.

— Я не о том. Не о казни. Но они не хотят отдать матери тело, по крайней мере люди так говорят. А это страшное наказание, сэр. Потому

что если ты не увидел любимого человека мертвым, ты уже никогда не встретишься с ним на том свете.

Я ушел в свой маленький кабинет и стал вынимать книги из ящика. За ним нашлась старая корзина с крышкой, которая изъездила со мной пол-Кипра. Там, на пригоршне песка, вытекающего понемногу сквозь щели между прутьями, покоились любовно собранные дочкой сокровища. Я вытряхнул содержимое корзины на газету и стал перебирать безделицу за безделицей, удивленно вспоминая те места, откуда каждая из них взялась: римское стеклышко, синее и блестящее, как летнее море на глубине; ручки от саламинской амфоры со вдавленным в мягкую глину клеймом; фрагменты мозаичного пола с виллы возле Пафоса; кусочки verdeantico[1] ; раковины "венерино ушко"; викторианское пенни; кусочки желтой мозаики из какой-то византийской церкви; пурпурная багрянка; сухие морские ежи и меловые белемниты; берцовая кость; раздавленная скорлупа птичьего яичка; зеленый камушек от сглаза... В общем, своего рода летопись нашего пребывания на Кипре.

— Ксену, выброси все это, — сказал я.

Я еще раз прошествовал по главной улице в той же самой напряженной, много о чем говорящей тишине, за мной опять молча следили из всех окошек и щелочек в здешних старых домах; и под огромным деревом вся деревня еще раз в глубоком молчании предалась созерцанию собственных башмаков — замерзшая до полной недвижимости. Взгляды, избегавшие встречи с моим взглядом, отлетавшие куда-то вверх и в сторону по прихотливым траекториям, "как весенние бабочки", — я не могу сказать, чтоб в них светилась ненависть. Нет. Но самый мой вид причинял им боль. Вид англичанина был как непристойность, маравшая чистый медово-золотистый весенний воздух.

Я встретился взглядом кое с кем из моих друзей, среди прочих с Михелисом и с Мореходом, сидящими в самой дальней части кофейни, но у меня пропало всякое желание вторгаться в их мир с прощальными пожеланиями счастья.

Машина с ревом рванула с места, расколов тяжелую тишину, которая волнами лилась от стен аббатства и, в не меньшей степени, от этих молчаливых, не желающих ничего понимать людей, которые собрались под старым деревом. Никто не помахал рукой, никто не улыбнулся.

Я скатился вниз под горку по пустынной улице, мимо цветущих деревьев, на край холма. На гумне стоял Франгос и смотрел на море; услыхав машину, он обернулся, но руки не поднял. Я закурил и совсем уже собрался прибавить скорость, как вдруг увидел краем глаза человеческую фигуру, бегущую сквозь заросли олив — с явным намерением перехватить меня чуть дальше по дороге; человек кричал и размахивал руками. Я узнал Андреаса, маленького, смуглого, юркого, и бежал он в свои шестьдесят лет так, словно ему было шестнадцать. Я притормозил.

Он добежал до края последней террасы и очертя голову сиганул вниз, на дорогу, хватая ртом воздух, сияя улыбкой.

— Мистер Дарлинг[2], — закричал он, сбившись от возбуждения на бывшую когда-то в ходу форму моего имени, от которой он, опасаясь издевок, был вынужден отказаться. — Слава богу, что я вас поймал. Я хотел

1. Змеевик, зеленый серпантизированный мрамор (*итал*).
2. Darling по-английски — дорогой, милый.

вам сказать, что мальчик-то вернулся! Он передумал вступать в ЭОКА, потому что выиграл стипендию, — он вместо этого поедет учиться, в Лондон. Вчера правительственное радио передавало имена победителей! — Он шумно выдохнул, восстановив наконец дыхание, и дважды перекрестился на православный манер. — Велик Господь, и пути его воистину неисповедимы. Мальчик теперь уедет в Лондон. Ваша мама присмотрит за ним, пока он будет в Англии, если вы куда-нибудь уедете? В конце концов, сосед, он ведь еще совсем ребенок. — Невозможно было спокойно смотреть в это счастливое, доброе, дружеское лицо. Я вышел на дорогу, и мы выкурили по сигарете, пока он — очень горячо — рассуждал о Лондоне и том, как ему самому хотелось бы там побывать. — Образование — это все, — сказал он. — Нам его так не хватает. Теперь, может, хоть детям удастся его получить. — И мне вдруг стало стыдно за то пренебрежение, с которым у нас привыкли относиться к этим людям — к бедным "кипам".

— Ну конечно, мы за ним присмотрим, — сказал я.

— А за дом не волнуйтесь, — сказал он, прижав руку к сердцу, — я прослежу, чтоб там всегда был порядок и чистота, и чтобы всякая вещь на своем месте. И за дочки вашей виноградом на балконе тоже пригляжу. Когда вы, сосед, на следующий год вернетесь, весь балкон у вас будет в тени. — Мы загасили сигареты о дорогу и пожали друг другу руки. — И не забывайте, — сказал он напоследок, — нам писать, Лойзусу, и Антемосу, и Мореходу; и пришлите нам открытки с видами той лондонской церкви — ну той, большой, с часами. — Я пообещал, что вышлю непременно. — И помните, — крикнул он уже мне вслед, вспомнив деревенскую поговорку, которой принято выражать надежду на счастливое будущее. — Самое сладкое вино — от будущего урожая.

— Понимаете, в чем дело, — сказал таксист, который ближе к ночи довез меня до охраняемого, как крепость на осадном положении, аэропорта, — понимаете, вся беда греков состоит в том, что на самом-то деле мы все настроены пробритански.

В тот вечер в городе уже прогремели два или три взрыва, и не приходилось сомневаться, что этим дело не ограничится. Он вел машину по безлюдным полутемным улицам мимо случайных встречных патрулей осторожно и при этом в каком-то странном возбуждении. Это был пожилой человек, неторопливый, с совершенно седыми усами. Судя по акценту, родом он был из Пафоса.

— Что вы говорите? — почти не слушая переспросил я; а вслушивался я в подозрительные звуки окружавшей нас темноты, поскольку привязанная к приборному щитку синяя бусинка (талисман от сглаза) утешала меня, но не слишком.

— Даже Дигенис, — глубокомысленно изрек он, — говорят, что даже он настроен очень пробритански. — Это был типичный греческий разговор, из тех, которым неизменно сопутствует совершенно сюрреалистический привкус галлюцинации, — за последние два года я подобных пережил не сотню и не две. — Так точно, — продолжил он неспешным уверенным тоном деревенского умника, — можете не сомневаться, даже Дигенис, хоть он и воюет против британцев, на самом деле он их любит. Но нам все равно придется их убивать — с жалостью, даже с любовью.

Лоренс Даррелл

Стихи

Перевод К. Медведева

Смуглый грек

По широким тенистым улицам,
    По ступеням белого мрамора,
Где тихие люди в легких одеждах
Спешат предаться очарованью музыки,
В глубине, меж бледными тенями домов
И белым узором Лунного Света
    Меж колонн,
Сквозь мерцающую роспись тумана
    Через великий Собор
Проскользнуло гибкое божество, высокий молодой грек,
    Смуглокожий, юркий,
Со смоляным блеском в волосах,
    С огромными блистающими глазами,
Подернутыми дымкой непрошеного любопытства.

Цикада

Прозрачное надкрылье мертвой цикады,
Глаза открыты, как у мертвого японца,
Нет пористых частей, подвластных тленью, —
Лишь сколок чешуйчатой слюдяной оболочки.
Из этого тельца можно было бы сделать крошечную скрипку,
Фонарь для эльфа, камень для броши
И носить этот прозрачный взор полуночи
                при искусственном свете —
Оправленный золотом или другим аллегоричным металлом,
Постигающий тайнопись мертвого вина,
                что вот-вот прольется.

© К. Медведев. Перевод, 2000

Эхо

Помнишь ли, о, так давно это было,
Как брели мы в сумерках по краям облаков
Тропинкой к звездам и нашли
Пещеру...
Пещеру серебряных отголосков,
И когда я замер, затаив дыхание, и произнес твое имя,
Его принесло обратно мельчайшей рябью
Исступленных текучих переливов.
Не забыла ли, как ты сказала смешливо,
Взяв меня за руку: "Если я стану нужна тебе
Однажды в смутном будущем, когда унылое время
Не будет давать ни пышных плодов, ни богатого урожая,
Или если в бедном своем одиночестве
Ты захочешь, чтоб я тебя утешила,
Приди в сумерках на это безлюдное приволье,
На эти дремотные голубые просторы неба,
И произнеси мое имя —
Я услышу". "И ответишь мне," — сказал я со смехом.

Конон в ссылке

От автора

Конон — вымышленный греческий философ, дважды посещавший меня во сне, — с ним я себя порой отождествляю. Это одна из моих личин, а другая — это Мелисса. Я хочу, чтоб вся моя поэтическая деятельность явила подобие гобелена, на котором вытканы люди — иногда реальные, иногда вымышленные. Конон реален.

I

Три женщины засыпали с моими книгами,
Среди обожавших баллады — Пенелопа,
Она рассыпáла волосы над моими творениями,
Но едва ли она постигла меня — создателя напевов,
Обращавших людей в ученых собачек, —
Не умерла она, но ушла от меня к певцу в парике.

II

Позже Ариадна читала "Вселенную",
Совершив путешествие под острова,
Покинув зеленую усадьбу, мужа, дом с оливковым садом.
Она ложилась с моими словами и позволяла мне
Овевать дыханьем ее лицо, а потом бросилась, как чайка,
С огромного утеса в Скио. Ласки коснулись ее тела —
Теплого, маслянисто-румяного, как пахучий хлеб,
Ничего человеческого в ней не стало, но ничего и
божественного —
вопреки их ожиданиям.

III

Ты, идущий по островам, должно быть, вспомнишь
Влюбленную Иону, веселую, безобидную, терпеливую.
Ласточки взмывали с карнизов от наших перебранок,
Мы мешали пчелам хлопотать в виноградниках.
Дрожащая и больная, испытание подлинной любви,
Это она лежала с сухими глазами в каменной ванне,
Так, будто тело ее превратилось в огромную слезу,
Что вот-вот прольется из ока Вселенной.
Мы так и не взяли в толк, что брак — это подобие
архитектуры,
Мы утратили ясельные добродетели, все до одной,
И никто не мог объяснить нам, отчего мы страдаем.

IV

Нельзя сказать, что *"Искусство брака"*
Или *"О мире внутри себя"* и *"О любви"*
Не привлекли ко мне женщин, — я помню их тела,
руки, лица,
Не помню только имен.

V

Наконец я здесь. Конон на Андросе в ссылке
Будто паук в бутылке, пишущий нетленное
"О любви и смерти" посредством тел, возлегавших
С моими словами, но так и не познавших меня.
Старик с мехом вина
Вскочил с подушки и побрел в виноградники.

По ночам море ревет под утесами.
Прошлое не страшно тем, кто рядом с богами.
Даже по запискам этим я вижу,
Что выводил женские имена, будто
Философские суждения. Теперь мне ясно,
Что они были лишь формами для моих идей,
Имена у них были, губы, разные голоса.
В их обличьях я возлегал с самим собой, своим складом жизни,
Зная лишь соитье с тенями
На берегах Эгейского моря, что навеки
Омывает, прощает и уносит к дому.

Критик Конон о шести греческих пейзажистах

О *Петре Фиванском*

Этот пейзаж по сути своей не первозданен. Сначала родились запахи — смоляной, сосновый. Потом кто-то охмелел от земляники.

Потом в качестве пояснения кто-то добавил красную густую глину и корни. Невозможно отведать одного́, не вкусив в то же время и другого, — все равно что рыба и острый соус.

О Маноли Критском

Проведя жизнь за сочинением акростихов, он взялся за кисть, и все вокруг стало бросаться ему в глаза. Деревья и раньше были деревьями. Только представлял он их себе иначе. В итоге старик сошел с ума, ибо все обнажилось и с хохотом кинулось в его объятья.

О Юлиане Аркадийском

Аркадия первозданна. Там нет понятия "следовательно". Исток, причина — понятия, непригодные для осмысления прошлого. Потому первозданна Аркадия, первозданны и все хорошие стихи.

О Спиридоне Эпирском

Пять лет вы смотрите на этот пейзаж. Вы почти ничего не видите — но что-то внимательно следит за вами. Еще пять лет — и вы замечаете очертания, которые есть лишь очертания и ничего более — тень, похожая на полусвет луны. Если будете смотреть всю жизнь, то увидите, что горы лежат как покрывало на ложе, и различите контуры таящейся под ним фигуры.

О Геро Коринфском

Стиль — рамки сознания. Геро интересовал не столько пейзаж, сколько непрерывная творческая исповедь перед самим собой, ставившая как его самого, так и его творение вне людской досягаемости. И вот однажды осталась лишь рамка, покинутая мастерская и воспоминание о Геро-живописце.

Об Александре Афинском

Александр был влюблен в Афины. Ненасытный, он извел своим искусством себя и предмет своей любви. Так, не успеет он понюхать цветок, а тот уже иссыхает, а когда он написал гору, ей показалось, что вся ее дальнейшая жизнь — бессмысленная борьба с собственным изображением кисти Александра. Вот так и исчезли Афины вместе с ним, а мы бродим с тех пор по его полотнам, ища дорогу обратно — из искусства в жизнь.

Лоренс Даррелл

Рассказы из сборника "Sauve qui peut"[1]

Перевод с английского А. Ливерганта

Sauve qui peut

В нас, дипломатах (сказал Антробус), воспитывают находчивость, чтобы мы могли сыграть любую роль, были готовы ко всему, — когда имеешь дело исключительно с иностранцами, иначе нельзя. И мы готовы ко всему — кроме одного, старина. Кроме крови.

Крови?!

Крови.

Поймите меня правильно, я имею в виду особые, можно даже сказать, экстраординарные случаи, однако встречаются они не так уж и редко. Старину Гулливера, например, пригласили в Сайгон присутствовать на казни, и он счел, что отказаться неудобно. Увиденное произвело на него такое впечатление, что теперь он совершенно не в состоянии сосредоточиться, голова у него повернута набок и постоянно трясется, уши шевелятся. Бедняга! На мою долю подобных испытаний, по счастью, не выпадало, но одна история, тоже по-своему кровавая, запомнилась надолго. Представьте, в один прекрасный день приходит нам совершенно официальное приглашение, мы вскрываем конверт и расширившимися от ужаса глазами читаем:

"Его превосходительство Хаксмит Бей и мадам Хаксмит Бей рады пригласить вас на радостное событие – обрезание их сына Хаксмита Абдула Хаксмита Бея. Галстук, а также награды и знаки отличия обязательны. Фуршет".

До сих пор в ушах у меня стоит глухой стон, которым огласилось посольство, когда по нему разнеслась сия скорбная весть. "Обрезание"! "Радостное событие"! "Фуршет"!

— Пакостная, доложу я вам, история, — вскричал Де Мандевилл — и не ошибся.

Посольство, откуда пришло приглашение, было, само собой разумеется, совсем еще юным, а страна, которую оно представляло, погруженной в доисторические времена. И все же... Проще всего, естественно, было сказаться больными, что мы все как один и сделали. Мы уже собирались отправить этим милейшим курдам вежливый — чуть было не ска-

© А. Ливергант. Перевод, 2000

1. Спасайся кто может (*франц.*).

зал радостный — отказ, но тут Полк-Моубрей созвал общее собрание. Он был задумчив, бледен и суров — ну чем не Гамлет!

— Я полагаю, вы все это получили, — процедил он, брезгливо приподняв двумя пальцами листок картона, на котором только слепой не различил бы серп и минареты курдского герба, а под ним нечто вроде склоненных друг к другу графинчиков.

— Да, — хором ответили мы.

— Надо думать, все вы ответили отказом, — продолжал наш шеф, — и я, пожалуй, даже этому рад. Я не хочу, чтобы у сотрудников посольства возникали кровожадные инстинкты... Такие мероприятия оседают в памяти... В то же время не все так просто, как кажется, ведь курды — народ молодой, жизнерадостный, энергичный, страна у них небольшая, с разваливающейся на наших глазах экономикой, и они чудовищно обидчивы. Вот почему и речи не может быть о том, чтобы кто-то из нас не представлял на этом мероприятии правительство Ее Величества. Кроме того, процедура ведь может оказаться неформальной, в чем-то трогательной, запоминающейся, даже поучительной... Короче говоря, кто-то из нас там быть должен: игнорировать курдский народ, его право на существование в современном мире мы не имеем никакого права. Вы же не хотите, чтобы они голосовали против нас в ООН? Надеюсь, вы меня поняли? Всю ночь я не сомкнул глаз — раздумывал, что делать, и, как человек по природе своей не кровожадный, принял, по-моему, вполне демократическое решение. Убежден, вы его одобрите и, надеюсь, отнесетесь к нему с уважением.

И с этими словами Полк-Моубрей поднял левую руку, в которой держал коробок спичек.

— Тот, кто вытянет самую короткую спичку, и будет нас представлять, — пронзительно выкрикнул он.

Лица собравшихся покрылись мертвенной бледностью, но делать было нечего. Приказ есть приказ. Закрыв глаза и шепча молитву, мы стали тянуть жребий. Ну а жребий, вы угадали, пал... на меня. Самая короткая спичка досталась мне.

— Право же, сэр... — не выдержав, с горечью воскликнул, почти что всхлипнул я.

Но Полк-Моубрей, на лице которого было написано искреннее сострадание, потрепал меня по плечу:

— Антробус, — изрек он, — о более надежном, более осмотрительном, более решительном кандидате я не мог и мечтать. Любой другой, уверен, лишился бы чувств. Я рад, да, рад от всей души, что судьба избрала именно вас. Courage, mon vieux[1].

Но я ничуть всеми этими похвалами не обольщался. У меня дрожали губы, сел голос.

— Неужели нет другого выхода? — вскричал я с тоской, скользя глазами по непроницаемым лицам коллег. Другого выхода, судя по всему, не было. Полк-Моубрей покачал головой с какой-то нежной грустью, точно настоятельница, изгоняющая послушницу из монастыря.

— Это kismet[2], Антробус, — сказал он, и я испытал такое чувство, будто надо мной захлопнулась крышка гроба. У меня опустились плечи и

1. Мужайтесь, старина (*франц.*).
2. Судьба (*тур.*).

подбородок с глухим стуком упал на грудь. Конченый я человек! Мне почему-то вспомнилась моя старушка-мать, одиноко жившая в Сент-Абдомен-ин-зе-Уолд. Что бы она сказала? Мне вспомнилось многое.

— Что ж, — изрек я наконец, взяв себя в руки. — Будь что будет.

Все как-то сразу повеселели, оживились. В последующие несколько дней сотрудники проявляли ко мне удивительное участие, обращались приглушенными, сочувственными голосами, словно к тяжелобольному, ходили вокруг на цыпочках, будто боясь отвлечь от печальных мыслей. Какие только способы избегнуть своей участи я не обдумывал — но все они были абсолютно неосуществимы. Дошло до того, что я часами просиживал на сквозняке в надежде подхватить воспаление легких. Я недвусмысленно давал понять, что уступлю свои места в ложе Большого театра всякому, кто по доброте душевной пойдет к курдам вместо меня. Бесполезно.

И вот этот день настал. Можно было заранее накрыться саваном. Что я и сделал. Все сотрудники посольства вышли пожать мне на прощание руку. Полк-Моубрей отдал в мое распоряжение свой "роллс-ройс" с флажком и личным шофером.

— Я велел водителю захватить аптечку, — хриплым от волнения голосом напутствовал меня он. — Мало ли что... — По тому, как шеф говорил, можно было подумать, что я — жертвенный агнец.

Де Мандевилл вложил мне в руку нюхательную соль и упавшим голосом произнес:

— Прошу тебя, передай крошке Абдулу наши соболезнования.

— Попробуй все снять крупным планом, — напутствовал меня Давбаскет, протягивая свою "лейку". — В "Санди таймс" уже давно просят что-нибудь сенсационное, деньги они платят сумасшедшие — я с тобой поделюсь. Другой возможности обставить Тони у нас не будет.

Вот подлец! Но мне было не до него. Я молча вернул ему фотоаппарат и, сев в лимузин, умирающим голосом выговорил:

— В курдское посольство, Тобиас.

Курды, надо отдать им должное, все устроили на широкую ногу. На задней лужайке, под громадным навесом, где были нарядно накрыты столы, мы, дипломаты, и собрались. Большинство посольств, надо сказать, были представлены и. о. вице-консулов; вид у них был какой-то напряженный, они были бледны, от многих пахло бренди. Что ж, возможно, курды нация и молодая, но пустить пыль в глаза они умеют ничуть не хуже старых. Все работники миссии были одеты в ослепительно синие tenue[1], в углу же, за приставным столиком, где были разложены устрашающего вида орудия пытки, стояла небольшая группа мрачных верзил, завернутых в попоны разных цветов. У верзил были бритые затылки, алого цвета десны, переговаривались они, как бушмены, сухими, щелкающими звуками, а лица их напоминали разверстые угольные шахты. Насколько я понял, это были сотрудники медицинского отдела курдского посольства, а попросту говоря — палачи. Но где же тот самый безбородый юнец, в чью честь и было организовано все это пышное торжество? Набравшись смелости, я задал этот вопрос послу.

— Мой сын?! — воскликнул посол. — Он будет здесь с минуты на минуту. Едет из аэропорта. Сегодня утром он прилетел из Лондона.

1. Костюм (*франц.*).

Признаться, меня эта информация несколько озадачила, но... у курдов свои порядки.

— Подумать только! — продолжал глава миссии, потирая руки. — Абдул ведь ни о чем не подозревает. Для него это будет сюрприз, маленький сюрприз. Представляю, как он развеселится, когда увидит... — И он махнул рукой в сторону палачей.

Что ж, пусть радость его будет беспредельной, подумал я и решил покамест подкрепиться весьма аппетитным рахат-лукумом, который обнаружил в конце стола. В конечном счете, сказал я себе, смотреть ведь вовсе не обязательно, можно закрыть глаза или отвернуться...

По счастью, страхи мои оказались напрасными. Представьте наше всеобщее удивление, когда, чтобы обнять мать с отцом, под навес вошел не хныкающий подросток, а двадцатилетний верзила с пышными усами и чистосердечным, открытым лицом. И этому молодому человеку предстояло стать жертвой! Не скрою, чистосердечное, открытое лицо Абдула несколько омрачилось, когда его ввели в курс дела. Разделить радость этого события он отказался наотрез. А как бы, интересно, поступили на его месте вы? Ведь он, ко всему прочему, вернулся из Оксфорда, где не только получил диплом с отличием, но и входил в сборную университета по боксу. Мать с отцом встревожились не на шутку и принялись уговаривать сына по-курдски.

Однако на все их просьбы Абдул отвечал почтительным, но решительным отказом. Он красноречиво мотал головой, в глазах появился злобный блеск. В конце концов отец потерял терпение и сделал знак стоящим в углу головорезам: если Абдул не хочет разделить радость этого торжественного события сам, придется его заставить. Но пребывание в Оксфорде, как видно, не прошло для молодого человека даром: двух палачей он ударом справа и слева немедленно отправил в нокаут, остальные навалились на него сзади. Поднялся невероятный переполох. Вертясь волчком по лужайке и пытаясь сбросить повисших на нем палачей, Абдул уложил на землю добрую половину дипломатического корпуса и перевернул накрытые столы, после чего, развернувшись, выдернул из земли шест, на котором крепился навес, — и вся конструкция рухнула на нас вздымающимся разноцветным облаком. Истошные крики, визг... Цилиндр я потерял, зато сумел выбраться на четвереньках наружу и, жалобно скуля, заковылял к воротам. В результате мне досталась лишь коробка рахат-лукума, которым по возвращении я щедро поделился с коллегами. Рахат-лукум пришелся им по вкусу, и меня единодушно признали героем. На комплименты не скупился никто, вот только Полк-Моубрея мое поведение на приеме вызвало смешанные чувства, однако, обдумав происшедшее на досуге, он сделал весьма здравое умозаключение. "В дипломатии, — заметил он, — довольно часто приходится руководствоваться принципом "спасайся кто может".

Гаремы и проблемы

Если вы сочтете (сказал Антробус), что все проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться в нашем посольстве в Вульгарии, носили сугубо политический характер, вы СОВЕРШИТЕ ГРУБЕЙШУЮ ОШИБ-

КУ. В отличие от войны Алой и Белой Розы, жизнь дипломата сумбурна и непредсказуема; в сущности, как однажды чуть было не заметил Пуанкаре, с ее исключительным разнообразием может сравниться лишь ее бессмысленность. Возможно, поэтому у нас столько тем для разговоров: чего только нам, дипломатам, не пришлось пережить! Вот почему у дипломата не сдадут нервы, если вдруг над его вычищенным цилиндром разверзнутся хляби небесные. Для него тайн в природе не существует. На такие вот размышления, дружок, — куда более мрачные, чем обычно, — навела меня заметка в "Таймс", где говорилось, что старина Сэмми заканчивает свои мемуары. Бедняга Сэм! Когда-то Эйзенхауэр остроумно прозвал его "самым несостоявшимся трезвенником в истории". Вероятно, он решил, выпустив книгу, отыграться — читать и писать он, слава богу, умеет: Итон как-никак. Но работа ведь это долгая: свой труд он, надо думать, сочинял многие годы. Жизнь за это время не стояла на месте, в том числе и его собственная. Начинал-то он с самого заурядного виски из карманной фляжки, а кончил жидкой мазью для растираний после ванны. Так, во всяком случае, говорили в отделе диппочты, где о ванне, даже сидячей, до сих пор приходится только мечтать. Никто не удивился поэтому, когда в конце концов Сэм нашел себя в религии. Уже не первый год до нас доходят слухи о том, как он бредет по чавкающей под ногами глине вокруг какой-нибудь саффолкской церквушки, прикрываясь от дождя куском кровельного картона. На Рождество... но к чему продолжать? Человек немало перенес на своем веку и теперь пытается искупить грехи скромной, добросовестной службой. Долгими промозглыми ночами он сидит и пишет. Что же он пишет? Законный вопрос. Нет, "Занимательные истории про выпивку и секс для школьниц старших классов" написал не он. Он — автор МЕМУАРОВ ДИПЛОМАТА. И называются эти мемуары: "Гаремы и проблемы, или Взгляд, который бросил за отделанный стеклярусом дипломатический занавес тот, кто был там и за это поплатился". Звучит зловеще, не правда ли? Очень надеюсь — мы все надеемся, — что Сэм проявит должную осмотрительность.

Мои худшие опасения подтвердились после того, как Гормли недавно сообщил мне, что разговаривал с Сэмом по телефону и Сэм, если верить Гормли, заявил, что написал книгу про религиозную сторону дипломатии. Единственным верующим сотрудником нашего посольства был капеллан, да и тот довольно скоро куда-то сгинул, словно его и вовсе не было. Хотя... В нашей тогдашней жизни действительно происходили довольно странные вещи, которые, пожалуй, к религии отношения не имеют... Впрочем, это государственная тайна — из тех, что защищаются Актом о хранении документов. Как вы считаете, если, скажем, Моррис танцует на лужайке перед посольством, это можно считать "религиозной стороной дипломатии"? И не один, а с Де Мандевиллом и его шофером — все трое в чулках с подвязками и с цыганскими серьгами в ушах. Правда, когда Полк-Моубрей их увидел, в его поведении ничего религиозного мы не усмотрели...

И тут мне вспомнился Малютка Картер — так, кажется, его звали. Американцам ведь не чужды романтические порывы. Картер уехал в отпуск в Египет с "Александрийским квартетом" под мышкой, и вдруг мы узнаем, что он принял мусульманство — взял да и принял! Стал мусульманином и душой и телом. Возвращается он из отпуска, лицо бледное,

зато улыбка во весь рот, и тянет за собой целый выводок темнокожих жен. Самых настоящих.

– Даррелл прав, – заявил он, как мне рассказывали, своему шефу, небрежно махнув рукой. – Там у них почти ничего не возбраняется.

Картер, разумеется, тоже долго у нас не продержался, но, прежде чем уйти, нервы нам потрепал здорово. Ведь в дипломатическом корпусе подобные выходки бывают очень заразительны. Картер подал пример другим. В то же время он, строго говоря, был в своем праве. Ни в Государственном департаменте, ни в Форин офисе запрета на религию не существовало. Для того чтобы его уволить, начальству пришлось как следует попотеть: как и все американцы, Картер был весьма расторопен. В результате его повысили в должности и отправили в ООН, где чернокожих и без его жен хватало. Однажды я встретил Шварца, их советника, на нем лица не было – а все из-за этой проклятой истории, из-за всех этих бесконечных телеграмм.

– Раньше, – всхлипнул Шварц, – работа была – не бей лежачего. И зачем только ему это понадобилось?

Шварц каждый день играл в бридж и ни о чем другом думать не мог. В открытое окно видно было, как Картер вывел своих жен на прогулку в посольский двор; поскольку все они говорили на разных языках и друг друга не понимали, он играл с ними в чехарду. Сотрудники посольства сгрудились у окна и с живейшим изумлением наблюдали за этой сценой. Шварц еле сдерживался, чтобы не выругаться.

– Антробус, – сказал он, – мы ведь с вами прекрасно знаем, что по закону не имеем права уволить царя Соломона, даже если он ввалится в Госдеп, укажет большим пальцем (Шварц сделал знак большим пальцем) на свой выводок и скажет: "К вашему сведению, эти курочки – мои законные жены. Извольте поставить их на довольствие".

Мне стало его жалко. Да, из-за Картера нам пришлось значительно расширить наше законодательство. Ведь в противном случае в один прекрасный день Госдеп взяли бы приступом мормоны. Итак, воды сомкнулись над Малюткой Картером. А жаль. Говорят, две его жены были прехорошенькие, всё при них – не придерешься. Но – потерянного не воротишь. Мы пережили утрату и зашагали дальше. Вперед, только вперед – и ни шагу назад.

Понимаете, к чему я клоню? К тому, что лучше бы Сэм о таком в своей книге не писал. В нашем посольстве история с Картером произвела эффект мощнейшего взрыва. Мы и не подозревали, что сидим на пороховой бочке, хотя запах паленого я уже чувствовал довольно давно, только не мог сообразить, откуда он идет. Помните Дрэджа? Ну конечно, помните. Вот уж кто был настоящим неофитом! Всю зиму его одолевали Видения, Голоса нашептывали в его стоящие торчком, как у фавна, ушки всевозможные крамольные мысли. Вдобавок он находился в состоянии войны с Давбаскетом, что опасно всегда, особенно же теперь, когда это ничтожество защитило диплом по прикладной электротехнике. Дрэдж вызывал у меня тревогу, Давбаскет – отвращение. Ни тот ни другой моим доверием не пользовался. Отношения между ними с каждым днем становились все хуже, что не могло самым пагубным образом не отразиться на нашем питании. Пудинг быстрого приготовления упорно отказывался стоять по стойке "смирно". Давбаскет настолько удачно установил на кухне бунзеновские газовые горелки, что приготов-

ление моментального теста превратилось для Дрэджа в нечто сродни ядерному испытанию. Де Мандевилл придумал шуточное меню для приема французской делегации, которое в создавшейся ситуации воспринималось отнюдь не как шутка. На закуску предполагалось подать яйца ржанки в эфире и сухарики в маринаде из азотной кислоты, коктейль же должен был состоять из лимонной кислоты, свернувшегося молока с аммиаком, пополам с машинным маслом из кривошипа стоявшего на запасных путях паровоза. Каково! В меню значился даже британский клубный сандвич, представлявший собой мелко нарубленные останки гимнософиста[1], завернутые в высохшие пальмовые листья. Иными словами, европейской кухней Дрэдж увлекся не на шутку. А между тем Видения продолжали его преследовать, становились все более настойчивыми. В конце концов Дрэджу ничего не оставалось, как обратиться за религиозной помощью к вождю его секты, проповеднику-нонконформисту Блуд-Уилкинсону, долговязому, тщедушному человеку с козлиной бородкой и глазами навыкате. От такого ждать утешения не приходится, подумал я про себя. Но что было делать? Мы все видели: душа у проповедника необъятна и трепетна. Тембр голоса у Блуд-Уилкинсона был низкий, раскатистый; иногда, правда, на слове "грех" он срывался на визгливый крик, и тогда его голос звучал точно полицейский свисток, отчего все вздрагивали и начинали, выражаясь метафорически, рыть копытами землю. Проповедник вошел в коттедж Дрэджа предложить ему слово Божье, и Дрэдж сразу же поинтересовался, не согласится ли тот прочесть нам воскресную проповедь. Дело в том, что наш капеллан в это время отсутствовал — уехал на недельку в Ниццу поиграть в рулетку. В вопросах религии мы ведь исключительно либеральны, и я ему отказать при всем желании не мог.

Свою проповедь Блуд-Уилкинсон построил на библейском изречении: "...и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них"[2]. Шляпки посольских дам, по всей видимости, вызывали у него немалое раздражение. Он ткнул в них указующим перстом и принялся распекать на все лады. Слова его гремели под сводами часовни словно канонада. Де Мандевилл побледнел и тихонько зарыдал, прижимая к глазам батистовый носовой платок. Послушать проповедника, так все наше машинописное бюро погрязло в самом непотребном разврате, а Полк-Моубрей, потеряв всякий стыд, только и делает что распутничает с целой клеткой соловьев. Каково!

И тут мы впервые испытали гордость за Давбаскета, теплое чувство к нему. Оказывается, он спрятал в кафедре микрофоны. Хотел отомстить за нас — пусть даже основной его мишенью и был несчастный Дрэдж. Не все ли равно! Преподобный Блуд-Уилкинсон должен был получить по заслугам. Надо отдать ему должное — держался он молодцом и, несмотря ни на что, продолжал свою проповедь. Из фисгармонии, стоило только миниатюрной ножке мисс Тоджер коснуться педалей, рванулось пламя, которое, как и полагается галантному кавалеру, затушил своим плащом Полк-Моубрей. Уилкинсон же как ни в чем не бывало продолжал свою лекцию. Запрятанные в стене электронные устройства разносили теперь по часовне чудовищную какофонию самых

1. Гимнософист — член древней индуистской аскетической секты.
2. Евангелие от Луки, 12, 27.

невероятных звуков: казалось, мы находимся не в церкви, а в джунглях. Уилкинсон подтянул брюки и, пытаясь перекричать шум, заговорил еще громче. И тут на задней стене появились две гигантские надписи разноцветными буквами, сначала: ПОКАЙТЕСЬ, СОБАКИ, а затем: ДРЭДЖ, Я ПРИШЕЛ ЗА ТОБОЙ, ПОДОНОК! Под второй нетвердым школьным почерком было выведено: "Иегова". Сомневаться не приходилось: Блуд-Уилкинсон принял вызов и биться будет до конца; несокрушимый проповедник вещал, несмотря ни на что. Давбаскет побледнел и напрягся — неужели он потерпит поражение? Меры следовало принять неотложные. Он должен выложить свой главный козырь. Дрожа от возбуждения, Давбаскет подался вперед и нажал кнопку "F" под кафедрой. По счастью, осечки не произошло. От стены с легким щелчком отделилась шестифунтовая боксерская перчатка и нанесла преподобному джентльмену сокрушительный удар чуть ниже левого уха. Победа нокаутом. Блуд-Уилкинсон умолк и выпал из вороньего гнезда, приземлившись аккурат в первом ряду среди немало повидавших на своем веку сотрудников посольства. Сложил свою буйную голову прямо на колени к Полк-Моубрею. Мир сразу же просветлел. Слышно было, как в посольском саду запели птицы. Любящие руки готовы были собрать останки героя и совершить торжественный обряд похорон. Но Блуд-Уилкинсон еще дышал. Его тело положили на носилки, погрузили в самолет и доставили на родину за счет Ее Королевского Величества. Дрэдж же чудесным образом исцелился — во всяком случае, временно. Завтраки и обеды вновь сделались съедобными. Правда, Библию Уилкинсона он сохранил и время от времени читал ее вслух заунывно-загробным голосом. Но худшее осталось позади. Дрэдж опять стал самым обычным дворецким, человеком из плоти и крови — пусть и не первой свежести.

Я готов привести еще много примеров того, что можно назвать "религиозным импульсом" в дипломатическом корпусе — импульс этот чрезвычайно многообразен. Сэм, надо надеяться, воспользуется некоторыми наиболее красочными эпизодами, например историей о том, как Полк-Моубрей решил возвести на территории посольства марксистскую часовню, дабы раз и навсегда отучить сотрудников от убогого материализма. Дальше чертежа, слава богу, дело не пошло. По счастью, вмешались политические мотивы. Кто, к примеру, будет освящать такой храм? Часовню предполагалось возвести в стиле методистской церкви на Примроуз-хилл. Обратились, насколько я знаю, к Джону Бетджемену[1], но из этого ничего не вышло. Повышенную чувствительность проявило и русское посольство. Их поверенный в делах был забавным, совершенно фольклорным типом по фамилии Дамнович. У него была трехмерная марксистская улыбка и диалектическое мышление, от которого он не отступал ни на йоту. В один прекрасный день Дамнович куда-то исчез, и прошел слух, будто он покончил с собой, причем исключительно оригинальным способом. Получив выговор за какую-то несущественную провинность, он воспринял его так близко к сердцу, что решил ситуацию исправить: написал на себе "Совершенно секретно" и сжег себя в мусоросжигателе вместе со своей конфиденциальной перепиской. Неглупо, а? Регги Сабтайтл поступил еще коварнее: чтобы братец после его смерти не получил ни пенса, он распорядился в заве-

1. Джон Бетджемен (1906—1984) — английский поэт, увлекавшийся архитектурой.

щании свое тело забальзамировать и отправить в саркофаге в филиал банка "Кутс энд компани" на Оксфорд-стрит, где оно до сих пор лежит в подвале вместе со всей его обстановкой и вещами. Никто не имеет туда доступа, из-за чего его брат и не может вступить в права наследства, — ведь Регги и по сей день, хотя прошло уже много лет, считается пропавшим без вести.

И последний пример — начинающим дипломатам он может послужить своего рода предостережением. Произошла эта история непосредственно со мной. Вы ведь знаете, в Вульгарии вдовство — это не социальный статус, а профессия. Вдов в этой стране не счесть. В черном шуршащем шелке с ног до головы, брови сходятся над переносицей, густые усы... Впечатление такое, будто девяносто процентов населения Вульгарии — вдовы. Так вот, у нас была одна такая вдова, верней сказать, она нам досталась. Кажется, ее выиграл в лотерею клерк из консульского отдела. Взял ее вместо индейки, а может, принял за индейку? Как бы то ни было, эта вдовушка стала миссис Треднидл. Вскоре, правда, она мистеру Треднидлу надоела, он сложил обувь и одежду на берегу Дуная, набросал ей на клочке бумаги прощальную записку — словом, сделал вид, что утопился, а сам перешел границу и вернулся к гражданской жизни. Сейчас он живет в Банбери, служит земельным агентом и пользуется всеобщим уважением. Но нам-то (да и ей тоже) откуда было все это знать?! Треднидла мы списали и наняли на его место другого. Тем временем миссис Треднидл во всеуслышание заявила о себе и своих правах. Как известно, вдовы — в отличие от жен — пра́ва на приобретение беспошлинных алкогольных и табачных изделий не имеют. Жены — да. Но не вдовы. Так вот, она никак не могла взять это в толк, да и английским владела не в той мере, чтобы можно было членораздельно ей объяснить, как обстоит дело. Убедить ее мы были не в состоянии. Вдобавок она почему-то сочла, что, если тебе нужен британский подданный или же если твой британский подданный куда-то подевался, ты можешь запросто прийти в посольство и выбрать себе другого. Поскольку больше всего ее волновали беспошлинные товары, она регулярно являлась в посольство, садилась под дверью канцелярии и умоляла нас войти в ее положение. Наконец, убедившись, что помощи от нас ждать не приходится, она решила выбрать себе нового супруга, чтобы вновь получить беспрепятственный доступ к беспошлинному джину и сигаретам "Бенсон энд Хеджес". Выбор ее пал на меня. Уж не знаю почему. Может, из-за моего открытого лица, выдававшего, как ей казалось, натуру свободолюбивую и благородную. Всякий раз, когда я проходил мимо, она указывала на меня пальцем и кричала: "Все равно моим будешь!" Эти слова несказанно потешали всех сотрудников посольства. Всех, кроме меня. Я был перепуган до смерти. Скоро она стала хватать меня за руки и пыталась их целовать. Ситуация становилась неуправляемой. К себе в кабинет, а также в кабинеты к своим коллегам я мог пробраться теперь только через окно — все остальные пути были отрезаны. Можете себе представить, как это было утомительно. Я вынужден был топтать посаженные у дома цветы. У меня ныло все тело. Я потерял в весе. Избавиться от этой дамочки не было никакой возможности. Однажды она даже ворвалась ко мне в кабинет вместе со священником, который благословил меня веткой иссопа и окропил ее прошение святой водой. *Она платила за то, чтобы меня уговорили сменить гнев на милость.* Я был in extre-

mis[1]. В конце концов мне пришлось обратиться за советом к Давбаскету, и благодаря его уму и прозорливости худшего удалось избежать. По совету Давбаскета я вызвал Терстона, здоровенного малого, нашего охранника, и, откашлявшись, посвятил его в суть дела.

— Терстон, — сказал я, — у вас нет выбора. Вы в шестой раз подряд напиваетесь в служебное время, и его превосходительство решил сообщить об этом в Министерство. Вы ведь догадываетесь, чем это чревато?

Терстон почесал в затылке и ковырнул ковер носком гигантского ботинка.

— Принятие окончательного решения, — продолжал я, — его превосходительство предоставил мне. Не скрою, я просил его за вас... Знаете, мне почему-то кажется, что всему виной ваша холостяцкая жизнь. Вы ведете слишком свободный и безалаберный образ жизни. Если б вы женились, я бы пересмотрел санкции против вас; ну а если б вы вдобавок женились на миссис Треднидл, мы могли бы подумать и о вашем продвижении по службе, о том, чтобы увеличить вам жалованье.

Говорить я старался как можно убедительней. Заметив, что охранник изменился в лице, я тут же добавил, что сотрудники, состоящие в законном браке, получают солидное денежное пособие и вполне приличное жилье.

— Идите и обдумайте то, что я вам сказал. Жду ответа не позднее сегодняшнего вечера.

Мой твердый и в то же время вкрадчивый голос произвел на Терстона неизгладимое впечатление. К вечеру выбор был сделан: миссис Треднидл станет миссис Терстон. Представьте себе мое облегчение. Но вот ведь что удивительно: женитьба и в самом деле оказала на Терстона действие самое благотворное. Он подписал брачный контракт — и начал новую жизнь. Когда я увольнялся, оба они пели в хоре. Нет, можете говорить все что угодно, но в религии что-то есть.

Случай в Париже

Не рассказывал ли я вам (сказал Антробус) о случае в Париже? Нет? Если честно, предпочитаю эту историю не ворошить — уж больно она неприятная. Но сегодня, когда я заполнял медицинскую страховку, она мне почему-то вспомнилась. Перед моим мысленным взором вновь возник О'Тул. Боже, такое и в страшном сне не приснится!

Началось все с того, что, собираясь в отпуск, я по глупости брякнул Полк-Моубрею, что еду через Париж и в случае необходимости он может мной располагать. Как вы сами понимаете, сказано это было из вежливости, продиктованной дипломатическим этикетом, — надо было быть последней свиньей, чтобы воспользоваться моим предложением. Именно такой свиньей Полк-Моубрей и оказался. Устремив на меня взгляд своих водянистых глаз, он произнес приглушенным, извиняющимся голосом:

— Вы оказали бы мне неоценимую услугу, Антробус. Ваши взвешенные суждения, ваша распорядительность, ваша отеческая забота...

1. На пределе (*лат.*).

Что ж, все это, быть может, и соответствовало действительности.

— ...В Париже учится на медицинском факультете мой племянник О'Тул. Признаться, он у меня совершенно отбился от рук — боюсь, как бы с ним чего не приключилось. Хлопот с ним не оберешься: в первом же отзыве говорится, что он "carrément funeste"[1], что бы там это ни значило.

Французский язык у Моубрея, прямо скажем, не первой свежести. Как, впрочем, и у меня. Мы оба, проходя через таможню, можем изречь: "Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie"[2], что, хоть и создает нужную атмосферу, особой пользы, как правило, не приносит.

Я собрался с духом и устремил взор навстречу судьбе.

— Будьте другом, — сказал Полк-Моубрей, — я ведь прошу только об одном: встретьтесь с ним и отправьте мне конфиденциальное донесение. Очень может быть, вы с ним и поладите. Пообщаетесь денек-другой, зайдете в посольство к Максэмону — глядишь, и поужинаете задарма. Уделите немного времени моей заблудшей овечке, прошу вас.

Когда говорится такое, отказывать жестокосердно. И я дал согласие. О горе мне, я дал согласие. Однако тревожное чувство меня не покидало. Я стоял в купе Восточного экспресса, опрыскивал свежевыбритые щеки отдающим мятой одеколоном и с неизбывной тоской взирал на свое отражение в зеркале. Так хорош собой — и так вероломно обманут.

Все не заладилось с самого начала. В Париж я прибыл во время одного из тех нескончаемых национальных праздников, что длятся иногда по неделе. Город был мертв, посольскую машину за мной не прислали, посольство было закрыто, а сотрудники распущены на каникулы. Даже поверенный в делах и тот отправился на охоту. Опустевшее посольство находилось в руках неграмотной прачки и охранника, от которого несло абсентом. Я-то рассчитывал на душ, сытный ужин и ночлег, который в порыве гордости, что он может оказать мне услугу, предоставит мне какой-нибудь мелкий посольский чин. Еще большую тревогу внушало мое материальное положение. Наличных денег у меня при себе почти не было — ни больших, ни малых. Я, натурально, обзавелся перед отъездом дорожными чеками, которые бы позволили ни в чем себе не отказывать в любой точке земного шара, однако обменять эти чеки в создавшейся ситуации возможным не представлялось, — а ведь мне, судя по всему, предстояло потратиться и на номер в отеле. "Как быть?" — раздумывал я, изучая информационный бюллетень на дверях посольской канцелярии. Среди сотрудников не было ни одного знакомого, ни одного внушающего доверие лица. Боже, сплошные бездари и болваны! Без всякой надежды на успех я еще раз пробежал список глазами. Масгрейв, Хопнер, Прэтт, Браун... Теперь-то все эти имена в Интерполе хорошо известны, но тогда их не знал никто. Неоперившиеся птенцы, все до одного! Да, наше посольство в Париже было, судя по всему, новопомазанным. Тогда я решил попытаться раздобыть деньжат в "Гупиле", "Крийоне", "Рице" — но знакомых портье так и не обнаружил. Вдобавок поезд мой отходил только в понедельник. Мне предстояло провести выходные в Париже, где закрыто было абсолютно все, за исключением

1. "Сущий дьявол" (*франц.*).
2. "Роз жизни тотчас же срывайте цвет мгновенный" (франц.). (Пьер Ронсар. Вторая книга сонетов к Елене. Сонет XLIII. Перев. С. Шервинского.)

мест типа Лувра, в котором я мог бы без устали, в поистине лошадиных дозах наслаждаться совершенно бесполезными культурными ценностями. Нет, только не это. Я ходил по городу, с интересом разглядывая многочисленные книжные развалы, где продавалась самая экзотическая продукция; будь у меня деньги, я мог бы приобрести, к примеру, брошюрку под названием "Незапланированное отцовство", прозрачный намек одиноким матерям от незапланированного отца — плод, надо думать, коллективного творчества Де Мандевилла и Давбаскета, писавших под псевдонимом. Но я располагал лишь несколькими франками и рисковать ими не мог. Я зашел в бистро, заказал порцию "Прун мэджик" и стал искать выход из положения. И тут только я вспомнил про О'Тула. А вдруг он сможет помочь? Я отыскал его адрес — он жил в десяти минутах ходьбы от бистро, где я находился. В конце концов, подумалось мне, чем я рискую? Зайду, пожму ему руку, передам привет от дяди. Дом я нашел без особого труда, но вид у него был чудовищно мрачный, к тому же перед входом в каком-то закутке сидела женщина, которая не спускала с меня глаз. Когда я назвал ей имя жильца, она вскочила и выхватила из-под фартука громадный тесак со следами запекшейся крови. Женщина попросила меня объяснить причину моего визита, однако я, увы, значения ее словам не придал, а ведь в ее голосе звучала неприкрытая угроза. Она провела большим пальцем по лезвию тесака. Я приподнял шляпу и стал взбираться по скрипучим, обветшалым ступеням. Звонок в квартире номер тринадцать не работал, и я постучал в дверь зонтом. Последовала долгая, томительная пауза, после чего все произошло мгновенно, как в кино. Дверь распахнулась, меня схватили за галстук, втащили внутрь и толкнули к стене. Входная дверь с грохотом захлопнулась, и кто-то приставил к моему горлу нож. Передо мной стоял О'Тул.

— Только пикни, — прошипел он. — Прирежу!

Но я не мог даже и пикнуть — от потрясения я потерял дар речи. О'Тул втащил меня в комнату, напоминавшую мастерскую художника, и швырнул на диван. Я упал навзничь — прямо на шляпу.

— Они послали тебя за мной шпионить, — прохрипел О'Тул. — А я ведь предупредил дядю: следующий получит сполна! А следующий — это ты!

Мои жалкие потуги на чарующую улыбку и вкрадчивый голос действия не возымели. На контакт О'Тул не шел. Он был похож на Дилана Томаса после недельного запоя: пестрый шарф, шляпа с загнутыми полями. Зверское выражение лица. Интеллигентный подход тут не годился. К тому же от него несло сливовым бренди. Он был вне себя.

— У меня и без вас забот хватает, а этот недоумок еще посылает ищеек за мной шпионить!

У него тряслась подбородок. Парень явно попал в переделку. Я извлек из-под себя смятую шляпу и прочистил то, что еще оставалось от моего горла.

— Послушайте, О'Тул, — сказал я, — успокойтесь и расскажите, что случилось. Может быть, я сумею вам помочь.

— Хочешь помочь?! — рявкнул он и, двинувшись на меня, занес нож над головой. — Тогда выворачивай карманы!

"Содержимое моего бумажника вряд ли доставит ему большое удовольствие", — подумал я про себя, устремив на него кристально честный взгляд неимущего, однако О'Тул был не из тех, кто доверяет взглядам:

опытной рукой он вывернул все мои карманы, один за другим, и извлек из них сумму более чем скромную. Увы, это все, чем я располагал! Он мерил шагами комнату, в сердцах рассекая ножом воздух.

— Что же все-таки стряслось? — спросил я, и мой нежный, вкрадчивый голос, по-видимому, затронул в нем какую-то струну, ибо О'Тул, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, ответил:

— Я задолжал за квартиру, и у меня хотят отобрать Мириам. Сегодня вечером будет наложен арест на мое имущество.

Итак, французские судебные ищейки с густыми бакенбардами преисполнены решимости разделаться с чадом Полк-Моубрея раз и навсегда. Грустно было лицезреть существо столь юное — и столь несчастное.

— Но она им не достанется, — прошипел О'Тул. — Лучше умереть!

Постепенно мне удалось разобраться в этой запутанной ситуации — разумеется, многое из того, о чем я сейчас рассказываю, прояснилось значительно позже. Тогда же упоминание о его сожительнице (как принято у судебных исполнителей называть наших возлюбленных) привело меня в полное замешательство.

— Кто такая Мириам и где она? — спросил я, окидывая взглядом его конуру.

Своим острым, как бритва, ножом (я до сих пор храню рубашку с отверстием в том месте, где нож ее коснулся) он показал куда-то в угол погруженной во тьму комнаты, и, хотя электричество было отключено, я разглядел в темноте нечто вроде мумии.

— Она стоит двести пятьдесят фунтов, — с гордостью заявил О'Тул. — К тому же — это моя тетя.

При ближайшем рассмотрении Мириам оказалась самым обыкновенным скелетом, из тех, кем медики имеют обыкновение, выпив лишнего, пугать друг дружку. Скелет был в полном комплекте: голова, руки, ноги; подвешенный за шею на крюке, он, если подойти поближе, хитро на вас пялился. Я было содрогнулся, однако, как человек логики и здравого смысла, попросил О'Тула немного успокоиться и ввести меня в курс дела. И вот что он рассказал. Его отец был дублинским хирургом, помешанным на Французской революции. Родители настояли, чтобы сын непременно учился в Париже. Его тетка Мириам, дабы поддержать доброе имя семьи, завещала свое тело науке. Ее останки были единственным семейным достоянием — кроме скелета тетушки, семья не располагала ничем. Однако когда сын уезжал в Париж, родители благородно отдали скелет ему — вероятно, в надежде, чтобы он попытался с помощью Мириам заработать себе на жизнь, а если это не удастся — скелет продать. И вот теперь Мириам забирают у О'Тула за долги. Чем лучше узнаёшь жизнь, тем менее реальной она становится... Возможно, О'Тул и был негодяем, но не сочувствовать ему я не мог. Положение, в котором он оказался, было не из легких. Узнать остальное труда не составляло. Судя по всему, арестовать его самого они права не имели; что же касается личных вещей, то О'Тул сумел заблаговременно вынести из квартиры всю свою одежду: напялив на себя одновременно три-четыре костюма, он спускался по лестнице, заходил в бистро по соседству и, запершись в уборной, прятал там свои костюмы, за которыми присматривал его друг Коко.

— А если я спущусь с чемоданом, консьержка набросится на меня со своим тесаком. Придется поэтому вещи бросить. Но как быть с Мириам?

Мне в голову ничего не приходило. И тут О'Тул, прищурившись, взглянул на меня. *Со значением.*

— Что это вы на меня так смотрите? — воскликнул я, чувствуя, что ему пришла в голову какая-то страшная мысль. И я не ошибся.

— Эврика! — вскричал О'Тул, с удвоенной энергией рассекая воздух ножом. — Ты говоришь, что пришел оказать мне помощь. Вот ты ее и окажешь! — И с этими словами он открыл окно и показал на улицу. — Станешь под окном, а я спущу тебе Мириам. И учти, если у нее окажется хоть одна царапина, тебе конец.

Я попытался возражать. Ведь я как-никак британский подданный, кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия третьей степени, член клуба "Ротари", к тому же неплохо играю на дверных колокольчиках. Неужели он всерьез считает, что я буду стоять на парижском перекрестке, держа в объятиях чью-то тетку, к тому же совершенно обнаженную?! Да, считает, и совершенно всерьез.

— И не вздумай дать дёру, — добавил О'Тул, вновь приставив нож к моей груди. — С чем-чем, а с холодным оружием я обращаться умею. — Тут он метнул нож в кухонный шкаф — и не промахнулся.

Через несколько минут по скрипучей лестнице сбежал преисполненный служебного рвения государственный служащий. Проходя мимо сидевшей в закутке мрачной грымзы, которая по-прежнему терпеливо ждала полицейского наряда, чтобы можно было обрушить всю силу закона на квартиру под тринадцатым номером, он вежливо приветствовал ее и, приподняв шляпу и ежась от холода, вышел на улицу. Мне казалось, что у меня нарушилась связь с реальностью; не мог же я по собственной воле стоять и, задрав голову, ждать, пока на меня, слегка покачиваясь на легком ветерке, опустятся останки почтенной ирландской тетушки. По счастью, Мириам, которая оказалась несколько тяжелее, чем можно было ожидать, плавно опустилась прямо ко мне в руки.

— Что теперь?! — с тревогой крикнул я, высоко задрав голову.

На углу возник полицейский. Потрясенный увиденным, он замер на месте. Мне стало не по себе: я вдруг сообразил, что держу в объятьях "обнаженную натуру", сбросил светло-зеленый прорезиненный макинтош и накинул его Мириам на плечи. Бледный от ужаса, полицейский некоторое время молча смотрел на нас, а затем, пробормотав что-то вроде "О вкусах не спорят", повернулся и побежал по мостовой, оглашая улицу заливистой трелью свистка и призывая прохожих в свидетели. "Такое бывает только в Лурде", — сказал, должно быть, блюститель закона самому себе. Не успел я раскрыть рот, чтобы прокричать что-то в свое оправдание, как в дверях возник в последних своих трех костюмах и четырех пуловерах О'Тул, очень напоминавший в этот момент мишленовскую рекламу.

— Беги! — крикнул он, и, охваченный паникой, я мелкой рысью бросился наутек. Держа Мириам с двух сторон, мы ворвались в бистро.

— Мы в безопасности! — воскликнул О'Тул.

Не знаю, старина, приходилось ли вам когда-нибудь бежать по улице в обнимку с завернутым в зеленый прорезиненный плащ скелетом. Не представляю, как передать это ощущение... Есть в этом что-то завораживающее. Лица сидевших в бистро покрылись мертвенной бледностью, некоторые вынули изо рта трубки, раскрыли рты, чтобы что-то сказать, — и так с раскрытыми ртами и застыли. О'Тул пристроил Мири-

ам на высокий табурет у стойки и заказал три бокала вина. Коко же, его друг, ничуть происшедшему не удивился. Думаю, он решил, что О'Тул сначала расчленил Мириам, а потом, на досуге, собрал ее по кусочкам, чтобы было с кем перекинуться словом в дождливый субботний вечер. Не знаю. Как бы то ни было, состоялся оживленный обмен мнениями на тему: можно ли получить за Мириам приличную цену. Диспут вызвал у посетителей бистро неподдельный интерес; судя по кривым улыбкам, у многих имелись наготове не вполне пристойные замечания на этот счет. Коко предложил продать ее в Clinique des pieds sensibles[1], но в наши планы и тут вмешался затянувшийся праздник — клиника была закрыта. Я так переволновался, что вслед за своим бокалом осушил и бокал Мириам. А на улице между тем поднялся шум. По счастью, полиция, окружив дом, чьи жильцы имели обыкновение расчленять своих тетушек, обнаружила там судебных исполнителей, приставов и посыльных в складных цилиндрах и длинных черных плащах. Судебных исполнителей, несмотря на отчаянное сопротивление, арестовали и увезли, нас же, слава богу, никто не тронул. Наблюдая из окна бистро за тем, как расправляются с судебными исполнителями, я не испытывал ни малейшей радости — меня не покидало дурное предчувствие, ведь рядом со мной, загадочно улыбаясь, сидела за стойкой эта треклятая Мириам. В бистро мы отсиживались несколько часов; Коко исправно обслуживал нас, не забывая при этом аккуратно помечать в блокноте, сколько мы останемся ему должны. Он рассказывал про свою политическую жизнь; как выяснилось, в свое время Коко был ярым революционе́ром, по ночам он бродил по Парижу и писал на стене мелом: "Coco est traître" и "Français à moi"[2]. У его партии было громкое имя, но, если верить О'Тулу, член только один — он сам. Забавный тип. Между тем время шло, мне пора было уходить, о чем я О'Тулу и сообщил.

— Ты останешься со мной до конца, черт возьми, — вскричал О'Тул, — или, клянусь костями Полк-Моубрея, я перережу твою дипломатическую глотку!

Полк-Моубрей! В эти минуты он вызывал у меня непреодолимое отвращение. Ведь это из-за него я сидел сейчас в этой дыре без гроша в кармане, это по его вине я попал в лапы помешанного на своей тетушке злобного болвана.

Чтобы развеселить нас, Коко спел песню, подыгрывая себе на свирели, — у него была отличная коллекция свирелей, — но я был не в настроении. Сидел, погрузившись в глубокую задумчивость, и О'Тул. Наконец его осенило. Один человек — его звали Рауль — наверняка даст ему за Мириам приличные деньги. Но живет Рауль далеко, за городом, и, чтобы до него доехать, нам придется занять некоторую сумму — в залог О'Тул отдаст Коко пару своих костюмов.

— Но я не хочу никуда ехать, — всхлипнул я.

— Молчать, спирохета! — проревел О'Тул. — Все пути к отступлению отрезаны.

Именно этого я больше всего и боялся, однако чувствовал свою слабость и беззащитность; с Мириам я был связан теперь неразрывными узами. Не стану описывать здесь наше путешествие — читатель узнает о

1. Ортопедическая клиника (франц.).
2. "Коко — предатель", "Французы, ко мне!" (*франц.*).

нем во всех подробностях из второго тома моих мемуаров. Скажу лишь, что под воздействием винных паров О'Тул потерял всякую бдительность. Вам когда-нибудь приходилось, стоя на автобусной остановке, повернуться и увидеть всего в нескольких сантиметрах скелет, завернутый в прорезиненный плащ? Мы повсюду сеяли смятение и ужас. В автобусе О'Тул посадил Мириам на место, предназначавшееся для Mutilés de la guerre[1], и наотрез отказался купить билет, заявив, что Мириам пала на Марне. Кондуктор изменился в лице, чуть было не проглотил прикушенный ус — но сказать ему было нечего. Доказать ведь он ничего не мог. Несколько раз мы сбивались с пути. Один раз мне пришлось стоять в одиночестве на улице в обнимку с Мириам, пока О'Тул посещал одну из тех обитых жестью кабинок, откуда видны ноги посетителя. Я стоял на ступеньках церкви Сен-Сюльпис, когда ко мне, уже во второй раз, подошел полицейский. Почему он заговорил со мной? Принял меня за бунтаря? Что-то заподозрил? Этого я не узнаю никогда. Он обратился ко мне, причем очень вежливо, и указал на Мириам.

— C'est la plume de ma tante, — попытался объяснить я. — Mademoiselle Miriam[2].

Он сказал: "Tiens"[3] — и приподнял фуражку. Но я был так перепуган собственной попыткой объясниться с блюстителем закона, а также затянувшимся отсутствием О'Тула, что устремился в церковь и спрятался в приделе. Не успел я раскрыть рот, чтобы произнести молитву во славу Вседержителя, как к нам с коленопреклоненной Мириам подошел бледный как смерть церковный служитель и что-то проговорил свистящим шепотом.

"Немедленно уберите из храма эту штуку — прихожан распугаете", — с трудом восстановил я его мысль.

Поскольку общение мое с Создателем не состоялось, я вынужден был вернуться на ступени, где меня уже поджидал злосчастный О'Тул. И снова автобус, потом еще один. Мне стало казаться, что весь город уже видел нас с нашей странной спутницей. Одни, должно быть, решили, что мы рекламируем ортопедические приборы. Другие — что мы подгулявшие осквернители могил. Самым же сердобольным, наверное, казалось, что мы затеяли довольно сомнительную шутку по дороге на кладбище.

Время от времени я словно бы пробуждался от этого кошмара и тогда начинал молиться вслух. Мириам же продолжала загадочно улыбаться. Так пристально никто еще на меня не смотрел. Но все это были лишь цветочки. Мы выехали из города и через некоторое время попали в деревеньку, которая называлась, если мне память не изменяет, Сен-Абдомен-Ля-Бу. Пока мы волокли Мириам через кладбище, за нами, спрятавшись за деревьями и в густом кустарнике, следили перепуганные крестьяне. Мы позвонили в звонок, дверь открылась, и на пороге вырос Рауль — на голове берет, во рту трубка; поскольку он был счастлив видеть Мириам и сразу же согласился найти ей достойное пристанище, мы подумали было, что худшее позади. Рауль пришел в такой восторг, что в радостном порыве схватил Мириам в охапку и принялся кружить

1. Инвалиды войны (*франц.*).
2. Это перо моей тети (фраза из учебника французского языка). Мадемуазель Мириам (*франц.*).
3. Здесь: Надо же! (*франц.*).

ее по комнате. И вдруг он остановился и нахмурился — по всей вероятности, и у него дела обстояли не лучшим образом. Как выяснилось, он впал в немилость у местного священника, который с амвона объявил, что Рауль занимается черной магией. Дело в том, что Рауль выращивал у себя в саду салат биоорганическим методом Рудольфа Штайнера. В чем состоит этот метод, я так и не разобрался, но, насколько я мог понять, для того чтобы салат вырос, надо было посадить его в полнолуние, а затем полчаса ходить вокруг грядки, декламируя мистические руны и играя на волынке. Что ж, такое поведение может и впрямь вызвать подозрения самые мрачные. Дело зашло так далеко, что Рауль уже подумывал запереть свой деревенский дом и вернуться в Париж. Не успел он закончить рассказ, как зазвонил телефон. Рауль поднял трубку и подпрыгнул до потолка.

— Они идут меня арестовать, — вскричал он. — В полицию сообщили, что какие-то люди тащили ко мне домой покойников с кладбища. Нельзя терять ни минуты!

Я вцепился в ручку зонтика с такой силой, что побелели суставы. Какие еще ужасы выпадут на нашу долю? С улицы послышались глухой звон церковного колокола и одновременно рев приближающейся толпы; в ворота полетели первые камни... Мы сидели не шелохнувшись и в ужасе пялились друг на друга. И тут издалека, с другого конца деревни, до нас донесся рокот мотора. Это была полицейская машина.

— Быстрей! — вскричал Рауль. — Бежим!

И опять у меня все поплыло перед глазами. Не могу припомнить, как мы, все трое, оказались в малолитражке Рауля. Помню только, что сижу на заднем сиденье с Мириам на коленях. Когда мы выехали за ворота, нам вслед посыпался град камней и раздался душераздирающий рев тысячи глоток. Худшие их подозрения подтверждались. Истошный, демонический вопль. Быть может, я несколько преувеличиваю, но от неграмотных, диких крестьян ждать можно чего угодно. А ведь я был все еще прилично одет — костюм, шляпа, все прочее. Можно себе представить, что бы со всем этим сталось, если б...

Мы неслись как ветер, а за нами следовали по пятам две черные машины, до отказа набитые усачами из полиции. Расстояние сокращалось. "Быстрей!" — крикнул О'Тул, и Рауль нажал на педаль акселератора с такой силой, что она чуть не провалилась. Судя по визгу тормозов, мы стремительно приближались к перекрестку. Поворот был перекрыт, а на торможение времени уже не оставалось. Рауль изящно вывернул руль, объезжая препятствие; машину занесло, она вылетела в поле и на полном ходу врезалась в стог сена. Должно быть, я потерял сознание: дым щекотал ноздри, в глазах потемнело... Когда же меня наконец извлекли на свет божий, я испытал величайшее облегчение, ибо Мириам больше не существовало — она рассыпалась на тысячу мельчайших кусочков. Как, впрочем, и мы трое. Доблестный полицейский извлек нас из стога, положил на носилки и помог перенести в "скорую помощь". Очнувшись, я обнаружил, что лежу на соседней с О'Тулом койке в городской больнице Муассона. От боли я не мог пошевелить и пальцем, но без переломов, кажется, обошлось. Нос — вот в этом месте — весь посинел. Будем все же считать, что мне повезло. Находясь в полузабытьи, я слышал, как два врача спорят о том, какими средствами нас после та-

кой аварии лечить. О'Тул прикинулся мертвым, но не пропустил ни единого слова.

— Я с тобой не согласен, Арман, — говорил один голос. — В таких случаях, как этот, "Кордон руж" — средство достаточно сильное.

— А мне кажется, что подойдет только "Империал", — возразил второй голос.

Грудь моя всколыхнулась от радости. Я благословлял эскулапа, который был достаточно образован, чтобы прописать нам марочное шампанское; оно годится при шоке, годится при травмах, годится при любом повреждении. Тем более "Токай империал", ударяющее в голову "Кордон руж"... Не все ли равно, какая марка. Голоса смолкли, и мы вновь остались наедине.

— Слыхал? — сказал я, радостно хмыкнув и повернувшись к О'Тулу. — Нас будут лечить шампанским. Недурно, а?

О'Тул, однако, весь позеленел, его губы шевелились в скорбной молитве.

— Спирохета, — отозвался наконец он. — Ты сам не понимаешь, что говоришь. Витаешь в облаках — как всегда. Знай же: "Империал" и "Кордон руж" — это самые большие суппозитории, известные в науке.

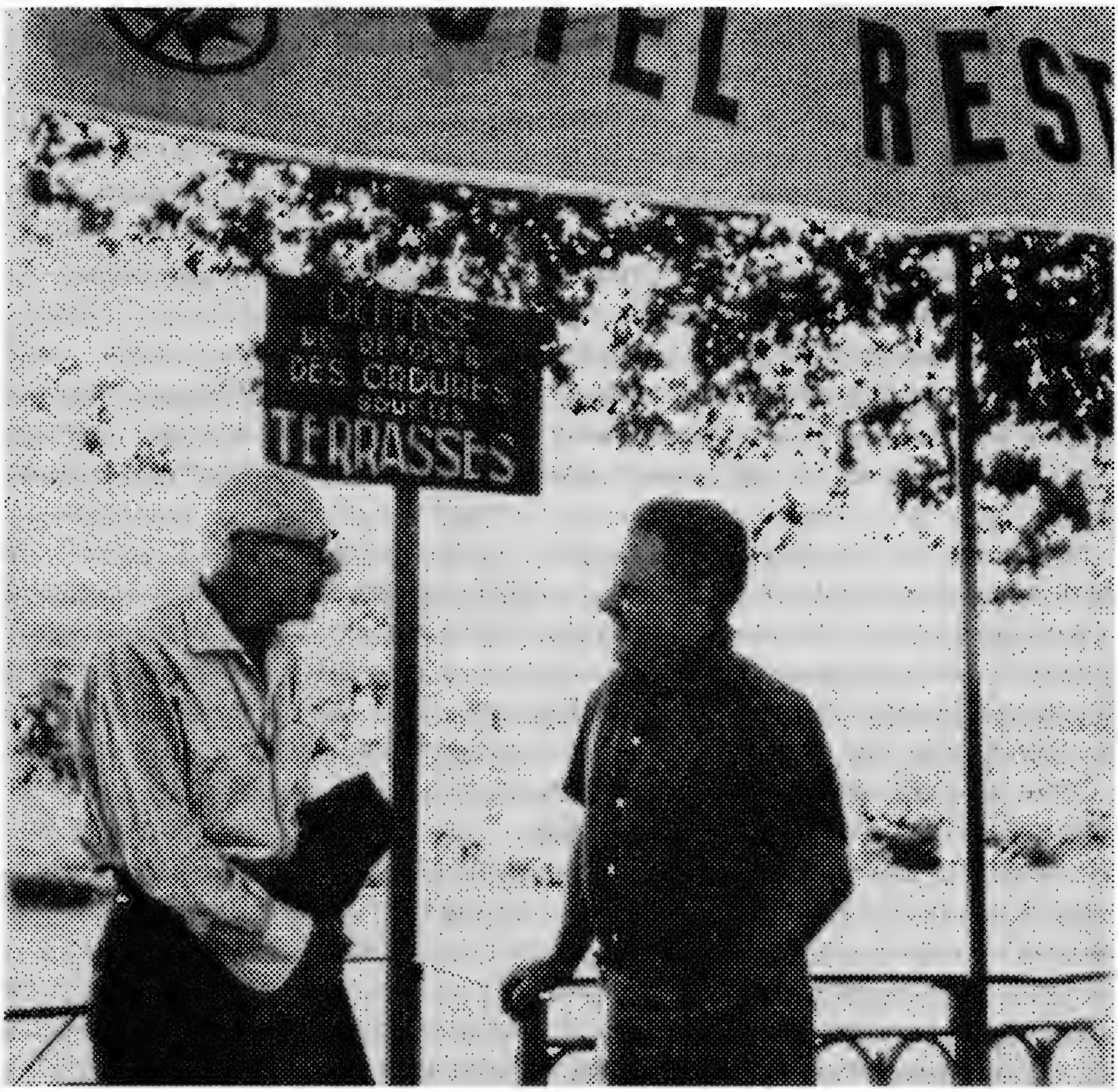
Боже милостивый! Я ведь совсем забыл, что французские медики одержимы ректальными свечами. С их помощью они лечат все — от обложенного языка до третичной гангрены. Я вовсе не хочу оспаривать преимущества и недостатки этого средства; нисколько не сомневаюсь, что во многих случаях оно является весьма эффективным. Но его-то прописывают во всех случаях! Без исключений. Итак, я находился во власти людей с этой странной склонностью. Как я после этого вновь появлюсь в посольстве?! "Никогда!" — вырвалось у меня. Я впал в бешенство; в мгновение ока сорвал с себя бинты, сбросил ночную рубашку и влез в брюки. Шляпа и зонт лежали в ногах кровати.

— Прощайте, О'Тул! — взревел я, будто лев, и одним прыжком достиг двери. На лестнице я столкнулся с медсестрой — она несла на подносе нечто, отдаленно напоминающее базуку. Я пулей пронесся мимо и уже через несколько секунд бежал по больничной аллее. В чрезвычайных обстоятельствах Антробус проявил максимум воли и сообразительности. На попутной машине я вернулся в Париж и устремился в посольство, преисполнившись решимости, если понадобится, провести ночь на ступеньках перед входом. Но мне повезло: Гламис Тэдпол вернулся с охоты и уже принимал посетителей. Наконец-то счастье мне улыбнулось. Я пригубил "скотч", откинулся в кресле и вступил с Тэдполом в приятную беседу.

— Должен сказать, — заметил он, — что вид у вас весьма отдохнувший. Полагаю, вы отлично провели выходные.

Вот что значит пребывать в счастливом неведении! Иногда Мириам возвращается ко мне во сне — со временем, к счастью, образ ее начинает стираться из памяти. Теперь, правда, после всего, что со мной произошло, я стараюсь объезжать Париж стороной. Человеку в моем возрасте и в моем положении предосторожность ведь никогда не помешает?

Лоренс Даррелл
Письма к Генри Миллеру



Лоренс Даррелл и Генри Миллер в Соммьере, 1959 г.

[Август 1935 г.]
Д/п[1] Британский совет, вилла Агацини, Перама, Корфу

Дорогой мистер Миллер!

Я только что перечитал "Тропик Рака", и мне захотелось черкнуть Вам по этому поводу пару строк. Ваша книга представляется мне единственным достойным — в полный рост — произведением, которым действительно может гордиться наш век: это настоящий триумф, от перво-

© В. Михайлин. Перевод, 2000

1. "Для передачи" — обычная пометка на письмах, отправляемых через третьи руки. (Здесь и далее — прим. перев.)

го до последнего слова; и Вам не только удалось дать всем по мозгам с литературной и художественной точек зрения, Вы еще и вывернули на бумагу все нутро, все потроха нашего времени. Я никогда раньше ничего подобного не читал. Я вообще не подозревал, что такое можно написать; но самое любопытное, что при этом я вполне отдавал себе отчет: мы все давно чего-то в этом роде ждали. Место подготовлено, плацдарм расчищен. "Тропик" открыл дорогу к новой, ожившей, из мяса и крови жизни. Перед ее лицом всякий панегирик — банальность; так что, ради бога, если все это на Ваш слух звучит как блеяние замшелого критика, как литературный кольдкрем, не вините в том меня. Видит бог, я взвешиваю каждое слово или, по крайней мере, стараюсь взвешивать, но Ваша чертова книга землетрясением прошлась по всем моим мерам и весам и перепутала гирьки. Я влюбился в нее до одури. Я страшно рад, что все каноны чувств, запутанных и тонких, отправились к такой-то матери; что Вы наложили по куче дерьма под каждой заделанной Вашими современниками, от Элиота до Джойса, безделицей. И дай нам, Господи, молодым людям, воли развести теперь на каждой кучке маргаритки — и тем закончить дело.

Что-то вроде "Тропика" носилось в воздухе с самой войны. Ваша книга — финальный вариант всех этих слабых, сырых, пачкотней отдающих набросков: "Чаттерли", "Улисса", "Тарра" и т. д. Роман обращен не только вспять, но (на что ни один не оказался годен) обращен вперед.

Он наконец-то указал нам выход из сортира. Как забавно, что до сей поры никто и не пробовал ускользнуть с водой во время слива через канализацию, вместо того чтоб создавать затор и давку в дверях. Я приветствую "Тропик" в качестве настольной книги моего поколения. Она стоит в полный рост, вровень с теми книгами (а их совсем немного), которые писались людьми от самого своего нутра. Господи, прости, звучит помпезно, однако как иначе скажешь?

<...>

Искренне Ваш
Лоренс Даррелл

[Сентябрь? 1935 г.]
Д/п Ионийское побережье, Корфу, Греция

Дорогой м-р Миллер!

<...> Готов поспорить, что после Вашей книги всякий английский и всякий американский писатель почувствовал себя чем-то вроде сырного клеща. То есть всякий писатель, в котором не уснуло чувство совести, конечно. Хотел бы я, чтобы Д. Г. Лоуренс дожил до наших дней и было кому издать по этому поводу распроблядский вопль радости. <...>

Я удивлен, что народ отыскал в Вашей книге следы "елизаветинской прозы". На мой взгляд — несправедливость явная. Пороху елизаветинцам было не занимать, но вот чего им не хватало, так это свободы от канонов литературного стиля, без которой "Тропика" не напишешь. Этакие литературные динозавры, отягощенные чувством собственной значимости. Бен Джонсон наверняка сказал бы, что Вам недостает ис-

кусности, или еще какую-нибудь фигню в этом же роде. У меня такое странное ощущение, будто единственный человек, который признал бы в "Тропике" нечто похожее на то, что он сам пытался написать — для собственной эпохи, на собственном тогдашнем языке, — был Франсуа Вийон. Но поскольку по-французски я читаю с трудом и, где только возможно, с параллельным английским переводом, всерьез судить не берусь. Просто от него у меня то же чувство. Довольно любопытное. Состояние неуязвимости, что ли. Светлый и устойчивый иммунитет к жизни. Хотя, конечно, это все слишком безапелляционно.

<...>

Искренне Ваш
Лоренс Даррелл

[Начало 1936 г.]

Д/п Ионийское побережье, Корфу

Дорогой Генри Миллер!

Новости? Да нет никаких новостей, за исключением местных. Что, видит бог, со всеми этими войнами и тявканьем диктаторов, уже само по себе неплохая новость. Всю неделю жуткие штормы. Молния ударила в двоих детишек и сделала из них шоколадки. Расщепило дерево. Но оливки собраны успешно. Из кошмарного внешнего мира — ничего, за исключением извещения о тяжких потерях от издателя и бредовой открытки из Нью-Йорка с вопросом насчет новостей. Большие шишки заняты кастрацией нового легкого романа. Сперва они согласились на то, чтобы слово "хуй" в нем выглядело так: "х...й"; потом "х..."; потом выясняется, что библиотеки могут быть оскорблены в лучших чувствах, так что теперь они хотят "...". Или что-нибудь еще того пристойней. А если учесть, что мне и без того стыдно и я зол на себя за то, что пишу дешевые книги, и понимаю, что книга все равно не стоит ни ..., то я просто не знаю, что мне и делать. Так это унизительно, когда потеешь, потеешь, потеешь, а потом на бумаге выходит чистейшей воды подростковая чушь. Поскольку "Тропик" — Ваша первая книга, Вам этого не понять. Я же подумываю о том, чтобы заняться столярным делом или другим каким-нибудь тихим ремеслом, где ловкость рук и неизбывная отдушка клея — единственное, о чем придется беспокоиться. А когда дневной труд окончен, можно просто вытереть роскошным жестом руки о пригоршню древесной стружки и отрясти пальцы.

А с книгами — дело грязное. Вот, к примеру, двадцатичетырехлетний критик — одна из этих бойких пташек в роговых очках — кропает статейку о Лоуренсе, и уж такую мерзкую. Я не знаю, отчего меня это настолько задело: то, как он взялся его третировать. Ну, например: "И вот сидит этот несчастный маленький чудик, полуживой, насквозь изъеденный чахоткой, и бранит их за то, что они не рвутся за ним следом". Я написал в его газету "Тайм энд тайд" письмо настолько злое и напыщенное, что редактор даже ответил мне, поблагодарив за отзыв, но оговорившись, что напечатать это было бы дурным тоном. И вот теперь я печален, поскольку у меня не осталось копии этого письма, что-

бы издать его [вместе с?] томиком моих стихотворений. Я понимаю, что нужно иметь крепкие нервы, чтобы не обращать внимания на шавок, но от резких звуков я начинаю брыкаться. А тут еще этот склизкий исусик Мидлтон Мёрри[1] квакает в своем болоте. И та же судьба грозит моему бедному "Тропику". Простите, Вашему "Тропику". Я несколько раз усаживал себя за стол с намерением написать о нем, но всякий раз сдавался. Во-первых, я боюсь неверно его отынтерпретировать; во-вторых, знаю, какое мощное встречу сопротивление. В-третьих, никто, естественно, не опубликует сей плод моей мысли. В-четвертых, я не уверен, что действительно глубоко в нем разобрался. Я не имею в виду головное или душевное понимание. Но я должен поверить его собственным внутренним опытом. Собой. Звучит странно, впрочем, и бог бы с ним. <...>

Через месяц-другой я собираюсь купить еще один экземпляр и послать его архиепископу Лондонскому. Это самый грандиозный говнюк во всей Англии: раз в квартал я отправляю ему отсюда по маленькой такой ругательной открытке. И жить мне становится как-то немного легче, если время от времени выругаешься в его адрес. В настоящий момент этот величайший зануда вознамерился уменьшить аморальность сценических искусств и запустил процедуру рассмотрения закона об увеличении длины панталончиков, в которых репетируют хористки. Как ни заглянешь в газету, обязательно наткнешься на очередное фото нашего душки архиепископа в окружении девушек из кордебалета. Мне кажется, он один в состоянии обеспечить Вам самую широкую читательскую аудиторию среди подписчиков воскресных газет. Это они на пару с Джеймсом Дугласом заставили публику впервые заговорить о Лоуренсе. Пара перворазряднейших засранцев. Они не ведают, что творят, но пользу приносят немалую. <...>

Ну что ж, солнце сегодня все-таки встало, и мы намерены возлечь на свежем воздухе в пижамах и отдать должное завтраку. Простите мне это затянувшееся письмо. Как выясняется, новости кое-какие все-таки есть. Только не клянитесь и не чувствуйте себя обязанным отвечать и все такое. Ведь у Вас и без того дел хватает. Однако, если Вы когда-нибудь ненароком окажетесь в южной Италии или в Греции, заезжайте к нам и оставайтесь погостить. Мне бы очень хотелось увидеться с Вами и послушать обо всех тех удивительных вещах, которые люди уже успели сказать, и сделать, и подумать, и написать по поводу "Тропика". Кажется, настал-таки век чудес. И кто там болтал о закате Европы?

Искренне Ваш
Лоренс Даррелл

1. Джон Мидлтон Мёрри (1889–1957) – английский критик, издатель журналов "Атенеум" и "Аделфи", чье мировоззрение представляло собой причудливую смесь из авангардистских, мистических, фрейдистских и т.п. идей. Был близко знаком с Д. Г. Лоуренсом. Отношения их были весьма непростыми – и результатом долгого знакомства стала книга Мёрри "Сын женщины".

[Август(?) 1936 г.]
[Корфу]

[246]
ИЛ 11/2000

Дорогой Миллер, давайте рассядемся на земле поудобней и станем рассказывать друг другу странные истории о смерти королей. Спасибо за манифест. Старый добрый Лондон. Мы, как всегда, запрягаем долго, но уж когда заберемся на козлы... Однако: куда подевались заезженные литературные клячи, которые обычно гордо выступают во главе подобных новомодных течений? Эзра, дай ответ. Нина Хамнетт, дай ответ, Ванесса Белл[1], ау, Вирджиния Вулф, вынь сигару изо рта и займись делом. А ну-ка, Леонардо[2], спроворь эссешку о сюрреализме. Хотя, с другой стороны, все не менее заезженные второразрядные литературные неудачники стоят за нас горой. <...> Впрочем, поговорим серьезно. Мой первый позыв был: да, конечно же да. Мне всегда хотелось быть с народом, ощущать себя частью сплоченного коллектива. Холодно, знаете ли, когда сидишь один-одинешенек во тьме. Ну, ладно. Теперь заглянем в манифесты. В начале анализ политической ситуации. Роль художника в обществе. Выраженный левый уклон. Ну и что же в этом дурного? Да ничего, при условии, что политику не станут путать с искусством. Я устал от политиков. Они перепутали внутреннюю борьбу с борьбой внешней. Они хотят извести твердый шанкр, приложив к нему кусочек жеваного хлеба. Политика — это искусство, которое оперирует среднестатистическими величинами. Искусство — это человек, который оперирует живыми людьми. И если люди дурны от природы, то системы, настолько защищенной от дураков, чтобы она заставила людей прекратить резать друг другу глотки, не существует. А художник рано или поздно приходит к выводу, что люди дурны от природы. Та сила, что им движет, — это тяга к самоизоляции, расстройство социального инстинкта. Vide Лоуренс, Гоген и т.д.

Манифест много выиграл бы в ясности изложения, если бы эти бравые юные революционеры объяснили для начала, что они, собственно, понимают под искусством. Сдается мне, что под искусством они понимают Маркса. Они хотят облегчить художнику его задачу. Гению от этого ни холодно ни жарко; гений, он всегда прорвется. Это облегчит производство среднестатистического искусства. Тоже, наверное, неплохо. Но ведь они же не говорят о том, что хотят организовать профсоюз для работников искусства, нечто вроде Королевской академии. Они ведь продолжают говорить об искусстве. Пойдем дальше. Будьте так любезны, дайте мне определение слова "сюрреализм". Там есть на этот счет несколько славных фраз. Бретон и так далее. Я обеими руками за, но разве всего того же нельзя сказать об "Эдипе"? Или я ошибаюсь? Помнится, Генри Миллер мне написал: "Свифт был настоящим сюрреалистом, и Льюис Кэрролл тоже". Я твердо верю в идеал реальности, сцементированной грезой, но в прочую чушь я не верю. К примеру, в то, что художник должен быть социалистом. Что он хочет переустроить мир (он хочет переустроить *человека*). Что он может работать как угодно, только не в одиночку.

1. Урожденная Ванесса Стивен, художница, сестра Вирджинии Вулф и жена критика Клайва Белла, одна из центральных фигур "группы Блумсбери".
2. Вероятно, обыгрывание имени эссеиста и издателя Леонарда Вулфа, мужа Вирджинии Вулф, также одного из столпов "группы Блумсбери".

Послушайте, Миллер, что я обо всем этом думаю. Чтобы стать художником, для начала нужно стать значимой личностью и еще пропустить эту личность через общественную мясорубку, до полной готовности к будущей несчастливой судьбе. Нынешнее искусство обещает стать настоящим искусством, как до потопа. СТАТЬ ИСКУССТВОМ ПРОРОЧЕСКИМ, в библейском смысле слова. И чем я сам намерен заняться, так это сесть и в полном одиночестве, со всей присущей мне мрачной упертостью строить мою ГЕРАЛЬДИЧЕСКУЮ ВСЕЛЕННУЮ. Фундамент уже закладывается понемногу. Я МЕДЛЕННО, И ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, И НИЧЕГО НЕ ЗНАЯ НАПЕРЕД РАЗРУШАЮ ВРЕМЯ. <...>

P. P. P. S. Я недавно открыл, что идея длительности[1] неверна. Мы ее изобрели как философскую увертку от идеи физического разложения. НИЧЕГО, КРОМЕ ПРОСТРАНСТВА, НЕТ. Твердое тело имеет три измерения. И все. Время, эту старую приживалку, я выставил вон. Так что нужен новый метод. Метод без опоры на память. Пространственное существование в том же смысле, в котором пространственна бумага, на которой я сейчас пишу. Приведу в пример старое доказательство в пользу детерминизма: "То обстоятельство, что завтра меня посвятят в рыцари, является либо истинным, либо ложным В ДАННЫЙ МОМЕНТ. Следовательно, сам факт моего возведения либо невозведения в рыцарское достоинство предрешен заранее". Убедитесь сами, что в данном случае смешение понятий возникает исключительно в силу наличия самой идеи времени.

Я мало-помалу начинаю приходить к мысли, что искусство есть тот самый совершенно безличный акт (вроде распускания цветка и так далее), о котором упоминает Ваш друг Лао-цзы. Вот она, величайшая страсть художника. Существовать в пространстве. ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПАМЯТИ. Брать начало от извечного истока бытия — но не письма. А письмо, на мой взгляд, вообще не имеет смысла, вот разве что в качестве оберточной бумаги, старой кожи, которую сбрасывает с себя человек. Важно лишь то, каков этот человек. Чем значительнее человек, тем значительней письмо, и т.д. Q. E. D.[2] И что мне прежде всего не нравится в сюрреалистах, так это то, что состоят они из одной только памяти. Их настоящее всегда ограничено их же собственным прошлым, невзирая на все петушиные вопли насчет произведений старого искусства, которые надлежит оставить в прошлом, и т. п. Они не поняли, что великое искусство существует вне времени. Ибо за каждым текстом стоит человек. А искусство есть всего лишь список его недугов. И ты копаешься в нем, как врач в анализах кала. И еще. Насколько я понял, вся эта суета вокруг сюрреализма есть суета вокруг писательской техники — ну, скажем, стиль у Хаксли чересчур женоподобный, а Элиот злоупотребляет развратными придаточными. Потому что всяк использует натурализм, кубизм, сюрреализм и т. д. СЕБЕ НА ПОТРЕБУ. Но разводить по этому поводу этакую вонь — все равно что я бы взялся сейчас организовать лигу в поддержку увеличения числа придаточных образа действия в английской поэзии. Не знаю, достаточно ли внятно я изложил суть дела. Боюсь, что нет. Слишком завелся. Что-то удалось сказать, но не совсем так, как хотелось бы. Ну, например, насчет того, чтоб опираться на

1. Имеется в виду идея А. Бергсона.
2. Quod erat demonstrandum (что и требовалось доказать) (*лат.*).

Фрейда. Память, снова память. Да, да, конечно, он прав. Но им-то от этого какая польза. А у Вас и без Фрейда все есть. Потому что "Тропик" и "Ч. В."[1] идут от Вашего нутра, а не от Вашей образованности.

Вот, Хадсон повторял мне из раза в раз весьма проникновенно: "Что может мне сказать Вийон? Он же не был на Великой войне". А я обыкновенно отбрехивался: о какой такой Великой войне идет речь, когда у каждого война своя. Искусство не есть политика, т.е. среднестатистические величины. Искусство есть люди. Это не внешняя борьба, это борьба внутренняя. И, дорогой мой Генри Миллер, именно об этом я Вам и пишу, если только не окажется вдруг, что я ничего не понял в Ваших книгах или что Вы сами попросту не ведаете, что творите. Орать у меня тут не на кого, кроме жены, а она как раз рисует; так что я лучше задам Вам вопрос. Чего в "Черной весне" больше, сюрреализма или Миллера? Если первого, то я сейчас расплачусь. ОДНАКО: ЧЕГО В "УЛИССЕ" БОЛЬШЕ, СЮРРЕАЛИЗМА ИЛИ ДЖОЙСА? Я думаю, все ж таки сюрреализма.

Я Вам, наверное, уже надоел. Но я Вас умоляю: что в том смешного, если геральдическая вселенная, когда я наконец ее дострою, окажется единственным действительно пригодным для жизни местом. В ней будет битком творцов самого что ни на есть крупного калибра, потому как стервятникам, которых полно во всяком обществе, с этого стола ничего не обломится. <...> Помните, что Шекспиру недоставало искусности. И вообще, все, что пишется от пояса и ниже, должно заранее готовиться к встрече с миром, полным честных, елейно-сальных Бенов[2]. Adieu.

[Начало ноября, 1936 г.]
[Корфу]

Дорогой Г. М.,
полный хаос и неразбериха: пакуемся, перебираемся на зиму в город. Только что дочитал "Гамлета", воссев среди обломков кораблекрушения. Давайте-ка попробую пересказать Вам, что я по этому поводу думаю. Это безупречно написанная история внутренней борьбы, поданной как борьба внешняя; впрочем, все великие книги таковы — по крайней мере, для меня. Бедняга Гамлет ставит всех в тупик по одной простой причине: все пытаются углядеть связь между той войной, которая идет вовне (убийство, Офелия и т. д.), и той, что происходит в нем самом. И совершенно зря, потому что внешняя и внутренняя реальность движутся каждая своим особенным путем и только лишь изредка пересекаются. Вот Вам Ваше диалектическое взаимодействие, но только здесь сквозь реальность всегда проглядывает магия. И, естественно, те, кто пытается найти соответствия между настроениями персонажа и сюжетными событиями, неизменно терпят неудачу. Есть два Гамлета. Нам представляют принца Датского, и только сквозь щели в его доспехах мы можем углядеть человека внутреннего, агонизирующего червя в кишечном тракте сострадания и т. д. Но с ходом пьесы внутренний Гамлет, уже переставший быть принцем, растет и начинает сдергивать маски со своих товарищей-персонажей. Как страшно обнаружить, что ты

1. Имеется в виду роман "Черная весна".
2. Имеется в виду Бен Джонсон.

одинок и ничто ни с кем тебя не связывает — даже с этой славной, но глупенькой малышкой Офелией. Бесстрашный болван Горацио. Занудасолдафон Лаэрт. Полоний, жирная мясная муха. Жаба-королева. А затем, осознав, что он и в самом деле должен отвернуться наконец ото всех этих чучел и обратиться к собственной, истинной внутренней сути, он внезапно ощущает на себе давление общества. Он вынужден быть принцем, как бы внутри него ни страдал при этом Гамлет. Гениальная картина разлада между физическим и социальным существованием индивида, и Шекс был вовсе не одинок в попытке написать об этом. Трагедия Гамлета есть трагедия елизаветинской эпохи. Эпохи, которая отравила свою молодежь посулами гуманизма, а на практике не дала им ничего даже близко похожего. Это трагедия Англии и в нынешнем ее состоянии, только все зашло гораздо дальше и много больше серости и гнили. Но для тогдашних-то птичек вопрос стоял так: сделай либо умри. Многие умерли. Уэбстер[1] и Шекспир сумели прорваться. Марстон[2] обрел Бога, как и Донн, и Холл[3]. Тернера уморили голодом. Саутвелла[4] 13 раз подвергали пыткам, а потом сожгли. А печень им, несмотря на всю эту грязь, проедали рыцарские идеалы. И они как только могли уворачивались от реальности. "Гамлет" — всего лишь частный случай, одна из многих попыток. Конспект чисто английского безумия. С Лоуренсом — тот же случай, только версии разные. Личинка идеализма вгрызается, вгрызается, вгрызается... Все вопросы, все до единого, поставленные английской литературой со времен Марло, суть вопросы об одном и том же.

Мне кажется, что ответ на них — "Тропик". Колесо свершило полный оборот назад, в холодную доледниковую эру, когда дерьмо было дерьмом, а ангелы были ангелами. В "Тропике" Вы перешли границу. Те из нас, кто понял, что это значит, возрадовались, ибо тем самым вся система вернулась к истинным своим пропорциям. Вас это может удивить, но тем не менее так оно и есть. И — англичанин никогда бы не смог этого сделать. Творить на подобном уровне может лишь настоящий изгнанник. Впрочем, на Вашем месте я не стал бы давать себе труд читать "Гамлета": разве что ради поэтических его достоинств. Не для Вас его гримасы и проблемы — Вы их уже решили. Но, господи боже мой, Шекспир ведь сам был на грани того, чтобы решить эту задачу, и неоднократно. Но не смог, вот и Гамлет не смог. И наконец, под занавес, затянутый финал: полный условностей елизаветинский *pogrom* и краткая, но глубокомысленная эпитафия. Шекспир отправился домой и закопал кишки под вишенкой. Тот же самый вопрос звучит у него повсеместно, хотя ни разу не поднимается до таких высот, как в "Гамлете", и не подходит настолько близко к разрешению. Сквозь "Лира", сквозь "Тимона", сквозь чудесные душераздирающие сонеты проглядывает его безумие. Только закованное в цепи. Англичане всегда, что бы там ни гласил национальный гимн, были рабами. Только Чосер, Скелтон и, может

1. Джон Уэбстер (ок. 1580 — ок. 1625) — один из крупнейших английских драматургов.
2. Джон Марстон (1576 — 1634) — известный английский драматург. Принимал активное участие в так называемой "войне театров", противник Бена Джонсона — что, впрочем, не помешало ему позже посвятить Джонсону пьесу "Недовольный" и в дальнейшем сотрудничать с ним.
3. Джон Холл (1627 — 1656) — английский эссеист, поэт и переводчик, прекрасный стилист.
4. Роберт Саутвелл (ок. 1561 — 1595) — английский поэт, католик, член иезуитской миссии в Англии. Казнен в 1595 году, в 1929-м канонизирован папой Пием XI как святой мученик.

быть, еще несколько человек, варвары по природе, сумели вырваться на волю — или родились свободными.

Но из тех, кто спасся, равных Шексу нет, и равных его эпохе тоже. Самые откровенные свидетельства внутренней войны в "Гамлете" — это сцены с Офелией. Общество — на том основании, что у героя есть пенис, — заставляет Гамлета считаться с ней. Но она за ним не успевает, и внутренний Гамлет вскоре вовсе перестает обращать на нее внимание. Он ее презирает. Нет, он даже рад от нее отделаться.

Этой жуткой иронии в его бреднях у могилы, кажется, не заметил никто, кроме меня. Попытка вновь обрести почву под ногами? Нет. Он вступает в словесную дуэль с ее излишне возбужденным братцем просто потому, что ее смерть и другие подобные события уже не имеют для него никакого значения, он живет по собственному летоисчислению. Подобной иронии свет еще не видывал. Пару минут спустя он берет сам себя за шиворот, как пьяного, и уходит, болтая с Горацио. Офелия есть трагедия внешняя — ОНА НЕ ИДЕТ В РАСЧЕТ. <...>

Я уверяю Вас, "Гамлет" *не может не быть* великой пьесой. Т. С. Элиот считает, что это "писательская неудача". Тут мне добавить нечего. Сам Элиот не борется, он трепыхается, а потому даже и понятия не имеет, о чем идет речь. "Бесплодная земля" напоминает мне рассчитанные на поборников физической культуры бодрые брошюрки, где речь идет о том, как избежать мастурбации. Удачи.

Лоренс Даррелл

P. S. Что там Стайн говорит насчет американской литературы? Мне интересно. Только сам ее тон мне не нравится, вроде как таблица умножения. Вы читали, как Льюис разнес Джойса, Паунда, Стайн и всю эту шайку?

Я последние несколько дней пишу такую поэзию! Такую поэзию!

[Ок. 27 января 1937 г.]
Д/п Ионийское побережье, Корфу, Греция

Дорогой Г. М.

Я родился 27 февраля 1912 года, в час ночи. Насчет индийской крови Вас дезинформировали. Мать ирландка, отец англичанин. Богобоязненный, крепко сбитый народ времен Восстания — и исправные прихожане. (Моя бабушка в ожидании банды повстанцев уселась на веранде собственного дома с дробовиком на коленях; но им довольно было издалека увидеть выражение ее лица, и они ушли восвояси. Отсюда фамильное выражение лица.) <...>

Искр. Ваш
Ларри Даррелл

(на следующий день)
Корфу

<...>

Я родился в Индии. Учился в тамошней школе — у подножия Гималаев. Самые прекрасные воспоминания — краткий сон о Тибете, пока мне не стукнуло одиннадцать. А потом этот мерзкий, паршивый островок, который вытянул из меня все кишки и приложил максимум усилий, чтобы уничтожить во мне все, в чем я не был похож на других, всякую нужную мне малость. Мое так называемое воспитание шло из рук вон. Всякий раз, как я бывал несчастлив, я крушил стойло. Список школ, из которых меня исключили, вышел бы в ярд длиной. Я провалился на всех до единого государственных экзаменах. Я чудил и блудил в Лондоне — играл в ночном клубе джаз, писал джазовые песенки, занимался недвижимостью. Никогда по-настоящему не голодал — но кто знает, не является ли постоянное недоедание своеобразной степенью голода, — Нэнси, когда я с ней познакомился, была в столь же неопределенном статусе, и мы с ней вступили в предосудительный союз: сумеречная греза, пахнущая битыми бутылками, мокротой, консервированной пищей, тухлым мясом, мочой — запах венерологической клиники. И таким вот образом — что ж, мы получили свою дозу алкоголя и смерти. Урок второй, если верить св. Павлу. Открыли вдвоем фотостудию. Прогорели. Пробовали заняться афишами, потом писали рассказики, потом была журналистика — вот только что под попов не ложились. Я написал дешевый роман. Продал его — и все как-то сразу утряслось. Мне показалось, я нашел себе непыльную работенку. Искусство ради денег. Второй я дописал, когда мы приехали сюда. А после нас хоть потоп. Вся эта эпическая Илиада заняла в общей сложности года три или четыре. А впечатление такое, что прошел миллион лет.

Вот такие дела. Моя жизнь — как разрубленный на части червь. До одиннадцати — роскошные грезы: белые, белее белого Гималаи из окна спальни. Тихие черные иезуиты молятся матери нашей небесной, а снаружи по приграничным дорогам идут, неловко переставляя ноги, китайцы, а тибетцы прямо на земле играют в карты — между гор голубые ущелья. Господи, какая мечта, *перевалы* по дороге в Лхасу — льдисто-голубые, оттаивающие понемногу по мере приближения к святому запретному граду. Мне кажется, Тибет для меня значит то же самое, что для Вас — Китай. Я жил на самой его границе в состоянии какого-то на детскую песенку похожего счастья. Мне хотелось как-нибудь летом подняться к этим перевалам. Меня обещали взять с собой. Но так я и уехал, не побывав в Тибете, — удрученный — эта мысль до сих пор не дает мне покоя. Я становлюсь по-детски нелогичным. Я хнычу. Я задыхаюсь. И так далее.

И вот пришел тот — светлый — день, когда "Тропик" пробил в моем мозгу брешь. Освободил меня в мгновение ока. У меня было такое волшебное ощущение, как будто мне отпустили грехи, — полная свобода от чувства вины; вот я и подумал, а почему бы не черкнуть Вам письмецо.

"Тропик" научил меня одной очень важной вещи. Писать о тех людях, о которых я кое-что знаю. Вы только себе представьте! Вся эта коллекция гротескнейших персонажей сидела у меня внутри, и я до сих пор не написал о них ни строчки — только о героического склада англича-

нах, и о голубкоподобных девах, и т. д. (7/6[1] за книжку). Целая коллекция мужчин и женщин открылась мне — как бритвой полоснули. Я взял историческое настоящее и сел за работу. Вряд ли Вам следует требовать от этой книги соответствия высоким стандартам. Это лишь начало — но я чувствую, как все это обилие начинает наконец разворачиваться во мне. Я безответственнейшим образом вломился в собственное "я". Остальное приложится. <...>

Искренне Ваш
Лоренс Даррелл

Июль, двадцать первое [1937 г.]
Д/п Ионийское побережье, Корфу, Греция

Дорогие Г. М. И АНАИС НИН.

<...> Сперва о "Черной книге". Сдается мне, Вы самый — дьявольски — честный человек, которого я в своей жизни встречал. И конечно же, я просто обязан стоять в полный рост на собственной куче, раз уж я ее навалил; а то обычно я только надуваю щеки, а потом ныряю в первую попавшуюся нору. И насчет двух зайцев тоже да. Это не дело; но позвольте мне привести Вам один довод — единственный, в силу которого мне хочется и впредь иметь дело с Фейбером, если, конечно, не брать в расчет того, что все они крайне милые люди. <...> И ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ мне насрать, если в Англии "ЧК"[2] порежут. Я ЗНАЮ, ЧТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОНА СВОЕ ВОЗЬМЕТ И ВЫЙДЕТ БЕЗ КУПЮР. Но есть еще одна загвоздка. Мой двойник Амикус Норденсис[3]. Этот двойник мне попросту необходим — не ради денег и не по тем выдуманным причинам, на которые я обычно ссылаюсь, — а ради того, чтобы не потерять контакта с миром, в котором живут люди. По правде говоря, я настолько одинок, что немного побаиваюсь сойти с ума; Норден удерживает меня в контакте с обыденным миром, которому никогда не понять личной моей войны. <...> Теперь я стал чуть трезвее, чем прежде. Видите ли, Я НЕ В СОСТОЯНИИ ВСЕ ВРЕМЯ ПИСАТЬ НАСТОЯЩИЕ КНИГИ. Это вроде электрического тока: дозу надо повышать постепенно. А "ЧК" уже чуть не вывернула меня наизнанку. Чего я хочу — если честно? Раз в три года, а то и реже я попытаюсь писать для симфонического оркестра. А в оставшееся время буду производить на свет эссе, путевую прозу, может быть, еще один роман под Чарльзом Норденом. Естественно, я постараюсь не писать плохо и не писать того, чего мне не хочется писать; но существует множество вещей, которые мне хотелось бы написать, хотя они даже рядом не стоят с "Черной книгой". Я хочу отдохнуть. Путевые заметки о Греции. Литературные эссе, гамлетворчество и тому подобное. Такого рода литературное огородничество поможет мне успокоиться и не заниматься самоедством. Тем временем выйдет "ЧК", и за ней последуют "Книга мертвых", "Книга чудес" и

1. Имеются в виду дешевые карманные издания; 7/6 — цена, семь с половиной шиллингов.
2. "Черную книгу".
3. Латинизированная форма от "друг Норден". Свои первые, для денег написанные романы Лоренс Даррелл публиковал под псевдонимом Чарльз Норден, позаимствовав имя у одного из миллеровских персонажей.

т. д. Под моим собственным сладким именем. Вам, наверное, это покажется предательством или чем-то вроде того: но поймите, мне нужен мой друг Норден — для того, чтоб не свихнуться, для того, чтоб быть счастливым и любить. Зачем лететь очертя голову. Я еще слишком молод, чтобы отдавать швартовы, и пока не настолько силен. Панцирь еще нарастет. <...>

Ларри Даррелл

[Прибл. июль 1940 г.]
Д/п Британский институт, Гермес, 9, Афины, Греция

<...>

Так, значит, ты прочел "Бурю"? Превосходно. Я убил кучу времени, сидя со здешним ее юным переводчиком. Не обращай внимания на всю ту чушь, которую этот самоуверенный идиот тебе понаписал. Никакого "общего мнения" по поводу эпилогов у Ш. не существует. А эпилог в "Буре", вне всякого сомнения, принадлежит ему. Понимаешь, нужно ведь не только переводить, но и, так сказать, транспонировать, потому что в противном случае то послание, что стоит за "Бурей", вполне может потеряться за чисто драматическими хитросплетениями. Воспринимай ее, если хочешь, как упражнение в астрологии. Вот тебе святой отшельник в своей пещере на острове Коркира: его изгнание сугубо добровольно, поскольку с реальностью, то есть с множеством собственных внутренних "я", он общаться не перестал. Если ты примешь Ариэля за воздушный знак, Калибана за знак земли, а Миранда, или как ее там, будет Нептуном, ты увидишь, как начнут проглядывать очертания астрологической драмы. И вот Просперо, ему отказано от мира, или он сам от него отрекся. Вторжение реального мира (мелочные перебранки и чисто человеческая суета потерпевших кораблекрушение) имеет как реальную, так и драматическую значимость. Оно заставляет его осознать, что художник, контролирующий своих Ариэлей и Калибанов, рано или поздно найдет необходимое решение в мире реальных людей и реальных событий; и в эпилоге дан ключ ко всему артистическому раскладу сил. Жест отречения есть чистой воды волшебство; художник оставляет свои снадобья, отпускает на волю духов и отдает себя КАК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО на милость людей. Просперо, которому — если он того захочет — подвластны ветры, молится вместе с прочими о том, чтобы благополучно добраться до дома.

На остров удалился именно художник; домой возвратился именно Шекспир. Последний хлесткий стих, по сути дела, есть ясная формулировка темы Гамлет-принц: только проблема здесь уже решена, и решена в традиции дао. "И сила моя пребудет со мною". То есть сила человеческая, ненадежная, подверженная власти стихий и земного притяжения. Именно художник возжелал наконец остаться в стороне от собственного могущества; возжелал отдать свою божественную силу на произвол приливов и отливов изменчивой людской жизни. Попробуй взглянуть на все шекспировское творчество через эту, последнюю, линзу телескопа, и ты увидишь крошечные фигурки Гамлета, и Лира, и Макбета как сквозь перевернутую подзорную трубу. В том новом измерении, кото-

рое он обрел по ту сторону Эйвона, в Стратфорде, сосредоточенность на собственной борьбе уже не играла роли; ему осталось только улыбнуться, благословить остающихся и закутаться в плащ. Так что эпилог есть маленький подарок миру, которому он наконец-то позволил *действительно задеть себя за живое*; в "Гамлете" и в "Лире" он бился против смерти, как бьется невротик против холодных колес собственной силы и воли. В "Буре" он обнаружил наконец, что сама по себе рана желанна и что, сдав позиции, только и можно продолжать жить. И вот Просперо падает на меч, не с хулой, но с хвалой на устах; и не кукожится от страха, как Гамлет или Макбет. В этом всем, мне кажется, есть что-то и для нас, вот этот самый момент — своего рода урок, который дает нам понять, что мир имеет самостоятельную, отдельную от нас ценность и что иного позитивного ответа на боль, кроме как страдать и восхищаться, нет; и еще, конечно, улыбнуться; вся "Буря" — как одна долгая и тихая улыбка. Дай нам бог каждому суметь отречься вот так же легко и спокойно. После Просперо — загляни-ка в текст шекспировского завещания и оцени, насколько обыденно и просто он сдал свой последний рубеж; ни следа не осталось от идола. Я часто думаю о том, как Просперо заглядывал ему через плечо, когда он ставил подпись под этим чисто человеческим документом. Мы, люди меньшего масштаба, составили бы завещание в стихах. <...>

Привет от всех нас,
ларри,
нэнси,
беренгария пенелопа навсикая
даррелл

10 августа 1940 г.
П. с.[1] "Арнтена"

Повсюду на палубе лежат крестьяне и едят арбузы; сточные желоба полным-полны сока. Огромная толпа пилигримов к иконе Тиносской божьей матери. Мы еле-еле выбрались из гавани, оглядывая горизонт в ожидании *эй-тальянских* подлодок. Но что я действительно хочу тебе рассказать, так это историю о петухах Аттики: она послужит рамкой для портрета Кацимбалиса, которого я сам пока не читал, но от которого тут все в восторге. Вот она. Позавчера вечером мы все отправились на Акрополь, очень пьяные и взвинченные вином и стихами: стояла душная черная ночь, и в крови у нас кипел коньяк. Мы сели на ступенях у больших ворот и пустили бутылку по кругу; Кацимбалис снова стал читать стихи — и Георгакис даже успел прослезиться, — как вдруг в него словно бес вселился; он вскочил на ноги и выкрикнул: "Хотите послушать петухов Аттики, вы, модернисты чертовы?" В голосе у него звякнула истерическая нотка. Мы ничего ему не ответили, но он от нас ответа и не ждал. Он подбежал к самому краю обрыва, одним рывком, как королева фей — толстая такая черноволосая королева фей в черном костюме, — откинул голову назад, ударил рукоятью трости о раненую руку

1. Парусное судно.

и испустил самый душераздирающий вопль, который мне приходилось слышать в жизни. Ку-ка-ре-ку! Он прокатился по всему городу — этакой темной чаше с крапинками света, как вишни. Он рикошетил от холма к холму, он заметался под стенами Парфенона. Под крылатой фигурой победы сей ужасающий петушиный крик, крик самца — это было похлеще Эмиля Яннингса. Мы были настолько ошарашены, что не издали ни звука, и пока мы все таращились друг на друга в темноте, чу, из далекой дали на серебристо-чистой ноте ответил едва проснувшийся петух — а потом еще один, и еще. К. словно взбесился. Он подобрался, словно птица, готовая к полету, хлопнул себя по фалдам и залился жутчайшим кукареканьем — а эхо возвело крик в степень. Он вопил, покуда у него не вздулись жилы, и в профиль был ни дать ни взять взъерошенный, хоть сейчас готовый в драку повелитель насестов, который забрался на кучу навоза и хлопает крыльями. Он доорался до истерики, и его аудитория в долине все росла и росла, пока уже со всех сторон, со всех Афин, ему не принялись кричать в ответ, перекликаясь, как охотничьи рога, проснувшиеся петухи. Наконец, когда наш хохот стал переходить в истерику, мы упросили его остановиться. Ночь была буквально нашпигована петушиными криками — все Афины, вся Аттика, казалось, вся Греция; и мне почудилось, что даже по ту сторону океана среди ночи тебя разбудили за рабочим столом эти серебряные переливы: хор аттических петухов имени Кацимбалиса.

Момент был эпический — и вполне в духе Кацимбалиса. Если бы ты только слышал этих петухов, отчаянную псалтирь аттических петухов. Она снилась мне две ночи подряд. Что ж, теперь мы на пути в Миконос, мы послушали петухов Аттики с Акрополя, мы смело можем уезжать. Мне хочется, чтобы ты об этом написал — вставил в свою мозаику.

Всем привет.
Ларри

[Начато в середине мая, продолжено в конце мая 1944 г.]
Британское информационное агентство,
рю Туссум, 1, Александрия, Египет

<...>

Атмосфера здесь, в дельте, искрит, как лейденская банка; видишь ли, в обычные времена местные жители проводили по шесть месяцев в году в Европе — так что запах от них столь же затхлый, а вид у них столь же замотанный, как у наших клерков. Время от времени я выдавливаю из себя стихи, темно-серые, с прослойками жира — как плохой бекон. Но запах секса и смерти в здешнем воздухе стоит так густо, что трудно дышать. Время от времени наезжают какие-то большие шишки, ничего не замечая, ничего не чувствуя, по уши погружаясь в полуденную грезу о деньгах; есть масло, есть виски и кофе по-венски. У аборигенов, наживающихся на военных поставках и спекуляциях, нездорового оттенка жирок накапливается на ягодицах и лицах. Нет, не думаю, чтобы тебе здесь понравилось. Во-первых, этот удушливый, влажный и плоский пейзаж — сколь видит глаз, ни пригорка, ни холмика, — готовый взорваться от переполняющих его костей и обветшалых обломков стертых

с лица земли культур. Потом этот разваливающийся на глазах, облупленный, затхлый неаполитанский городишко с чисто левантинскими нагромождениями шелушащихся на солнышке домов. Море, плоское, грязно-коричневое и не способное даже поднять волну, трется о порт. Арабский, коптский, греческий, левантинский, французский; ни музыки, ни искусства, ни настоящего веселья. Густая среднеевропейская тоска, обшитая кружевом выпивки, "кадиллаков" и купальных кабинок на пляже. ЕДИНСТВЕННАЯ ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА – ДЕНЬГИ. Даже о любви рассуждают исключительно в финансовом ее выражении: "Так ты с ней поладил? У нее десять тысяч собственного годового дохода". Шесть сотен жирненьких миллионеров в фесках истекают потом и мечтают об очередной затяжке гашиша. И на каждом лице – крик отчаяния, одиночества и безысходности. Тот, кто сможет написать о здешних делах хотя бы одну-ёдинственную строчку и чтобы пахло от нее человеческим духом, тот и будет – гений. <...>

Четыре года, и ни единого человека вокруг, который интересовался бы чем-то другим, кроме как заделать бабе или накрутить деньги: это немного слишком, и я почти успел разучиться выражать себя. Впрочем, я несправедлив к Цыганке Коэн – странной, поразительной темноглазой женщине, которую я нашел здесь в прошлом году, и все в ней именно так, как должно, – каждый жест; и настоящий, человеческий, врожденный стиль – и она совершенно чужая в этом продажном и провонявшем деньгами болоте. Единственный человек, с которым я мог по-настоящему поговорить; мы с ней живем здесь, как беженцы. Она часами сидит на кровати и подбрасывает мне куски сырого, непереваренного опыта – половая жизнь арабов, извращения, обрезание, гашиш, засахаренные фрукты, удаление клитора, насилие, убийства. Босоногое детство, семья тунисских евреев, мать-гречанка из Смирны, отец-еврей из Карфагена – она на своей шкуре узнала, что такое Египет, вплоть до последнего сраного обрывка здешней гадости. Она ходячий "Тропик Козерога". От того, что она пережила ребенком, волосы встают дыбом. И как всякому человеку, наделенному тибетской тонкостью чувств, ей стало казаться, что она сходит с ума, – потому что никто не понимал, о чем она говорит и думает. Это было занятно: проговаривать для нее самой ее же собственный опыт, лечить ее страхи и подсовывать ей книги, чтобы показать, какой огромный, умный и творческий мир существует сам по себе и кажется в Александрии бредом. Я до сих пор не верю, что мне удалось отыскать женщину, у которой желание поднимается буквально от самых ступней, – и безо всей этой разъедающей душу романтической англосаксонской чепухи. Она вылечила меня от привычки к англичанкам на всю оставшуюся жизнь – и слава богу. <...>

Ларри

23 мая
Британское информационное агентство,
рю Туссум, 1, Александрия

<...> в Александрии, если не считать Голливуда, красивых женщин на душу населения приходится больше, чем где бы то ни было еще на

свете. Ни с Парижем, ни с Афинами даже и сравнивать нечего; смесь коптских, еврейских, сирийских, египетских, марокканских и испанских кровей дает на выходе миндалевидные темные глаза, оливкового цвета веснушчатую кожу, ястребиный нос и взрывной темперамент. С точки зрения секса фуража хватает, вот только атмосфера здесь влажная, истероидная, и воздух как наждак, пустынные ветры мигом сообщают любому твоему желанию оттенок маниакальности. Любовь, гашиш и мальчики — естественная отдушина для любого, кто застрял здесь более чем на несколько лет. Я живу в большой квартире, делю ее с несколькими довольно милыми людьми, и на крыше у меня есть даже собственная башенка, из которой романтически настроенные индивиды могут наблюдать колонну Помпея, тюрьму Хадра и заросшие камышом болотистые пустоши по берегам озера Мареотис, которые уходят аж до самого горизонта и застят небо.

Это мир отцов-пустынников и вечных жидов; равнина изъедена — как пораженная кариесом челюсть мумии. Александрия — единственное пригодное для жизни место в Египте: потому что здесь есть гавань и выход к плоским, цвета скипидара, морским горизонтам — хоть какой-то выход. <...>

Забавно, как женщина сменяет здесь женщину, и бог его знает, что остается в итоге, и каждый раз все поверхностней: Габи, Симон, Арлетт, Дон, Пенелопа... и лишь Цыганка Коэн пышет темным жарким пламенем из-под густых тунисских бровей; пикантная, ни дать ни взять шекспировская Клеопатра; алжирский зад, мальтийские ресницы, пальчики и ноготки из Смирны, бейрутские бедра, афинские глаза, андросский нос и рот, который вопит и мурлычет, как бесноватые ведьмы из Хомса или Самарканда. И фиумские груди. Так какого же черта?

Но как они здесь занимаются сексом! Безумие полное, и никакой тебе СЛАБОСТИ, или недосказанности, или романтизма, как у наших англосаксонских дам, которые всю жизнь тратят на поиск ферротипических оттисков собственных папаш. Никаких ломаний, сразу по уши и будто на войне — а не эта хромающая на обе ноги северная дружба, — но яростно и ярко, как орлы-стервятники работают когтями и клювами.

Несколько дней назад мы поехали за Бург-эль-Араб и пробрались там через поле битвы к длинному пляжу, на который огромными зелеными валами выкатывается настоящее Средиземное море, и небо замариновано до фиолетового цвета и переливается так, что тело приобретает в воде волшебный розовый оттенок. Море цвета горьких лимонов, зеленое, холодное и чистое, с песчаным дном; в первый раз за четыре года я почувствовал, что я в Греции. Купались нагишом. За нашими спинами дюны убегали к подножию заброшенной крепости времен крестовых походов — обглоданные башни сквозь марево, вылитый мираж. Тысячи стреляных гильз, грязные бинты, искореженные вражеские танки, бревна. Странная атмосфера покинутого поля боя, где море пропитало краешки неба и старая крепость горит как драгоценный камень. По дороге изредка проезжает на верблюде случайный бедуин. И пальмы погрохатывают на ветру, как старые верблюжьи шкуры. Столь же странное возвращение в кавафисовскую Александрию, где ждет письмо от Георгоса Сефериса; он пишет, что чувствует себя все более и более счастливым человеком с тех пор, как оставил пропаганду.

Того, о чем можно рассказать в обычном письме, считай что не осталось; извини за бешеную спешку. Надо посмотреть, что там сообщают с мировых фронтов. В час зайдет Цыганка — выпить со мной стаканчик. Жизнь длинна, искусство бренно, как говаривал Гёте.

И когда все это кончится? Отвечай поскорее, ладно?

Ларри

22 августа [19]44 г.
Британское информационное агентство,
рю Туссум, 1, Александрия, Египет

<...> Раньше я и понятия не имел, что означала Галлия для сосланного туда римлянина или Сибирь для русского. Теперь я знаю. Сердце мечется в грудной клетке, потому что ему недостает влаги. С тех пор как я приехал в Египет, дождь шел всего один раз — примерно полчаса. Грязно-коричневый, на последнем издыхании дождь, горький на вкус и ничуть не освежающий. <...> У меня родилась чудесная идея для романа, александрийского: цепочка этих новых моих греческих картинок и параллельно нечто вроде духовного разделочного цеха, с девочками, нарезанными на куски. Но покуда я не вырвался на волю, увы, не способен ни на какие серьезные усилия — так что думаю пока накропать коротенькое антропологическое исследование об английских табу; так вымеряешь глубину и ширину противотанкового рва, прежде чем двинуть вперед свои главные силы. <...>

Весь любовь и восхищение.
Ларри

1 января 1946 г.
Министерство информации,
Управление
Додеканесских островов, Родос

<...> Только что вернулся с Патмоса, где мы с Коэн провели Рождество в обществе отца Порфириоса. Маленький белый островок, увенчанный укрепленным по всем правилам военной науки монастырем; белые стены и чудные маленькие башенки — такое мог построить Чингисхан. Ослепительная белизна и игра света. Как будто входишь в амальгаму зеркала или в сердцевину кристалла. Выглядываешь из окна приемной, и повсюду в переливчатом море острова, как буханки черного хлеба. Пока мы сидели, говорили с настоятелем и доедали прекрасный, приготовленный им специально для нас обед, небо медленно потемнело, набухло, стало битумно-серым, а потом битумно-черным — и море, как смоляное озеро. Это было похоже на главу из Апокалипсиса. Потом из прорех в тучах хлынул зеленый дождь, а за ним — острые и длинные лучи света, которые играли с тьмой, как пучок сведенных в фокус прожекторов. Чудные подвижные струи воды перебирают поверхность моря, как пальцы. И вдруг из тишины ударил гром подобием ог-

ромного металлического гонга, и настоятель в ту же секунду лишился голоса — как будто ему с корнем вырвали язык. Волшебный, таинственный, загадочный остров. Ты просто обязан туда съездить. Подбираешься к нему темной водной тропой, где скалы торчат из моря, как зубы, а вдалеке, белоснежной грудью паруса, остров — как сахарная голова и увенчан белой короной. Передать не могу, какое впечатление произвела на нас эта поездка. Превыше всяких слов. Великолепное собрание древних рукописей в свитках, сплошь разрисованных драконами и рогатыми головами.

<...>

ларри

[Ок. середины февраля 1946 г.]
МИ БВА[1]
РОДОС

<...> Афины сейчас — невероятно грустный город, людей уйма, жить им негде, деньги практически ничего не стоят, а цены заоблачные; и все-таки каким-то уникальным образом пережитые несчастья сделали их такими добрыми, и отзывчивыми, и терпимыми по отношению друг к другу, какими они никогда прежде не были. Даже в Георгосе сквозь обычную неуемную кипучесть чувствуешь безмятежность и смирение — как в человеке, который настолько привык ходить рядом со смертью, что смерть заставила его смотреть на обыденную жизнь несколько со стороны — что, по сути дела, есть всего лишь радость предвкушения. Однако истории он рассказывает еще чудеснее прежних. В следующем письме расскажу тебе историю о похоронах Паламаса, на которых Георгос сперва выкрикнул что-то оскорбительное в адрес представителя немецкого посольства, как раз возлагавшего на могилу венок, а потом принялся петь национальный гимн, что было тогда запрещено под страхом смерти. "Я был словно в кошмарном сне... ага... десять тысяч человек... и ни один не подхватил... голос у меня срывался на высоких нотах... глаза вылезли... допел первый куплет, а толпа стоит вокруг и молчит, жуткая тишина... меня била дрожь... Аспазия пыталась зажать мне рот... сестра Сефериса тянула за руку... у меня было такое ощущение, словно я рехнулся, окончательно рехнулся... Жуткое молчание толпы, и повсюду люди перешептываются: "Господи, это же Кацимбалис... Это Кацимбалис..." *Я начал второй куплет* в полном одиночестве... ни единого голоса в помощь... немцы уже начали злобно шарить глазами по толпе... я чувствовал себя как утопающий, и это среди огромной толпы... Потом вижу неподалеку стоит мой друг-корфиот... толстый такой человек с зычным и сочным голосом... Он вступил, и мы допели второй куплет вдвоем... А потом вдруг, как выключатель щелкнул, заревела вся толпа, мы стояли и пели гимн, и слезы текли по лицам..." Конечно, после этой демонстрации Георгоса вполне могли попросту застрелить, и страху он натерпелся не дай бог! Он так смешно рассказывает, как прятался то здесь, то там. <...>

Ларри

1. Министерство информации Британской военной администрации.

[Октябрь? 1946 г.]
МИ БВА
РОДОС, ДОДЕКАНЕС

<...> Кстати, о Крите: к нам на днях, по дороге в Англию, заезжал Ксэн Филдинг — чудесная была неделя. Ты знаешь, что он прожил на Крите три года в качестве шпиона — под видом пастуха! От его приключений просто волосы встают дыбом; потом, уже во Франции, его поймали гестаповцы, приговорили к смерти, и он сумел оттуда выбраться за три часа до казни. Я сказал ему, чтобы он тебе написал. Из него, кажется, может выйти очень неплохой писатель. С ним приехал совершенно замечательный сумасшедший ирландец по фамилии Ли Фермор, который тоже был на Крите и сумел взять в плен немецкого генерала, тамошнего главнокомандующего, уволок его в горы и водил за нос всю немецкую армию 18 дней, пока не дождался возможности переправить генерала в Египет на подводной лодке! Совершенно фантастические сюжеты. Как они вдвоем читали Достоевского в пещерах! Попадали в засады и т. д. и т. п. и целыми днями читали друг другу стихи. Ли Фермор — самый очаровательный псих, которого я в своей жизни встречал. Свободно говорит на пяти языках. <...>

Тем временем КЕФАЛУ[1] почти готов — роман говно: для тебя там найдется пара хороших страниц — остальное можешь смело повесить в клозете. Главное его достоинство — он оплатил мой развод! <...>

Ларри

[Открытка, 24 октября 1953 г.]
Беллапаис, Кипр

Дражайший Генри, мне очень неудобно, что я так давно тебе не писал, но последние два месяца мы пытались сделать из моего маленького турецкого дома нечто действительно красивое. У меня не было даже стола, не на чем было писать. Вдобавок я взялся за не самый легкий — учительский — труд, что предполагает необходимость вставать каждое утро в пять и работать до двух плюс тридцать миль на машине туда-обратно. Дней через десять все закончим. Вдобавок работаю над новой рукописью, "Жюстин", и выходит что-то по-настоящему сильное — роман об Александрии — *четырехмерный.* Пытаюсь сделать так, чтобы он вышел законченным и *очень коротким* — этакое странное животное, висящее в перенасыщенном растворе. Никогда еще не чувствовал себя в лучшей писательской форме, никакой angoisse[2] и т. д. И никогда еще не приходилось мне работать в настолько неблагоприятных условиях. Между тем моя очаровательная дочь Сапфо чувствует себя превосходно, у меня живет мама и присматривает за ней. Она — просто чудо. Эва уверяет, что ее скоро выпишут — когда, точно не знаю. Я ни о чем не мо-

1. "Легкий" роман Даррелла, более известный под названием "Темный лабиринт".
2. Тоска (*франц.*).

гу думать, кроме как об этой моей книге, хотя время от времени залетающие на огонек красотки дают возможность ненадолго отвлечься — этакие припаржи в человеческом обличье. <...>

[261]
ИЛ 11/2000

Обнимаю. Ларри

20 нояб. [1953 г.]
Беллапаис, Кипр

<...> Я встаю теперь в 4.30, моюсь, одеваюсь, осматриваю машину и иногда пишу письмо. (Это, к примеру, при свечах.) Затем еду в Кирению, а оттуда в Никосию, где в 7 приступаю к работе. Так это здорово — сумерки, крадешься на цыпочках вниз по деревенской улице, и за мрачноватыми каменными вертикалями полуразрушенного аббатства Беллапаис брезжит первый желтоватый проблеск зари. Пока я работаю,-за домом и за ребенком присматривает мама. От Эвы никаких новостей, и, если бы не Сапфи, я бы о ней больше и не беспокоился; так это здорово — располагать собой, когда работаешь над книгой. Все утро в голове у меня складываются фразы; но я до сих пор никак не обустрою свой маленький кабинет, так что писать мне негде. Женщины — всего лишь досадное недоразумение, в перерывах; они уверены в том, что каждая из них — личность, в действительности же они всего лишь коллективная иллюстрация чисто биологической необходимости — или универсального принципа. Чем меньше тебе до них дела, тем больше от них удовольствия, сказал я. Никосия — жутчайшее сочетание деревни с базаром — очень восточная по характеру и битком набитая британскими товарами. Местные жители тоже народ довольно странный: нечто вроде туземцев, нахватавшихся основ европейской культуры и утративших связь с почвой, ленивых и капризных. Однако 30 часов учебной нагрузки — это многовато. Тем не менее я пребываю в бодром расположении духа, и, если дом когда-нибудь достроят и у меня останется немного сил, я сделаю из "Жюстин" достойную наследницу "Черной книги". Пальцы, конечно, держу крестом. <...>

Красота Средиземного моря — она-то никогда не надоест. Я настаиваю на том, чтоб умереть где-нибудь на этом священном, на дохристианский манер, побережье. И нам, конечно, очень повезло в том, что постоянно наезжают друзья — за время скитаний я обзавелся тысячей друзей, и ни один из них не преминет заглянуть на огонек, если проезжает мимо — в радиусе 500 миль. На прошлой неделе был Патрик Ли Фермор, вскоре приедет Зарьян, на подольше; а еще тут постепенно пускает корни масса художников и писателей, которых привлекает выгодный обменный курс. А поскольку Египет и Персия сделались в последнее время регионами проблемными, Кипр становится ключевым узлом международных авиа- и морских маршрутов. Офицерские жены всей как есть британской армии осели именно здесь и тоскуют до слез. Если бы я только воспринял свой отпуск всерьез, я бы уже давно открыл для них маленькое такое бюро. Но мне настолько нравится снова чувствовать себя художником, что я лишь иногда и в чисто медицинских целях запускаю зубы в эти лежащие повсюду под ногами спелые фрукты — в ка-

честве средства от бессонницы. Что-то я не высыпаюсь — а может быть, просто спать нужно больше.

[262]
ИЛ 11/2000

Обнимаю вас обоих.

Ларри

[До 20? января 1957 г.]
СОМЬЕР ГАР ФРАНЦИЯ

<...> Я не стал высылать тебе “Esprit de Corps”; подумал, что тебе она вряд ли покажется забавной. Мне нужно было купить ребенку башмаки, вот я ее и накатал, очень быстро. К моему удивлению, “Харперс”, “Атлантик”[1] и так далее купили каждый по кусочку, так что, наверное, в конце концов юмор здесь не слишком британский — или, может быть, американцы время от времени все-таки в состоянии воспринимать тупой британский юмор. Так что я тебе его все-таки вышлю, посмотришь. Шесть тысяч экземпляров продали за месяц! И “Таймс” просто с ума сходит по Антробусу[2], предлагает писать по рассказику в месяц и обещает по сорок гиней за каждый! Я такие пишу за двадцать минут. Всего 1000 слов. Моих поклонников это совершенно выбивает из колеи: они перестают понимать, кто я на самом деле — П. Дж. Вудхаус, Джеймс Джойс или еще что-нибудь, черт побери, третье.

Обнимаю вас всех.
ларри

[Конец февраля 1958 г.]
[Сомьер]

<...> Братец Джерри стал телезвездой — благодаря смышленой обезьянке, которую он вывез из Конго и которая, судя по всему, разве что на выборах не голосует; моя дочь Пенелопа (от Нэнси) пошла в балерины; очень хорошенькая блондинка, 17 лет и весьма “стильная”. Саф — маленькая девочка-семилетка, черная, как слива, и такая хитрая, что все ее хитрости видны за милю, но при этом преисполнена антиобщественных порывов! Мне 46, но в окружении всей этой поросли я чувствую себя 406-летним патриархом. <...>

Ларри

1. Имеются в виду “престижные” американские журналы “Харперс-базар” и “Атлантик мансли”.
2. Постоянный рассказчик в большинстве даррелловских юмористических миниатюр, отставной дипломат.

15 февраля [1964 г.]
Ним

<...> В начале марта мы едем в Париж, потом сюда, обратно; сперва подумывали махнуть 1 апреля в Грецию, но теперь я лучше подожду и посмотрю, во что выльется нынешняя ситуация на Кипре; это может привести к новой Балканской войне, что было бы куда как некстати. С другой стороны, если США и Англия поддержат предложение о разделе острова (чего и добиваются турки), то в Греции нам не отмыться, и на нас там будут смотреть волком как минимум в течение ближайшего года — и каждый встречный крестьянин станет спрашивать, почему мы больше не любим Грецию и т. д. и т. п. Ты же знаешь, как это бывает; но давай дождемся конца марта и посмотрим.

В остальном все у нас идет гладко; вскоре откроется моя маленькая персональная выставка, а затем я всерьез возьмусь подбивать клинья под новый роман. Есть у меня серьезное такое искушение — писать себе и ничего не публиковать до тех пор, пока мне не стукнет, скажем, шестьдесят; денег у нас пока хватает, так какого, спрашивается?.. <...>

Ларри

Перевод с английского Вадима Михайлина

Джеральд Даррелл
Мой брат Ларри

Я понимаю, что писать о моем брате Ларри — примерно как идти по минному полю. Когда-то я издал книгу, в которой он был одним из центральных персонажей. Я хотел написать вполне невинный и, как я надеялся, забавный шарж. К моему огорчению, кое-кто усмотрел в этом злобный выпад. Дошло до того, что один литературный мэтр (и большой поклонник Ларри) спросил его, намерен ли он "реагировать". Ответ был вполне в духе моего брата: не моргнув глазом он сказал, что вызвал меня на дуэль в Гайд-парке, но был вынужден ее отменить, поскольку его не устроил мой выбор оружия — кобры, к которым он издавна питает необъяснимое отвращение.

О Ларри-писателе я судить не берусь; о Ларри — спорщике, остряке и мистификаторе я могу говорить вполне компетентно. В споре он настолько напорист и изворотлив, что уже через несколько минут вы с изумлением обнаруживаете: почва ушла у вас из-под ног и вы отчаянно защищаете ту самую позицию, которую хотели опровергнуть.

Дураков он выносит с трудом, ну а когда они его по-настоящему разозлят, достает из своего речевого арсенала острую, как клинок, фразу и разом заставляет их умолкнуть. Однажды на приеме он целых полчаса довольно добродушно терпел некую особу с мушиными мозгами, сплетавшую вокруг него паучью паутину лести. Но потом она допустила роковой промах, поинтересовавшись его работой. "Вы сейчас что-нибудь пишете?" — спросила она, дрожа от нетерпения. С тем же успехом можно было бы спросить врача о том, кого он лечит. Ларри неохотно признался, что работает над книгой. Надо было обладать поистине слоновьей толстокожестью, чтобы не остановиться, но дама в порыве слепого восторга лезла напролом. Заглавие — это так важно, верно? Как будет называться его новая книга? Этого Ларри уже не мог стерпеть. "Я назову ее... "Не сейчас... муж смотрит".

Он обладает удивительной способностью внушать людям веру в себя. За всю мою жизнь я ни от кого другого не получал такого горячего ободрения, как от него, и если я чего-то добился, то не в последнюю очередь — благодаря его поддержке. Тонизирующее действие его слов распространяется не только на меня. Помню, как-то раз в Лондоне Ларри пришел ко мне в гостиницу — за пазухой у него была предусмотрительно припрятана бутылка бренди. Мы уселись в обветшавшем викто-

© М. Мушинская. Перевод, 2000

рианском холле, где дежурил ночной портье, и приступили к уничтожению бренди. Проведя ловкий блиц-опрос, Ларри через пять минут выяснил, что портье лелеет тайную мечту проехать по Африке на велосипеде, но не верит в осуществление этого честолюбивого замысла. Огорченный его пораженчеством, Ларри немедля взялся за дело. Полчаса он рассуждал о велосипедном путешествии по Африке с таким заразительным пылом, что можно было подумать, будто это и его заветное желание. Мои слабые попытки указать на отдельные недочеты в его аргументации ("Вода в Сахаре не проблема, если знаешь, где искать") отметались в сторону. Когда он кончил, не только у портье, но и у меня не осталось никаких сомнений, что велосипедная прогулка по Черному континенту — самая чудесная и простая вещь на свете. Ларри еще не успел уйти, как портье засел за составление списка походного снаряжения (особо прочные шины, запасные камеры); его глаза горели энтузиазмом. Насколько мне известно, человек этот до сих пор работает ночным портье, но в тот день он на несколько ослепительных часов превратился в Стэнли, Ливингстона, Бёртона и Сесила Родса в одном лице.

Щедрость Ларри нередко принимает и более материальные формы. Помню, мы с ним зашли в один паб в Сохо и встретили там какого-то несчастного, потрепанного поэта, глубоко удрученного тем, что за целый год его ни разу не напечатали. Поэт он был плохой, но Ларри это ничуть не смутило: он обработал бедолагу по полной программе, и через час тот буквально сиял от самодовольства. На прощанье Ларри — хотя с деньгами у него тогда было очень туго — выписал поэту небольшое вспомоществование: чек на пять фунтов. Ларри тратит деньги очень осторожно, но раздает их с необыкновенной щедростью — именно раздает, никогда не дает в долг — и часто больше, чем может себе позволить. В прошлом году он приехал на Рождество ко мне в зоопарк в Джерси и без памяти влюбился в нашего льва. Он подробно расспросил меня об условиях его содержания, я сказал, что клетка неплохая, хотя и маловата. Мы хотели бы поставить другую, побольше, и подобрать льву пару, но у зоопарка пока нет на это средств. Немного спустя Ларри прислал мне чек "на новую клетку для льва". Я усматриваю в этом первые проблески интереса Ларри к естествознанию — и, разумеется, намерен всячески их поощрять.

Одно из самых замечательных, на мой взгляд, свойств Ларри — самоирония. После войны я приехал к нему на Кипр, где он возглавлял информационное агентство. Как раз тогда достраивалось новое здание для этого агентства, и Ларри с глубочайшим интересом следил за ходом строительства. Когда наступил торжественный день и долгожданный переезд наконец состоялся, я зашел посмотреть, как Ларри устроился на новом месте. Он сидел в необъятном зале за столом размером с бильярдный и просматривал почту. Вид у него был чрезвычайно внушительный — настоящий финансовый магнат. Распечатав очередной конверт, он тяжело вздохнул и сказал: "Прибыль от последнего моего сборника составляет пять фунтов одиннадцать с половиной шиллингов. Надо следить за этим, не то и оглянуться не успеешь, как дойдет до шести". Моя первая книжка вышла одновременно с книгой Ларри и в том же издательстве. Во всех воскресных газетах напечатали анонс с громким заголовком: "Головокружительный взлет братьев Даррелл". Я показал газету

Ларри — он внимательно прочел объявление и бросил на меня торжествующий взгляд: "Поздравляю. Мы выступаем с цирковым номером: парим над ареной на высоте 300 футов в обтягивающих трико с блестками. Ты срываешься в воздушную бездну, а я, повиснув на трапеции вниз головой, пытаюсь сфокусировать взгляд, чтобы успеть схватить тебя за ноги на лету".

Он владеет тем же искусством, что и Уайльд, Сидни Смит и другие выдающиеся мастера устного жанра: взяв самое рядовое событие, превратить его при помощи умелой отделки, неожиданного ракурса и горстки сравнений в нечто такое, отчего слушатели буквально умирают со смеху. Перед выходом в свет очередного тома "Александрийского квартета" Ларри говорил, что планирует следующую рекламную акцию: наша мама, облаченная в бикини из шкуры леопарда, выедет на Трафальгарскую площадь верхом на верблюде — комизм рассказа достигал такого накала, что под конец вам казалось, будто все это происходит на самом деле и у вас на глазах.

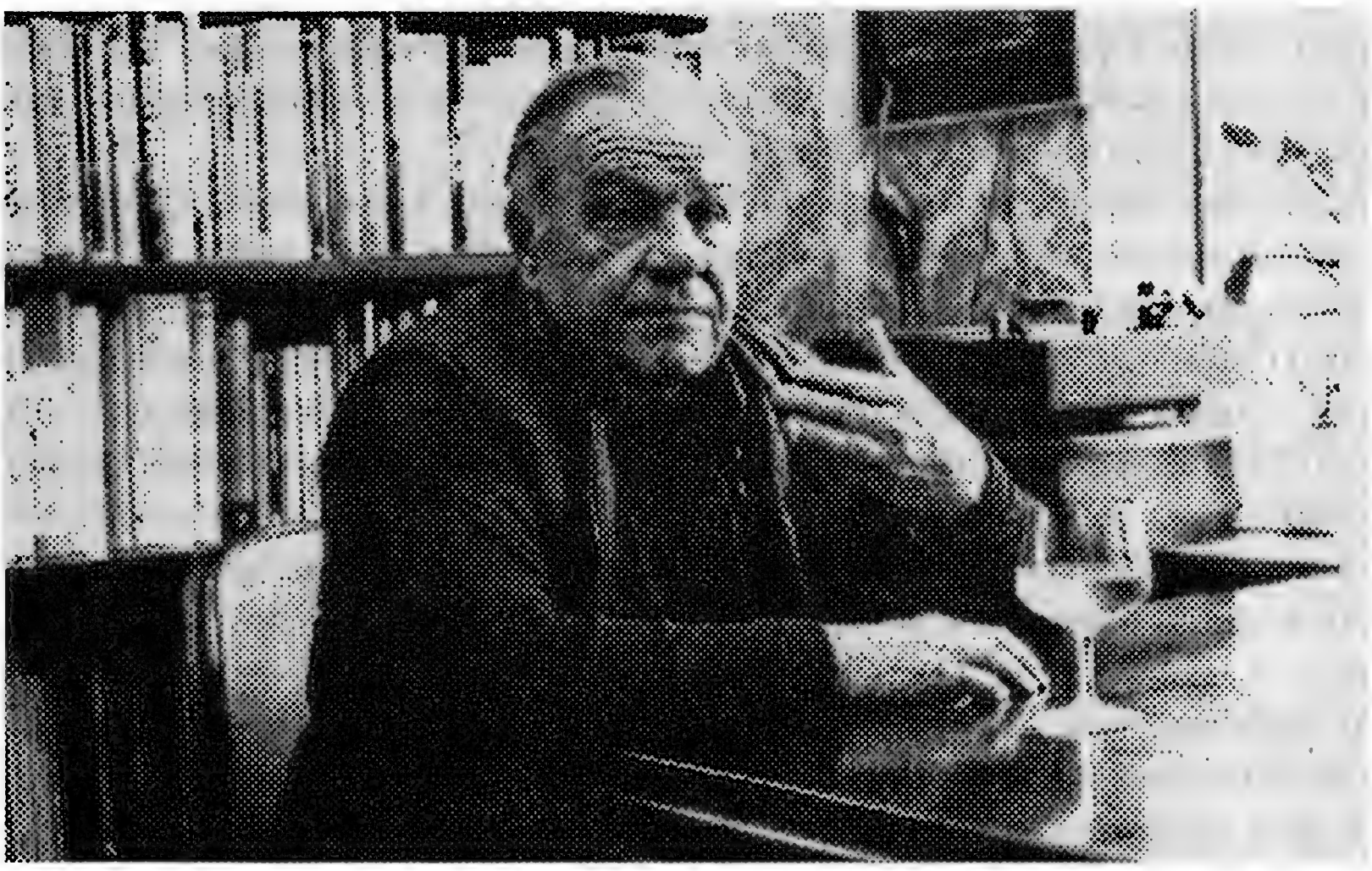
У меня была секретарша, которая панически боялась встречи с Ларри, хотя я изо всех сил убеждал ее, что он не людоед. Настал день рокового свидания. Я знал, что беспокоиться нечего — девушка была исключительно хороша собой: зеленоглазая, с каштановыми волосами и кожей цвета персика со сливками. Ларри хватило одного взгляда: он немедленно включил обаяние на 50 миллионов вольт и принялся уверять ее, что Тициан переворачивается в гробу из-за того, что лишен возможности написать ее портрет. Два часа напролет Ларри занимался только ею, попутно вливая в себя неимоверное количество моего вина. Когда он наконец ушел, я сказал: "Ну что, все оказалось не так уж страшно?" — "Еще бы, — восторженно воскликнула она, — нисколько не страшно, только... его всегда так много?"

Очень точную, на мой взгляд, характеристику его ораторского мастерства дала одна юная дама, которая однажды, когда Ларри гостил у нас на Рождество, три часа просидела у его ног, завороженно слушая его разглагольствования. Я потом спросил у нее, о чем он говорил, и из ее ответа вы поймете, какой колдовской силой обладают речи Ларри.

"Понятия не имею, о чем он говорил, — сказала она, — но готова слушать его часами".

Перевод с английского М. Мушинской

Два интервью Лоренса Даррелла



Беседа с Клодин Бреле, состоявшаяся осенью 1972 года на радиостанции "Европа I"

Клодин Бреле. Нашим слушателям наверняка захочется узнать, под каким знаком вы родились...

Лоренс Даррелл. Под знаком Рыб. Считается, что Рыбы не знают самих себя. Но я вообще люблю всевозможные преувеличения. Предположим, если я скажу вам, что родился в Индии, это покажется фантазией.

К. Б. У подножия Гималаев, по-моему...

Л. Д. Не совсем так. Это выдумка Генри Миллера. И она мне нравится. На самом деле я родился в Центральной Индии, в Джаландхаре, 27 февраля 1912 года. И жил там до девятнадцати лет. Мой отец был инженером, строил железные дороги. В то время железных дорог было очень мало. Он был первопроходцем. Мы переезжали вместе с ним с места на место, жили в палатках, как цыгане, среди природы... Подлинной природы: вокруг были джунгли, со всеми испытаниями, которые ожидают людей в джунглях.

К. Б. Это были настоящие киплинговские джунгли, джунгли Кима?

Л. Д. Да, именно так. Мы пережили там приключения, очень похожие на те, что описал Киплинг. И, подчеркиваю, очень опасные приключения. Когда ты еще молод, полезно испытывать себя — скажем, быть готовым к встрече с такой неприятной змеей, как кобра, или со скорпионом... Или даже убить кого-нибудь, например детеныша леопарда, заглянувшего ночью в лагерь. Все это разительно отличалось от той

© Н. Кулиш. Перевод, 2000

жизни, которую я позднее вел в Англии, — жизни довольно-таки... старомодной.

К. Б. Это была еще викторианская Англия?

Л. Д. Целиком и полностью, со времен Диккенса почти ничего не изменилось — если не считать материальных условий, которые стали гораздо лучше. Нет, я не хочу сказать, что вокруг царила такая уж дикость! Однако пуританские нравы оставались более или менее теми же. Ведь детство наших учителей, которым было лет по пятьдесят—шестьдесят, пришлось на диккенсовскую эпоху.

К. Б. Вы как-то рассказывали мне, что ваша школа находилась на том самом месте, где прежде был театр Шекспира. Это правда?

Л. Д. Да. По приезде в Англию я не сразу смог поступить в частную школу. И мне пришлось провести шесть или восемь месяцев в средней школе, основанной Елизаветой I и стоявшей на месте шекспировского театра. Это очень романтический уголок Лондона, возле моста Тауэр и Саутуоркского собора. Именно там я влюбился в елизаветинскую эпоху — потому что все это окружало меня. В нашей маленькой школе площадка для игр находилась в точности на том месте, где был театр Шекспира.

В полдень, когда нас отпускали из школы на сорок пять минут, я съедал свой завтрак в Саутуоркском соборе. Там похоронены многие писатели. Там даже можно увидеть могилу брата Шекспира по имени Эдмунд, о котором мы не знаем абсолютно ничего — кроме имени, написанного на его надгробии.

К. Б. Что произошло, когда вы прервали учебу?

Л. Д. Мне было почти семнадцать. У меня были комплексы. Много лет спустя, тысячу лет спустя я понял почему. Мне не хотелось ехать в Англию, на чем настаивал отец, а хотелось остаться в Индии, как того желала мать.

К. Б. Когда вы начали путешествовать?

Л. Д. После того, как в третий раз провалился на вступительных экзаменах в Кембридже. Тогда я уехал на континент и стал заниматься тем, что называется reading-parties[1]. Тогда я впервые попал в Париж, увидел Швейцарию. Так начались мои странствия — ведь я, естественно, снова провалился на экзаменах, а потом удрал!

К. Б. Как прошла ваша первая встреча с Парижем?

Л. Д. Это было восхитительно. Я обнаружил, что французы не слишком хорошо знают французский язык! Я купил себе первую французскую книжку — "Песни Мальдорора" Изидора Дюкаса[2], изданную Филиппом Супо, французским поэтом (он продолжает писать, но, как сам мне сказал, не хочет больше печататься!). Эта книга заворожила меня. Она открывала путь к Рембо, символистам и так далее (в совершенно неведомый для меня мир) и, в конечном итоге, к дадаизму, Андре Бретону, Тристану Тцара и многим другим.

К. Б. Вы встречались с ними?

Л. Д. Нет, я не был знаком с ними лично. Мне было девятнадцать лет. Меня никто не знал. У меня был только один знакомый — старый учитель французского языка, который жил в парижском пригороде...

К. Б. Чем были для вас в то время "Песни Мальдорора"?

1. Публичные чтения (*англ.*).
2. Настоящее имя Лотреамона (1846—1870).

Л. Д. Чем-то очень романтичным — абсолютно созвучным настроениям очень романтичного молодого человека. К тому же Изидор Дюкас, как известно, показал себя истинным поэтом: умер от чахотки. В то время поэту было совершенно необходимо, чтобы на его могиле написали: "Здесь покоится умерший от чахотки, молитесь за него". Кроме того, с ним была связана тайна: никто не знал, где он жил. Да и вообще, почти никто ничего не знал об этой странной жизни, которая началась, кажется, в Монтевидео или на Таити, где обитал Гоген. Короче говоря, все у него было как надо, не хуже, чем у Жерара де Нерваля. Все было романтично. Думаю, я до сих пор какой-то частицей души тянусь к романтикам.

К. Б. А куда вы направились из Парижа?

Л. Д. В Италию, ненадолго. А потом меня занесло в Грецию. Я, конечно же, сидел без гроша, как обычно бывает с молодыми людьми. Получаешь деньги — и тут же их тратишь... Я обнаружил, что в Греции можно жить, вообще ничего не тратя. И два первых года прожил на Корфу почти что жизнью рыбака. Когда началась война, я пригодился британскому посольству в Афинах, потому что говорил по-гречески. Таким образом я и "просочился" на дипломатическую службу.

К. Б. Это во время первого пребывания на Корфу вы вызвали к себе мать и братьев, в том числе и Джеральда, который потом основал зоопарк в Джерси?

Л. Д. У него замечательные книги. Но ко мне, своему брату, он относится слишком сурово! На самом деле я с ними не жил. Я был женат, и мы с женой поселились довольно далеко от них. Большая часть его историй выстроена на ирландский манер: немного правды в основе и много преувеличений. Именно так ирландцы шутят.

К. Б. Вы гордитесь тем, что вы ирландец?

Л. Д. Да! Из-за ирландской литературной традиции. В Англии почти все хорошие писатели — ирландцы.

К. Б. Говорят, что ирландцы отличаются особой духовностью... Существует ли для вас разница между религией и метафизикой?

Л. Д. Если бы пришлось выбирать религию, я безусловно отдал бы предпочтение буддизму.

К. Б. По каким причинам?

Л. Д. Во-первых, там все понятно. Там нет неясности. Это похоже на бессрочный и беспроцентный кредит. Выбрав этот путь, вы непременно чего-нибудь да добьетесь. Единственной европейской религией, столь же жесткой, как марксизм, и столь же мистической, как буддизм, был эпикуреизм. Эпикуреизм превращал Вселенную в систему, обладающую такой же мощной и рациональной логикой, как марксистский материализм. Вместе с тем его метафизическая сторона не знала никаких ограничений. В течение трех столетий борьба между христианами и последователями Эпикура была столь ожесточенной, что люди думали, будто христиане потерпят поражение. Но побежденным, напротив, оказался Эпикур. К великому несчастью для нас. И к еще большему несчастью для философии! Даже книги Эпикура нелегко добыть. Как-то раз я достал одно его сочинение. Молодые люди, которым я даю почитать эту книгу, приходят в полный восторг, потому что она отвечает их, так сказать, технологическим и материальным запросам и при этом дает зеленый свет религиозным чувствам.

К. Б. Какое определение вы могли бы дать эпикуреизму?

Л. Д. Это философия, основанная на искренности, честности, ответственности... быть может, в духе Руссо и Дени де Ружмона.

К. Б. Это за эпикуреизм вы так любите Грецию? Ту Грецию, какой она была до войны, когда вы там поселились?

Л. Д. Прежде всего надо сказать, что до войны в Греции почти не было туристов. Ведь к тому времени еще не изобрели ДДТ! В греческих монастырях, в домах — повсюду! — приходилось сражаться с клопами и мухами... В любое место приходилось добираться пешком или на мулах... Англичане, жившие там, всего человек пять-шесть, в основном были археологами. В начале войны эти люди, бегло говорившие по-гречески, смогли оказать помощь британским властям. После года работы в посольстве я занял должность пресс-атташе и устраивал пресс-конференции. Затем под натиском немцев мы перебрались на Крит, а с Крита — в Египет. Так началась моя дипломатическая карьера, длившаяся пятнадцать лет.

К. Б. А вы "эллинизировались", пожив в Греции?

Л. Д. В Англии я только два года изучал древнегреческий. Я знал алфавит, но тексты разбирал с трудом. Затем я освоил новогреческий. Греция — страна очень необычная... Не знаю, в чем тут дело: в свете ли, в атмосфере или же в радушии местных жителей. Это нечто неуловимое, но подлинное, без обмана!.. Не знаю, какая книга могла бы дать такое ощущение духовного подъема и радости. Даже теперь, приезжая в Грецию, я снова становлюсь тридцатилетним. Это удивительно, но объяснить, в чем дело, я не могу.

К. Б. Это, наверное, похоже на ту радость жизни, которую мы чувствуем в древнегреческих текстах, например в "Одиссее"?

Л. Д. Когда я приехал на Корфу, то снял дом на северной оконечности острова. По вечерам один рыбак давал мне уроки греческого. Однажды он сказал: "Вот посмотри, какая книга, ее читают мои дочери". По иллюстрациям я понял, что это Гомер. "Я расскажу тебе эту историю. Она замечательная!" И этот почти неграмотный человек рассказал мне о приключениях Улисса так, словно все происходило в наши дни. Он думал, что книжку написал какой-то гений в Афинах несколько лет назад — ведь она была переведена на новогреческий и адаптирована для детей. Вот какова мощь одного лишь сюжета, без поэтической оболочки...

К. Б. Вы добились почти того же самого, написав собственную "Одиссею" — мюзикл "Вернись, Улисс".

Л. Д. О-ля-ля...

К. Б. Что вы хотели сказать этим названием?

Л. Д. "Вернись домой, подлец!" Я написал это для собственного удовольствия. Во время парижских событий мая 1968 года я три недели просидел в одиночестве здесь, в Сомьере. Заняться было абсолютно нечем. Я только что закончил книгу, и мне захотелось развлечься, сочинив нечто легкое. Получилась такая старомодная вещица... вроде "Нет, нет, Нанетт".

К. Б. И в этом ее прелесть! Но в вашем "Улиссе" действуют три женщины с одинаковыми лицами. Не отражено ли тут то, что вы сами ищете в женщине... ведь вы были женаты несколько раз! Здесь у вас на камине фотографии по крайней мере дюжины женщин. Что для вас женщина?

Л. Д. Наркотик!

К.Л. То есть как?

Л. Д. Я пошутил. На такие вопросы невозможно ответить. Или разве что словами Гроддека. В одной из своих книг он пишет, что женщина любит в мужчине его личность, а мужчина любит в женщине ее природу.

К. Б. Вы искали во всех женщинах одно и то же лицо?

Л. Д. Не знаю. Возможно, мать... Я был почти сиротой в этом смысле. Однако... быть рядом с писателем — тяжкое бремя для женщины: он очень силен в области идей, но весьма непрактичен в повседневной жизни. Писатель поступает не совсем честно. На самом деле ему нужно, чтобы кто-то из любви к искусству состоял при нем в сиделках!

К. Б. Быть может, писатель навсегда остается подростком, как вы сами?

Л. Д. Думаю, да, и в этом все дело... Я вспоминаю один разговор с Жаном Жионо[1]. Он несколько раз повторил, что во мне всегда было что-то ребячливое! Генри Миллер такой же... и он обожает Жионо!

К. Б. Это важно — быть в душе немного подростком, если ты писатель, если ты художник?

Л. Д. Думаю, для того чтобы стать тем или другим, надо быть в некотором роде душевнобольным.

К. Б. То есть?

Л. Д. То есть нужны абсолютно непреодолимые препятствия, трудности, зачастую — физические недостатки, как у Байрона, или слабое здоровье, как у Пруста или Леопарди. В случае Генри Миллера это были тяжелейшие неврозы, которые он постепенно преодолел, изгоняя их, как демонов.

К. Б. Вы считаете, что искусство — род экзорцизма?

Л. Д. Да. Это способ очиститься. И акт прилюдного очищения... Но произведение искусства позволяет также и читателю или читательнице пройти через это — уже самим.

К. Б. Ваш первый роман, "Черную книгу", вы писали для себя или в расчете на определенный круг читателей?

Л. Д. В те времена напечатать такую книжку было невозможно: в ней три раза встречалось слово "дерьмо"! Совершенно невозможно! Я написал ее для себя как своего рода дневник.

К. Б. Когда писатель становится известным, когда его зовут Лоренс Даррелл, он пишет прежде всего для себя или думает о читателе?

Л. Д. Не знаю... Можно ли играть на фортепиано лишь для себя одного? Да, порой бывает и так, что ты один в доме и все же играешь, чтобы тебя услышали. Не думаю, что тут можно дать точный ответ... Но писать — дело опасное. Все равно что шутить со взрывчаткой. Начинаешь ворошить свои детские проблемы, во фрейдистском смысле... Право же, это совсем не весело!

К. Б. Если бы вы решили сменить профессию, кем бы вы стали?

Л. Д. Столяром!

К. Б. Как бы вы хотели умереть?

Л. Д. От любви!

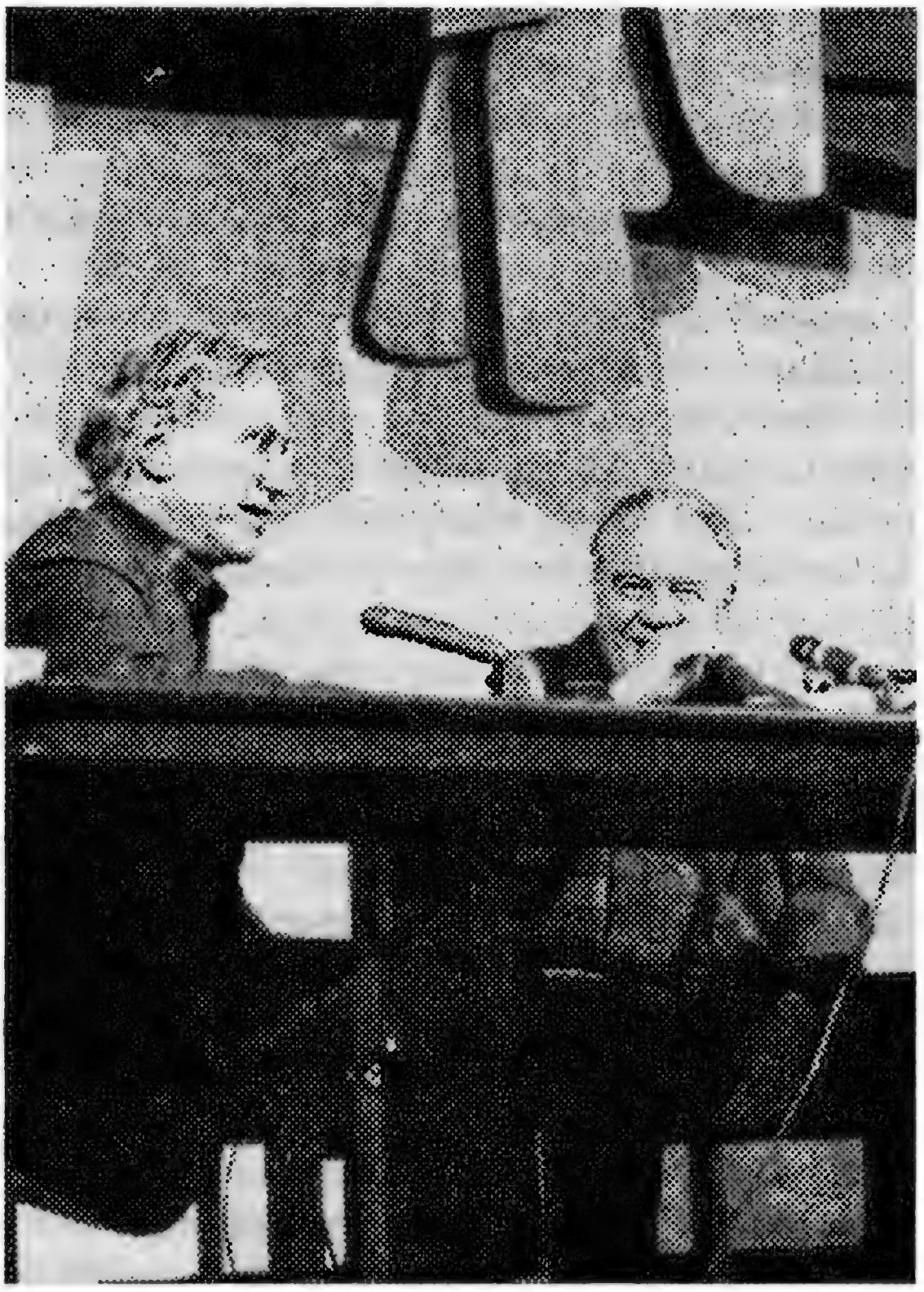
Перевод с французского Н. Кулиш

1. Жан Жионо (1895—1970) — французский писатель.

Отрывки из беседы Лоренса Даррелла с Джоном Хоксом, состоявшейся в Пенсильванском университете 12 апреля 1986 года

Джон Хокс. Я хотел бы сказать что-то вроде: "С возвращением!" Я могу это сказать, потому что знаю одну вещь, вероятно неизвестную многим присутствующим. Дело в том, что десять лет назад Лоренс Даррелл приезжал в Соединенные Штаты. Он побывал тогда на Западном побережье, у Анаис Нин и Генри Миллера. Могли бы вы рассказать об этом, Ларри?

Лоренс Даррелл. Это был подарок судьбы. Меня пригласили прочесть меллоновские лекции в Калифорнийском технологическом. Сверившись с картой, я обнаружил, что это в двадцати километрах от дома Миллера и в тридцати — от Анаис. Я не видел их, наверное, уже лет семь, а тут подворачивалась возможность провести два месяца в непосредственной близости от них и видеться сколько угодно. Люди, которые меня пригласили, оказались чрезвычайно любезными — они обрадовались не меньше меня, когда я объяснил причину энтузиазма, с которым встретил их предложение. Они составили расписание так, чтобы к полудню я уже освобождался и катил в автомобильчике, взятом напрокат, к Миллеру, которого заставал за приготовлением ланча. Так что вместо того, чтобы наслаждаться окрестными пейзажами, мы проводили практически все время пьянствуя и болтая до глубокой ночи.



Лоренс Даррелл и Джон Хокс, 1986 г.

Анаис со своим вторым мужем тоже жила совсем близко. Глядя на нее, я всегда вспоминал поговорку британских моряков: "В каждой дыре по девчонке, и в каждой девчонке по дыре". *(Смех.)* У Анаис была такая привычка: заводить по мужу в каждой дыре. В число симпатичных мужей входил и Руперт Поул — как раз тогда он помогал готовить ее ве-

© М. Мушинская. Перевод, 2000

щи к изданию; в то время у нее уже началась болезнь, которая в конце концов свела ее в могилу. Но Анаис все еще была в прекрасной форме — этот замечательный роман с Рупертом Поулом очень пошел ей на пользу, у нее даже были силы на то, чтобы приезжать в университет помогать мне. Нечего и говорить — Анаис сразу же всех очаровала, и, когда она появлялась на лекции, моя аудитория разрасталась до трех-четырех сотен студентов вместо тридцати.

Один раз мне удалось вытащить к студентам и Генри. Все это чрезвычайно подняло мой престиж в их глазах. Я приятнейшим образом провел время и хотя не особенно много узнал об Америке, зато получил полное представление о гастрономических ресурсах этого края — этого гостеприимного края.

Сегодня я держался в тени, и в этом был даже некоторый расчет. Дело вот в чем: для меня очевидно, что вы, Джек, ведущий стилист в американской литературе. Я надеялся, что, быть может, вы приоткроете тайны вашей манеры. Проблема писателей, как мне кажется, состоит в том, что мы вещаем, словно имеем на то какое-то особое право, а при этом литературе недостает точности, чтобы ухватить ту реальность, которую мы пытаемся представить. Мы впадаем в бессвязность и нечленораздельность, но не приближаемся ни на шаг к цели. Правда, порой в метафоре или в стихотворении удается точным ударом вызвать дрожь понимания, передать читателю ощущение особой реальности, особого мироустройства — а ведь ради этого, по-моему, и затевается вся охота. Мы должны попытаться понять, что такое та реальность, которую мы беремся описывать. Китайские афоризмы подходят к ней гораздо ближе, чем мы, европейцы, со всей нашей литературой, — индийские и китайские. Мне вспоминается, как один американский ребенок описал рыболовную сеть: много дырок, которые связаны между собой веревкой. *(Смех.)*

Д. Х. Ларри сказал, что любит язык. Вы спрашиваете, Ларри, что я думаю о языке. На самом деле единственное, что представляет для нас ценность, — это то, чему вы отказали в состоятельности: слово. Мы собирались говорить о метафоре, и мы к этому вернемся, но прежде я хотел бы задать вам вопрос о Генри Миллере. Когда и где вы познакомились с Генри Миллером?

Л. Д. В Париже, в 1937 году. У него не было ни гроша. Уже начиналась война, и он получил из консульства предписание вернуться в Штаты, но вместо этого отправился в Грецию.

Д. Х. А вы как раз там и жили?

Л. Д. Да, я приехал в Париж из Греции. Я жил там с моей семьей и другими зверями.

Д. Х. Случалось ли вам когда-нибудь написать и выпустить книгу, а через несколько лет — не сразу, и уж точно не тогда, когда вы ее писали, — вдруг осознать, что вы никогда не написали бы эту книгу, если бы некто другой не написал прежде другую книгу? Бывало с вами такое?

Л. Д. Нет. А с вами?

Д. Х. Было. Действительно было.

Л. Д. Что это за книга? Библия?

Д. Х. Нет. Всю жизнь мне не давал покоя мой роман "Вторая кожа" — казалось, что ничего подобного написать я больше не смогу. Через семь лет после "Второй кожи" я написал "Кровавые апельсины".

Примерно неделю назад Софи читала мне вслух "Ливию", и я вдруг вспомнил о "Жюстин". В твердом переплете "Жюстин" впервые вышла в 1957 году, и Софи догадалась тогда выписать ее через книжный клуб, иначе мы бы ее никогда не достали. Я пошел на чердак, взял книгу, прочел первый абзац и сказал: "Боже милостивый, я кое-что понял. Я не написал бы двух этих книг, особенно "Кровавые апельсины", если бы Лоренс Даррелл не написал своих вещей". Вот так было дело.

Л. Д. Вас это огорчает или радует?

Д. Х. Радует. А вы бы не радовались? Оказавшись на моем месте?

Л. Д. Помимо всего прочего, вы еще и удивительно великодушны. Если подумать, однажды я тоже испытал нечто подобное. Раз на Корфу я зашел в общественный туалет и заметил в корзине экземпляр "Тропика Рака". Я вытащил книгу — видно, ее выбросил какой-нибудь возмущенный турист — и увидел, что это парижское издание на английском.

Я прочел страницы три и уже не мог оторваться. Я почувствовал ту самую дрожь, какая всегда бывает при встрече с гениальной вещью, я вдруг понял, на какой частоте нужно ловить то, что говорит Генри, и что вся эта грязь — своего рода терапия. Я попался на крючок, и всерьез — и конечно, не будь Генри с его "Тропиком Рака", я никогда не написал бы "Черную книгу". В том же году я послал ему открытку — самую обыкновенную, какие обычно пишут благодарные читатели: "Спасибо за прекрасную книгу". Я не ждал ответа, но он мне ответил, и мы начали переписываться. Он предложил приехать к нему в Париж. Я приехал — он встречал нас на вокзале вместе с Анаис Нин. Так что появлением "Черной книги" я обязан посещению общественного сортира на Корфу в 1935 году. *(Смех.)* Я совсем об этом забыл, но это чистая правда. В определенном смысле я — его порождение. И это, как я потом узнал из йоги, вполне естественно: передача духовной энергии. Мы постоянно создаем и переделываем других и сами изменяемся под их влиянием. Это обмен частотами. Мы функционируем как передатчики и приемники. Страшное дело. Вы согласны со мной, что язык неточен и именно это нас так бесит?

Д. Х. Поэтому мы смотрим друг другу в глаза, ведь общение через взгляд — самая честная форма близости.

Л. Д. Вот мы и ждем — не мелькнет ли в глазах другого тот же сигнал.

Д. Х. Вы — единственный, в чьих глазах он мелькает. *(Смех.)* Может быть, обсудим проблему воображения?

Л. Д. Ни в коем случае. В этом вопросе я суеверен. Мне кажется, что ток отключат, если размышлять и рассуждать о нем слишком рационально и подробно. Я боюсь, как бы его не вырубили навсегда. Вам ведь тоже, я думаю, знакомо это ощущение обесточенности, когда вы в ужасе думаете: "Господи, неужели так всегда и будет?" Конечно же, знакомо! Оно ведь есть у всех, кто пишет. И охватывает в самый разгар писания, на замахе, у сетки.

Д. Х. Я не играю в теннис. *(Смех.)* Если меня спрашивают: "Как вы пишете?" — я молчу и думаю, что это идиотский вопрос. А потом, глядя человеку прямо в глаза, объясняю, как я пишу. Это невозможно, но я это делаю.

Л. Д. Мое кредо — абсолютная искренность, пока она не бьет по карману. *(Смех.)*

Д. Х. Вы романтик?

Л. Д. Да, но мы с вами не сентименталисты.

Д. Х. Ларри сделал сейчас очень серьезное заявление, потому что и он, и я, скажем так, поэты-романтики, которые пишут прозу. По-моему, ваша первая замечательная книга — это "Горькие лимоны", которые я считаю настоящим романом. Обычно эту книгу называют автобиографической, но, на мой взгляд, это роман. Вообще, все, что вы написали, — это роман и автобиография одновременно. У вас это, собственно, одно и то же, и "Горькие лимоны" — действительно великая книга.

Л. Д. Пойдем сразу дальше, а то кто-нибудь захочет возразить. *(Смех.)* Я пытался этого добиться вполне сознательно — я пытался использовать те элементы этоса, фрейдизм и экзистенциализм, которые вышли из "Квартета", использовать элементы современной науки и психологии — поскольку мне казалось, что нельзя написать действительно современную вещь, если не учитывать грандиозные догадки Фрейда или, скажем, поразительную идею о возмущающем воздействии наблюдателя на объект наблюдения. Глупо считать, будто на романиста или поэта не влияет современная наука и дух времени. В конце концов, первым фрейдистским романом были "Сыновья и любовники" Лоуренса. Видимо, через Фриду к Лоуренсу просочились какие-то слухи о венских делах, и он получил какое-то предварительное представление о фрейдизме. Он имел фантастически неверные представления о психоанализе, но они послужили основой для первого психоаналитического романа ["Любовник леди Чаттерли"]. Кстати, у него был подзаголовок "Нежность", очень даже неплохой. Для моей "Констанции" это стало своего рода позывными, она продолжает ту же линию. Потому что Лоуренс был в общем на нашей стороне, вы согласны?

Д. Х. Позывные, призывный взгляд, чистота, нежная улыбка. Не могу сейчас точно сформулировать; лучше объясню вам разницу между романом с продолжением и ди-, три- и прочими «логиями». Раньше я с трудом отличал одно от другого. А теперь понял, что роман с продолжением значит вот что: есть книга, а потом к ней присоединяются другие, так или иначе с ней связанные, и без нее они не могли бы возникнуть, но в первоначальном замысле не имелись в виду. И в этом смысле роман с продолжением всегда не закончен. А полилогия — это совсем другая вещь, и тут я процитирую Даррелла: каждая следующая часть — это новая точка зрения на целое. И поэтому "Авиньонский квинтет" на самом деле не закончен, потому что фактически это продолжение "Александрийского квартета", про который Даррелл говорил, что его четвертая часть — последняя. На самом деле — не последняя. Так что ему придется писать дальше, как бы он сейчас ни возражал, но придется писать, потому что "Авиньонский квинтет" не закончен. Он напишет следующую книгу.

Л. Д. Все это квинтавристика. *(Смех.)*

Перевод с английского М. Мушинской

Лоренс Даррелл: краткая летопись жизни и творчества

1912 Родился 27 *февраля* в Джаландхаре (Индия), в семье колониального служащего. Первенец.

1923—1930 Переезд в Англию. Учеба в различных школах. К 14—15 годам у Лоренса Даррелла формируется уверенность в том, что единственный подобающий для него род деятельности — это писательское ремесло.

Лоренс Даррелл в фелюге, плывущей по Нилу

1931—1934 Поселяется в Лондоне. Богемная жизнь, случайные заработки. Дружба с поэтом и библиофилом Джоном Госуортом, который оказывает на него сильное влияние и служит образцом для подражания.
Публикует за свой счет сборник стихов "Причудливый фрагмент" и "Бромо Бомбаст" — литературную пародию на Дж. Б. Шоу.
Женитьба.

1934 Издательство "Кэссел" принимает "Хамельнскую дудочку любви" — первый из романов, написанных исключительно для заработка.

Издательство "Фейбер энд Фейбер" заключает с Даррелом контракт на публикацию трех следующих романов.

1935 Получив от двух издательств авансы, уезжает в Грецию. Снимает на Корфу небольшой дом и к лету вывозит туда всю семью: жену, мать, братьев и сестру. Кроме того, на Корфу постоянно наведываются лондонские приятели Даррелла, а также его новые греческие друзья.
Знакомство с Георгосом Сеферисом и Георгосом Кацимбалисом

Июнь Баркли Хадсон, один из заезжих друзей, оставляет ему "Тропик Рака" Генри Миллера. Книга производит на Даррелла сильнейшее впечатление. Его решимость стать "настоящим" писателем отныне непоколебима.

Август—сентябрь Пишет письмо Генри Миллеру и получает благожелательный ответ. Начало переписки и дружбы.
Работа над вторым романом — "Паническая пружина".

Октябрь Выходит в свет "Хамельнская дудочка любви".

1936 Начало работы над "Черной книгой", первым серьезным романом.

Ноябрь Эссе о "Гамлете".
Заканчивает работу над романом "Паническая пружина".

1937 Завершает "Черную книгу" и отправляет через Миллера в "Фейбер энд Фейбер". Миллер и Элиот в восторге от романа, но издательство отказывается его печатать по цензурным соображениям.
Едет в Лондон через Париж.
В Париже наконец лично знакомится с Миллером, Анаис Нин и Альфредом Перле. В Лондоне — с Т. С. Элиотом, Диланом Томасом и Хевлоком Эллисом, литератором, сексологом и издателем репринтов "подцензурной" елизаветинской драматургии.
На обратном пути гостит у Миллера на вилле Сёра.

1938 "Черная книга" выходит в "Серии виллы Сёра", затем в парижском издательстве "Обелиск-пресс".

1939 В Грецию приезжает Миллер. Путешествие друзей по стране.

1940 Поиски работы. Должность директора школы в Каламате, находящейся под патронажем Британского совета.
Рождение дочери Пенелопы.
Попытка вступить добровольцем в армию (в авиацию).
Начало работы над "Книгой мертвых" (будущий "Александрийский квартет").

1941. *25 августа* За несколько дней до прихода немцев в Каламату — бегство на Крит на случайном попутном судне.

1941—1945 "Александрийский период". После эвакуации с Крита попадает в Каир, где происходит разрыв с Нэнси. Та вместе с дочерью уезжает в Иерусалим. Даррелл еще раз пытается вступить в армию, но затем получает пост

пресс-офицера в Александрии, где и живет постоянно.
Первые шаги на дипломатическом поприще.
Знакомство с Эвой Коэн, прототипом как минимум двух центральных женских персонажей в "Александрийском квартете".

1945. *Осень* — После долгих хлопот получает пост офицера по связям с общественностью в Министерстве информации на Додеканесе (штаб-квартира на Родосе).
Вывозит туда же Эву Коэн в качестве личного секретаря.
Публикует книгу путевой прозы "Камера Просперо".

1946 — Возобновляет работу над "Книгой мертвых". Место действия переносится в Александрию.
Попытка добиться перевода в Афины.
Развод с Нэнси. Женитьба на Эве.

1947 — Конфликт с руководством британской миссии в Афинах, уход с дипломатической службы. Возвращение в Англию (Борнмут), поиски работы.

Декабрь — Годичный контракт на преподавание английской литературы в университете г. Кордовы, Аргентина, по линии Британского совета.

1949. *Июнь* — Пост пресс-секретаря британской миссии в Белграде.

1950 — В Оксфорде появляется на свет дочь Сапфо.
Пишет драму в стихах под названием "Сапфо".
На основе аргентинского курса лекций готовит книгу "Ключ к современной поэзии".

1951 — Подумывая об уходе со службы, откладывает деньги, чтобы обеспечить себе несколько лет "писательства и лени".
Психическое состояние Эвы ухудшается.

1952 — Выходит "Ключ к современной поэзии".

1953 — Отъезд из Югославии.
Нервный срыв у Эвы.

Март — Едет на Кипр, покупает турецкий дом, вывозит из Англии мать и Сапфо. Всерьез работает над первой книгой "Александрийского квартета".

1954 — Преподавательская работа. Затем пост офицера по связям с общественностью при британской администрации.

1955 — Продолжение работы — пока урывками — над первой книгой "Александрийского квартета".

1956. *Январь* — Рукопись, озаглавленная "Жюстин" и посвященная Эве Коэн, отправляется на рецензию в Калифорнию к Миллеру с указанием, что это всего лишь первый роман цикла.

26 августа — Отъезд с Кипра и выход в отставку.
Едет в Англию, налаживает отношения с "Фейбер энд Фейбер". Издательство принимает "Жюстин".

Выходит роман "Темный лабиринт".

1957. *Февраль* Перебирается на юг Франции, в Прованс (вместе с Клод Вансендон), и снимает дом (вилла "Луи") на окраине Сомьера. С головой уходит в работу и в течение года публикует четыре книги: "Жюстин", "Горькие лимоны", "Esprit de Corps" и "Белые орлы над Сербией".
Сводит близкое — по-соседски — знакомство с Ричардом Олдингтоном.

Июнь Завершение работы над вторым томом "Александрийского квартета".

9 декабря Получает премию Даффа Купера из рук королевы.

1958 Перебирается в сельский дом в миле от Нима.

Апрель Заканчивает роман "Маунтолив".
Выходит в свет роман "Бальтазар".

1959 Дописывает последний роман "Александрийского квартета" — "Клеа".

22 ноября Триумфальная премьера "Сапфо" в Гамбурге, в "Дойчес шаушпильхаус" (постановка Густава Грюндгенса, в главной роли — Элизабет Фликеншильдт).

1960 Выдвижение на Нобелевскую премию по литературе.
Пишет пьесу "Акте".
Начинает совместно с режиссером Рубеном Мамуляном работать над сценарием для грандиозного голливудского исторического фильма "Клеопатра".
Выходит из печати "Собрание стихотворений".

1961 Г. Грюндгенс в Гамбурге ставит "Акте".
Постановка "Клеопатры" срывается из-за ухода Мамуляна из кинематографа.
Начинает работать над "большим комическим романом", предварительное название — "Плацебо" (книга осталась незавершенной).

1963 Пишет для Г. Грюндгенса пьесу "Ирландский Фауст". После смерти Грюндгенса пьесу — без особого успеха — ставит Оскар Фриц Шу.
Одновременно в Англии и Соединенных Штатах выходит книга "Лоренс Даррелл — Генри Миллер. Личная переписка".

1964 В парижской "Галери де коннэтр" под патронажем фотохудожницы Мэри Молло и художницы Надо Блох проходит выставка гуашей Даррелла (под псевдонимом Оскар Эпфс).

1966 Работает над сценарием фильма "Юдифь". Проводит несколько недель в Израиле с Софи Лорен, исполнительницей главной роли.
Летом вместе с Клод перебирается в большой дом на окраине Сомьера, где и живет до самой смерти.

Публикует сборник юмористических рассказов из дипломатической жизни "Sauve qui peut" ("Спасайся кто может").
Выходит в свет сборник стихов "Иконы".

1967 — 1 января в цюрихской больнице внезапно умирает от рака Клод Вансендон.

1968 — Впервые в жизни едет в Америку — к Миллеру. Тем временем дом в Сомьере подвергается ограблению, причем работают профессионалы ("Они взяли только лучшие книги елизаветинской эпохи и картины, подаренные мне известными художниками, и оставили всю мою собственную живопись").
Начинает подыскивать место, где его личный архив мог бы храниться в безопасности. В конце концов продает его университету Южного Иллинойса в Карбондейле.
Напечатан роман "Tunc".

1969 — Выходит фильм по "Жюстин" (Майкл Йорк — Дарли, Дерк Богард — Персуорден, Анук Эме — Жюстин, Анна Карина — Мелисса).

1970 — Лондонская фирма грамзаписи "Таррет рекордс" выпускает пластинку с мюзиклом Даррелла "Вернись, Улисс", где текст читает сам автор.
Выходит роман "Nunquam".
Начало работы над "Авиньонским квинтетом".

1971—1973 — Многочисленные поездки (Женева, Париж, США). Работа над книгами по гностицизму (для "Квинтета").

1974 — Женитьба на модели Жислен де Буассон. Едет в США, где читает курс лекций в Калифорнийском технологическом университете. Общение с Миллером и Анаис Нин.
Публикует сборник стихов "Вега".
Выходит первый роман "Авиньонского квинтета" — "Monsieur, или Князь Тьмы".

1977 — Разводится с Жислен.

1978—1985 — Продолжение работы над "Авиньонским квинтетом": "Ливия" (1978), "Констанс" (1982), "Себастьян" (1983), "Quinx" (1985).

1990 — Выходит в свет эссе об Анри Мишо.

7 ноября — Кончина.

Вадим Михайлин

Бразилия

Малые чудеса большой страны

Военная диктатура и детская литература — явления, казалось бы, несовместимые. Но современная история Бразилии доказывает обратное: военный режим невольно заставил маститых авторов засесть за книги для детей, ибо в этом они нашли для себя противоядие от цензуры. После падения диктатуры заботу о пище для детских умов и душ взяло на себя государство, поддержав спрос на издания для юных читателей. Так, по его решению, для библиотек было закуплено 4 миллиона экземпляров книг ста лучших авторов. Из написанного каждым из них было отобрано лучшее произведение, которое и удостоилось права на выпуск тиражом в 40000 экземпляров и премии Ассоциации детской и юношеской литературы. Литераторы надеются, что такая практика станет ежегодной, а издатели приглашают к сотрудничеству "взрослых" мастеров слова, среди которых — сам Пауло Коэльо. Этот бразильский писатель, чьи книги занимают второе место в мире по объемам продаж, не раз подчеркивал, что причина его триумфа в том, что он "умеет говорить с ребенком, который живет в душе каждого из нас".

В литературной жизни Бразилии есть и другое малое чудо: это небывалый успех серии о семи смертных грехах. Книги о зависти, чревоугодии, прелюбодеянии и гневе остаются бестселлерами с самого момента их выхода в издательстве "Обжетива", причем бестселлер о прелюбодеянии (автор Жоан Убалдо Рибейро) ни на неделю не покинул верхней строчки списка. Похоже, очередные книги — "Терапия", в которой чилиец Ариель Дорфман говорит о жадности, и "Лодки и волны", в которой Жоан Жилберто Нолл пишет о лени, также будут иметь успех.

Но самый большой сюрприз преподнес Плинио Дойле, который в свои 93 года (!) дебютировал с романом "Судьба" (издательство "Каса да палавра"). Правда, в литературных кругах он уже был известен, но лишь как большой книголюб (его библиотека насчитывает 30000 томов одной только бразильской литературы) и радушный хозяин литературного салона, который открывался в его доме по субботам в течение 40 лет и завсегдатаями которого были знаменитые писатели. Подробности их встреч и ранее неизвестные факты стали частью сюжетного материала. Так, поэт Карлуш Друммонд де Андраде был своеобразным летописцем этих "семинаров", и в книге впервые публикуются его прозаические заметки об их участниках. А известный романист Педро Нава оказывается за два дня до того, как покончил с собой, рассказывал на вечере анекдоты о самоубийстве...

Ирландия

И Мохаммед Али — тоже

Ирландия и ирландцы переживают период серьезных изменений, и прежний стереотип народа-жертвы и народа-борца, страдающего от притеснений англичан, сменился новым образом. Сегодня ирландцы играют заметную роль в европейской жизни, а эмиграция из страны не просто уменьшилась — наблюдается обратный процесс, немыслимый еще несколько лет назад. Ирландцы открыто говорят о своем прошлом, о проблемах, связанных с церковью, семьей и бедностью. К прошлому страны обращается в новой книге известный писатель Томас Кинелли, удостоенный в 1982 году букеровской премии за роман "Ковчег Шиндлера", превратившийся в "Список Шиндлера" на киноэкране.

Книга "Великий стыд", опубликованная издательством "Нэн Э. Тализ/Даблдей"), снабжена подзаголовком "И

Джон О'Рейли в заключении

триумф ирландцев в англоязычном мире", что отражает две ее основные темы. Если англичанам могло быть стыдно из-за неспособности эффективно управлять Ирландией, то многие поколения ирландцев испытывали чувство стыда за то, что им так и не удалось добиться независимости в XIX веке. Борьба с английским господством занимала главное место в жизни ирландцев, многие из которых поплатились за свою деятельность свободой и даже жизнью. Кого-то высылали в далекие колонии, например, в Австралию; кто-то уехал сам; а когда в середине прошлого века к притеснениям добавился голод, то начался массовый исход населения из Ирландии.

Канада, США, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания — все эти страны десятилетиями принимали ирландских переселенцев. Судьбы некоторых из них прослеживает Т. Кинелли, причем в центре его внимания находятся активные ирландские националисты — такие, например, как участник неудавшегося восстания 1848 года аристократ Уильям Смит О'Брайен, сосланный на остров Тасмания, Томас Фрэнсис Мигер, переживший тюремное заключение, ссылку на Тасманию и впоследствии перебравшийся в США, где он стал генералом и губернатором штата Монтана, или же Джон Бойл О'Рейли, также осужденный и высланный в Австралию, откуда он сбежал в Бостон, где занимался журналистикой и литературой и выступал за права индейцев и темнокожих.

Но Т. Кинелли пишет не только о героических личностях: в историческое повествование вплетен рассказ о судьбе Хью Ларкина, прадеда супруги автора, и Мэри Шилдс, его второй жены. Хью был сослан в Австралию за то, что написал дерзкое письмо своему домовладельцу, а Мэри и вовсе была мелкой воровкой. Но именно такие люди составляли немалую часть ирландской диаспоры и по-своему способствовали росту известности ирландцев в англоязычных странах.

Что касается триумфа, то "Великий стыд" далеко не исчерпывает достижений потомков ирландских иммигрантов — ведь из их числа вышли 7 премьер-министров Австралии, 17 президентов США, самый известный — канадский премьер-министр Пьер Эллиотт Трюдо, крупнейшие современные актеры и кинорежиссеры (Альфред Хичкок, Дэниэл Дэй-Льюис, Мел Гибсон, Ральф Файнс, Харрисон Форд, Лайем Нисон). На весь мир прославился Генри Форд, сын фермера из графства Корк; его земляк адмирал Барри создал американский флот; другой ирландец, Джон Холланд, в 1900 году изобрел и построил первую подводную лодку. И наконец, самый невероятный факт: ирландская кровь течет в жилах знаменитого боксера Мохаммеда Али, чей дед по материнской линии — О'Грейди из графства Клэр.

Испания

Сталин и труп Гитлера

Молодой, но весьма популярный на родине испанский прозаик и драматург Антонио Аламо уже во второй раз обращается в своих произведениях к фигуре Сталина. Его новая пьеса "Больные", которую поставил в мадридском театре "Ла Абадия" режиссер Росарио Руис, органично вписывается во все возрастающее число художественных произведений на исторические темы, публикуемых в Испании.

В "Больных" действуют Гитлер, Ева Браун, Черчилль, Хрущев и другие исторические персонажи, которых А. Аламо описывает через их недуги, считая (как и всякий писатель-врач), что болезни определяют характер и поступки человека. "Я намеревался создать сюжет, в котором все вращается вокруг трупа Гитлера, — говорит автор. — В первом акте мы присутствуем при ложном самоубийстве диктатора в берлинском бункере; во втором наблюдаем встречу победителей, которые ссорятся из-за трупа, а в третьем — действие происходит в Кремле — становимся свидетелями того, как Сталин и его окружение используют этот труп для развертывания нового этапа террора. Я пишу о том, как власть манипулирует идеологией ради самосохранения". Режиссер спектакля Росарио Руис и художник-постановщик Х. М. Кастанейра организовали в "Ла Абадии" некое пространство со ступенями наподобие амфитеатра, чтобы публика окружала и как бы наблюдала сверху семерых актеров, играющих в "Больных".

Италия

Библиотеки распахивают двери

Министерство культурного наследия, озабоченное спадом инте-

реса к чтению в стране, решило провести необычную акцию. На протяжении двух недель по всей Италии двадцать крупнейших библиотек организовывали встречи с писателями, читавшими отрывки из своих книг и произведений, так или иначе повлиявших на них. В чтениях приняли участие 240 писателей, в том числе Умберто Эко, Гвидо Черонетти, Патриция Кавалли, Роберто Калассо, а еще сто авторов изъявили желание стать чтецами в следующем году, когда число библиотек-участников акции возрастет вдвое.

Министр Джованна Меландри так определяет положение с чтением в стране и роль деятелей культуры: "Ничего не предпринимать означало бы уподобиться врачам у постели умирающего Пиноккио, которые расписались в собственном бессилии". Решив, что пациент скорее жив, чем мертв, энергичная дама твердо вознамерилась покончить с жалобами на падение интереса к чтению, на пассивность читателей и общую слабость литературного процесса. Взяв в качестве примера англоязычные страны, где широко распространены встречи писателей с публикой, а дела с чтением обстоят не так уж плохо, Джованна Меландри обратилась с призывом к итальянским литераторам, и те охотно откликнулись на предложение принять участие в подобном эксперименте, который к тому же стал проверкой квалификации библиотечных работников.

Библиотека, по мнению министра, не должна быть скучным, погруженным в тишину местом, куда приходят за очередной книгой или чтобы проштудировать материалы в читальном зале. Это должны быть гостеприимные дома, где можно приятно провести время и встретиться с писателями: "Наша цель — свести писателей и читателей лицом к лицу, а возникшая связь непременно приведет людей к книге". Главное — охватить южан, ибо известно, что на севере Италии читают больше и библиотеки посещают чаще, чем на юге.

Джованна Меландри надеется на помощь государства (тем более, что сенат проголосовал за дополнительные 30 миллиардов лир для библиотек), налаживает контакты с университетскими кругами и литературными критиками и полагает, что для возрождения чтения требуется содействие школы, муниципальных властей, радио, телевидения и издательств. Последних в Италии, согласно данным "Каталога итальянских издательств-2000", насчитывается свыше 4000, а число наименований публикуемых ежегодно книг превышает 50000, при этом средний тираж составляет около 6000 экземпляров. Что касается продаж, то приблизительно 300 книг расходятся в книжных магазинах тиражом свыше 20000 экземпляров — иначе говоря, итальянцы не совсем охладели к книге и усилия по спасению чтения имеют все шансы на успех.

США

Самый храбрый тореадор американской литературы

В 1941 году 16-летний Юджин Лютер Гор Видал-младший сократил свое имя до "Гор Видал". "Ему хотелось иметь короткое, четкое имя, подходящее для начинающего литератора или политического лидера общенационального масштаба", — пишет в новой биографии Фред Каплан, преподаватель английского и автор биографических книг о Генри Джеймсе, Диккенсе и Карлейле. 850-страничный том, опубликованный издательством "Даблдей", подробнейшим образом рассказывает о творческой, политической и личной жизни человека, которого вполне справедливо называют "самым храбрым тореадором американской литературы за последние полвека".

Большая часть детства Гора Видала прошла в Вашингтоне, в доме деда, сенатора из Оклахомы Т. П. Гора. Сенатор был слеп, и внук с детства привык читать ему вслух книги и газеты.

У будущего писателя были примечательные родители. Его отец был одним из лучших футболистов в военной академии Вест-Пойнт, получил серебряную медаль по пятиборью на Олимпийских играх 1920 года, стал летчиком, одним из создателей коммерческих авиалиний в США и ответственным за аэронавтику в правительстве Ф. Д. Рузвельта. Его мать, Нина Гор

Гор Видал в 1959 году в возрасте 34 лет

(чья девичья фамилия стала для писателя именем), была особой эмоциональной и любвеобильной, которая не раз изменяла мужу, в конце концов развелась с ним и вышла замуж за более богатого человека, впоследствии породнившегося с кланом Кеннеди.

Сенатор Гор готовил внука к политической карьере в Нью-Мексико, однако Гор Видал отказался продолжить дело деда, опубликовав свой знаменитый третий роман "Город и столп" и тем самым выбрав литературу. Впрочем, он сохранил интерес к политике и на выборах 1960 года баллотировался в Конгресс от демократов, а в 1982 году в Калифорнии пытался выдвинуться в Сенат. Обе попытки оказались безуспешными, а вот на литературном поприще Видал достиг заметных высот. Из-под его пера выходили пьесы, с успехом шедшие на Бродвее, киносценарии, превращавшиеся в не менее успешные фильмы, романы, становившиеся бестселлерами. Его друзьями стали Теннесси Уильямс, Итало Кальвино, Кристофер Ишервуд, Пол Ньюмен, принцесса Маргарет, Пол Боулс и многие другие знаменитости.

Как отмечает Ф. Каплан, художественная мощь Гора Видала сродни дарованию таких крупных мастеров интеллектуальной сатиры, как Петроний, Свифт, Стерн и Генри Джеймс. Лучшие произведения Видала — "Мессия" (1954), "Юлиан" (1964), "Творение" (1981) — в форме романа говорят о религиозном сознании и его деформациях, а его великолепные очерки позволили Мартину Эмису назвать Видала "лучшим эссеистом и обозревателем в англоязычном мире". В шести исторических романах, начало которым положил "Вашингтон, округ Колумбия" (1967), дана весьма своеобразная интерпретация истории падения американской республики и рождения американской империи. Вышедшие в 1995 году мемуары Видала заинтересуют всех, кто хотел бы почитать и произведения самого Видала, и его жизнеописание. Символично, что и новая биография Видала является дополнением к антологии "Основное у Гора Видала", вышедшей в марте прошлого года под редакцией все того же Ф. Каплана.

ЮАР

"Бесчестье", принесшее славу

Как известно, южноафриканский романист Дж. М. Кутзее стал первым писателем, который дважды удостоился одной из самых престижных литературных премий — букеровской. Повышенный интерес к писателю вполне объясним, и в одном из многочисленных интервью он подробно рассказывает о своих взглядах на все, что связано с его новым, восьмым по счету и принесшим ему второй "Букер", романом "Бесчестье". Это история университеткого профессора, уволенного из-за интимных отношений со студенткой; чтобы восстановить душевное равновесие, он отправляется на ферму своей дочери, но там его ждет новое потрясение — дочь насилуют.

Это изнасилование символично сразу с нескольких точек зрения: прежде всего, преступления такого рода представляют собой одну из серьезных социальных проблем, с которыми сталкивается белое население ЮАР. Кроме того, часть белого меньшинства в Южной Африке и его зарубежные сторонники воспринимают переход власти к темнокожим как своего рода насилие над некоренным населением. Героиня романа решает сохранить ребенка, и это наводит критиков на мысли о том, что Дж. М. Кутзее с оптимизмом смотрит в будущее. Сам писатель не приветствует полярные оценки и противопоставление оптимистического и пессимистического и полагает, что прошлое всегда интереснее будущего, которое непознаваемо по определению.

Что же касается сегодняшнего дня ЮАР, то белые южноафриканцы, по мнению писателя, все еще находятся в состоянии шока из-за утраты власти и в глубине души многие либо не осознают, либо отвергают мысль о том, что прежний образ жизни утрачен навсегда. В романе показано, как разные поколения приспосабливаются к новым политическим реалиям. Отвечая в одном из интервью на вопрос относительно молодежи, Дж. М. Кутзее, не считающий себя специалистом в этой области, тем не менее, справедливо говорит о том, что ребенку, не несущему на себе груз прошлого, проще приспособиться к новым обстоятельствам, нежели взрослому.

У Дж. М. Кутзее, судя по его словам, нет желания выступать в роли политического эксперта; он постоянно подчеркивает, что он — прежде всего писатель, а "Бесчестье" — прежде всего роман. (И — добавим уже от себя — ро-

ман прежде всего психологический, очень тонкий и напряженный, в чем читатель "Иностранной литературы" вскоре сможет убедиться: "Бесчестье" публикуется в первом номере нашего журнала за 2001 год).

В том же интервью Дж. М. Кудзее удовлетворил любопытство тех, кто интересуется соответствием сюжетных деталей и личного опыта автора (ведь он тоже преподает в университете — Чикагском). Одно совпадение романист раскрыл: он, как и главный герой, разделяет парадоксальную на первый взгляд мысль о том, что английский язык не подходит для Африки: "Не уверен, что английский в Африке — на своем месте, по крайней мере пока".

По материалам газет "Паис" (Испания), "Стампа" (Италия), "Глоб энд мейл оф Кэнада" (Канада), журнала "Ньюсуик" (США).

Что читают в мире?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров сетевого журнала amazon.com (неделя с 8 по 15 октября 2000 г.)

1 CRISTINA SCHWARZ.
Drowning Ruth.

2 ELIZABETH BERG.
Open House.

3 TOM CLANCY.
The Bear and the Dragon

4 MARGARET ATWOOD.
The Blind Assassin

5 SIDNEY SHELDON.
The Sky Is Falling: The New Novel

6 STEVE MARTIN.
Shopgirl: A Novella

7 MARK SALZMAN.
Lying Awake

8 DICK FRANCIS.
Shattered

9 CANDACE BUSHNELL.
Four Blondes

10 NICHOLAS SPARKS.
The Rescue

Юдит Герман
Judith Hermann
Немецкая журналистка и писательница.

Публикуемые рассказы взяты из ее дебютной книги *Дом? Подождет...* [*Sommerhaus, später.* Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1998].

Шандор Каняди
Kányádi Sándor
[р. 1929]. Венгерский поэт и переводчик, живущий в Румынии, лауреат многих литературных премий.

Автор сборников стихов, в том числе *Цветет черешня* [*Virágzik a cseresznyefa*, 1955], *Сумерки* [*Szürkület*, 1979], *Черно-красные стихи* [*Fekete-piros versek*, 1979], *Грива и череп* [*Söreny és koponya*, 1989], книг для детей. На русском языке стихи Каняди напечатаны в антологии *Поэзия современной Румынии.* В *ИЛ* [1991, № 6] был опубликован цикл его стихотворений *Есть край такой...*
Публикуемые стихи взяты из книги *По деревьям кто-то бредет неспешно* [*Valaki jár a fák hegyén.* Budapest, Magyar könyvklub, 1997].

Елена Ивановна Малыхина
Литературовед, переводчик с венгерского и английского языков, автор многих статей к изданиям венгерских писателей на русском языке. Лауреат премии *Инолиттл* [1996].

Переводила произведения Т. Дери, Ф. Шанты и др. В *ИЛ* в ее переводе были напечатаны роман *Загадка Прометея* Л. Мештерхази [1976, № 4, 5], повести *Старый доктор* Д. Фекета [1965, № 9], *Французская ферма* К. Сакони [1988, № 10], новелла *Две женщины* и фрагменты тюремной переписки Т. Дери [1966, № 3], фрагменты интервью Я. Пилински [1999, № 8] и др.

Пер Улов Энквист
Per Olov Enquist
[р. 1934]. Шведский романист, драматург, литературный критик.
Лауреат многих литературных премий, в том числе премии Северного совета [1969] за роман *Легионеры* [*Legionarerna*], вышедший в 1968 г.

Среди известных произведений Энквиста романы *Поверженный ангел* [*Nedstorad angel*, 1985], *Библиотека капитана Немо* [*Kapten Nemos bibliotek*, 1991; рус. перев. 1994]; пьеса *Ночь трибад* [*Tribadernas natt*, 1975; рус. перев. 1997], *Из жизни дождевых червей* [*Fran regnormarnas liv*, 1981] и др. Киноповесть *Гамсун* [*Hamsun*, 1996; рус. перев. 1997] легла в основу одноименного фильма Я. Труэля.
Роман Энквиста *Пятая зима магнетизера* [*Magnetisörens femte vinter.* Stockholm, Norsteds förlag, 1964] неоднократно переиздавался, переведен на многие языки и был экранизирован в 1999 г.

Вадим Юрьевич Михайлин
[р. 1963]. Переводчик, литературовед, кандидат филологических наук.

В его переводе издавались романы Л. Даррелла, пьесы Э. Бонда и И. Бетти, "малая проза" Д. Г. Лоуренса, У. Б. Йейтса, Дж. Барта, Г. Гессе, Л. А. фон Арнима, М. Ауслендера, Саки и др. В *ИЛ* в его переводе напечатана глава *Коронация 1930 года* из книги И. Во *Когда не ездить было — грех* [1999, № 2] и роман *Конец пути* Дж. Барта [1999, № 5].

Переводчики

Елизавета Всеволодовна Соколова
Переводчик с немецкого.

В ее переводе в *ИЛ* напечатаны стихи австрийского поэта К. Любомирского [1995, № 8], немецких поэтесс У. Хан [1994, № 2 и 1997, № 7] и И. Тильш [1996, № 8], швейцарской поэтессы Э. Буркарт [1998, № 9], эссе Д. Грюнбайна *Галилей измеряет Дантов ад* [1998, № 1].

Анна Геннадиевна Кацура
Переводчик с немецкого.

В 1997 году окончила Литературный институт имени А. М. Горького, отделение художественного перевода. В настоящее время — аспирант этого института. Перевод рассказа *Бюст императора* — ее дебютная работа.

Натэлла Всеволодовна Горская
Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко [*ИЛ*, 1972, № 4], Х. А. Гойтисоло [*ИЛ*, 1975, № 11], Р. Богранда [*ИЛ*, 1980, № 4], Ш. Каняди [совместно с Т. Бек, *ИЛ*, 1991, № 6], Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, С. Камали, И. Арифа [*ИЛ*, 1991, № 5], Я. Пилински [*ИЛ*, 1999, № 8], К. Ковича [*ИЛ*, 2000, № 1] и др.

Юлиана Яковлевна Яхнина
Переводчик с французского и скандинавских языков. Лауреат премии *ИЛ* [1989] и премии имени Мориса Ваксмахера [1997].

Переводила произведения французских и скандинавских писателей: Ж.-П. Сартра, Ф. Саган, М. Юрсенар, Веркора, Ф. Соллерса, М. Рио, Ю. Боргена, К. Гамсуна, Э. Юнсона, Я. Сёдерберга, Я. Бергмана, П. Корнеля и др.
Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Кирилл Феликсович Медведев
[р. 1975].
Студент Литературного института имени А. М. Горького (семинар художественного перевода, руководитель В. А. Харитонов).

Его переводы, стихи, проза и рецензии публиковались в Литературной газете, в журналах Вавилон, Арион, Пушкин, на литературных сайтах в Интернете. В *ИЛ* [2000, № 5] опубликованы его переводы стихов Ч. Буковски.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947].
Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения.

В его переводе издавались романы Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, рассказы Д. Кольера, Дж. Тэрбера, Ш. О'Фаолейна, эссе, статьи и очерки Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. Честертона и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Мария Савельевна Мушинская
Филолог, переводчик.

Переводила произведения К. С. Льюиса, В. В. Набокова, Д. Сейерс; ее переводы вошли в сборники *Современная американская новелла* [М., 1988] и *Шедевры английского готического рассказа* [М., 1994].

Нина Федоровна Кулиш
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводе публиковались романы *Изнанка мюзик-холла* и *Дуэт* Г. С. Колетт, *Из волшебного леса* Дж. Бонавири, повести *Антимоний* Л. Шаши, *Осеннее равноденствие* Дж. Конте, сборник эссе П. Клоделя *Глаз слушает* и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы фрагментов книги Ц. Тодорова *Человек, потерявший родину* [1998, № 6], эссе Д. Буццати *Осколки невозможного* [1999, № 6], романа Ж.-М. Леклезио *Диего и Фрида* [2000, № 9].

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использована картина немецкого художника Каспара Давида Фридриха [1774–1840] *Скалистое ущелье* [1822/1823].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черноглев.

Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7,
"Англия" —
Хлебный пер., д. 2/3,
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д. 28,
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д. 46,
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 54.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 25. 10. 2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2940.
Тираж 13 350 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603 **Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.**

---

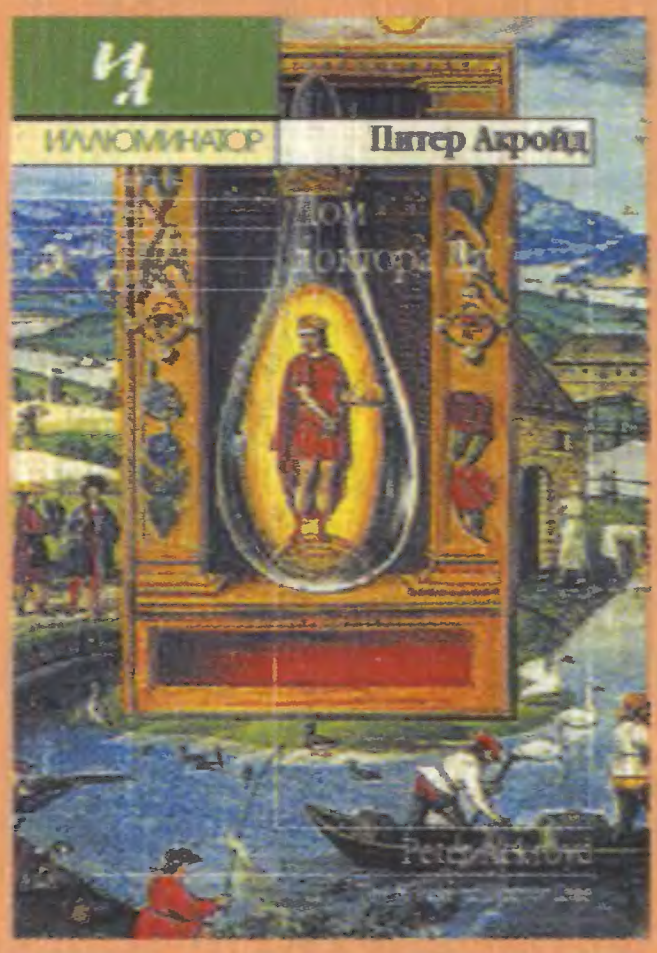
[12] 2000

"АВТОБИОГРАФИЯ" БЕРТРАНА РАССЕЛА / ПЬЕСА ТОМА СТОППАРДА "ТРАВЕСТИ, ИЛИ КОМЕДИЯ С ПЕРЕОДЕВАНИЯМИ" / КЛАССИЧЕСКИЕ ХАЙКУ / РАССКАЗ БИРГИТТЫ ТРОТЦИГ / ЭССЕ СЕРГЕЯ ЮРСКОГО

Библиотека журнала «Иностранная литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

ИНДЕКС 70394



015. Тибор Фишер "Коллекционная вещь". **016.** Майкл Каннингем "Дом на краю света"
017. Эдгар Л.Доктороу "Билли Батгейт" **018.** Питер Акройд "Дом доктора Ди" **019.** Ник Кейв
"И узре ослица Ангела Божия" **020.** Х.Л.Борхес/А.Бьой Касарес "Шесть загадок для дона Исидро Пароди"

В нашей новой книжной серии "**Иллюминатор**" читайте
лучшие произведения мировой литературы в лучших переводах

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала "Иностранная литература"
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inostranka@rinet.ru

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2000, №11, 1-288